Эдмонда Шарль-Ру

ЖЕНЩИНА - МИФ

НЕПОСТИЖИМАЯ ШАНЕЛЬ

Эдмонда Шарль-Ру. Непостижимая Шанель

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эдмонда Шарль-Ру предлагает читателям свою версию жизни Габриэль Шанель — женщины-легенды, создавшей самобытный французский стиль одежды, известный всему миру как стиль Шанель. Многие знаменитости в период между двумя мировыми войнами — Кокто, Пикассо, Дягилев, Стравинский — были близкими свидетелями этой необычайной, полной приключений судьбы, но она сумела остаться загадочной для всех, кто ее знал. Книга рассказывает о том, с каким искусством Шанель сумела сделать себя совершенной и непостижимой.

- Эдмонда Шарль-Ру
  -
  - Пролог
  - Происхождение
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
    - VI
    - VII
    - VIII
    - IX
  - Юность Габриэль
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
    - VI
    - VII
  - Несостоявшееся призвание
    - I
    - II
    - III
    - IV
    - V
  - Содержатели и содержанки
    - I
    - II
    - III

- IV
- V
- VI
- VII
- VIII

○ Основы империи
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII

○ Славянские годы
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII

○ Викторианская иллюзия и что за ней последовало
- I
- II
- III
- IV
- V

○ Кое-что о балах
- I
- II
- III
- IV

○ Немецкие годы
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI

○ Первый эпилог
- I

○ Второй эпилог
- I
- II

        - III
        - IV
    - Иллюстрации
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30
    - 31
    - 32
    - 33
    - 34
    - 35
    - 36
    - 37
    - 38
    - 39
    - 40

- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84

- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128

- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146

Эдмонда Шарль-Ру
Непостижимая Шанель

Автор приносит благодарность за помощь, оказанную ему в работе над этой книгой, барону Ферреоль де Нексону, госпоже Годен-Леклер и господину Эрве Миллю, а также благодарит:

— в Англии — леди Диану Дафф Купер, леди Харлеч, миссис Джереми Хатчинсон, сэра Майкла Кресвелла, Беатрикс Миллер, отца Жана Шарль-Ру; в Италии — генерала Ломбарди;

— в Германии — господина Теодора Момма, доктора Карло Шмида, профессора Эберхарда Йекеля;

— в Канаде — госпожу Райт, урожденную Флеминг;

— во Франции — госпожу Этьенн Бальсан, Поля Морана, Рене де Шамбрена, Мориса Гудекета, Марселя Жуандо, Жоржа Вормсера, барона Эдуара де Нерво, господина и госпожу де Бейзер, посла Франции госпожу Марселль Кампана, Станисласа Фюме, кюре Понтея, господина Пьера Шанеля, Марселя Женермона, кюре Сувиньи аббата Шоданя, баронессу Фуа, урожденную Орланди, Шейлу де Рошамбо, графиню Дессофи, Маргерит Венсен, Поля Гаспара, Габриэль Дорзиа, Бориса Кохно, Доминика Польве, госпожу Дени, госпожу Антуанетту Лаже и Габриэль Морен, урожденных Шанель, госпожу Люсьен Шанель, госпожу Вале, госпожу Редэ, господина Жана Погжиоли, госпожу Орсони, Поля д'Алейе, господина Жерне, хранителя

муниципальной библиотеки в Марселе.

Пролог

Эта земля, никогда не знавшая завоевателей, находится на юге Франции.

Нет сомнений, что даже сам Ганнибал… Во главе слонов и карфагенцев он предпочел пойти окольным путем, нежели атаковать в лоб севеннскую землю, гранитный барьер, выгнувшийся на его пути, словно разъяренная кошка.

Пришло время Цезарей, а с ним и время романизации, но она оказалась поверхностной. И тогда же, несмотря на скудость местных ресурсов, проявилась безусловная торговая сметка севенцев. Так, за римскими столами наслаждались габальским сыром. Данный факт следует отметить. Сила севеннского темперамента именно в этом — в умении справиться с трудностями и бедностью.

Когда Империя распалась, варвары разгромили Рим. Те же варвары пришли сражаться к подножию Севенн, но продвинуться вперед не смогли… Словно они инстинктивно опасались земли, которая, как они предчувствовали, была больше открыта идеям, нежели людям. И два века спустя, под густой сенью лесов, укрываясь в гротах, горцы Жеводана и пастухи Вильфора по-прежнему властвовали с высоты гор над узкими долинами, где скользили жестокие тени исламских всадников. Арабы… Отступили и они.

Таким образом, ни сарацины, ни англичане Черного Принца, ни чума — ничто в течение веков не нарушало уединения этих мест, за исключением редких грабителей и волков.

Особенность этого края, изолированного от мира, в том, что до наших дней он сохранил характерные черты облика своих первых обитателей. Таковы причины, объясняющие загадку особого женского типа здешних мест, особой красоты. Своей внешностью прорицательниц, густой черной шевелюрой севеннские крестьянки обязаны темноволосым племенам, пришедшим из Малой Азии. Поражает посадка головы, которой отличаются там некоторые женщины… И их легкая поступь.

Пришлось дождаться появления протестантизма во Франции и религиозных войн, чтобы эта затерянная земля всколыхнулась до самых глубин. Севенцы всегда представляли себе христианство иначе, чем папа. Они стремились к первобытным чистоте и совершенству. *Совершенство*… Только ради него и стоит умереть, не правда ли? Совершенство любой ценой. Тогда-то все увидели, сколь суровы и неистовы душой севенцы…

Катары, гугеноты, камизары, скрываясь от преследований пап

и королей, находили прибежище в зеленой ночи севеннских лесов.

Всех, кого объявляли еретиками, всех, кому грозило истребление, там принимали, укрывали, защищали во время братоубийственных войн, столь смертоносных, что они числятся среди самых кровавых в истории.

Раса непримиримых не угасала. Севенцы оставались верны самим себе. Поэтому объяснить совершенные ими подвиги одним только рельефом местности — нельзя. Каждый камень проломленной, бесконечно изуродованной стены, называвшейся Севеннами, каждый ее угол, каждый овраг служили укрытием, приютом или могилой.

В самом сердце гранитного края — родники.

Сланцы сверкали и все еще сверкают здесь, словно тысячи черных солнц. Здесь рождается сумасшедший ветер, приносящий на улицы Арля снежный холод, срывающий черепицы с крыш, добавляющий кобальта в небесную голубизну, приминающий спелую пшеницу и превращающий королевские кипарисы в Кро в растрепанные метелки, похожие на те, что рисовал Ван Гог.

Это колыбель мистраля.

Именно здесь, в удивительном сиянии каменистого пейзажа, и возник крепкий деревенский род Шанелей, жизнь которого определяло властное желание размножаться. Габриэль Шанель, потомок многочисленного племени, вышла, как и ее предки, из этой цитадели крестьянского духа и была так похожа на них, что описать их — значит описать ее. Сходство было не только внешним, Габриэль отличалась той же энергией, тем же стремлением к совершенству, тем же сладострастным желанием производить (то есть желанием пережить себя), той же суровостью и властностью, той же неуступчивостью, тем же неистовством и пылкостью. Как и ее предки-крестьяне, она подчинялась в своем труде неумолимой смене времен года, как и они, во всем зависела от своей работы. Шанель стала знаменитой благодаря десяткам тысяч женщин. Они признали, что эта уроженка Косс обладает редкостным даром — умением делать их красивее. Именно они — взыскательные хозяйки, беспокойные любовницы, миллиардерши или простые буржуа, искавшие гармонию в одежде, — заставили ее стать модельером.

Для Габриэль, выросшей в нужде, элегантность и роскошь стали смыслом существования.

Шанель колебалась больше, чем принято думать.

Лишь в результате долгой эволюции, лишь поняв, что у нее нет иного способа стать свободной, она позволила убедить себя.

Профессия стала для нее средством бегства.

Она овладела ею и вихрем, севеннским горным потоком ворвалась в новую жизнь.

* * *

В созданном ею стиле не было взаимодействия культурных или научных элементов, не было исторических реминисценций.

Она изобрела его сама.

Придуманные ею формы отличались самобытностью, в них не было ни подражания, ни аллюзий. Свои решения Шанель проверяла повседневностью и обрывала любую путеводную нить, если та не связывала ее со старым крестьянским наследием. Ее поведение диктовалось здравым смыслом.

Когда, испытывая потребность обратиться к уже существовавшим элементам, она отбирала детали старинной моды, то инстинктивно избегала замысловатых решений и опиралась только на собственное прошлое. Поэтому она использовала именно те элементы, которые до нее считались слишком скромными: создавала одежду, в которой удобно было отдыхать, работать, двигаться. Творя, она ниспровергала, не приемля гнета установленного порядка.

Осенявшее ее природное вдохновение определило достоинство моды, парадоксально сочетавшей очевидную функциональность с необыкновенной элегантностью, моды; неразрывно связанной с представлением о нашем времени.

* * *

Жизнь Шанель изобилует контрастами.

Будучи портнихой, она бежала от суетности. Став главой фирмы, нарушала все правила игры и без всякого стеснения злоупотребляла своими правами. В качестве модельера она испытывала удовлетворение, лишь позволяя копировать себя. Казалось, что эта женщина, каждая находка которой превращалась в золото, числившая среди своих постоянных клиенток миллиардерш Америки, Востока и Азии, лишь тогда считала, что одержала победу, когда ее идеи подхватывали улица и простой народ.

Она стала обладательницей огромного состояния, но не поддерживала близких отношений с теми, кто по логике вещей должен был бы составлять круг ее общения, — крупными промышленниками, банкирами, биржевиками, политиками,

финансистами — одним словом, с людьми, облеченными властью. Никогда она не превозносила богатство, не восхваляла деньги, не проявляла по этому поводу ни малейшего ликования. Иметь для нее, безусловно, было наслаждением, но главное состояло в сравнении с прошлым, когда у нее не было ничего.

Хотя она жила в эпоху, когда разъезды стали профессиональной необходимостью и в большой степени определяли известность крупных фирм, она царственно презирала тех, кто принуждал себя к *деловым поездкам,* и продолжала путешествовать только ради собственного удовольствия.

Она сумела воздать должное таланту видных деятелей искусства и именно среди них нашла единственных друзей, которыми гордилась. Тем не менее она восставала всякий раз, когда ее профессию приравнивали к их творчеству, и терпеть не могла, когда ее называли *гениальной.* Она хотела, чтобы ее считали ремесленником.

Она казалась непобедимой, и магия ее влияния, необыкновенный дар обольщения способствовали ее профессиональному успеху. Но, преуспев, она жила словно в ссылке, ибо потерпела крах в том, что было для нее важнее всего, — в личной жизни. И вместе с тем можно ли женщине быть более независимой, более *свободной,* чем она? Ее удивительная судьба опровергает тезис, согласно которому равноправие полов является определяющим условием женского счастья. Будучи равна мужчинам в профессиональной сфере, а часто даже превосходя их, в сердечных делах Габриэль Шанель становилась самой беззащитной из женщин. Беда в том, что, хотя ее жизнь была полностью подчинена работе — созданию одежды, самым главным для нее оставалась любовь. А здесь она познала одни разочарования.

Замеченная, открытая, придуманная мужчинами, всю жизнь она работала для женщин. Но так и не сумела полюбить их настолько, чтобы ради них забыть о себе. Каждое существо своего пола эта страстная натура воспринимала как потенциальную соперницу, поэтому даже в старости Шанель видела себя не такой, какой стала, а какой была в лучшие годы, и всеми силами стремилась нравиться, втайне изобретая для этого самые изощренные уловки.

Каждая из ее коллекций была подобна одинокому возвращению, долгому путешествию в тайны прошлого… прошлого, о котором она никогда не говорила.

Ибо больше всего поражает не столько успех Шанель и даже не ее популярность, не огромное влияние, которым она

пользовалась, а то, что она сумела остаться загадочной в глазах всех, кто ее знал, поражает то, какие титанические усилия она прилагала, чтобы скрыть свое происхождение. Цель данной книги в том, чтобы показать, с каким искусством Шанель сумела сделать себя *непонятной,* с каким постоянством она предавалась переряживанию, замкнувшись в него как в самую неприступную из тюрем.

Она жила, *одержимая* своей легендой.

Происхождение (1792–1883)

Принято считать, что истинное в человеке прежде всего то, что он скрывает.

Андре Мальро. Антимемуары

I
Нора

В Понтее осталось только три дома. Они настолько сливаются с окружающим пейзажем, что кажется, будто возникли из самых недр земли. Кому давали пристанище крутые, полуобвалившиеся крыши, покрытые чернеющим мхом, грубые и массивные стены, сделанные, как и крыши, из неприятного, с металлическим отливом шифера, нарезанного тонкими и острыми как бритва пластинами? Людям или зверям? Трудно сказать. В глубине долины крошечные ручьи вздуваются после малейшего дождя и высыхают при первых лучах солнца. Откуда они берут начало? Куда текут? К чему знать? Ничто никуда не движется, никто не бывает в деревушке. Дорога кончается здесь, упираясь в высокую колокольню, возвышающуюся словно маяк над зыбью холмов. Зачем тут церковь? Для кого? Даже населения большого поселка не хватило бы, чтобы заполнить ее… К чему она в этом уединении?

Если заглянуть внутрь домов через оставленные открытыми двери, можно увидеть следы прежней жизни — длинные сумрачные сараи с висящими недоуздками, старые заржавевшие бороны, серые от пыли опрокинутые тележки, вздымающие к прорехам крыш голые массивные дышла и напоминающие военные машины. От подглядывания становится неловко. На нас смотрит прошлое, прожитое в трудах. Тайны крестьянской жизни. Что же случилось? Отчего подобное запустение? Когда стоишь перед этими заснувшими строениями, вспоминаются «trulli» в Пуйе, «nouraghes» в Сардинии с их укрепленными комнатами и потайными галереями — все самое таинственное, что придумал человек.

И между тем перед нами всего-навсего суровые севеннские фермы, упорно сопротивляющиеся забвению, устойчивые приметы времени, когда эта земля жила и давала жизнь.

Оно далеко, то время. Исход начался почти век назад, когда окружавший деревню лес, простиравшийся на многие тысячи гектаров и состоявший из драгоценных, словно хлеб, каштанов, постепенно начал редеть, пока не превратился в проломленную изгородь.

Каштаны… Именно они когда-то обеспечивали процветание Понтея. Ими жили, их продавали, их ели утром, днем, вечером. Каштаны были пищей и деньгами. В очаге грелся глиняный горшок — в нем варилась еда для всей семьи. На решетах

сушились фрукты, которыми зимой кормили скот. И когда кончался срок аренды, когда надо было платить наемным рабочим, когда из центра являлись арендодатели, чтобы получить причитающуюся им плату, с ними рассчитывались каштанами.

С первых дней октября начиналось оживленное передвижение всего, что в Понтее имело колеса, — тележек и двуколок. Они бывали до отказа загружены мешками, помеченными инициалами владельцев, их писали с помощью трафарета. Ф означало Фресс, К — Косс, В — Видаль… Приходилось поторапливаться. Надо было успеть полностью продать урожай, пока торговля шла бойко и цены не упали ниже себестоимости. Поэтому из леса доносился сильный шум — непрерывный гул голосов.

В удачные годы, когда деревья, казалось, грозили рухнуть под тяжестью плодов, фермеры нанимали до тридцати лошадей, чтобы обеспечить быструю доставку товара на рынки долины. Ибо в горах лошадей не было. Только по мулу на каждую ферму, да и то… Но все же это были лучшие времена для Понтея, его золотые деньки.

В ту пору маленькая зала и крохотная беседка, единственное место собраний местных крестьян, не пустовали. Винный погребок с длинными столами и узкими лавками… Вся жизнь деревушки сосредоточивалась здесь, в четырех стенах дома, отличавшегося от прочих построек циклопической мощью фундамента. Над дверью, в каменном полукруге, были выгравированы буквы — А. Б., инициалы первых обитателей дома, Боше, и дата — 1749, время постройки. Тогда же началось и процветание деревушки. Пришлось, однако, дождаться начала XIX века и размаха торговли каштанами, чтобы этот добропорядочный крестьянский дом превратился в кабачок.

За столом собирались страждущие фермеры, сезонники, которых нанимали для помощи в сборе урожая, корзинщики, искавшие заказов, торговцы-разносчики, приходившие из города, чтобы сбыть свой хлам, а кроме того, все те, кого зимой и летом удерживала в Понтее необходимость ухаживать за землей, — многочисленная семейная рабочая сила, юноши, мужчины всех возрастов, лесорубы, пастухи, шелководы. Прижавшись к очагу, подрагивая и слегка раздвинув ноги, сидели вечные старики с узловатыми руками. Кабачок… Он властвовал над бесконечными горизонтами. Пойти туда — значило окунуться в жизнь, услышать шум, отголоски того, что происходило в других местах. Там можно было и свадьбу сговорить. Ибо отцы семейств…

— Вы знаете моего парня?

В самом деле, как же им было не ходить в кабачок? Где бы еще неторопливо крестьяне могли обсудить будущее своих детей?

В присутствии кюре Ноя Рура ударяли по рукам, и так был улажен не один брак. Затем за это выпивали. И зачем было искать других свидетелей? Свидетель всегда был один и тот же — владелец кабачка, его приглашали и на крестины, и на свадьбы, и на похороны. И уговаривать не приходилось. Он уже знал по опыту, что, как только церемония заканчивалась… Как было не выпить… Поэтому, позволяя женщинам наполнять кувшинчик, он резвым шагом направлялся в церковь, чтобы неумело начертать внизу документа несколько букв своего имени: Шанель Жозеф, трактирщик, родившийся в Понтее в 1792 году.

Ни одно имя не встречается в приходских книгах столь часто. Шанель Жозеф, трактирщик… Прадед Габриэль. Кажется, что, однажды женившись, он проводил в церкви столько же времени, как и за стойкой.

В молодости он, как и все крестьяне в округе, был одновременно поденщиком и ремесленником: то, надев тяжелые деревянные, с зубцами, как у пилы, башмаки, шелушил на полу каштаны у соседа, то длинными зимними вечерами резал из лесного дерева кровати, шкафы или домашнюю утварь для молодоженов.

«Люби только то, что тебе принадлежит», — гласит старинная севеннская поговорка. Вот почему, чтобы выразить свою привязанность к нажитому в поте лица, надо было украсить, покрыть резьбой любую ложку, любую лопатку для муки. Оставить свой знак… Обычай, в котором проявляется животный инстинкт норы, гнезда, отражает глубинный смысл крестьянского прошлого. Никто так не любил эту работу, как Жозеф Шанель. Однако он всегда работал для других, всегда для тех, кто владел землей, лесом, крышей над головой, кроватью и местом на кладбище, уже отмеченным крестом. Никогда для себя… Да и на чем бы он мог поставить свои инициалы? Ни у кого из Шанелей не было в Понтее ни арпана земли, не было даже могилы.

Судьба стала к Жозефу благосклоннее, когда к сорока годам он отпраздновал помолвку с девицей Тома, чья семья, тоже из Понтея, обладала кое-каким добром. Скромное приданое позволило молодой супруге снять, нет, не весь прочный дом Боше, которые, разбогатев, занялись торговлей в долине, а только общую залу. Это была большая комната с очагом и печью для выпечки хлеба, к ней примыкал закуток, где можно было поставить кровать, да еще чердак и погреб. Здесь и надо было устраиваться, ибо все остальное: дровяной сарай, подвал, хлев, овчарня, амбар, птичий двор, черный, как колодец, — все принадлежало Боше. Да и к чему это было Шанелям? У них ведь не было ни коровы, ни баранов.

Залу надо было обставить. Жозеф сделал самые простые столы и скамьи, на которых он смог наконец выгравировать свое имя. Он ограничился двумя большими С — начальными буквами его фамилии Chanel и Христа (Christ), обрамлявшими монограмму Христа. Символ его веры, в противоположность протестантской голубке. Две большие буквы С… Менее века спустя, переплетясь, они станут отличительным знаком моделей Габриэль, символом самой обширной империи, когда-либо созданной женщиной своими руками. Две буквы С на шелковых платках, сумках, пудреницах, разных мелочах… У нее была мания все метить. Но в конце концов, что такое человеческое существо, как не слагаемое черт, свойственных его породе?

Устроившись на новом месте, Жозеф Шанель раздобыл доброго местного вина, понравившегося соседям. Супруга заняла место у печи и предложила посетителям хлеб домашней выпечки. Вскоре над домом Боше появилась многообещающая вывеска: «Свежий хлеб. Вкусное вино. Лото. Ликеры. Конфеты». Это и был деревенский кабачок «Шанель». Так его называли и по-прежнему называют местные жители.

Беседку сегодня обвивает лишь чахлое растение, а большие каштаны, окружающие дом, наполовину высохли. Вывеска стерлась. А вот общая зала не изменилась. Все та же печь для выпечки хлеба, те же длинные столы и узкие скамьи.

Прошло полтора века с тех пор, как в этой зале прадед Габриэль Шанель разливал посетителям вино. А после него — его сын… А потом больше ничего. Исчезли ворота в овчарню. Все опустело. Шиферная крыша, которую столько раз заваливало снегом, опасно прогнулась. И ставни хлопают на ветру.

Лицом к снегам, на кладбище, глядящем прямо на горы, под замшелыми плитами покоятся труженики, жители Понтея, объединенные гордостью за свою работу и любовью к земле. Вот семья Дод, а вот Негр и Ру, вот Кастанье и семья Сильвена Шамбона, вот погибшие за Францию, вот кюре из Арля, моряк, плававший в Африку, плотник из Бреста, все они вернулись в деревню, все наконец слились с землей, словно камни…

Ни следа Шанелей.

Осталось только имя, навсегда связанное с кабачком. И еще два-три старика, которые помнят. Они говорят:

— Утверждают, будто когда-то здесь был кабачок… «Шанель».

Говорят с сожалением.

II
Трактирщик и его сыновья

В семье Шанелей всегда было слишком много детей, всегда мальчиков больше, чем девочек, отпрысков больше, чем денег, и в низких домах вечно раздавалось хныканье.

В 1830 году в кабачке Понтея родился первенец, названный Жозефом, как и его трактирщик-отец. Весной 1832 года, в начале апреля, новые роды и второй сын. Как и старшего, его отнесли в церковь — сначала Бог, — после чего заставили подчиниться законам людским. Заявление о рождении было сделано в присутствии мэра и двух свидетелей, землепашцев и постоянных посетителей кабачка. Родители заявили, что хотят дать сыну имена Полен, Анри, Адриан. Прекрасно. Возражений не возникло, в книге сделали соответствующую запись, поставили дату и подписи, и дело было сделано.

Родился дед Габриэль Шанель.

В 1835 году трактирщик праздновал рождение третьего ребенка, Жана-Бенжамена, в 1837 — на свет появился маленький Эрнест, и, наконец, в 1841 году родилась первая дочь, Жозефина. Этими именами начинается длинный-предлинный список династии.

Священнику Понтея без конца приносили крестить маленьких Шанелей. Дело в том, что в это же время с истинно латинской настойчивостью другие жители деревни, братья и кузены, носившие то же имя, производили на свет потомство с такой же прытью.

Между 1830 и 1860 годами не менее двадцати Шанелей появились на свет в Понтее. Семейство отличал вкус к историческим мужским именам, который будет передаваться из поколения в поколение. Этим мужикам, куда более удачливым в похождениях, нежели в работе, большим мастакам в любовных делах, Шанелю Мариусу, Шанелю Августу, Шанелю Александру, Урбану или Юлию-Цезарю, достанутся понтейские невесты, темноволосые девушки с янтарной кожей — Марии, Виржинии, Аполлонии, и в течение двух поколений они, как и все жены Шанель без исключения, будут жертвами, трудолюбивыми пчелами, берущими на себя все роли в улье — одновременно самки и кормилицы. И так до самой смерти.

* * *

1850 год. Шанели по-прежнему зависели в своей работе от спроса и предложения. За исключением старшего сына, который сменит отца за стойкой кабачка, все остальные, поденщики, не имевшие за душой ни гроша, подчинялись даже не людям. Они подчинялись земле.

А с землей дело обстояло плохо.

Каштановые рощи терзали страшные болезни. Озадаченные старики считали мертвые деревья.

На их памяти такого никогда не было! Казалось, у каштанов была лихорадка. Листья вздувались и опадали. Настоящее бедствие. Министерство сельского хозяйства хранило молчание. В Понтее долго ждали специалиста из Парижа, который так и не приехал. Кто помнил о Понтее, кто заботился о глухой деревушке?

Поэтому клиенты в кабачке стали редки, а разговоры сделались унылы. Боялись сглаза, происков дьявола. Остатки язычества, сохранившиеся в крестьянских душах, внезапно возродились. Перед лицом страха даже наихристианнейшие из христиан становятся полуязычниками, и тогда на свет Божий извлекают идолов, знахарские средства. Хозяйки в Понтее по секрету обменивались талисманами. Что лучше прибить к стволам заболевших деревьев? Тело совы? Или сильнее подействуют четыре лапы крота? А может, попробовать жабу? Говорят также, что крест из чертополоха… Кюре закрывал глаза на то, что он стыдливо называл старыми обычаями.

Только торговцы-разносчики находили выгоду в общем несчастье. Книги, где говорилось о пророчествах и о том, как отвести дурной глаз, у жителей Понтея шли нарасхват. «Настоящий красный дракон, или Искусство повелевать злыми духами», «Удивительные секреты маленького Альбера, или Природная и каббалистическая магия» распродавались тут же. Перед сном, при свете единственной свечи, читали только их. Но все было напрасно. Ничто не помогало.

Несколько лет прошло в ожидании, в надежде. Однако всему, даже надежде, приходит конец. Как быстро перемены последуют теперь одна за другой! И как легко объяснить, почему Понтей оказался заброшен.

Лес, полный богатств, суровый и дарящий радость, вечно обновляющийся, приходил в упадок. Умирала вера в него, умирали и деревья. Каштаны… Самое мощное, самое загадочное из того, что производила земля. Стоило ли упорствовать?

Пробил час исхода.

Сначала деревню покинули самые бедные.

Первыми уехали младшие сыновья трактирщика: Анри-

Адриан, Бенжамен, маленький Эрнест. Затем пришел черед племянников, двоюродных братьев.

Они уехали все.

Для Шанелей начиналось время скитаний и городского одиночества.

III
Дед-бродяга

Анри-Адриану Шанелю было двадцать два года, когда он покинул Понтей. Он был холостяком. Земля и лес были его единственным ремеслом, ничего другого он делать не умел. Он потерял и то и другое и в поисках работы очутился за пятьдесят километров от дома. Первая неудача, первая перемена в жизни.

Оказавшись без дела, никому не известный, тогда как в Понтее его знали все, Анри-Адриан впервые в жизни испытал унижение. Удастся ли ему устроиться? Он провел восемь месяцев в Травер-де-Кастийоне, маленькой деревушке у подножия Севенн. Это уже не лес и не горы, но еще не равнина и не город. Работы мало. Он слышал, что в Алесе… Верно, Алес — это шахты, уголь, работа… Он колеблется. Уехать еще дальше? Разве ему уже не говорят, что он *приехал издалека*? Что будет там, в другом месте?

Он ищет, действует наугад. Что-то еще в нем сопротивляется притягательной силе большого города, мечтам о сытой жизни.

Наконец наступил день, когда земледельцы по соседству, Фурнье, предложили ему работу. Такое везение… Перед ним открылось прибежище — червоводня Фурнье в Сен-Жан-де-Валерикле. Он отправился туда. В крестьянском ремесле Анри-Адриан любил все. Так что шелковицы, коконы… Увы, у Фурнье была еще и дочка, Виржиния-Анжелина, шестнадцати лет, которую Шанель немедленно соблазнил. Заниматься любовью с несовершеннолетней! Деревня была потрясена. Какая непристойность, какая безнравственность! Шпана, этот Шанель. Фурнье пригрозили ему и потребовали возмещения морального урона. В противном случае… Анри-Адриану, деду Габриэль Шанель, грозила тюрьма.

Но он не стал увиливать. Он женился. В присутствии срочно прибывших отца и матери. Свадьбу поспешно отпраздновали в семь часов утра, в Ганьере, в 1854 году. Мэр — владелец замка Альфонс де Ланувель, свидетели невесты — самые что ни на есть респектабельные, учитель и местный землевладелец Казимир Тома. Все без помарок поставили подписи под актом. Учитель изобразил свой самый красивый росчерк. Холодность и элегантность видны в подписи мэра, где заглавная А возвышается, словно главная башня феодального замка, над жалкими каракулями — подписью кабацкого сына. Что до женщин… В грамоте они были не сильны. Анжелина, как и ее свекровь, не умела держать в руках пера. Что и констатировал господин де

Ланувель: «…заявили после прочтения, что не умеют писать».

Едва церемония закончилась, Анри-Адриан уехал со своей женой-девочкой как можно дальше. Никогда он больше не увидит ферму тестя и тещи. Его изгнали… Второе поражение, вторая потеря.

Анри-Адриан и Анжелина отправились в Ним, ибо там обосновался один из братьев, Эрнест, ставший торговцем рыбой. Вспомнив о лоточниках, которым не грозили беды и которых в деревне называли *прохожими,* Анри-Адриан занялся новым ремеслом. Для него это была не просто перемена в жизни, он, можно сказать, поменял кожу, став бродячим торговцем.

«Анри-Адриан Шанель, в прошлом землепашец»…

Такое меланхолическое определение находим мы в некоторых бумагах, датируемых этим временем и подписанных его рукой. Бывший землепашец становился теперь, в зависимости от времени года, то галантерейщиком, предлагавшим молодым людям шнурки и шляпы, то торговцем игрушками для детей и побрякушками для девиц.

Прохожий… Дед Габриэль Шанель таким и был — прохожим.

Его брачная авантюра заслуживает того, чтобы о ней рассказали, ибо она — прообраз жизни его сыновей и внуков.

Однако следует все же добавить: по мере того, как мужчины из племени Шанелей будут удаляться от родного леса, они растеряют добродетели предков. Очень быстро легкомыслие и бахвальство возьмут верх над крестьянской честностью. Очень быстро они научатся всем уловкам соблазнителей и искателей приключений и станут применять их на деле. Многие из них, как дед, совратят юных девушек… Обрюхатят их. Порой не стараясь ни исправить причиненное зло, ни сознаться в нем.

Сыновьям Шанелей будут нужны женщины, все женщины и всегда. Они будут брать их, не любя, не испытывая угрызений совести.

Из поколения в поколение они будут юбочниками и *прохожими.*

* * *

В первый раз — город. Повсюду толпа, повсюду незнакомые шумы.

Тем не менее по некоторым, едва различимым признакам Ним еще напоминал утраченную деревню. И не только «растительными» названиями улиц — улица Испанской шелковицы, улица Апельсиновых деревьев, Фиалковая улица, не

только тем, что здесь собрались семьи, покинувшие Понтей, нет, не только этим… О прошлом напоминали запахи, когда, задувая с Косских гор, ветер проносился над гарригой и доносил до паперти Сен-Кастора аромат зеленого дуба и мелиссы. По этим призрачным дорогам Шанели из Понтея возвращались домой.

Они жили, держа нос по ветру.

Анри-Адриан и Анжелина нашли жилье в доме номер 4 по улице Серебряного седла, совсем рядом с центральным рынком. Их дом с конюшней и каменными корытами по обеим сторонам низкой двери, казалось, поджидал невидимые стада. Дело в том, что эта улочка долгое время служила местом встречи для продавцов скота. Странный это был дом. Подвалы — лабиринт призрачных сводов и огромных стен — должно быть, служили бойней. Там можно было разглядеть следы крови, а плиты пола напоминали столы, на которых совершались жертвоприношения.

Именно здесь, на улице Серебряного седла, в 1856 году был зачат Альбер, отец Габриэль Шанель.

Когда пришел момент родов, Анжелина, которой было девятнадцать лет, отправилась в нимскую богадельню «Юманите». А муж? Он отсутствовал, дела задержали его на ярмарке. Она была одна, когда родился ее первый ребенок. И хотя немало Шанелей осело в Ниме, никто из родственников не пришел навестить Анжелину. Как быть, как заявить о рождении ребенка? Трое служащих богадельни, одному из которых было семьдесят лет, предложили пойти вместо нее и зарегистрировать младенца. Самый молодой выступил в роли заявителя, двое других были свидетелями. Но заявитель ошибся и записал новорожденного под фамилией Шарне, что впоследствии причинило тому массу неприятностей. Подписей свидетелей на акте о рождении нет. «Не смогли подписаться», — по обычаю отметил чиновник, составлявший акты о гражданском состоянии. Свидетели были неграмотны.

За исключением некоторых деталей, можно сказать, что Шанели последующих поколений будут рождаться в аналогичных условиях. Семья? Всегда поселялась в непосредственной близости от центрального рынка и всегда в нищенских условиях. Роженица? Всегда в богадельне и всегда одна. Отец? Всегда «в путешествии». И свидетели всегда вместо подписи ставили крестик.

Габриэль Шанель в этом отношении не была исключением.

IV
Исход из деревни

Жизнь в Ниме обещала быть удачной. Там можно было жить в тени улочек и *среди своих,* то есть среди севенцев. Понтейские кланы в той или иной степени вновь организовались в Ниме. Был клан Кастанье, две дочери которых, Олимпия и Жюльенна, никогда не расставались, а их брат Бонапарт нашел работу на стрельбище. Был клан Мань, их сын Шарль работал кладовщиком у торговца одеждой. Понтейские одиночки остались одиночками и в Ниме — Бонавентюра Кюкюрюль, скотник, стал продавцом прохладительных напитков, а Зелия Дессу, мать-одиночка, сделалась уличной девкой. Встречались и более почтенные граждане, также изгнанные из деревни какими-нибудь природными бедствиями (унесенное течением стадо, сгоревший урожай). Например, прекрасная Артемиза из клана Бузигов, всегда носившая отделанный рюшами и убранный лентами чепец. Ее муж, Улисс, из фермера превратился в писца на лакричной фабрике.

Но наиболее значительным был клан Шанелей; все они расселились на соседних улицах, вблизи от Травяной площади, у всех были жены-девочки, постоянно носившие большие животы. Ибо не одна Анжелина производила на свет потомство. Ее золовки-малышки тоже жили от беременности к беременности.

Новая дюжина Шанелей, двоюродные братья и сестры, появились на свет на сей раз не в Понтее, а в Ниме. Стремление к увеличению потомства походило у Шанелей на религиозное чувство. Как и в те времена, когда их достаток зависел от урожая каштанов, Шанели, хотя и стали горожанами, не избавились еще от древнего страха перед быстротечностью жизни, свойственного всем крестьянам на свете. Поэтому, оказавшись в Ниме, они продолжали воспроизводиться из расчета один ребенок в год… и даже чаще. Ибо случалось, что от одних и тех же отца и матери рождались два Шанеля, один в январе, другой в декабре того же года. И старшему всегда давали имя Жозеф, то была дань уважения изгнанников главе рода, предку, трактирщику из Понтея, медленно старевшему среди воспоминаний об отзвучавшем смехе и песнях, некогда раздававшихся в беседке.

Но в отношениях между членами клана появилась первая трещина. Те, кто вел оседлый образ жизни, все больше отличались от тех, кто странствовал, и порою даже теряли бродяг из виду. Одни сумели превратиться в ремесленников или с

превеликим трудом отвоевали себе местечко в мелкой торговле, силой упорства осуществив свою мечту, но таких было меньшинство. Кое-кто, из тех, что всегда селились рядом с вокзалом, через два поколения сумеет даже пробиться в железнодорожные служащие — это была самая высокооплачиваемая должность, на которую могли претендовать Шанели. Другие же, катя от рынка к рынку, были верны самим себе, оставаясь скитальцами.

Дед Габриэль Шанель был из последних. Он покинул Ним с женой и ребенком, едва прожив там год. И потом, из года в год, из зимы в лето — такова была работа, никуда не денешься — менял города и дома.

Нельзя забывать, что Габриэль вышла именно из этой, бродячей части клана. По логике вещей, следовало бы ожидать, что ее предки были как раз среди тех, кто занялся мелкой торговлей и заимел собственный дом. Но реальность оказалась иной, и нам постоянно придется этому удивляться.

* * *

Где то время, когда люди из поколения в поколение рождались, жили и умирали в одной и той же деревне? Жизнь Анри-Адриана Шанеля, его жены и детей разворачивалась свитком бесконечных дорог, но всегда сохраняла привкус родного края. Это объяснялось тем, что они никогда не удалялись от Юга, где рынок с его запахами и криками всегда напоминал деревенские праздники.

Анри-Адриан, как истый южанин, никогда не отваживался пересечь воображаемую границу и раскинуть свои лотки там, где готовили без оливкового масла, где крыши не были крыты черепицей и где ветер не дул с такой силой, что все сметал на своем пути. Дети его рождались в зависимости от остановок и чаще всего в департаменте Гар: Луиза — та, что однажды приютит Габриэль после смерти матери, — родилась в 1863 году в сердце Севенн, Ипполит — в 1872 году в Монпелье, Мариус — в 1877 в Алесе.

Так что дед Габриэль никогда не уезжал слишком далеко. Он путешествовал так же, как работал в поле: сверяясь с календарем, и его маршруты определялись старым крестьянским чутьем. Но ни уходящее солнце, ни первые заморозки больше не влияли на его жизнь. Теперь он подчинялся только деревенским праздникам и тому, что к ним прибавляла крестьянская вера, эта огромная потребность верить и надеяться.

Примерно в 60-е годы прошлого века какой-нибудь Шанель из Понтея караулил на рассвете, выжидая, когда же приближающийся топот известит его о предстоящих крестьянских сборищах. Что это был за шум? Животные и люди отправлялись в путь, продвигаясь медленным шагом, впереди обычно шествовали быки. Какие пометки он делал на календаре? Он помечал даты, когда тот или иной поселок будет праздновать сбор урожая, а такая-то корпорация — отмечать день своего покровителя, и через улицы протянут гирлянды, а из церкви вынесут статую почитаемого святого в бархатном наряде, изукрашенную, словно идол. Тогда он тоже отправлялся в путь. Надо было идти той же дорогой и поторапливаться. Ибо ни одно из этих христианских увеселений не обходилось без ярмарки.

Сюда, дамы и господа, сюда, подходите! Песни церковные и застольные, четки и сахарные трубки, крестный ход и карусели, запах ладана и вафель, молитвы и конкурсы гримас — все было вперемешку. Для того чтобы дед и бабка Шанель могли выжить, нужны были прилавки, убранные, словно алтари, нужно было смешение проповедей и музыки, нужны были рынки, нужны были эти праздники беспорядка. Так продолжалось до самой смерти Анри-Адриана — он умер, когда ему было за восемьдесят.

Эту школу прошли и его дети. Ибо что касается школы другой, настоящей… Они туда и не ходили. Время учебы Луизы и Альбера было коротким. Оно ограничивалось межсезоньем, несколькими месяцами в году, когда работы было так мало, что отец прекрасно справлялся с ней один. Приходится изумляться, что, несмотря на столь скудное образование, они оба умели читать и писать.

V
Отречься от семьи

Отец Габриэль Шанель и его сестра Луиза внешне совсем не были похожи. Луиза к тому же была натурой более тонкой и благоразумной. Веселая, проворная, живая, обладавшая глубоким чувством долга, она многое взяла от матери: она была Фурнье до мозга костей. Тогда как Альбер Шанель походил на отца. Та же ладно сидящая голова, тот же короткий нос, тот же волевой лоб, те же черные густые волосы. А уж что касается характера! Вспыльчивый, как отец, такой же хвастун и бабник.

Альбер и Луиза в молодые годы ни разу не расставались. Обязанности их были куда тяжелее, чем может показаться. Они не только носили корзины с товаром и выступали в роли зазывал, когда наступало время ярмарок. В остальное время года, когда начинались сенокос, жатва, сбор винограда, они вместе нанимались на фермы. Луиза помогала хозяйке у печи, Альбер отправлялся с крестьянами в поле. Так прирастали доходы семьи. Не в этой ли прожитой в трудах юности следует искать причины согласия, которое им никогда не изменит?

Члены этой семейной ветви долго будут дружны между собой.

Отец Габриэль Шанель покинет родительский очаг только для того, чтобы явиться в казарму и потребовать исправления ошибки, допущенной в свидетельстве о рождении, — ибо жребий выпал на ошибочно присвоенное ему имя Шарне. Он добьется решения суда от 21 января 1878 года, что впредь будет значиться под своим настоящим именем, Шанель, и, освободившись, вернется наконец домой.

Окончательно он расстанется с родителями только в двадцать восемь лет, чтобы жениться. Обстоятельства его брака странным образом напоминали женитьбу отца, но были несколько сложнее.

Он не образумится и с годами.

Альбер жил только для того, чтобы соблазнять, плодить детей, убегать и начинать все сначала.

Сестра Луиза, его добрый гений, вышла замуж только в двадцать четыре года. Жених, уроженец Понтея, был железнодорожным служащим. Будущий зять произвел на Шанелей, вечных странников, впечатление чиновника, могущего рассчитывать на твердую месячную зарплату — какое блаженство! — и, может быть, даже на продвижение по службе. Да к тому же разве он не был севенцем? Луиза вышла замуж

удачно.

Суженый обосновался в Клермон-Ферране, пришлось ехать туда, в этот большой город, где в присутствии собравшейся семьи и всего Понтея и состоялась свадьба. Поэтому, дабы не уронить свое достоинство перед лицом будущего зятя, отец новобрачной в момент подписания брачного договора выдал себя за негоцианта. Все-таки это звучало лучше, чем бродячий торговец. Брат невесты, Альбер Шанель, вернувшийся в семью ради такого случая и бывший свидетелем сестры, поступил точно так же. Оба превратились в негоциантов… Только Анжелина, мать новобрачной, отказалась выдавать себя за ту, кем не была. С далеких времен ее собственного замужества она так и не научилась писать. К чему отрицать? Поэтому она не смогла поставить свою подпись.

«Сказала, что не умеет писать», — вновь отметил чиновник.

* * *

Несколько лет отделяют нас от рождения Габриэль Шанель.

Сколько неточностей в ее рассказах! Нельзя не упомянуть о ее умении пленять и увлекать тех, кто ее слушал. Она наблюдала за ними с довольством жестокого паука, подстерегающего жертву. Она могла презирать своих собеседников до глубины души. Они были слишком доверчивой, слишком легкой добычей… Правды Шанель не признавала.

Напрасно стали бы искать среди ее откровений признание в скромном происхождении. Крестьянка? Ни разу название деревушки, родины ее предков, не слетело с ее уст. То она выдавала себя и своих предков за уроженцев Оверни… каковыми они не являлись, то говорила, что она родом из Прованса, как отец… который провансальцем не был; то называла себя протестанткой — по бабке, которая ею никогда не была. Она придумывала себе легенду с отчаянным упорством. Женщина, о которой было известно все — ее друзья, состояние, связи, взгляды, вкусы, успехи, горести, поражения, — даже в конце жизни пыталась исказить истину о своем происхождении и в последний раз замести следы.

Как эта болтунья, любившая рассказывать о себе, ни разу не поддалась искушению и не призналась, какой была на самом деле жизнь ее деда и бабки, а затем и родителей, какую упорную борьбу пришлось им вести? Ни разу не захотелось ей погрузиться в прошлое родного края. По каким причинам Габриэль отреклась от них? С этого отступничества началось и все остальное… Она

отрекалась от несправедливости, забвения, тяжкого неравенства, жертвой которого всегда были крестьяне… Отрекшись от всего этого, она отреклась и от их давнего стремления к лучшей доле.

Почему правде о своем происхождении она предпочла нагромождение банальностей, из которых хотела создать свою биографию? Неужели она всерьез верила, что из подобной безвкусицы родится ее легенда? Вспомнить о своей матери и опереться на это воспоминание, как на надежное плечо… Вспомнить о Жанне-упрямице, дочери портнихи и столяра, Жанне-сироте… Возможно ли, чтобы в памяти Габриэль никогда не было места для матери? А отец-жуир? Не лучше ли было представить его таким, каким он был, вместо того чтобы придумывать персонаж из плохого романа? Но Габриэль Шанель не хватало искренности Мориса Шевалье, который на вопрос «А ваш отец, мсье?» ответил: «Он был пьяница…» с тем же достоинством, как сказал бы «нотариус» или «стряпчий».

Лгать. Вот что будет постоянной заботой Габриэль Шанель. Лгать журналистам, задающим ей вопросы, лгать писателям, от которых она ждала, что они составят ее мемуары, лгать друзьям, которые ни о чем ее не спрашивали.

Мы увидим, какая травма была всему причиной, увидим, какие обманутые надежды заставили ее стыдиться своего происхождения. Разочарование в любви, неудовлетворенные амбиции, несбывшиеся мечты сделали ее отступницей.

VI
Отец — искатель приключений

У Альбера Шанеля торговая жилка была развита куда сильнее, чем у его отца. Его устраивали жизнь бродячего торговца и ее превратности.

Прежде всего надо было покинуть Гар. Зачем гнить в Алесе? Есть дела и поважнее. Обожая ярмарки, вино и женщин, Альбер догадывался, чего можно добиться в провинциях побогаче и более населенных.

Он отправился на Север.

Он осторожно нащупал почву и для начала остановился в Ардеше, соседнем департаменте. В Обена производили вполне сносное винцо. По тем временам редкий товар. В 80-х годах виноградники, не затронутые филоксерой, попадались далеко не везде. Пустить это вино в оборот, снабжать им окрестные кабачки и забегаловки, почему бы и нет? Стать своего рода коммивояжером, заняться еще одним делом — продажей вина. Вино, трикотаж, рабочая одежда, фартуки для домохозяек — на ярмарках все это могло прекрасно продаваться вместе. Таковы были планы на будущее, вызревавшие в голове Альбера. Решительно, Обена был недурной городишко. Но все-таки не Перу. Что ж, надо было отваживаться на более смелые поступки.

Еще ребенком Альбер слышал о ярмарках, устраивавшихся в Пюи-ан-Веле во время праздника Пресвятой Девы, чья колоссальная бронзовая статуя была отлита из 213 пушек, захваченных в Севастополе солдатами Наполеона III. Фигура Богородицы Сентябрьской была воздвигнута на вершине горы в 1860 году, через четыре года после рождения Альбера. Его родители всегда мечтали об этой ярмарке. Поехать туда…

Альбер наконец попал в святой город и увидел его гигантскую скалу. Он раскинул там свои лотки. Сколько народу! Стояло лето. На ярмарку съехался весь департамент. О лучшем и мечтать не приходилось. В округе в каждой церкви, в каждом монастыре была своя святая, хоть мало-мальски, но творившая чудеса. Эти Черные Богородицы были столь многочисленны, что воскресений в сентябре не хватало, чтобы почтить их всех. Повсюду праздники устраивались каждый день.

Альбер Шанель оказался в районе Франции, где ярмарки имели культовое значение. Он принялся колесить по этой благословенной провинции.

Не следовало пренебрегать ничем. Он останавливался

повсюду.

Так он прибыл в Курпьер. Разумеется, в день ярмарки, последней в году. Внезапно все ему стало ясно. Берега Доры, деревня с узкими улочками, каменные и деревянные дома, возвышавшиеся над долиной и выстроившиеся вокруг церкви в таком идеальном порядке, что, казалось, они так и просились на почтовые открытки, главная площадь, где ярмарочные торговцы уже установили тир, — все это поджидало его. А сельский полицейский? В парадной форме — блуза, портупея, треуголка, «папаша Закон», гроза мальчишек, — да, и полицейский поджидал его, и новобранцы с букетами в бутоньерках, и дрессировщик с медведем, и девицы, скромно выстроившиеся в ряд.

Приближался мертвый сезон. Альбер Шанель решил встать в Курпьере на зимние квартиры. В ноябре 1881 года он снял жилье у Марена Деволя, столяра и сына столяра, места у того было предостаточно.

В момент их знакомства Марену было двадцать три года, а Альберу двадцать пять. Молодые люди подружились. Марен совсем юным унаследовал мастерскую отца. Ему было десять лет, когда умерла мать, и семнадцать — когда не стало отца. В двадцать один год, будучи кормильцем семьи, он сумел избежать призыва в армию. Его младшая сестра Жанна, хотя и жила у дяди по материнской линии, Огюстена Шардона, тем не менее зависела от Марена. Главой семьи был он. Девушка намеревалась стать портнихой, так же как и ее мать. Она каждый день приходила к Марену, вела хозяйство.

Очень быстро Альбер повел себя как первый парень на деревне. Он обладал уверенностью, авторитетом, чего не хватало Марену. Альбер был солдатом, у него был опыт, были воспоминания, он отличался красноречием, чистым выговором, богатым воображением, умел беседовать со зрелыми женщинами и болтать с деревенскими девчонками. Он очаровал их всех. И прежде всего Жанну, никогда не покидавшую Курпьер. Этот человек из ниоткуда придал ее жизни новый смысл.

Однажды ночью он попросил ее дождаться его в амбаре. Это была незримая и тихая победа, какой он и желал.

Но дни становились длиннее, и у Альбера появились веские причины, чтобы покинуть Курпьер. Ярмарки возобновлялись. Приближался день Святого Венсана, праздник виноделов, а там и Сретение с блинами, во время которого тысячи свечей рассеивают зимний мрак у подножий статуй Черных Богородиц, скоро и день Святого Блеза, покровителя земледельцев, и медленные процессии через поля, скоро… Скоро масленица и шумные

города. Ах! Города, города, скорее туда! Бежать от вздохов Жанны, начинавших стеснять его. Уйти…

В январе 1882 года Альбер сложил вещи и исчез, не оставив адреса. Зато оставил здесь несколько разбитых сердец, множество сожалений и беременную девушку девятнадцати лет — Жанну Деволь.

* * *

Когда ошибка Жанны стала слишком очевидной, дядя-винодел, как всякий уважающий себя человек, прогнал ее. Она нашла приют у Марена, в доме, где родилась.

Надо было обязательно разыскать Альбера Шанеля. Пришлось вмешаться мэру. Виктор Шамерла, имя которого до сих пор носит одна из улиц Курпьера, сделал все, чтобы умерить пыл Деволя, страстно желавшего покарать виновного. Как было не принять во внимание, что один из Деволей был клерком у нотариуса. Притом вся семья пользовалась уважением. Следовало добиться от бессовестного бродяги, от этого проходимца Шанеля если не женитьбы, то хотя бы признания ребенка. Этого и хотел мэр Курпьера.

Альбер Шанель все-таки оставил кое-какие следы. Например, в мэрии… Все та же история, поправка в записи о рождении. Забота, преследовавшая его повсюду. Хотя нужная отметка и была сделана в записи актов гражданского состояния в Ниме. Но при каждой допущенной ошибке приходилось писать, проверять, просить отцовского свидетельства. Шамерла сделал все необходимое. Кроме того, поскольку Альбер собирался осесть в Курпьере, он внес свое имя в списки избирателей. Таким образом, в мэрии оказался адрес отца Альбера Шанеля. Такими же сведениями располагал и нотариус. Ибо Альбер Шанель довольно далеко зашел в своих планах купить часть дела у торговки маслом. Адрес отца, матери, их занятие — этого было вполне достаточно.

Прошло несколько месяцев, пока обнаружили, где находились родители виновного. Бродячий торговец и его жена меняли адреса так же часто, как в молодости.

Наконец Анри-Адриана и Анжелину нашли в Клермон-Ферране и известили о требованиях Деволя. Их сын? Уж не в первый раз им вчиняли иск. Какую еще глупость сотворил этот шалопай Альбер? На сей раз родители прикинулись, что не понимают, в чем дело. После появления на свет Альбера у них родилось столько детей! Сыновья и опять сыновья… Если еще и

следить за всеми?! Поэтому родители Шанель сделали вид, что ничего не знают.

А Жанна теряла терпение.

До родов оставался всего месяц.

Поощряемые мэром, Марен Деволь и двое его дядюшек отправились в Клермон-Ферран. Надо было ввести Анри-Адриана и Анжелину в курс дела: Альбер обрюхатил девицу.

Поэтому курпьерские мужчины явились с угрозами. Они заявили, что пойдут до конца и, если потребуется, добьются удовлетворения через суд. У них были для этого возможности.

Анжелина сразу представила себе худшее. Альбера, ее сына Альбера отправят в Кайенну, на каторгу? Испугавшись, родители Шанель наконец признались: виновник находится в Обена.

Перед Жанной открылись врата надежды. Едва получив нужное известие, она поспешила в путь, запретив кому бы то ни было вмешиваться. Если и можно заставить Альбера сдаться, то только не угрозами. Она одна могла уговорить его.

Жанна Деволь приехала в Обена, будучи на сносях. Альбер жил в кабачке, там же вел дела. Именно здесь, едва приехав, Жанна Деволь в восемь часов вечера родила девочку.

Отец согласился признать ребенка, всячески отказываясь жениться на матери. Ему нужна была подруга, но не жена.

Поэтому решили сделать вид, что…

Жанну объявили законной супругой господина Альбера Шанеля. Торговец прохладительными напитками, у которого они жили, будучи посвященными в дело, согласился выступить свидетелем. Так и получилось, что Жюлия Шанель, старшая сестра Габриэль, родившаяся 11 сентября 1882 года *в забегаловке Обена,* была объявлена дочерью состоящих в браке родителей.

И это превзошло все ожидания Жанны.

VII
Виновная мать

Вернуться после всего домой? Разве она смогла бы? В Курпьере ее ждали бы отчужденность, холодность, тяжелое молчание кузена Этьена, клерка, колкие замечания кузины Клодины, кухарки, и дяди-земледельца. Жанна это знала. Нечего было и думать о возвращении.

Мосты были сожжены.

Что до Альбера Шанеля, то он старался держаться как можно дальше от провинции, таившей для него двойную угрозу — соседство родителей и родственников Жанны. К тому же удача, казалось, отвернулась от него: дела шли плохо. Присутствие Жанны мешало любовным интрижкам.

Ремесло ярмарочного торговца требует не замечать того, что между рынками того или иного города существуют различия. Разве города и рынки не похожи друг на друга? Жизнь Альбера Шанеля во многом определялась этой уверенностью, заставлявшей его постоянно стремиться к новому.

Что он вообразил себе в конце 1882 года, когда решил вдруг пересечь Францию из конца в конец? Что он надеялся найти в Сомюре? То был не просто риск во имя спасения. В Альбере пробуждались доставшиеся по наследству черты отца-трактирщика, его вела старая мечта — обосноваться в винодельческом районе и открыть там торговлю. Сыграло свою роль и желание избавиться от Жанны. Разве рискнет она пуститься в подобное путешествие вслед за человеком, который не был ей даже мужем, да еще с младенцем на руках? Разве осмелится?

Альбер плохо знал ее.

Жанна считала иначе. Альбер уезжал, ей необходимо последовать за ним. К тому же не успел бы он уехать, как содержатель кабачка выбросил бы ее с ребенком на улицу. Поэтому все усилия заставить ее отказаться от задуманного были бесполезны. Альбер, осознавая свои мужские права, не собирался щадить ее. Так, она упрямилась? Хотела ехать за ним? Хотела, чтобы он принадлежал ей одной? Она свое получит… Ее дочери не было и трех месяцев, как Жанна Деволь забеременела снова. В январе 1883 года она приехала в Сомюр, совершенно чужой для нее город, ища одновременно жилье и работу.

* * *

Сомюр… Вот он, этот город во всем своем величии, вот Луара, быть может, самый прекрасный дар, который природа преподнесла Франции.

Как доказать влияние на человека окружающей обстановки, пусть временной, пусть случайной? Интересно было бы определить, чем человек обязан месту своего рождения, и тогда, погружаясь в изучение условий его жизни и ее особенностей, можно было бы с достаточной уверенностью если не охарактеризовать его личность, то по крайней мере пролить свет на самые неясные ее стороны. Тогда каждая деталь обстановки окажется неожиданно значащей.

Итак, Сомюр, где родилась Габриэль Шанель.

Чем Габриэль Шанель была обязана этому городу, веселому, словно пансион накануне каникул, строгому, словно монастырь, городу, где царил культ лошадей? Чем она была обязана Сомюру? Она всегда признавала, что в пору сумасшедшей юности ее единственной, всепоглощающей страстью были лошади. Она родилась в 1883 году, и так ли уж нелепо предположить, что между ней и городом существовало своего рода взаимопонимание? Случайно ли, что она родилась в то время, когда в Сомюре большое значение в образовании придавалось занятиям на открытом воздухе и выездке? Она всю жизнь старалась, чтобы в моде торжествовала определенная свобода, дух пленэра, похоронивший безвкусицу в одежде.

Трудно согласиться с тем, что пробелы в биографии человека лишены смысла, ибо наше поведение загадочным образом определяется событиями, предшествующими рождению, и возникает из них, словно цветок из стебля. Дело в том, что 1883 год был отмечен английским влиянием. В тот год в Сомюр в больших количествах ввозили из-за Ла-Манша охотничьих лошадей, шорники Школы начинали выпускать английские седла, а наездники при езде рысью стали перенимать — о скандал! о революция! — положение стоя вместо сидячего, бывшего до сих пор святым и нерушимым принципом французской школы. В парижских салонах слова «балы», *«стрельба по голубям», «прием», «прогулка»* были изгнаны, ибо мода требовала, чтобы говорили *«night-party», «gun-club», «rout»* и *«footing»*. И дамы не говорили больше о сукне цвета раздавленной клубники, производившем фурор в Лондоне, упоминали только о *«lady-cloth»*. И они не ходили больше завтракать, они *«ланчевали»*.

Так начиналась эпоха увлечения всем английским, из которого тридцать лет спустя родится искусство Шанель.

Это был также период, когда форма кавалеристов становилась строже. Ни фраков по вечерам, ни шпаг при

парадных мундирах, просто венгерка с брандебурами, а кепи решительно вытеснило кивер. Что касается пехоты, то эполеты были отменены, их сменили галуны из плетеной тесьмы и позолоченные пуговицы… о, Шанель!

Мода Второй империи, ее опереточные кавалеристы — завзятые рубаки, отличавшиеся буйностью и грубостью манер, исчезали с улиц Сомюра. Можно ли представить сегодня, чем была тогда эта конная Мекка? Именно ей обязаны мы чудом — возрождением французской кавалерии. Ни один род войск не пострадал сильнее от войны, которая была у всех на памяти. Разве можно было ее забыть? Поражение, пруссаки в Париже, свергнутый император, сожженный Тюильри — все эти события произошли тринадцать лет назад. Следы именно этих воспоминаний и пытались стереть в то время, когда родилась Габриэль.

Сомюр, где обосновались псевдосупруги Шанель, был единственным городом во Франции, в котором магазины были открыты до поздней ночи. Преподаватели и курсанты царили в городе, жившем ими и для них. С горожанами их связывал своего рода идиллический контракт. Все население подчинялось ритму военной жизни.

Поэтому *постоянные поставщики господ офицеров* всегда были готовы удовлетворить зверские аппетиты гуляк, молодых людей из хороших семей, их внезапные желания и пристрастие к изысканной кухне. И это несмотря на то, что молодые люди хоть и требовали, чтобы их желания тотчас же исполнялись, но с долгами расплачиваться не спешили. Всем это было известно… Даже шпакам, этим свиньям в штатском, которые видели, что их заставляют платить больше, чем положено. Они приплачивали за кавалеристов? Подумаешь! Чего не сделаешь, чтобы поддержать моральный дух армии!

Таким был Сомюр в 1883 году. Город засыпал только тогда, когда гасли огни кафешантанов и замирали звуки последних песен, после того как замолкало Кафе искусств, святилище сомюрского веселья, и закрывали свои двери «Бланширси» и гостиница «Мольер»… Но это еще не все… Частенько по ночам наступало время для проделок и грубых выходок, и тогда поднимался гвалт и раздавались вопли акушерки, у которой снимали вывеску, чтобы заменить ее гербом генерала, начальника Школы. Ах! В этом городе не залеживались подолгу в постели! Вставали с первыми сигналами подъема, когда курсанты и конюхи бежали к конюшням. А там всхрапывали лошади, чувствуя, что время пришло… Самая чудная пора. Час, когда день занимался в запахах кожи, сена и переворошенной соломы, час,

когда Жанна Деволь выходила из дома с маленькой Жюлией на руках и тоже спешила на работу. Работы в Сомюре хватало, и Жанна, своей добропорядочной внешностью внушавшая доверие, без особого труда нашла применение своим способностям. Другого выхода у нее не было. Беременность, равно как и присмотр за младенцем, не позволяли ей подолгу быть на ногах, на холоде, поэтому до рождения Габриэль она вынуждена была отказаться сопровождать Альбера на рынок на площади Биланж. Ибо именно там он развернул торговлю, предлагал лифчики, трико и нижнее белье, расхваливая свой товар, бросая многозначительные взгляды и расточая любезности дамам.

Жанна в сумрачном еще свете занимавшегося дня, с непокрытой головой, в фартуке в крупную складку, неся свой тяжелый живот и оттягивающую руки Жюлию, направлялась в дома, где ее поджидали то работа на кухне, то груды белья, слабый запах хозяйственного мыла и сырость в прачечной, то…

Просто несчастий не бывает. Всякое несчастье связано со своим временем. Неудачи Жанны отмечены печатью эпохи. Ей приходилось бороться, чтобы получить место кухарки, гладильщицы или служанки. В резиденции, где царил генерал Данлу, она знала только официантскую, в доме майора де Бельгарда, главного берейтора, только кухню. Когда же этого оказывалось недостаточно, Жанна прирабатывала то здесь, то там, занималась, чем придется: то была кастеляншей в Доме трех ангелов, где находился пансион для девушек, то посудомойкой в гостинице «Бельведер», где, кроме офицеров, селились пассажиры с *«Невзрываемых»* — пароходов, плававших по Луаре. Так Жанна зарабатывала на жизнь в первое время своего пребывания в Сомюре.

Говорят, что, обладая сильным характером, она не останавливалась ни перед чем, чтобы заработать на хлеб насущный. Правда ли, как утверждают некоторые, что она соглашалась на работу даже в кварталах с дурной репутацией и делала уборку на улице Релэ или в квартале Мостов? Дома для офицеров, дома для военных… Жанна мыла, стирала, разносила кипы простыней, драила лестницы, на которых шаги клиентов раздавались лишь после того, как хозяйка кричала: «Можно!» Жанна, склонявшаяся над сомнительными кроватями, чувствовала себя чужой повсюду, она так же терялась в домах терпимости, как и в общей зале гостиницы «Бельведер», ей было столь же неловко на улице Релэ, как и среди юных девушек в Доме трех ангелов, их свежесть и обаяние напоминали ей времена Курпьера, времена, когда она была невинна и бежала к Марену в легкой юбке, черном переднике и тугом корсаже. Жанна

слушала, не понимая, что говорится вокруг нее. Почему они так ссорились между собой, эти офицеры, которым она прислуживала? Что это была за война, о которой говорили только в Сомюре? Война шпор и хлыстов… Ни слова не понимавшая Жанна, словно глухонемая, покачивалась на волнах ссор, никогда не угасавших между ористами и бошеристами[1].

Что она могла понять? Спорщики начинали говорить на повышенных тонах, едва только произносились некоторые слова: рот, скоблить… Чей рот, что скоблить? Потом они принимались стучать кулаками по столу. Дребезжали стаканы. Жанна поспешно подбегала с тряпкой в руке. Из-за чего они так воспламенялись? Бешеные эти кавалеристы, фанатики. Почему тех, кто принадлежал к лагерю шпор, другие, из лагеря хлыстов, называли мясниками? Они утверждали: «Хлыста вполне достаточно!» Сразу же начинались крики. Сторонники шпор обвиняли своих противников в том, что их поведение позорно: «Стегать лошадь хлыстом, бить ее?»

Дело кончалось тем, что сотрапезники расходились, хлопая дверями, а Жанна возвращалась домой, не слишком хорошо понимая, объяснялась ли охватывающая тело боль усталостью или растерянностью от увиденного и услышанного.

VIII
Незаконный брак

Жанна и Альберт нашли пристанище в двухэтажном доме, где они занимали мансарду, выходившую на север. Их жилье находилось всего в нескольких минутах ходьбы от двух рынков Сомюра — рынка Биланж, где делала покупки местная аристократия, и рынка куда более дешевого, сохранившего средневековые черты, на площади Святого Петра. Альбер Шанель выбрал себе местожительство согласно семейным традициям. Он поселился на торговой улице, в убогом квартале, в одном из тех обветшалых домов, что кренятся от старости, усыхают, оседают, но все же держатся. Дом стоит еще и поныне, такой же, как прежде, с фасадом в три-четыре метра, с высокими, узкими окнами, до которых долетают крики зеленщиц: «Салат, замечательный салат! Купите-ка моего салата!»

Входной двери в доме не было. Очень темный коридор, выходивший на улицу, вел прямо к лестнице, поднимавшейся наверх. Как и в Ниме, где был зачат Альбер Шанель, этот дом являлся частью декора, существовавшего по меньшей мере в течение трех веков. Он был зажат между двумя фасадами с легкими сводами и прелестными выступами, между теснившимися друг к другу старинными постройками. Вверху извилистой улочки, вымощенной крупным булыжником, возвышался и по-прежнему возвышается старый замок. Но разве могли Шанели знать, что всего в нескольких метрах от их чердака, в глубине мрачного двора, среди прекрасной обстановки, старела Мари Огюстина Нивелло, которую местные историки считали прообразом Евгении Гранде… Нет сомнения, что, беспрестанно снуя туда-обратно, Жанна Деволь и Альбер Шанель без всякого благоговения попирали «маленькую каменистую мостовую» улочки, где происходит действие самого популярного романа Бальзака.

19 августа 1883 года в страшной спешке Жанна Деволь одна явилась в бывшую центральную больницу. Над высоким козырьком над входом в бывший лепрозорий рыцарей Ордена Святого Иоанна большими золотыми буквами было написано «Богадельня». Часовня, торчавшая, словно будка часового, прямо посередине серого, мрачного двора, сразу бросалась в глаза, подчеркивая религиозный характер заведения, где работали монахини из Ордена Провидения. Могло быть и так, что Жанну, внезапно почувствовавшую сильные боли, не успели

госпитализировать, и она родила Габриэль в приемном отделении. Мы никогда не узнаем правду до конца об этой истории, которая в течение многих лет служила пищей для разговоров сотрудников Дома Шанель. Но, напротив, не подлежит никакому сомнению, что подписи Альбера Шанеля нет ни на свидетельстве о рождении, ни на документе о крещении. *Действительно* ли отец отсутствовал, как было сказано священнику богадельни? Или его отсутствие было притворным, чтобы легче было заявить о появлении незаконнорожденного ребенка?

20 августа надо было нести младенца в мэрию. Кому было доверить это дело? В который уж раз по вине одного из Шанелей женщина рожала в богадельне одна. В обмен на некоторое вознаграждение свою помощь предложили люди весьма почтенные: старая дева Жозефина Пелерен, в возрасте шестидесяти двух лет, Жак Сюро, семидесяти двух лет, и Амбруаз Подеста, шестидесяти двух лет, все они работали в богадельне. Оказывать услуги матерям-одиночкам было для них привычным, они находили в этом некоторую выгоду. Показав маленькую Габриэль заместителю мэра, они заявили, что она родилась от некоего Альбера Шанеля, торговца, и Жанны Деволь, также занимающейся торговлей и проживающей по адресу: улица святого Иоанна, дом 29 — вместе со *своим мужем.* Будучи не в состоянии предъявить никакого официального документа — чего уж этому удивляться, разве не естественно, что именно отсутствующий муж и отец хранил при себе свидетельство о браке? — свидетели и заявители не смогли уточнить, как именно пишется фамилия Шанель. Заместитель мэра, после некоторых колебаний, сымпровизировал, и фамилия Габриэль была записана неправильно. — Шаснель. Семейная традиция продолжалась. Шарне, Шаснель… Когда надо было подписывать бумаги, новый сюрприз: никто из присутствующих не умел писать. Из трех сотрудников богадельни — трое безграмотных. Заместителю мэра оставалось только констатировать этот факт с помощью общепринятой формулировки — *«свидетели после прочтения не подписали настоящий акт, заявив, что не умеют писать»,* — а затем поставить внизу свою подпись, ибо в противном случае документ считался бы недействительным.

21 августа был днем крещения. Священник больницы по этому случаю приехал из соседнего прихода. Он был викарием в одной из самых старых и самых красивых церквей Сомюра, Нотр-Дам-де-Нантийи. Именно он, заодно с другими новорожденными, окрестил Габриэль. Крещение проходило в часовне богадельни, перед главным творением Филиппа де Шампеня «Симеон,

принимающий младенца Христа перед входом в храм», гигантским полотном, висевшим над головами верующих. Четырнадцать персонажей, изображенных на картине, приковывали к себе все взоры, и среди них выделялась высокая, стройная фигура Богоматери. На ее загадочную грацию всегда обращают внимание любители красоты. Крестными отцом и матерью из любезности согласились быть Моисей Лион и вдова Шастене, которые представили дочь Жанны под фамилией *Шаснель.* У викария не было причин сомневаться в том, что маленькая девочка родилась *в законном браке,* раз так утверждали заявители. Отец был в путешествии, мать — в больнице, ни один из них не был уроженцем Сомюра. Священник, ни о чем не подозревая, составил акт, и, таким образом, традиции кочующего племени не были нарушены. Семья отсутствовала, фамилия была записана неверно, гражданское состояние ребенка — также, и только крестный был в состоянии подписаться, ибо вдова Шастене заявила, что «писать не умеет».

Шестьдесят лет спустя Габриэль Шанель, рассчитывая на доверчивость своей аудитории, рассказывала историю о том, будто монахиня, которой поручено было нести ее к купели, назвала ее Бонер, то есть счастье, в надежде на то, что в этом имени отразится ее будущая жизнь. Ничего подобного. В акте значатся только два имени: Жанна — так звали мать и крестную — и Габриэль. Эта выдумка была в духе Шанель, которая, стремясь сохранить свое прошлое в тайне, всегда искажала правду, смешивая выдумку и реальность. Поэтому, несмотря на все ее усилия, часто оказывается возможным извлечь из ее рассказов точные детали. Так, например, эпизод с вымышленным именем отражает порядки, принятые в ту пору в больничных заведениях, которые обслуживались религиозными орденами, и выводит на сцену реальный персонаж, монахиню Ордена Провидения, присутствовавшую при крещении детей, родившихся в богадельнях.

И ничто не мешает нам предположить, что именно монахине, которой была предоставлена свобода выбора, мадемуазель Шанель обязана именем Габриэль, которое по-древнееврейски означает «сила и могущество» и которое, если верить ономастике, *приносит носящим его женщинам прочную славу.*

IX
Жизнь в Сомюре

Предстоящий год станет исключением в жизни Жанны и двух ее дочерей, это будет единственный год, который они проведут вместе не в дороге. И нет сомнений, что в этот год они постоянно проживали в Сомюре.

Хотя Альбер Шанель и поселился в винном крае, но продавцом вина, несмотря на свое желание, так и не стал. Он по-прежнему был всего лишь бродячим торговцем, скитался в двуколке с ярмарки на ярмарку, с рынка на рынок и жил в ожидании воображаемого финансового успеха. Именно Жанне он обязан тем, что у него был очаг и кров, именно она помогала ему всякий раз, когда он возвращался домой. Но едва наступала весна, как Жанна, для которой преданность и любовь были неразрывно связаны, вновь бралась за работу под началом Альбера, и все чаще торговцы и постоянные покупатели видели сомюрских любовников за прилавком.

Двум маленьким девочкам жизнь на свежем воздухе идет на пользу. Жюлия начинает ходить, Габриэль не так давно отняли от груди, что же касается Жанны, то работа и беременности пока не изнурили ее, она хорошая нянька, хорошая мать и рассудительная подруга.

На фотографиях Эжена Атже, бродячего артиста, которые несколько лет спустя он посвятит другим бродягам, уличным ремесленникам, мы видим женщин, похожих на Жанну так, что и не отличить, видим в мельчайших деталях рынки и торговые ряды, насквозь продуваемые ветром, где Габриэль провела первые месяцы своей жизни. Бесполезно обращаться к нашему воображению, ибо на пленке Атже есть все, зафиксированное навечно. Этой женщиной — худенькая фигурка, застывшая возле корзин, поднятое к прохожим загорелое лицо, дремлющая на руках крохотная дочурка — этой женщиной могла быть Жанна, это она держит задремавшую Габриэль, это ее скромно стянутые волосы треплет ветер, и выбившиеся пряди ореолом окружают лицо, это ее круглый крестьянский пучочек волос на затылке, тиковая юбка, кофта из выцветшего ситца, отложной воротничок, прикрепленный завязками, широкие рукава, охваченные маленькой оборкой на уровне локтя.

Эта фотография рассказывает нам о детстве Габриэль больше, чем любые подробные описания. Так жили и выглядели только Жанна и люди одного с ней положения. На улицах в те времена,

за исключением, быть может, чесальщиц матрасов, стригальщиц собак и бродячих цыган, не было женщин, занимавшихся столь же нищенским трудом, как Жанна. Вглядитесь в фотографии Атже, посмотрите глазами фотографа, какой хвастливый вид у разносчицы хлеба в накрахмаленном фартуке, как уютно чувствует себя продавщица цветов в кофте и чепце, как тепло укутаны ее плечи сложенной вдвое шалью. Тогда как Жанна… Вся нищета заканчивающегося XIX века сосредоточена в этой сидящей на земле женщине, предлагающей свой жалкий товар, и изменить этого нельзя.

Нищета Жанны сквозит в уклончивом, разоблачающем взгляде, в улыбке, которая и не улыбка вовсе, — через двенадцать лет, при выходе из шахт, английские мальчишки-рабочие будут так же принужденно улыбаться братьям Люмьер, — ее нищета в усталом движении руки, застывшей на краю корзины, в фартуке, провисшем под тяжестью младенца, которого не на кого оставить и которого постоянно приходится таскать с собой, в голодных глазах этого ребенка, его криках, усталости, сонливости… А за первым ребенком — сразу же второй, снова голод, снова крики, после Жюлии — Габриэль. Но кое-что нам все же придется вообразить: как влиял на ребенка, как ласкал его невинное тельце чудный свет Сомюра, преображавший все вокруг… И наконец, замечу, что, сколь бы невероятным это ни казалось, на будущее этой девочки неумолимым образом повлияет то, что ее современникам представлялось пороком, — нищета ее семьи.

К бедности в ту эпоху относились с презрением.

Какой будет жизнь Габриэль? Мне скажут, что, заговаривая об этом, я предвосхищаю события. Мне скажут… Впрочем, неважно, что скажут, ибо в облике Сомюра, каким он был в день рождения Габриэль, угадывается вся ее будущая жизнь. Судите сами… Посмотрите, как жили, ничего не зная друг о друге, люди, составлявшие город, бывшие Сомюром в 1883 году, люди, которых не видит маленькая девочка, заснувшая у материнской груди. Прислушайтесь к жужжанию рынка, к ежедневным крикам торговок, убаюкивавших ее, прислушайтесь к нетерпеливому дыханию привязанных к двуколкам лошадей, к постоянному, ежечасному веселому позвякиванию шпор господ офицеров, одолевающих каменистые мостовые Бальзака. Посмотрите на них, как довольны они собой и своими сапогами. А вот иностранные курсанты, прежде всего русские, молодые Крезы, которые в один прекрасный день станут конными гвардейцами Его императорского величества. Полюбуйтесь, какие сказочные суммы, ошеломлявшие почтовых барышень, пересылались каждый месяц в Сомюр из Петербурга беспокойными матерями,

поприсутствуйте на конкурсе по битью бутылок — шампанского, сударыня! — которые молодые люди даже не давали себе труда открыть, долго об этом будут помнить в кафе «Ренессанс». А вот и французы. У этих на уме только лошади и любовницы. Если бы уснувшая малышка высунула нос из пеленок! Возможно, она заметила бы коляску одной из этих… Посмотрите на сомюрских куртизанок, взгляните на них. Лучше пасть мертвым на поле брани, чем оказаться живым в постели одной из этих *женщин.* Семьи трепетали. А если молодой человек увлечется не на шутку? Дай Бог, чтобы в момент отъезда из Сомюра он смирился с необходимостью порвать свою связь. Его подбадривали, старались облегчить ему задачу. Что ты, что ты, мой мальчик, на этих *женщинах* не женятся. И он уступал любовницу товарищу, который обеспечивал покинутой тот же образ жизни и ту же коляску, обычно так и заканчивались сомюрские идиллии. После чего беспокойство утихало, и свахи снова принимались за дело.

Увы, не один офицер, не один молодой человек из приличной семьи дал себя одурачить. Ибо соблазн был велик. Отправиться в путь с оружием, любовницей и багажом под предлогом, что предстояло стать гарнизоном в Сетифе, а Сетиф, Бог ты мой, — всего лишь Африка, а уж в Африке… Почему бы и нет? Случались досадные прецеденты, когда молодые люди из лучших фамилий подавали дурные примеры. Так, три года назад господин де Фуко Шарль[2] был выпущен младшим лейтенантом. Кутила! Он отправился к месту службы с одной из этих… Сторонники приличий закрывали лица. Сетиф Сетифом, но это была любовная интрижка, грязь, и прекрасная партия потеряна. Ах, нет, эти *женщины* были недостойны любви…

Если бы дочь Жанны Деволь открыла глаза в ту минуту, когда одна из этих женщин проходила мимо, что бы она могла понять? А сама Жанна? Можно ли себе представить, что через двадцать лет такие же офицеры — ибо они никогда не менялись, — красавцы-кавалеристы, посещавшие те же кабаки, распевавшие те же песенки, легко относившиеся к любви, жизни и смерти, станут первыми любовниками маленькой, дремлющей девочки? Сделать из Габриэль одну из этих *женщин*? А что в этом дурного? Ведь они всегда существовали, разве не так? Роль развеселых юношей из хороших семей будет состоять в том, чтобы побудить ее стать куртизанкой, принудить ее к этому, убедив в том, что мечты ее недосягаемы, а стремления несоизмеримы с реальностью. Они постараются внушить ей страх перед самой собой и одновременно осознание непреодолимого расстояния между ней и ими, между ней и законным счастьем.

Они будут постоянно встречаться нам на протяжении всей

юности Габриэль подобно тому, как всякий раз, приложив к уху раковину, мы слышим шум моря.

Если бы по прихоти судьбы она не была одарена воображением и отвагой, позволившими ей освободиться от их власти, никогда бы она не решилась избрать себе другую судьбу.

Юность Габриэль (1884–1903)

*…Она была непоседа. А от этого эпитета до репутации **шалая** — а хуже этого прозвища в провинции нет — всего один шаг.*

Стендаль. Красное и черное.

I
Детство в пригороде

В июле 1884 года Жанна дождалась того, на что уже больше не надеялась, — замужества.

Хотя Альбер не остепенился и не образумился, он смирился с необходимостью узаконить их отношения. Пришлось. Жанна снова была беременна.

Бракосочетание состоялось в Курпьере 17 ноября 1884 года. Регистрировал брак сам добряк мэр, Виктор Шамерла. Марен, преданный брат, и Огюстен Шардон, дядя, два года назад выгнавший Жанну из своего дома, обозвав ее бесстыжей, были свидетелями невесты, а хозяин кафе — у Альбера Шанеля всегда находился хотя бы один под рукой — был свидетелем жениха.

Хотя мстительное поведение курпьерских мужчин и нагнало в свое время страху на родителей Шанель, они тоже присутствовали на церемонии. С той поры, как к ним явились с угрозами, они сочли за благо держаться подальше от сына, ставящего их в неловкое положение.

Все Шанели отличались особым умением исчезать. Поэтому отец и сын практически потеряли друг друга из виду.

Но женитьба все меняла, она послужила поводом для того, чтобы крестьянское добродушие вновь взяло верх. Шалопай Альбер наконец-то остепенился, и едва с делом было покончено, как он заявил, что признает своими дочерьми двух девочек: Жюлию и Габриэль.

Оставалось только вписать их имена в свидетельство о браке родителей, что тут же и было сделано.

Словно не желая отстать от сына, Адриан Шанель заявил, что у него тоже есть причины для радости: он отпраздновал тридцать лет со дня свадьбы и только что снова стал отцом.

Так в день своей свадьбы Альбер узнал, что у него есть сестра в возрасте его дочери.

Она родилась в Сенте, звали ее Адриенна.

За всю жизнь у Габриэль не будет лучшей подруги.

* * *

Жизнь новой супружеской пары шла как и прежде, с той лишь разницей, что теперь в одной из провинциальных мэрий хранился акт, свидетельствовавший о том, что Альбер и Жанна были мужем

и женой.

Радости мало. Ибо во всем остальном… Что изменилось?

Альбер по характеру был человеком очень неровным. Нежность он проявлял лишь в момент, когда целовал жену перед отъездом. Он брал ее с собой только тогда, когда не мог обойтись без нее, но чаще всего Жанна, провожая его, оставалась одна. Она прислушивалась к стуку копыт удалявшейся лошади и всякий раз спрашивала себя, вернется ли Альбер.

Она знала, что он бабник и хвастун. Чтобы с большим блеском выступать в роли соблазнителя, Альбер плел небылицы о своем происхождении и, забывая упомянуть о том, что родные его занимались исключительно ярмарочной торговлей, утверждал, что у них была собственность, виноградники и что его настоящая профессия — торговля вином. А в это время Жанна продолжала ждать. Она ждала его бесконечно.

Главная трудность состояла в том, чтобы выбрать город, который служил бы «точкой опоры», а после этого — найти в нем жилье. Шанели побывали в разных городах аграрного кантона. Ни в одном из них не было крытого рынка. Приходилось работать в ненастье, на ветру, выставленные товары мокли под дождем, ибо зонты их почти не защищали.

Место для рынка во Франции всегда постоянно, именно оно часто определяло последующее развитие города. Его устройство подчиняется многовековой традиции: наверху площади помещаются торговки овощами, по бокам мясники, колбасники и продавцы сыра, и, наконец, в центре, двумя рядами, располагаются торговцы одеждой, шляпами или тканями, среди них и устраивался Альбер Шанель, а нередко и его родители. Ибо ему не раз случалось встречать отца и мать, а вместе с ними братьев и сестер, которых он еще не знал.

Не менее важным, чем рынок, было также наличие железной дороги. Тогда по крайней мере появлялась уверенность, что город окажется оживленным, торговым, промышленным.

Иссуар, где Жанна и Альбер поселились вскоре после женитьбы, отвечал всем этим требованиям. Здесь останавливались поезда, а рыночная площадь была похожа на просторную арену, окруженную домами с фризами, состоявшими из четырех рядов черепицы.

В Иссуаре, более двух лет служившем им пристанищем во время скитаний, Шанели сменили две квартиры, обе весьма скромные и находившиеся за почти безупречным овалом, очерчивавшим город и некогда обозначавшим линию средневековых укреплений.

Никогда не следует забывать, что детство Габриэль Шанель

прошло в предместьях.

Ее отец выказывал предпочтение перекресткам, кварталам, которые наполовину были деревенскими. Из окон открывался успокаивающий душу пейзаж — перед глазами, словно свиток, разворачивались пути и дороги, на которых Альбера поджидали приключения.

Оседлая жизнь была не для него: Альбер Шанель предпочитал странствия.

Ему необходим был этот вид из окна, чтобы легче переносить семейную жизнь, крики маленьких дочерей, тошноту Жанны, ее недомогание, когда приближался конец беременности, денежные затруднения, все то, что прекращалось, как только он уезжал.

Между отлучками Альбер с трудом скрывал ожидание следующего отъезда.

Поначалу Альбер Шанель и его семья поселились на улице Перье. Именно здесь 15 марта 1885 года у них родился первый сын. Кем станет этот мальчик? Каково его будущее? Бродяга с хриплым голосом, еще более рисковый малый, чем отец, пьяница, игрок, единственный из братьев, к кому была привязана Габриэль. Альфоне был ее любимцем, он всегда умел рассмешить и растрогать ее, и до 1940 года она потакала всем его прихотям.

Несколько месяцев спустя Жанна, Альбер и трое детей переехали на другой перекресток, поселившись на улице Мулен-Шарье и повернувшись на сей раз к югу, к горам Оверни.

Сколько воды утекло с тех пор, как Габриэль росла здесь, под этим кровом, таким старым, что, кажется, дом давно уже готов соскользнуть в реку. Однако он стоит по-прежнему, являя нам суровую обстановку, в которой прошло раннее детство Габриэль. По чистой случайности сохранилась до наших дней эта постройка, одна лишь уцелевшая из целого исчезнувшего квартала.

Дом находился в простонародном квартале, в сырой улочке, неподалеку от бечевой дороги, проходившей вдоль Куз-де-Павен. Здесь жили только ремесленники, и все, что на этой улице изготовлялось, по субботам продавалось на рынке. Несколько колес, приводимых в движение водой, крутились по-прежнему: то были последние мельницы… Жители проводили время в трудах: одни тесали жерди, другие, изготовлявшие свечи, топили жир. Свечники утверждали, что они единственные во Франции, кто умеет еще производить «настоящие римские свечи». Соседи Шанелей ткали пеньку, которую им приносили крестьяне. Последние ткачи, работавшие с материалом заказчика, последняя пенька, вымоченная и выделанная на дому… Были там шляпники, снабжавшие Альбера Шанеля продукцией. Наконец, в квартале

жили веревочники, гончары, гвоздари — в их мастерских мехи приводила в движение собака, без устали бегавшая внутри колеса. Последние гвозди, изготовленные вручную, последний кузнечный пес…

Раннее детство Габриэль прошло в соприкосновении с этой скудной реальностью, и среди детей ремесленников она нашла первых товарищей по играм.

Когда в 1887 году на свет появилась Антуанетта, третья дочь Шанелей, их финансовое положение было по-прежнему незавидным. Более чем когда-либо забота о детях падала на Жанну, здоровье которой ухудшалось. Ей становилось все труднее дышать. Тогда решено было уехать.

II
Страдания и смерть Жанны

Плодовитая семья вновь вернулась к жизни на вольном воздухе: Шанели переехали в Курпьер.

Для Жанны кончилось расставание с родиной, она вновь обрела маленький мирок родной провинции, Габриэль и Жюлия открыли для себя деревню, впереди у них несколько лет счастья. Альбера же в Курпьер привела…

Только надежда, что Жанна пустит там корни и он сможет наконец вернуть себе свободу.

У дяди Огюстена, который в документах того времени значится то как *«собственник»,* то как *«садовник»* — вероятно, *садом* и ограничивалась вся его *собственность,* — был дом. Он приютил племянницу. Кто бы сделал то же самое? Отношение к Жанне, этой мамаше Кураж, тащившей за собой четырех карапузов и муженька, никудышного семьянина, было благосклонно-беспокойное. Она никогда не отличалась крепким здоровьем. А теперь вернулась домой исхудавшая, с огромными глазищами. Она задыхалась, приступы удушья напоминали Огюстену Шардону страдания, в которых умерла его сестра Жильберта, мать Жанны. Неужели ее поразила та же болезнь? Неужто ей придется жить под постоянной угрозой смерти?

Огюстен Шардон не ошибался.

Жанна Деволь, как и мать, страдала астмой, которая с годами обострялась. Нас удивляет, что ее дочь Габриэль упорно стремилась сделать из матери больную туберкулезом, то и дело менявшую платки, испачканные кровью. Нет сомнений, что, приписывая Жанне Деволь тот же конец, что у дамы с камелиями, она считала, что облагораживает материнскую смерть. В ее понимании чахотка обладала бесспорными достоинствами: она производила впечатление, значит, это было хорошо. «Заставить рыдать белугой» — такова одна из главных пружин повествовательной манеры Шанель.

Чтобы выздороветь, Жанне следовало отказаться от поездок с Альбером и остаться в Курпьере, наслаждаясь деревенскими запахами и пением птиц. Свежий воздух пошел бы ей на пользу. Но отсутствие мужа было для Жанны источником такой тревоги и такого раздражения, что она не могла на это решиться. Зачем бросать работу? Дети находились теперь в надежных руках. Она оставила их под присмотром своей многочисленной родни.

И вот Жанна, несмотря на подозрения и ссоры, выбиваясь из

сил, отправилась вслед за Альбером. Какое значение имела ее болезнь! Для нее важнее было не вылечиться, а никогда не расставаться с мужем.

Душевный покой оставил ее навсегда.

Так велик был ее страх уехать от него хоть ненадолго, что она не рисковала покинуть дом даже на время родов. Так, в 1889 году, во время ярмарки в Гере, она родила сына. Снова она жила в меблированной комнате и снова в деревенской забегаловке. Как и Жюлия, *в кабачке,* и родился Люсьен.

В это время Габриэль проводила в Курпьере лучшие годы жадного на радости детства.

Ей было шесть лет, когда однажды мать вернулась из Гере с маленьким братиком. Но он ей был неинтересен. Антуанетта тоже была не в счет, она только начинала ходить. Тогда как Жюлия была всего на год ее старше[3], а Альфонс — чуть младше…

Втроем они составляли прекрасную компанию, и жизнь в Курпьере превращалась в постоянный праздник.

Как сумасшедшие, дети носились по окрестностям, помогали доброму дяде Огюстену по хозяйству — управлялись с тачкой, поливали, корчевали, вместе ходили в школу. Все это порождало в сознании веселого и шаловливого ребенка ощущение неизведанного прежде счастья. В Курпьере Габриэль вела жизнь маленькой провинциалки, освободившейся от материнских окриков, избавившейся от атмосферы раздражения и подозрительности, до сих пор определявшей семейный климат.

Бедная Жанна… Наступил день, когда ей пришлось отказаться от метаний между Курпьером и залезшим в долги, непостоянным и грубым мужем, который, хоть и встречал ее тумаками, был вынужден делать ей детей, чтобы избавиться от нее. Возможно, в своей наивности Жанна верила, что любима! Возможно, она говорила себе, что Альбер пошел в отца, на самом же деле, в отличие от папаши, он не был горделивым производителем, а просто мстил ей.

В марте 1891 года Жанна вернулась в Курпьер. Она страшно изменилась. В мае в сопровождении одного из кузенов, почтенного Этьенна Деволя, и соседа, чесальщика пеньки, дядя Шардон отправился заявлять о рождении у него в доме ребенка. Еще один сын Жанны… Еще один мальчик, которого в честь деда назвали Огюстеном.

Ребенок родился слабеньким и все время кричал.

Отец, как обычно, был «в отъезде».

Через некоторое время малышу стало совсем плохо. Бедняжка умер, никто толком не знал отчего. Его отвезли на кладбище, и Жанна почти тут же заговорила об отъезде. Но в том, что она

называла *«долгом»,* ее семья, воспринимавшая происходящее более трезво, видела *навязчивую идею, болезнь.* «Какая болезнь?» — спрашивала Жанна. Для нее единственной болезнью было отсутствие Альбера.

Долгое время она металась между крайностями, между нежностью, ненавистью, яростной ревностью, то заговаривала о разводе, то решала больше не расставаться с Альбером, то, поняв, что он был причиной того, что она навсегда потеряла здоровье, впадала в отчаяние и замолкала.

Габриэль было чуть больше тридцати, когда она сделала подруге юности следующее признание: «Мои родные были людьми обыкновенными, обуреваемыми обыкновенными страстями». В восемьдесят с лишним лет подруга тех давних тяжких времен все еще вспоминала, каким тоном были сказаны эти слова. Бесспорно, правдивым… Но можем ли мы утверждать, что Габриэль имела в виду свою мать? Ибо, в сущности, разве всепоглощающая страсть Жанны была так уж обыкновенна? Родись она в другом обществе, ее считали бы героиней, и именно чрезмерное супружеское рвение обеспечило бы ей бессмертие. Народ не ошибается в своих чувствах, и не сразу он прозвал Безумной ту, другую Жанну, королеву Кастильскую, вдову и узницу. Она была привязана к своему красавцу супругу, словно распятая к кресту, и отказывалась расстаться даже с его трупом. Тогда заговорили о безумии, и Карл Пятый заточил мать на долгие годы, которые ей еще предстояло прожить.

До конца жизни Жанна Деволь, беременная, обманутая, сходившая с ума от любви, переживала одну и ту же пытку: оставить Альбера в покое и потерять его или навязать ему свое присутствие и умереть, надорвавшись.

Смерть пришла к ней.

В 1893 году, несмотря на возражения близких, Жанна снова отправилась в путь. Она взяла с собой старших, Жюлию и Габриэль.

Отъезд был вызван письмом Альбера. Он обнаружил, что у него есть младший брат, Ипполит, и стал его компаньоном. Альбер писал также, что обосновался в Брив-ла-Гайард в качестве хозяина гостиницы и обзавелся жильем на авеню Эльзаса и Лотарингии.

Звучали эти новости прекрасно и произвели на Жанну наилучшее впечатление. Она стала связывать с новым положением Альбера множество надежд. Она представляла себя наконец-то счастливой рядом с успокоившимся, образумившимся мужем, нашедшим свое призвание.

Альбер был хозяином гостиницы: этого было достаточно,

чтобы их отношения изменились.

Разве могла Жанна догадаться о том, о чем он умолчал?

В гостинице Альбер был всего-навсего служащим. Вовсе не желая примирения с супругой, которую за последние три года он видел только урывками, он решил без всяких затрат заручиться помощью самой преданной из служанок — своей жены.

С обычным усердием Жанна делала все, что было в человеческих силах, лишь бы удовлетворить мужа. На этом она потеряла последнее здоровье.

Через несколько месяцев она слегла. Дело было зимой. Болезнь, которой она страдала, походила на сильную простуду. Жанна задыхалась, порою теряя сознание. Но не требовала ни помощи, ни лечения. Самое главное — ничего не стоить, не быть причиной расходов и неприятностей. Болезнь, обострение которой, несомненно, вызвал бронхит, пугала ее только потому, что угрожала ее семейной жизни.

16 февраля 1895 года, после многодневной лихорадки и приступов удушья, ее нашли мертвой. Умершей от истощения. Умершей надломленной. Ей было тридцать три года.

Ее муж был в отъезде.

Присутствовали ли при агонии ее маленькие дочки? Поскольку Габриэль никогда не говорила о смерти матери, этого никто никогда не узнает.

Последние формальности выполнил Ипполит, молодой деверь Жанны.

Таковы были обстоятельства смерти матери Габриэль Шанель.

III
Растерянность воспитанницы Шанель

Смиримся с тем — хотя на недостаток свидетелей этих лет жаловаться не приходится, напротив, — что у нас мало точных фактов, относящихся к десяти годам между смертью Жанны в Бриве и началом карьеры ее дочери Габриэль в Мулене. Свидетели всегда упорно молчали, сопротивляясь малейшим попыткам что-либо выяснить и уточнить.

Что хотели скрыть кузены, которым было известно, какие невзгоды выпали на долю девочки? Чем объяснить молчание близких родственников Габриэль?

Несомненно, подобные недомолвки были проявлением крестьянской мести. Нечто вроде: «Она ничего не сделала для нас, и мы ничего не сделаем для того, чтобы ее лучше узнали». Ибо, разбогатев, Габриэль нисколько не заботилась о родных, и они охотно сходились на том, что не любили ее.

Возможно также, что детство Габриэль казалось ее семье слишком мрачным, чтобы о нем рассказывать. Разве не предпочел Стендаль умолчать о некоторых моментах жизни Жюльена Сореля? О годах в семинарии, например. «Современники мои, которым кой от чего приходится страдать, не могут вспомнить о некоторых вещах без ужаса». От этого ужаса нет спасения… Все честные люди испытывают его перед лицом детей, у которых украли детство под тем предлогом, что хотели спасти их, воспитать, выучить, вылечить или помешать им дурно вести себя. Жан Жене уточняет его причины, когда, вспоминая о своей судьбе, пишет: «Мы останемся вашими угрызениями совести» («Ребенок-преступник»).

Так и Габриэль была предметом то мести своих родных, то их угрызений совести, и в силу обеих этих причин мы никогда точно не узнаем, как ее воспитывали.

* * *

Если мы хотим понять, какой была юность Габриэль Шанель, у нас нет иной возможности, как только внимательно сравнить между собой крайне противоречивые версии, сообщенные ею самой. Тогда удается выделить, а затем проанализировать редкие константы, вокруг которых группируются элементы истины. Ибо мы знаем, что Габриэль Шанель, пытаясь придумать себе

прошлое, смирялась с необходимостью использовать то здесь, то там подлинные факты — чтобы *было похоже на правду*.

Одна из таких деталей — конная повозка.

Не приходится сомневаться, что именно в двуколке, которой правил отец, двенадцатилетняя Габриэль Шанель покинула город, где умерла ее мать. Ни разу в этом пункте она не противоречила себе и рассказывала об этом так, что было ясно — она говорит правду.

Слушая ее, можно было догадаться, что речь идет об одном из важнейших событий ее жизни, что в памяти ее навсегда осталось воспоминание об этом скорбном дне, о дороге, по которой она удалялась от Брива в сторону гор, под стук копыт бегущей рысцой лошади.

Но на этом искренность Шанель кончалась, и начинались сплошные измышления в духе романов с продолжением.

«Мои родители терпеть не могли неряшливости. У них была природная склонность к чистоте, свежести, роскоши, поэтому на нашу упряжку обращали внимание из-за ее изящества, необычного для деревни», — рассказывала она Луизе де Вильморен[4], охотно вспоминавшей о том времени, когда Габриэль Шанель пыталась убедить ее помочь ей написать воспоминания.

И Луиза де Вильморен, которой не удавалось вырвать у нее ни слова правды, приходила в отчаяние.

К большому неудовольствию Габриэль, она отказалась использовать применительно к Жанне выражение «слабая грудью». Более того, слушая рассказы Шанель о комнате с закрытыми ставнями, об огромных черных глазах в пол-лица, писательница сумела разгадать истинную природу болезни, от которой страдала Жанна, и немало гордилась тем, что пробилась сквозь прустовские сумерки к свету истины. Но во всем остальном… Поэтому Луиза де Вильморен очень быстро отказалась от совершенно напрасных попыток заставить Шанель говорить правду. К тому же, встречаясь с современниками Габриэль, сообщавшими ей те или иные сведения, она быстро поняла, насколько несерьезен был миф, переложением которого ей предстояло заниматься.

Габриэль Шанель постоянно меняла свои рассказы, и доверять ей было совершенно невозможно. В зависимости от настроения то и дело преображалась и сама повозка. Становилась кабриолетом, когда Шанель описывала отца как властного и крупного торговца лошадьми, превращалась в тильбюри в те дни, когда Альбер выступал в роли зажиточного виноградаря. Честолюбивые стремления отца, так и не осуществившиеся, в

устах дочери становились реальностью. Она доходила до того, что изображала его как человека обольстительного, изысканного, расточительного, владельца большого виноградника и — чего стесняться? — прекрасного знатока английского языка.

Все эти детали, вызывающие то смех, то жалость, не заслуживали бы нашего внимания (и что нам за дело, была ли повозка двуколкой или простой тележкой), если бы в них не содержались крупицы истины, позволяющие нам в последний раз увидеть в роли отца Альбера Шанеля, наконец-то свободного, наконец-то вдовца, везущего в убогом драндулете двух дочек в сиротский приют.

* * *

Удивительно, во что превратились наши монастыри после того, как Революция вытряхнула из них статуи, монахов, аббатис и прошлое. Загадочная общность их судеб завораживает. Будь то Фонтевро, дорогое сердцу Плантагенетов, ставшее центральной тюрьмой, или аббатство в Пуасси, связанное с памятью о Святом Людовике, превратившееся в исправительный дом, или же Бек-Эллуен, до 1948 года занятый солдатами. Казармы, тюрьмы, интернаты… Казалось, этим местам было предназначено служить приютом для общин, состоявших из людей одного пола.

А Обазин?

Столь же красивому, столь же древнему, столь же славному своими аббатами, святыми и достойными поклонения мощами, как и другие монастыри, Обазину суждено было принять в свои стены тоскливый и холодный мир, вечное однообразие сиротского приюта для девочек.

Если верить некоторым семейным преданиям, двери именно этого заведения с неотвратимостью захлопнулись за дочерьми Жанны Деволь.

Монахини конгрегации сердца Марии, взяв на себя управление опустевшим монастырем, устроили в нем самый крупный в округе приют. Вполне вероятно, что именно в это заведение, расположенное в пятнадцати километрах от Брива, и обратился Альбер Шанель.

Тот факт, что записи, относящиеся к периоду возможного пребывания Жюлии и Габриэль в монастыре, были потеряны или уничтожены, скорее подтверждает нашу гипотезу, нежели опровергает ее. Розыски и исчезновение бумаг, давление, оказываемое «высокопоставленными лицами» с тем, чтобы был изъят или уничтожен тот или иной документ, хранившийся в

досье Шанель, были делом обычным. Это не первый сюрприз, с нею связанный. Но нельзя вновь не удивиться тому, с каким упорством пыталась она сделать невозможное — стереть все следы того, что ей пришлось пережить.

Если и существовало слово, ни разу не слетевшее с ее уст, это было именно слово «приют», слово, которого она боялась и которое носила в себе до самой смерти, при этом оно нисколько не потеряло своей силы. Для того чтобы понять, что оно значило, понять, что пережила Габриэль в то роковое мгновение, когда очутилась в сиротской одежде за стенами монастыря, надо обратиться к ее признаниям, сделанным много позже и по другому поводу. Так, один из ее друзей времен Виши (Карло Колькомбе) вспоминал, что, пытаясь утешить Шанель после потери дорогого ей человека, обратил внимание на такую реплику. «Не объясняйте мне, что я чувствую, — сказала ему она.

— Мне это знакомо с раннего детства. У меня все отняли, и я мертва… Впервые я испытала такое в двенадцать лет. В течение жизни человек может умирать много раз…»

Можно не сомневаться, нечто подобное она пережила в первые дни в Обазине.

Лишившись привычной обстановки убогих жилищ, присутствия соседей, дружелюбных, но так же, как и ее семья, страдавших от отсутствия воздуха, места, денег, маленькая девочка вдруг очутилась в просторных постройках Обазина. Какой потерянной должна была она себя там чувствовать… Видела ли она когда-нибудь столь же удивительную чистоту линий, как в Обазине?

Взгромоздившееся на вершину горы и окруженное со всех сторон необъятными лесными просторами, аббатство было похоже на крепость.

В этой суровой обстановке предстояло воспитываться Габриэль Шанель. Подобно девочкам благородного происхождения, которых раньше с детства помещали в монастыри, она прожила в Обазине почти семь лет.

IV
Аббатство монаха Этьенна

На стенах не было ни одного украшения, ни одной скульптуры. Единственной составляющей красоты были объемы, единственным богатством — голый камень, вся гениальность постройки заключалась в пропорциях.

Таким образом, романская архитектура представала во всем своем совершенстве и нематериальной красе. Какое впечатление произвела подобная обстановка на воспитанницу Шанель, чуткую к окружающему, как и все дети?

Обазинский ли монастырь воспитал в ней строгость, которой она отличалась впоследствии, внушил ей инстинктивное отвращение ко всему, что нарушало чувство меры, научил ее избегать всякого излишества?

Монастырские постройки, возвышавшиеся сбоку от церкви, образованный ими двор, фонтан, выдолбленный в монолитной глыбе и перенесенный сюда ценою невероятных усилий, наконец, плавучий садок, заполненный прыгающим с Куару горным потоком, который за много километров отсюда, из любви то ли к Богу, то ли к его беднякам, неутомимые дробильщики камней сумели заключить в трубу, — все это было сделано горсткой бесправных скитальцев, одетых в грубую коричневую шерсть, покрытых паразитами, таких грязных и нищих, что порою их принимали за бродяг. Обреченные на молчание и одиночество, в XII веке они повиновались одному монаху, это был своего рода *Poverello* с берегов Дордони, но более суровый и жестокий, нежели святой из Ассизи, ангельского и проповеднического в нем было меньше, это был отшельник и первопроходец, божий безумец, хрупкий, уродливый, лысый, в тридцать лет морщинистый, словно старый бонза, сын народа — Этьенн Обазинский.

Этьенн из Лимузена, основатель многочисленных монастырей, Этьенн Флагеллант, Этьенн босоногий, Этьенн кающийся, осознающий свою недостойность и потому требующий себе занятий самых отвратительных, Этьенн, золотарь и возчик отбросов, Этьенн, считавший себя не Христофором, несущим Христа, но навозом, несущим навоз братьев своих, — сколько раз воспитанница Шанель слышала рассказ об этой образцовой жизни? Отрывки из его жизнеописания читали во время прогулок, в классе, в часы приема пищи, и «Жизнь Этьенна Обазинского», появившаяся в 1888 году и одобренная епископом Тюльским, ценилась монахинями наравне с Евангелием.

Габриэль Шанель никогда не удастся избавиться от влияния этой книги.

В тот период, когда Обазин стал для нее запретным словом, история доброго отшельника порою проскальзывала у нее в разговоре. Она вставляла в рассказ кое-какие упоминания о нем, полагая, как видно, что все это не поддается проверке.

Так, нищенствующие монахи, поражавшие своей неопрятностью, появлялись в воспоминаниях о ее воображаемом детстве. Она описывала их как бородатых, потных побирушек, одетых в лохмотья.

Возникал вопрос, откуда она их взяла. Ее подозревали в том, что от нечего делать она перелагает насыщенные драматизмом сцены какой-нибудь оперы. На самом же деле средневековые монахи не имели ничего общего с «Хованщиной», это были первые соратники Этьенна, нелюдимые строители Обазина… Шанель казалось, что она ни в чем не признается. Она ошибалась. Монахи выдавали ее точно так же, как если бы она открыто говорила об Обазине.

Или, например, Валетта.

Шанель охотно упоминала о печальных каникулах, проведенных вместе с Жюлией и Антуанеттой в монастыре, называвшемся так, просторном и красивом, но летом пустовавшем. Ей казалось, что это название не таит в себе никакой опасности. Никогда там не было монахинь, и к тому же место это не значится ни на одной карте. Откуда же взялась Валетта?

Знать о ней мог только ребенок из Обазина. Монах Этьенн основал там в 1144 году аббатство, от которого почти ничего не осталось, и ни в одном путеводителе, ни в одном сочинении оно не упоминается, за исключением старой книги, затверженной монахинями сердца Марии. Так, считая, что она заметает следы, Габриэль Шанель, сама того не сознавая, выдавала секрет, и именно тот, который пыталась утаить.

Об огромном строении, в котором ей пришлось жить, о просторных залах, заполненных детьми, о часах, проведенных в молитвах, церковных песнопениях, в молчании, в работе в монастырских мастерских, об уроках домашнего хозяйства, о наказаниях, о прогулках, об обучении благочестию — обо всем этом Габриэль не говорила никогда.

Никогда она не рассказывала и о воскресных походах, когда приют отправлялся пешком к вершинам Куару. Оттуда девочки любовались однообразным лесным пейзажем. Насколько хватало глаз — один и тот же зеленый цвет, одни и те же деревья и холмы, а в центре мирного океана плыл их монастырь. Монахини

вновь говорили о его секретах: ни на что не похожая колокольня с неправильными сторонами. На полу в одном из коридоров — необъяснимые знаки, таинственная мозаика, каждый из составлявших ее рисунков, запечатленных в камне, был образован повторением цифры, всегда одной и той же.

«Почему?» — спрашивала зачарованно воспитанница Шанель. Почему цифра? Цифра сильнее слова? Сильнее образа?

Загадка языка цифр волновала ее в особенности. В час успеха она вспомнила о ней. Есть ли что-нибудь более магическое, чем цифры? Например, цифра пять… Не правда ли, прекрасное название для духов?

Именно вокруг цифры будет сколочено ее состояние.

Засветло сироты из Обазина возвращались в монастырь.

Выстроившись по двое, маленькая стайка проходила через деревню, где на пороге домов стояли старики и старухи. Все друг друга знали и здоровались.

А потом за детьми захлопывались двери бело-черного мира.

Белыми были сиротские рубашки, мытые-перемытые, всегда чистые… Черными были юбки в глубокую складку, чтобы можно было ходить широким шагом, они носились долго. Черными были покрывала монахинь и их платья с широкими проймами. Ах! Эти закатанные до локтя рукава с большими отворотами, куда прятали носовой платок… Но ленты, стягивавшие голову, и широкие апостольники в форме воротничков были кипенно-белыми. Белыми были также длинные коридоры, белыми были стены, выкрашенные известью, но высокие двери дортуаров были черными, такого глубокого, такого благородного черного цвета, что, раз увидев, вы запоминали его навсегда.

Таким был Обазин.

Но никогда Габриэль ни прямо, ни косвенно не намекала на то, что она помнила о маленьком мирке, чья жизнь за высокими стенами походила на тюремную.

Странно, что, несмотря на свою чрезмерную словесную агрессивность, она никогда не восставала против монастырских порядков. Ни единого слова осуждения. Что испытывала она пятьдесят лет спустя? Какой груз несло в себе слово «Обазин»?

Нельзя отрицать, что монастырский мир оказал на нее непреходящее гипнотическое воздействие. И если в течение долгого времени воспоминание об Обазине внушало Габриэль отвращение, может статься, что в конце концов потрясение утратило свою остроту и в глубине души она обнаружила неожиданную нежность по отношению к месту и женщинам, давшим ей приют.

Поэтому, чтобы понять, почему ее охватывали вдруг

внезапные вспышки веселья, нам придется вспомнить о простодушной радости монахинь, радости беспричинной и производящей даже впечатление притворной. Габриэль Шанель была женщиной злопамятной и непокорной, из-за того, что в начале жизни с ней обошлись несправедливо, она сама стала крайне несправедливой. Но в ее манерах, поведении, речи пробивались порою наивность и бесхитростность ее монастырского детства.

И когда она вдруг принималась мечтать о строгости, об идеальной чистоте, о вымытых с мылом лицах, когда ей хотелось, чтобы вокруг все было бело, просто, светло, когда она заводила разговор о белье, сложенном в высоких шкафах, о крашенных известью стенах, о большом столе, покрытом мольтоном, над которым легкими лепестками порхают накрахмаленные нагрудники и крылышки воротничков, следовало догадаться, что она пользуется тайным языком, каждое из слов которого означало лишь одно: Обазин.

* * *

Озлобленность, ненависть, враждебность она приберегала для тех, кто за стенами монастыря отверг ее и вынудил к изгнанию, для той силы, которую другие называют своей семьей. Что такое семья, Габриэль не знала. Этого понятия для нее не существовало. Ее семья? Она ограничивалась Жюлией, Альфонсом, маленькой Антуанеттой и младенцем Люсьеном. Они, и только они, были ее семьей, от которой ничего осталось. Детей разлучили. Увидит ли она когда-нибудь снова братьев и сестер?

На отца она не сердилась. Она ничего не ждала от того, кто всегда заставлял плакать мать и постоянно исчезал. Он продолжал прежнюю жизнь. И будет продолжать.

Она была уверена, что и через много-много лет он ничуть не изменится, будет все тем же бродягой. Нет, на отца она не сердилась.

Она не могла простить силам безымянным и чудовищным, сонму дядей, теток, кузенов, бабок и дедов, которых презирала до последнего дыхания. Бедняки, полубедняки, вцепившиеся в свои жалкие сбережения… Ничтожества, бездарности, простонародье, провинциалы… Она не делала между ними различия: все хороши.

И когда сестра отца, Луиза Костье, жена железнодорожного служащего, решила разделить с сиротой радости домашнего очага, когда эта добрая и великодушная женщина пригласила

маленьких Шанелей провести каникулы в Варенне, поселив их вместе с собственными детьми, было слишком поздно: Габриэль во что бы то ни стало должна была найти виновного в своих бедах, *должна была.*

Поступая довольно нечестно, она пеняла тетке и за свое сиротство, и за монастырское заточение, и за разлуку с братьями и сестрами. Поэтому к летним милостям она отнеслась вызывающе.

Пойти на попятный Габриэль не могла.

Она совершенно не знала эту женщину, но уже ненавидела ее.

Поэтому воображаемые родственницы, у которых, по ее утверждению, она воспитывалась, есть олицетворение ее ненависти: она хотела, чтобы слушатели поверили в двух сестер отца, в двух старых дев, ворчуний, придир и ханжей, на самом деле никогда не существовавших. Эти женщины *должны были* принадлежать к проклятому племени скряг и богачек, у которых есть горничные, но которые никогда ничем не поделятся. Они *должны были* так отнестись к ребенку, что их прием был по сути плохо скрываемым отторжением. Габриэль *должна была* повсюду чувствовать себя нежеланной и заранее отвергнутой.

Лжететки, главные персонажи ее мифологии, олицетворяли собой сплоченные и люто ненавидимые Шанель силы, которые сделали ее ребенком из Обазина, а позже сделают из девушки и женщины существо маргинальное, *не похожее на других.* Этих выдуманных ею женщин в течение сорока лет Шанель смешивала с грязью, отдавала на поживу журналистской иронии, подпитываемой целым арсеналом беспрестанно обновлявшихся историй, постоянно и при каждом удобном случае высмеивала. То была холодная месть Габриэль-ребенка.

V
Приютские дети

Что бы мы ни думали о судьбе дочерей Альбера Шанеля, участь его сыновей оказалась еще более мрачной.

Альфонсу и Люсьену было соответственна десять и шесть лет, когда умерла их мать. Поскольку среди родных не оказалось никого, кто взял бы на себя заботу о них, мальчиков отдали на воспитание в крестьянскую семью.

Управление больницами находилось в руках полурелигиозных-полусветских властей, которые назначали приемную семью, решали, какую сумму выплачивать на содержание ребенка до тех пор, пока тот не достигал определенного возраста и не поступал в ученики. Так Альфонс и Люсьен стали «приютскими детьми». Надо полагать, подобная сделка не вызвала больших возражений со стороны племени бродячих торговцев.

Шанели и не думали восставать против практики, которая была знакома им с рождения и к которой жители Понтея — начиная с Жозефа Шанеля, трактирщика, и его жены Мари Тома — долгое время прибегали сами. Предок селил у себя по три найденыша сразу. И в одну, особо холодную зиму он потерял двоих за один месяц. Оба умерли…

Чем беднее была провинция, тем приютских детей было больше и тем смертность была выше. Так было в Понтее. Эти дети приносили столь же ощутимый доход, как и каштаны. Кроме того, это была бесплатная помощь, которой крестьяне — за редким исключением — злоупотребляли самым возмутительным образом.

Приютские дети спали в хлеву. Листья каштанов служили им постелью. Фермер разговаривал с ними грубее и наказывал сильнее. Внушения духовенства, как признает еще и сегодня кюре Понтея, ничего не меняли в этих варварских порядках. Сельские священники понапрасну отчитывали свою паству.

Случалось, что приемная семья теряла документы. Бумаги эти чаще всего ничего из себя не представляли, обычные договоры, касавшиеся помещения ребенка в семью, где указывались только имя и фамилия сироты, а для подкидышей — и того меньше. Просто номер. Номер рапорта, занесенного в какой-нибудь неведомый реестр, где констатировался факт, что ребенка подбросили. Иногда в приложении имелось письмо, где в нескладных выражениях говорилось, что за ребенком однажды

придут. Тогда, чтобы подкидыша легче было узнать, к реестру подкалывались кусочки одежды. Нелепая предосторожность, ибо всякие следы со временем терялись.

Из года в год за ребенком закреплялось прозвище, производное от внешности или черты характера. Его имя, если оно у него и было, забывалось. И на всю жизнь, перед лицом непостижимой людской злобы, он оставался лишь плотью, без точного предназначения, без места в деревне. Он был «Жаном со двора», «Головастиком» или «Найденышем». Ноги и руки ему были даны, чтобы вкалывать, чтобы делать самую грязную работу. Если он умирал, его хоронили в углу кладбища. Кюре заносил его в список умерших. Но что сказать о покойнике, не имевшем никаких документов? Запись бывала коротка: «Кончина приютского ребенка. Похоронен». Таких немало в церковных книгах Понтея.

Приютского ребенка можно было отколотить, но кюре следил за тем, чтобы он получал образование. Однако почти всем крестьянам удавалось обходить и эту загвоздку. Да и что можно было поделать? Зимой предлогом, чтобы не пускать ребенка на занятия, служили снежные заносы, делавшие дороги непроходимыми, потом наступал сезон дождей. Кто же пошлет ребенка в школу в такую погоду, когда хороший хозяин и собаку из дома не выгонит? И ребенок ишачил в хлеву.

С первыми погожими днями его вместе с пастухами отправляли на горные пастбища. Он спал под открытым небом, без конца прислушиваясь к звукам стада. Приемная семья получала работника, не заботясь ни о его пропитании, ни о крове. Кюре жаловался администрации. Он сообщал об отсутствии ребенка на уроках катехизиса. Подобные жалобы были часты, но и они не могли всколыхнуть бюрократическое болото. Да и что можно было сделать? Не посылать же чиновников с крахмальными воротничками из бюро помощи нуждающимся на охоту за маленькими пастухами на высоту девятьсот метров?

Ребенок оставался в горах.

Он весело делил лишения с пастухами, и в деревне его снова видели лишь после того, как заканчивался сезон перегона скота. Колокол издали извещал о его прибытии. Ребенок возвращался почерневший, исхудавший, окруженный большим облаком пыли. Но крестьян прежде всего интересовало состояние животных, и рассматривали они только их. Затем пастух вместе со стадом отправлялся в хлев.

Братья Габриэль Шанель до тринадцати лет не знали другой жизни, и все, что с ними случилось потом, не смогло полностью изгладить это прошлое. Долгое время язык крестьян оставался

единственным, который они понимали сразу же.

Деду ли с бабкой или вмешательству тетки Костье были они обязаны тем, что, достигнув того возраста, когда отдавали в ученики, оказались в семье бродячих торговцев, избравших своим пристанищем Мулен?

С этого времени Альфонс и Люсьен ведут жизнь, мало отличавшуюся от той поры, когда они жили с матерью.

Несмотря на развал семьи, на горести, на дремучее невежество, несмотря на отступничество отца, на честолюбие и нетерпеливое желание побыстрее добиться своего, унаследованное от Альбера, им предстояло, как и всем Шанелям, познать тяжелую жизнь бродячих торговцев.

Альфонс торговал галантереей, криком возвещал о появлении муленских зеленщиц, таскал корзины на рынке — чем только ему не приходилось заниматься.

От его детей мы знаем, что он охотно заявлял: «В тринадцать лет я попал на улицу… и все время колесил по дорогам».

Бродяжничество было его судьбой.

То же самое было и у Люсьена.

VI
Каникулы в Варенне

1900 год. Габриэль скоро уже восемнадцать. Это тот возраст, когда монахини оставляли у себя только девушек, собиравшихся стать послушницами. Те же, кто не был расположен принимать постриг, покидали Обазин. Между тем это не значило, что их оставляли на произвол судьбы.

В наши дни трудно представить, какой мощной и влиятельной силой являлись монастыри. Монахини не ограничивались тем, что помещали сирот на обучение тому или иному ремеслу, продолжая предоставлять им кров и пропитание.

Они заставляли покидать родную провинцию тех девушек, которые могли отличиться в другом месте, переводили их из монастыря в монастырь и, хотя не могли обеспечить своим питомицам определенное социальное положение, по крайней мере находили им работу, благодетельниц, а порой и мужей.

Кому Габриэль была обязана тем, что ее послали в Мулен? Монахиням, ее воспитавшим? Или своей забывчивой семье? Варенн-сюр-Алье, маленький городок, где жила Луиза Костье с мужем-служащим, находился всего в двадцати километрах от Мулена. Для тетки было, наверное, заманчиво вырвать молоденьких племянниц из их уединения, хотя бы для того, чтобы помочь им заработать немного денег. В Обазине у них не было будущего.

Как бы то ни было, говорить о случайности трудно, и, разумеется, не по волшебству Габриэль Шанель в возрасте семнадцати лет была принята в одно из религиозных заведений Мулена, где в течение многих лет находилась Адриенна Шанель, ее сверстница, последний ребенок плодовитых бабки и деда.

В старинном центре города, на границе того квартала, где находятся коллегиальная церковь, дозорная башня и улочки со старыми домами, опирающимися друг на друга, чтобы не рухнуть, в довольно безобразном строении, особенностью которого является всякое отсутствие таковой, помещается пансион Святой Богородицы. Есть все основания полагать, что именно в это заведение попали Жюлия, Габриэль и Антуанетта. Его посещали дети самой зажиточной муленской буржуазии. Но кроме платного колледжа, в нем был также — а в ту эпоху это было частым явлением — и интернат для нуждающихся девушек. Итак, с одной стороны, девицы, отличавшиеся своим происхождением, с другой — неимущие.

Хотя среди набранных в бесплатную школу было меньше крестьянских детей, чем в Обазине, можно себе представить, сколько горечи вызывала эта система с присущим ей неравенством.

Габриэль в особенности была чувствительна к тому, что вновь делало ее *непохожей* на других. Она вновь ощущала себя жертвой несправедливости, лишенной всего.

Если бы не прием, оказанный ей Адриенной, если бы не огромное любопытство, которое вызывал у нее город, возможно, что в Мулене она была бы несчастнее, чем в Обазине.

Порученная заботам монахинь Святого Августина в возрасте десяти лет, всегда обучавшаяся в бесплатной школе, Адриенна, в отличие от остальных членов семейства, к какому бы поколению они ни принадлежали, получила образование.

Она поражала своей красотой, была великолепно воспитана и избежала многих испытаний, выпавших на долю Габриэль: чувство заброшенности и одиночества в пансионе-тюрьме было Адриенне незнакомо. У нее были прочные семейные связи.

По правде говоря, у Адриенны было две матери и три семьи вместо одной. Прежде всего — монахини. Они практически удочерили ее и постарались обучить всевозможным заботам по дому. Затем — Луиза Костье, которую, непонятно почему, звали теперь не иначе как «тетя Жюлия». Монахини позволяли Адриенне свободно навещать сестру, которая была старше ее на девятнадцать лет. И наконец, отец и мать. С возрастом Анри-Адриан и Анжелина стали больше бывать дома. Не то чтобы они вовсе перестали кружить с ярмарки на ярмарку, но теперь отдавали явное предпочтение городам, где был крытый рынок. Торговать там было проще. Рынок же Мулена, построенный в конце века, особенно нравился старому торговцу и его жене. Прежде всего зимой. Постепенно эти вечные странники стали мечтать о покое. Они начали искать себе пристанище. Им оказался Мулен, где их жилье, мансарда на улице Фосс-Бре, находилось прямо по соседству с тем, что было им всего дороже, — с рынком, с Ярмарочной площадью и их дочерью Адриенной.

Но настоящим семейным центром продолжал, однако, оставаться низкий дом с садом в Варенн-сюр-Алье, где добрая тетка Костье всегда бывала рада принять, хотя бы скромно, свою юную сестру, племянниц, племянников и брата Альбера Шанеля, с которым некогда она была так дружна и с которым ее столько связывало.

Как отнеслась Габриэль к родственникам, появившимся столь внезапно и в таком количестве? Выросши в одиночестве, среди

чужих, в отдаленной деревушке в Коррезе, она вдруг обнаружила, что у нее есть дед, бабка, две тетки, кузены моложе, чем она сама… Это было слишком. Она отвергла их всех разом, отказавшись признать, что у нее есть обязательства по отношению к семье, которая так поздно приняла ее в свое лоно.

За одним все же исключением: им была Адриенна.

По собственному ее признанию, с этой незнакомой ей родственницей, хотя и *ужасно семейной,* она подружилась сразу и без колебаний. Они стали неразлучны. Их сходство поражало так же, как и их красота, они были почти одного возраста. Роднила их и необъяснимая элегантность. Все, кто видел их впервые, считали девушек сестрами.

Это заблуждение доставляло им удовольствие. Ни Адриенна, ни Габриэль никого не разубеждали.

Адриенну отличали благоразумие, вера в жизнь, которых так не хватало Габриэль. Она стала единственной наперсницей молодой воспитанницы Обазина, которую до головокружения влекло все таинственное, опасное. В дортуаре пансиона в Мулене, в мансарде, которую они делили во время каникул в Варенне, они разговаривали порой до зари. Адриенна надеялась, Габриэль воображала. Одна старалась не ошибиться, другая выдумывала. Сами того не подозревая, они уже были *врагами*… Так всегда и бывает в опасных союзах, возникающих, когда кончается детство. Первое взаимопонимание, основанное на рискованных поступках, на обещаниях, в которых стыдно признаться. Но в отличие от того, что происходит обычно, союз Габриэль и Адриенны не распался при первом столкновении с жизнью. Это случится позже… Много позже. Когда Адриенна, долго ждавшая законного брака, наконец-то выйдет замуж. В то время как Габриэль…

Что касается сестер Габриэль, то жизнь предназначила им маленькие роли. Одна — немного неповоротливая, другая — слишком хрупкая. Старшая, Жюлия, пассивная и славная, всего боялась. Антуанетта, вечно не удовлетворенная, ничего не любила. Они были на вторых ролях — наперсниц, горничных. Слушать, следовать за двумя красавицами, бывшими еще узницами монастырских стен, — таково было назначение Жюлии и Антуанетты в Мулене. Они бы долго оставались таковыми, если бы жизнь их не была так коротка.

* * *

Трудно представить себе столь же типично французское местечко, как Варенн-сюр-Алье. Деревня? Нет. Поселок,

окруженный пыльной дорогой, с церковью и домом священника, над дверью которого прилажен здоровенный каменный крест, имеющий откровенно кладбищенский вид.

Напротив церкви, в самом центре поселка, на виду, высится весьма претенциозная ратуша, построенная около 1830 года и снабженная своего рода дозорной башней, часы которой отбивают время в пустоте полей. Но здание это было воздвигнуто с целью не только показывать время, но и дать понять гражданам Варенна, что в лице мэра господин кюре имеет серьезного конкурента, тоже способного взметнуть к небу гордый силуэт башни, слышимой и видимой издалека.

Две другие важные точки — вокзал и постоялый двор. Один торчал здесь, казалось, с единственной целью придать пущей важности дяде Полю Костье, другой — служил для того, чтобы во время больших маневров офицерам муленского гарнизона было куда пойти выпить и потанцевать.

Со времен дилижансов в гостинице Варенна ничего не изменилось, и было свое очарование в старых стенах, в двойной деревянной галерее, с которой каскадом стекали розы, пышущие мощной природной энергией, над цветами роем вились пчелы.

В Варенне почти не было торговли, главная улица кончалась в поле.

В сущности, Варенн был всего-навсего железнодорожным пунктом, торговой станцией, улицей, проложенной средь полей. Вокруг простирались волнистые луга и благопристойные холмы, ничто не нарушало гармонию ровной и отчаянно скучной местности. Про такой пейзаж принято говорить, что он действует успокаивающе.

Дом тети Жюлии выглядел совсем не по-крестьянски. Это был каменный особнячок, крытый красной черепицей и стоявший в стороне от дороги. В нем не было ничего вычурного — ни крыльца, ни навеса, его отличали, скорее, робкие поползновения на буржуазную строгость, а беседка, две безупречно симметричные клумбы и сарайчик со всегда закрытыми ставнями придавали ему какой-то неуловимо пригородный вид.

Когда Габриэль, выросшая в одиночестве, воспитанная в монастыре, попала на эту землю обетованную, она восприняла ее как таящую почти столько же неприятностей и опасностей, что и монастырь, но только еще более грозных, ибо они не были столь явны. Она проводила каникулы в Варенне, чувствуя себя узницей многочисленных запретов, ее родные жили в страхе, вечно опасаясь того, что ошибка, опрометчивый поступок, досадные траты вновь низведут их до уровня пролетариев, откуда они вырвались с таким трудом. «Разве это жизнь»? — думала

Габриэль. «Сплошной обман», — говорила она себе. Очень быстро ее несогласие с семейным укладом стало очевидным. Семья усмотрела в этом дурной характер. «Разве я виновата, — думала Габриэль, — что не боюсь рисковать? И почему в этом доме нет никакого чаровства?»

Откровенничая с Адриенной, Габриэль сумела заразить ее своими надеждами и убедить в том, что жизнь должна быть *совсем другой.* О родственниках она говорила с сарказмом. Постепенно Адриенна переходила на ее сторону. Ей тоже захотелось, чтобы в жизни было хоть немного места неожиданности, которой так боялись ее родные.

Но Габриэль первой признала, что страх, в котором жила тетка, словно в скорлупе, — по-мещански осмотрительной она стала, только выйдя замуж, — не вытравил в ней иных, ценных качеств, тех, что не связаны с классовой принадлежностью.

Тетя Жюлия была наделена воображением, и у нее были золотые руки. В работе она отличалась веселостью, проистекавшей от изобретательности и умения переделывать вещи, преображать их. Она знала, как много таит в себе кусочек ткани, умело накрахмаленный. Внезапно Габриэль, которая умела шить так же хорошо, как и Адриенна, — недаром она была ученицей монахинь, — почувствовала, что работу тети Жюлии отличало удивительное качество — фантазия. В монастыре работа сводилась к аккуратности и прочности. Но фантазия? Изобретательность? Их не было в программе сиротского приюта. И тем не менее… Габриэль поняла, что это очень важно.

Тетя Жюлия умела украсить корсаж гвоздикой, сделанной из искусно сложенного и обрезанного по краям носового платка. Из маленького никчемного куска материи она могла сделать плиссированные воротнички и фестончатые манжеты, чтобы оживить строгие платья своих племянниц. А ее шляпы?

Шляпы были единственной роскошью, которую она себе позволяла.

Чтобы сделать покупку, раз в году она специально отправлялась в магазины Виши, соседнего города, который в представлении Габриэль был синонимом блеска и роскоши.

Никогда прежде Габриэль не слышала, чтобы женщины говорили о своих шляпах. Подобная изысканность в Обазине была неведома.

В дни покупок, вернувшись в Варенн, тетя Жюлия звала Адриенну и Габриэль и, вооружившись ножницами, принималась за переделку шляп, украшая их аксессуарами собственного изобретения. Завязки, отделка тесьмой, поля приподнятые, волнистые… Адриенна и Габриэль помогали ей создать новое

чудо. Но форма головного убора почти не менялась. Все, что изобретала тетя Жюлия, всегда было связано с привычными женскими шляпками, и булавка была их непременной принадлежностью. Она вдохновлялась неосознанными вкусами тех, для кого чепчик, хрупкое чудо, был символом женственности, и в еще большей степени нерешительностью тех, кого не удовлетворяли новомодные веяния шляпного искусства. Провинциальный дух.

Когда тетя Жюлия шила и готовила, молчаливое, незаметное несогласие между ней и ее племянницей-бунтаркой исчезало. Что уже тогда Габриэль ставили в вину? Что она строила слишком большие планы… Что была *непохожей* на других. Но враждебность, питаемая тайными умыслами, исчезала, ибо обе любили хорошо сделанную работу. Дело в том, что в бельевой и на кухне пристрастие к жесткой экономии и страх остаться без куска хлеба, владевшие Шанелями из Варенна, внезапно отступали перед свойственным концу века стремлением пожить всласть.

Это было время дородных красавиц…

Время, когда худоба вызывала отвращение…

Это была эпоха, когда застолье было возведено в ранг искусства, и самая скромная хозяйка знала, что непременным условием хорошего обеда, который мы делим с другими, подобно любви, отдыху или мечтам, было навевающее покой белое пространство скатерти во всей его бесполезной и тленной красоте.

Скатерти… Простыни… Все женщины в доме заботились об их белизне…

Со времен Варенна на всю жизнь унаследовала Габриэль и определенную манеру выражаться. Она невольно заговорит так полвека спустя, когда будет пробирать своих молоденьких швей: *«До каких же пор ты будешь мне* заглаживать складки черт-те как! Можно подумать, горная дорога! Нет, и это ты называешь работой? Ты бездарна, детка моя. В твоем возрасте я бы расправилась с этим пластроном мигом. Что это за халтура? Ну-ка! Разгладь все это заново… И чтоб никаких морщин!»

Так говорила тетя Жюлия.

И в то время, пока вдалеке посвистывали поезда дяди Поля, а в небе через равные промежутки времени сталкивались соперничающие звуки колокола и часов, тетка и племянницы подолгу рассуждали о том, с какой силой следует налегать на утюг, о степени влажности салфетки, через которую надо гладить, о том, как справиться с самым сложным рукавом с помощью настольной гладильной доски, как заложить складку, загладив ее

ногтем, как определить нагрев утюга, осторожно поднеся его к щеке, как… Все это при слабом отблеске углей, на которых грелись утюги.

Признавала она это или нет, но, несмотря на ненависть к своему прошлому, именно в Варенн-сюр-Алье, у дяди-железнодорожника, сирота из Обазина познала значение слова, которое годы, проведенные в монастыре, лишили смысла, — «дом».

Однако самое поразительное заключалось в том, что это же слово и все связанное с ним соединялись в ее сознании с желанием побега.

VII
Город, его духовенство и армия

Чем стал для нее Мулен?

Габриэль была всего лишь молодой крестьянкой, воспитанной монахинями. За два года пребывания в пансионе она видела город крайне редко — либо во время групповых прогулок, либо когда появлялась тетя Жюлия. Все вместе — Жюлия, Габриэль, Антуанетта и Адриенна — шли на вокзал, а оттуда отправлялись в Варенн.

В эти дни ничто не ускользало от взгляда Габриэль и ничто не доставляло ей большего удовольствия. Город!.. Наконец-то ей открывалась настоящая жизнь. Какие могли быть сомнения? Больше всего ей хотелось остановиться и как следует все рассмотреть, но это было запрещено. Запреты становились строже по мере того, как Габриэль хорошела и чувствовала, что ею любуются. Но просто посмотреть? Посмотреть, как после уроков выходят на улицу школьники. Просто последить взглядом… Запрещено. А между тем всего лишь улица, да к тому же не очень широкая, отделяла ее от мужского лицея, учеников которого оповещала о переменах барабанная дробь. В середине двора появлялся старый бородатый зазывала. Наконец-то! Слушать, смотреть… Следить издали, как ученики со всех ног мчались в соседнюю бакалею и возвращались оттуда, набив рот пирожными с нугой. Скорее, смотреть! Смотреть на старого вояку с барабаном под мышкой, который отправлялся покупать на два су жевательного табаку. Старшие — те важничали. Они курили маленькие сигарки, продававшиеся парой, и принимали все меры предосторожности, чтобы их не заметил воспитатель. Тогда ветер доносил до окон Габриэль аромат невидимых сигар. Вот она, жизнь, с ее бодрящими запахами и красками.

Странно они были выряжены, эти школьники. Из-под перетянутой поясом черной блузы с длинными рукавами на два пальца выступали штаны, заканчиваясь под коленом. Затем виднелась голая икра, выглядевшая весьма неприлично, потом шел носок и, наконец, верх очень высокого ботинка. Что за вид… Если бы не белая нотка рубашки с отложным воротничком, не цветное пятно галстука с развевающимися концами, пленники черной одежды были бы столь же жалки, как и маленькие трубочисты, чьи печальные крики доносились порой до дортуара. «А вот трубы чистить!..» Как боялась Габриэль эха этих детских голосов! Бедные парнишки, словно исхудавшие собачонки,

тащились за хозяином. Дети, взятые напрокат… Их лица сливались с лицами Альфонса и Люсьена. Часто Габриэль одолевала меланхолия, но желание смотреть вновь возвращалось к ней. Смотреть и смотреть на этих маленьких господ в белых воротничках, которым мамы покупали красивые ботинки и которые играли во дворе напротив. Ее за это ругали. Что она могла сказать в свое оправдание? Габриэль так любила смотреть.

Три детали, казавшиеся на первый взгляд незначительными, навсегда остались в ее памяти: воротнички школьников с Лицейской улицы, галстуки, завязанные розеткой, и черный цвет их блуз.

В один прекрасный день, годы спустя, молодая, очень модная портниха сама станет носить воротнички и галстуки с развевающимися концами, которые школьники когда-то завязывали на груди.

Ей сразу же начнут подражать.

Через некоторое время молодая женщина заставит носить такие воротнички тех, кто у нее одевался. Затем добавит к воротнику крепдешиновый галстук. Потом решит, что они должны быть черного цвета, ибо черное, утверждала она, модно всегда. На свет появлялись костюмы, которых прежде никогда не видели. Их необычность удивляла. Некоторые углядели в этом своеобразную наглость.

Так, в течение полувека вызывающий, хотя и черный, как люстриновые блузы муленских школьников, костюм, украшенный таким же воротничком и таким же галстуком, будет заполнять улицы Европы и обеих Америк. Он станет мировым бестселлером, станет не просто лозунгом, не просто модой — родится новый стиль.

Стиль, который известен всем, — стиль Шанель.

* * *

Редко удавалось выйти куда-нибудь из пансиона Святой Богородицы, и только под благочестивым предлогом.

Что могло бы соблазнить Габриэль? Площадь Алье с кафе, где играли в белот. Воскресные концерты, в которых выступала «Муленская лира». Сесть… Ждать… Ловить момент, когда дирижер благодушным жестом подаст знак, прозвучат первые такты «Красавицы-парфюмерки» и эстрада задрожит под резной крышей. И тра-та-та и тра-ля-ля… Мулен, его люд, его буржуа, все были здесь.

Но ученице бесплатной школы на таких концертах было не

место.

По воскресеньям ученики пансиона в полном составе отправлялись к мессе. Девушки из платных классов занимали центральные ряды, а сирот и неимущих сгоняли в боковые нефы. Неравенство, с которым Габриэль мирилась с трудом. Юношей видно не было. По правилам, воспитанники мужского пола находились за главным алтарем, откуда они не только не видели службу, но и почти не слышали ее.

Мальчики под предводительством вояки, чудом уцелевшего в сражениях и увешанного медалями, появлялись в воскресном одеянии — темно-синих коротких куртках с золотыми пуговицами. Пробежав церковь из конца в конец, они исчезали за канделябрами, ощетинившимися свечами, словно поглощенные пламенем костра. Их не было видно. Их не было слышно. Могло показаться, что они умерли, если бы сухой звук, приказывавший им то встать на колени, то подняться, не напоминал об их присутствии. Тук-тук-тук… Раздававшиеся из-за алтаря сигналы были похожи на звуки кастаньет.

Вскоре в сопровождении мальчиков-певчих в великолепных кружевах появлялись священники.

Мессы в Мулене отличались помпезностью и длились дольше, чем где-либо во Франции.

Это было связано с долгим — сорокалетним — правлением епископа монсеньора Дре-Брезе, прелата, любившего роскошь и знавшего толк в одежде. Высота его митр, длина его тренов, которые с трудом несли протодьякон и два певчих, выбранных среди самых крепких мальчишек, непревзойденная медлительность, с которой он вышагивал во время процессий, наконец, елейность, отличавшая любое его благословение, навсегда остались в памяти муленцев. И через шесть лет после смерти епископа бесконечные церковные церемонии отличались все тем же отсутствием чувства меры. Что касается нелепостей в поведении бывшего прелата, над которыми так издевались либералы, — порою настоятельная потребность заставляла монсеньора прерывать церемонию в самом разгаре и спешить в ризницу (помоги мне, Господи!), дабы справить нужду (при этом трен сильно затруднял его торопливые движения) — о них никто больше не вспоминал. Когда Габриэль знакомилась с городом, можно было предположить, что муленские католики останутся навсегда верны памяти епископа, сочетавшего с великолепием еще и высокое происхождение.

Ибо отец его был доблестным защитником трона, да к тому же маркизом. Маркиз этот, о котором в пансионе Святой Богородицы говорили почти столь же часто, как и о бывшем

епископе, был не кто иной, как злополучный главный цереможниймейстер[5] покойного Капета. Именно ему было поручено передать депутатам 3-го сословия королевский приказ об их роспуске, что вызвало знаменитую отповедь Мирабо, которая, по словам набожных воспитательниц, была вполне в духе «ненавистного Рикетти». Однако Габриэль в течение всей жизни не раз цитировала слова из этой отповеди.

Ей было в высшей степени наплевать на Революцию, революционеров и их идеи, но, чтобы поразить собеседников, она могла вдруг бросить с пафосом: «Подите скажите вашему господину…» Для нее это был всего лишь театр, обычная тирада, почти фарс… Но тем не менее ей вспоминались слова, услышанные некогда и тайно сохраненные в памяти. Слова, связанные с молодостью, проведенной в мессах, вечернях, молитвах и причастиях, слова, произносившиеся по воскресеньям под звуки органа, старые слова времен Мулена.

* * *

Во время церковных процессий становилось ясно, что воспитание молодых девушек — хотя и бесплатное — давало хорошие результаты.

Процессии… Девушки были их украшением.

Шагая в ногу, они проходили перед крестьянами со здоровенными усищами, перед по-воскресному разодетыми буржуа, перед набожными торговцами, перед стоявшими навытяжку военными.

Для Габриэль процессии были замечательным предлогом.

Она видела наконец то, что хотела, — других. Она свободно смотрела. И на нее смотрели… Она проходила перед молчаливой, сосредоточенной публикой. Улицы были украшены и надушены, словно гостиная. Повсюду белые букеты и золотые драпировки. Габриэль пела. О, как она любила петь! Она шагала легко. Она встречалась взглядом с мужчинами и не отводила глаз.

Праздник Тела Господня вызывал в Мулене неслыханную кутерьму. Процессий было столько же, сколько и приходов, а временных алтарей столько же, сколько процессий. Все это длилось в течение многих недель, заполняя перекрестки и первые страницы газет.

В этот день юные ученицы бесплатных школ открывали шествие. Они шли впереди каноников, несших свечи, маленьких мальчиков, одетых ангелочками, святых даров под балдахином и епископа в не гнущейся от золота мантии.

Когда процессия приближалась к временному алтарю, она останавливалась.

Священник опускал свой груз и переводил дыхание. Каноники утирали пот. Певчие подзаправляли кадила и снабжали ангелочков новой партией свежих лепестков.

Порою из детских рядов раздавались жалобные и отчаянные вскрики: «Мама!» Подбегали матери. Нервной рукой они поправляли падающие локоны, выпрямляли нимб и в спешке спускали штаны тому, кому страшно хотелось писать. Господа из благотворительного комитета пользовались случаем, чтобы улизнуть незаметно и пропустить рюмочку черешневого ликера в Китайском кафе.

На террасе посетители осеняли себя крестным знамением.

Тем временем сироты заканчивали последний псалом, и процессия вновь двигалась в путь в волнах ладана.

Из всех алтарей самыми грандиозными были те, что воздвигали кавалерийские полки, расквартированные в Мулене. Священники останавливались там дольше всего, и благословениям не было конца. Это было самое большое развлечение, и во время процессий именно на него рассчитывали местные журналисты в ожидании сюрпризов.

В тот год, когда Габриэль прибыла в Мулен, кавалеристы проявили чудеса изобретательности. Все свечи были вставлены в стволы винтовок и револьверов. Сквозь дым кадильниц в руках бесстрашных кавалеристов сверкало оружие… Право слово, непонятно было, что вы видите.

Но пресса видела в этом только предлог для восторженных комментариев.

Вот как было описано событие, ставшее гвоздем тогдашнего праздника: «Скрещенные сабли и артистически соединенные пики, висящая перед алтарем люстра, составленная из револьверов, — все эти украшения производили великолепное впечатление, отличаясь отменным вкусом».

Тогда-то Габриэль и поняла, что затененный липами Мулен не только город монастырей.

* * *

Когда Адриенне и Габриэль исполнилось двадцать лет, жизнь их приняла новый оборот.

Жюлия уже покинула монастырь и помогала бабке и деду на рынках. Антуанетта, еще слишком юная, оставалась на попечении монахинь, тогда как Адриенну и Габриэль поместили в качестве

служащих в одно честное семейство, державшее рядом с Часовой улицей весьма бойко торгующий магазин. «У Святой Марии. Приданое и товары для новорожденных» — именно здесь поселились у своих хозяев Адриенна и Габриэль, по-прежнему вместе, в одной комнате, как в Варенне, как в монастыре.

Однако, вне всякого сомнения, связь с пансионом святой Богородицы все-таки прервана не была. Во всяком случае, не сразу.

Адриенна оставалась в дружеских отношениях с монахинями. И хотя работала в городе, продолжала посещать приютские мастерские. Что касается Габриэль, ее никогда не приходилось упрашивать, если хоралу бесплатной школы вдруг требовалось ее участие. В области вокала у нее были определенные амбиции.

Магазин на Часовой улице принимал также заказы на женскую и детскую одежду. Очень быстро девушки стали работать именно в этом отделе. Они шили, как волшебницы. Весть об этом быстро распространилась по всему городу.

В окрестностях было много замков, где каждый год в сезон скачек собирались элегантные дамы и господа. Дело в том, что неподалеку от муленского ипподрома находились знаменитые конюшни. Именно в Шанфе, на конном заводе герцога де Кастри, родились Фронтен и Литл Дьюк, победители Большого Парижского приза. А маршал Мак-Магон? Разве в бытность президентом Республики он не приезжал на муленские скачки? Само собой разумеется, из дружбы к герцогу де Кастри, который был его свояком. Кроме того, было общеизвестно: президент лучше разбирался в лошадях, чем в политике.

Габриэль заметила, что ее хозяева испытывали настоящее упоение, произнося имена тех, в ком они видели источник своего преуспеяния. Черт возьми! Это и называлось торговой жилкой, и Адриенна была готова разделить их восхищение. Тогда как Габриэль… Она оставалась непроницаема, отгородившись сомнениями. Это вызывало раздражение ее хозяев. Они что-то предчувствовали. То, что она ускользнет от них. Что ее трудно поразить, трудно навязать ей определенный образ мыслей. Она была не такая, как другие служащие.

Проведя долгие месяцы за прилавком с ножницами в руках, церемонно принимая гордых дам, живших в недосягаемом для нее мире, Габриэль узнала об окрестном светском обществе все. Ее хозяева постарались просветить ее в этом в мельчайших деталях.

Новая продавщица — не правда ли? — должна была испытывать волнение от такого исключительного соседства. Так, в Тортезе есть дворянская усадьба, у владельцев которой в гербе

— мул, а среди предков — метрдотель Карла VIII. Разве не удивительно? А сколько принцев! В одном только Бессоне не меньше четырех замков. Все принадлежали Бурбонам Пармским. Два из них были, увы, превращены в хлев. К счастью, Бурбоны-Бюссе, другие прекрасные клиенты, жили в двух шагах. Они обосновались здесь пять веков назад. Их замок находился в Бюссе, и созвучность между фамилией и названием замка придавала им в глазах торговцев дополнительную прелесть. Они с явным удовольствием повторяли: «Бюссе в Бюссе, Ла Палисы в Ла-Палисе, Нексоны в Нексоне…» Однако все это ничуть не восхищало Габриэль. Благородные покупательницы, посещавшие магазин, редко вызывали в ней всплески энтузиазма. Как, впрочем, и их жилища, которые она считала чересчур аскетичными. Всегда высоко расположенные, они производили впечатление военных укреплений.

Она мечтала о другом…

Но остерегалась об этом говорить.

В возрасте, когда другие могут сознаться во всем, — для нее же это было время только полупризнаний — она рискнула пошутить по поводу того, какой ужас внушали ей замки. «Любви, которую я испытывала к некоторым их владельцам, всегда было недостаточно, чтобы сделать мое пребывание в них сносным», — говорила она.

Несостоявшееся призвание (1903–1905)

Пойми ты меня: когда одна армия одерживает победу над другой армией, меняются кокарды, меняется форма, но кокарда остается кокардой, а форма — формой.

Арагон. Страстная неделя

I
Красные штаны

В 1903 году дочь Жанны Деволь охватило лихорадочное возбуждение. Она теряла терпение. Габриэль осознавала, как бесконечно много времени потрачено зря: ей шел двадцать первый год.

Она сняла комнату в городе, на улице Пон-Генге, в самом дешевом квартале. Потому что на ее заработок… Вдали, за крышами, она видела широкую, спокойную Алье.

Горделивые дамы, желавшие обновить гардероб, стали посещать комнатку Габриэль и обращались прямо к ней, минуя добрых владельцев магазина с Часовой улицы. Если верить некоторым свидетельствам, Габриэль даже работала поденно в замках с бойницами.

Менее рисковая Адриенна не решалась последовать за ней.

Затем, какое-то время спустя, отважилась и она. Но, по-прежнему дорожа семейными отношениями, питаясь соками пансиона Святой Богородицы, именно Адриенна старалась сохранить связи с миром тети Жюлии.

В сущности, в чем можно было упрекнуть девушек? Хотя они и покинули Часовую улицу, но по крайней мере по-прежнему жили вместе. Да и в их работе ничего не изменилось.

Сами монахини считали, что в поведении Габриэль и Адриенны не было ничего предосудительного.

Тетя Жюлия присоединилась к их мнению.

У крутого поворота, за которым Габриэль и Адриенну ждало знакомство с совсем другим миром, возникли соблазны, перед которыми девушки не устоят. Им предстоит открыть для себя *другой* Мулен. Не спящий, образцовый город, словно застывший в своем достоинстве, с тяжелыми, как бы нехотя открывавшимися дверями, с широкими воротами домов, в которые въезжали некогда дорожные кареты, с окружавшими собор улицами, где царила мертвая тишина, а Мулен бульваров и магазинов в тени деревьев.

В гарнизонных городах всегда есть кондитерские и портные.

Были они и в Мулене. Именно в эти магазины и захаживали местные офицеры.

Мулен был городом веселым. Там было расквартировано несколько полков, но тон задавал (с 1889 по 1913 год) лишь один — 10-й конных егерей. Компания в нем собралась отборнейшая: одновременно Сен-Жерменское предместье и цвет местного

общества.

Командирами были: де Шабо, д'Эстремон де Мокруа, дю Гарро де Ла Мешри, Ренодо д'Арк. Капитанами: Верде де Лисль, Марен де Монмарен, Аниссон дю Перон, де Голен де Борд, де Валанс де Ла Минардьер, де Барбон де Плас. Лейтенантами: Дубле де Персан, де Баржак де Ранкуль, д'Аденис де Ла Розри, де Венсан де Козан, д'Альбюфера, д'Эспейран, де Куртис де Моншаль. Знаменосцами: Мерль де Исль, де Понтон д'Амекур, де Ла Муссе, де Ла Бурдонне, де Сент-Перез…

Когда читаешь ежегодные справочники 10-го егерского, возникает ощущение, что попадаешь во времена короля Людовика, созывающего рыцарей в крестовый поход.

Так кавалеристы оказались связанными с судьбой Габриэль, так она, едва достигнув совершеннолетия, была вовлечена в жизнь гарнизона.

Егеря были расквартированы в квартале Вилар, на другом берегу Алье, напротив старого города и его кривых улочек. В общем, довольно далеко.

К концу дня офицеры в ярко-красных шароварах, более широких, чем дозволялось уставом, рассыпались по бульвару, заломив кепи набекрень, так чтобы было не слишком заметно. Кепи было разношенным и мягким и, несмотря на очень длинный козырек, легко засовывалось в карман.

Габриэль дала ослепить себя.

Эту армию считали погибшей. Пропавшей без вести при Рейсхоффене… А она была жива, армия, состоявшая из дворян, влюбленных в войну и разукрашенных галунами, армия гордецов и ура-патриотов, едва излечившаяся от ненужной отваги, от заранее обреченных на провал атак, глухая к тактическим новинкам, армия, убежденная в том, что ее предназначение — изумлять. Это была кавалерия, старая, вечная кавалерия, дерзкая и безумная, издевавшаяся над Республикой, которая пыталась навязать ей заботу об орфографии и уважение к образованию — воплотись эти требования в жизнь, военной романтике пришел бы конец. Что за нелепые идеи! Им, кавалеристам, пытались запретить «нападать на противника, полагаясь лишь на личный пыл и скорость лошади»! Что им приказывали? Быть сплоченными. Рассудительными. Кавалеристы считали себя оскорбленными и находили текст устава удручающим.

Такова была армия, стоявшая гарнизоном в Мулене.

Места развлечений были многочисленны. По субботам танцевали в «Китайском кафе», по воскресеньям отплясывали кадриль в «Альказаре».

Не пустовали и кондитерские.

Именно там собирались матери, сестры, невесты или кузины, когда приезжали в Мулен обнять своих воинов.

Что касается портных, то им ужасно не хватало шика, и, хотя среди егерей было несколько провинциалов достаточно наивных, чтобы заказывать у них мундир, среди молодых людей из хороших семей, обладавших рентой и снисходительными отцами, было принято для покупки кепи и фуляра или доломана с семью брандебурами из козлиной шерсти, тремя рядами золотых пуговиц, рукавами, искусно расшитыми галуном, и особенно для приобретения голубой венгерской гусарки, которую носили только кавалеристы, ездить в Париж на площадь «Комеди Франсез» или улицу Ришелье, где находились лучшие поставщики. В противном случае велик был риск выглядеть словно чучело и сойти за деревенщину.

Поэтому гарнизонные портные видели кавалеристов только мимоходом, когда те появлялись, чтобы пришить галун или заменить пуговицу.

Тем не менее для Габриэль все началось именно у одного муленского портного.

Сезон скачек был в самом разгаре, приближалась великая дата — день, полностью отведенный для господ офицеров.

Однажды молодые люди, все усачи и все лейтенанты, больше озабоченные успехами на конном поприще, чем шиком в одежде, заглянули в мастерскую «Современный портной» для последней подгонки формы. Сущая безделица… Вечные истории с леями, не выдерживавшими сумасшедших тренировок, или необходимость вставить в кепи съемные пластины из тростника или китового уса, чтобы оно было более жестким и защищало голову во время стипля… Чепуха, но это надо было сделать.

С озабоченным видом они следили за подгонкой, один в рубашке, другой — держа кепи в руке, как вдруг заметили в соседней комнате двух девушек за шитьем. Словно две Золушки, которых злая фея держала в своей власти. Что может быть удивительнее, чем две королевские дочки, латающие штаны?

Молодые люди были особенно поражены тем, что юные девицы не поднимали глаз от шитья и вели себя так, словно офицеров не было и в помине.

Лейтенанты навели справки.

Им ответили, что молодые особы служат в магазине женского платья «У святой Марии» на Часовой улице и что у портного они работают от случая к случаю, когда во время сезона скачек поступают дополнительные заказы.

Дождавшись конца рабочего дня, молодые люди после пятиминутного разговора пригласили подружек на завтрашние

скачки с препятствиями.

Девушки соизволили принять приглашение. Но с какой надменностью! Держали себя словно королевы… Одна стройная, светлокожая, другая темноволосая, пониже ростом, роковая.

Кавалеристы воспылали страстью.

И это было только начало.

Эскорт красавиц составляли юноши разного происхождения. Можно было бы перечислить их всех. Там был младший сын из богатой семьи из Монпелье; был один беарнец, считавшийся хорошей партией, но кончивший свою карьеру в Сомюре берейтором и холостяком: служба в Школе стала для него своеобразным постригом. И как забыть весельчака маркиза, влюбленного в лошадей? В 40-е годы он, поддавшись мрачным временам, прошел через Легион французских добровольцев. Да, можно было бы без труда составить их список: Робер Сабатье д'Эспейран, Шарль де Брой и сколько еще других… Их свидетельства о начале карьеры Габриэль неопровержимы.

Первые свидания состоялись в «Тантасьон», непримечательном местечке, куда ходили лакомиться фруктово-ягодным мороженым. Затем появились и другие места. Например, «Гран кафе», где бывали местные модники. Настоящая игрушка… Недавняя постройка с фасетированными зеркалами, как в «Максиме», с деревянными панелями, украшенными переплетенными лианами, кое-где немного керамики в стиле «Липпа», все такое необычное!

На самом деле «Гран кафе», которому далеко было и до «Максима», и до «Липпа», было непоправимо провинциально. Тем не менее обеим девушкам оно казалось шикарным. Никогда прежде они не видели места более веселого и красивого.

Но новизна, сверкавшая для Габриэль магическим блеском, вызывала у Адриенны угрызения совести. Она всего боялась.

Переход от магазина, специализировавшегося на продаже приданого и товаров для новорожденных, к Мулену *by night* лейтенантов 10-го егерского совершился не без колебаний.

В Мулене было столько еще неизведанного. Танцы, музыка…

Потребовалась вся энергия Габриэль, вся ее решительность, чтобы вырвать Адриенну из повседневной рутины.

* * *

Неоспоримым доказательством огромного впечатления, произведенного Габриэль и Адриенной на молодых офицеров, является то, что эта первая встреча оставила у них неизгладимые

воспоминания.

Полвека спустя некоторые из них по-прежнему находились под воздействием испытанного некогда очарования. Этому можно только удивиться, учитывая, до какой степени эти юноши (за некоторым исключением) были пресыщенны, неразвиты, ветрены, ничем не обременены и слишком заняты собой, чтобы позволить прошлому властвовать над ними.

И тем не менее именно они, из года в год, в клубах и гостиных, после гулянок и в постели, будут достоверно и точно рассказывать о том, как удивительно начинала свою жизнь Габриэль.

Мы вынуждены признать, что уже тогда она отличалась необычностью, которая одна лишь и запоминается мужчинам. Красота ее была своеобразна.

Очень быстро Габриэль и Адриенна стали украшением муленских вечеров, придавая им особый блеск. Габриэль освобождала офицеров от мучительного ощущения, что они узники мира, где женщинам нет места за исключением профессиональных подружек, простоватых или слишком вульгарных.

Вскоре круг друзей Габриэль намного расширился. Она оказалась необходима. Две швеи стали любимицами в среде, привыкшей навязывать окружающим свои вкусы. Габриэль и Адриенна должны были принимать участие во всех вылазках.

Это вовсе не значило, что они сразу завели любовников.

Самое трудное — узнать, когда это произошло.

Ничего определенного на этот счет сказать нельзя.

Но впечатление, которое оставляют рассказы очевидцев, заставляет предположить, что, пока подружки принадлежали всем, они не принадлежали никому.

Поэтому, когда Габриэль и Адриенна впервые переступили порог «Ротонды», сердца их были свободны.

Этот круглый павильон с решетчатыми стенами, построенный около 1860 года, предназначался для кафе, а также, как уточнялось в постановлении префектуры, для читальни. Читальный зал должен был располагаться на верхнем этаже, ибо «Ротонда» на китайский манер была увенчана остроконечной крышей, откуда открывался вид на сад. Это был миленький провинциальный скверик с разными видами деревьев и аксессуарами, являющимися непременными атрибутами публичных садов: кедры, вязы, кипарисы, несколько каштанов, скамейки, окружающие газон, отлитый в бронзе местный поэт в домашнем халате, восседающий в кресле, и, наконец, в бассейне ритмично подгребающие лапами два довольно злобных старых

лебедя.

Но поскольку во Франции начала распространяться мода на кабаре, «Ротонда» не долго использовалась в культурных целях.

После ее постройки едва минуло два года, как в ней уже пели. Тогда муниципалитет окружил павильон прочной решеткой, дабы держать любопытных на расстоянии, а плотные занавеси закрыли широкие окна.

«Ротонда» стала кафешантаном.

Надо сказать — вовремя.

Ибо другое подобное заведение, «Бодар», не справлялось с наплывом клиентов. Дышать там было нечем. Поэтому его оставили жандармам, каптенармусам, хозчасти, то есть тем, кто не являлся егерями.

Из гарнизона в гарнизон слава о «Ротонде» распространилась быстро. В нее отовсюду стали стекаться посетители. Дело в том, что преданность родине имела свои границы и прекрасно сочеталась с развлечениями. Покурить, подтянуть хором патриотические песни, умеренно выпить — ибо стремление первенствовать в верховой езде не позволяло злоупотреблять спиртным, — забросать певицу вишневыми косточками, чтобы поддержать хорошее настроение, — этим и ограничивались забавы военных. Развлечения, как видим, глуповатые и вполне невинные. Все это было весьма далеко от кабаков, милых сердцу Анри Тулуз-Лотрека, далеко от Монмартра. «Ротонда» не обладала ни прелестью «Мулен-Руж», ни изысканной извращенностью «Японского Дивана».

Но едва только в «Ротонде» появлялись офицеры-пехотинцы, как, случалось, поднимался невообразимый гвалт. Стоило певице, исполнительнице военных песенок, выйти на сцену в кавалерийском кепи, как они начинали орать, словно сумасшедшие. А если она, закутавшись в трехцветное полотнище, запевала куплет во славу пехоты:

Вот мчится конь, стреляет пушка,
Но лишь пробил атаки час,
Взяв неприятеля на мушку,
Пехота славная спасает нас, —

то кавалеристы вне себя тут же бросались в яростную контратаку и принимались барабанить по столу, хором вопя «Кирасиры Рейхсхоффена» и своими «та-ра-та-та» изображая военные сигналы, так что едва не рушился потолок, мчались галопом по залу верхом на стульях, настегивая себя по сапогам, до тех пор пока не появлялся растерянный директор, пытавшийся

охладить горячие головы: «Господа! Господа, прошу вас!»

Объявление романса в реваншистском духе неизбежно производило впечатление. Все молча слушали «Месть фармацевта из Страсбурга» или «Вот что такое пруссак, сынок». Зал наконец успокаивался. Все начинали смеяться, аплодируя тогдашним скабрезностям, грубым и непристойным шуткам. «Буря в штанах» или «Задница святоши» пользовались неизменным успехом.

А Габриэль? Что делала Габриэль среди возбужденных зрителей? Она слушала, смотрела и, казалось, получала от этого удовольствие.

В этом галдеже едва различимо звучало смутное обещание, слышала его она одна. Всего лишь неявный шум, словно приоткрывалась дверь. *Выход?..* Куда он вел? Габриэль трудно было ответить на этот вопрос. Но отступить она бы уже не могла и любой ценой хотела воспользоваться предоставившейся возможностью. Ибо она думала только об одном, стремилась только к одному — выкарабкаться, пробиться, преуспеть, положить конец своему явно зависимому положению. Но она была одна и уже знала, что может рассчитывать только на себя.

II
Кабаре

Кажется, Габриэль была единственным инициатором заключения годового контракта с «Ротондой», и благодаря ей была ангажирована и Адриенна.

Можно без труда представить, что́ думал директор кабаре, подписывая подобный договор. У ног Габриэль была вся золотая молодежь гарнизона. Мог ли он колебаться?

И потом, внешность у дебютантки была необычная.

Верно, что она была жгучей брюнеткой. Но некая Спинелли[6], о которой начинали говорить в Париже (хотя и кривясь, и покрикивая «Блатная!»), тоже была брюнеткой. И конечно, рот… Ненасытный рот Габриэль контрастировал с серьезным, почти печальным взглядом. У нее была очень длинная шея, как у Иветты Гильбер[7]. Дебютантка, вся сотканная из противоречий. То робкая, словно пансионерка, то отличающаяся дьявольским нахальством. У нее был необъяснимый шарм, несмотря на явную худобу. Была ли худощавость недостатком? Некая Полер[8], дебютировавшая в «Амбассадоре», дергаясь в конвульсиях и неистово вращая глазами, достигла вершин славы, дерзко утвердив на парижской сцене право быть худой, что сочли бы недопустимым еще пять лет назад. Итак? Эта Габриэль была из тех, кого непременно следовало ангажировать. Хотя она совершенно не обладала голосом, публика и даже клакеры у нее уже были, ибо ей случалось резвиться на сцене, выделывая весьма вольные к пущей радости своих поклонников. Было очевидно, что это ей нравилось.

Определенный репертуар и уже исчезнувшие традиции парижских кабаре в провинции по-прежнему имели хождение.

Так, в 1905 году в Мулене на сцене кафешантанов все еще можно было видеть около десятка статисток, сидевших полукругом позади «звезд». Они находились на сцене, чтобы создать иллюзию салона, придать заведению хороший тон и заполнить паузы между номерами. Едва сцена пустела, они вставали и по очереди пели песенки. Слушали их вполуха. Им не платили. Одной из них было поручено собирать деньги, и девушка ходила между столиками — обычай, который в Париже был бы расценен как недостойный даже деревенского кабаре.

Внучка понтейского трактирщика дебютировала в «Ротонде» именно в качестве статистки. Атмосфера там царила простая и непринужденная. Присутствовавшие в зале льстецы не скупились

на подбадривающие аплодисменты. Едва Габриэль вставала, они устраивали ей восторженный прием.

Она понимала, какая ей выпала удача.

Рядом с ней девушки, столь же неопытные, как и она, ни живы ни мертвы, с тревогой приговоренного к казни, надеющегося на отсрочку, ждали аплодисментов, от которых зависело их будущее. Соперничество было жестоким. Все решал успех. При малейшей неудаче следовало расстаться с надеждой на ангажемент.

Габриэль же играла роль фаворитки. Она была любимой кобылкой господ офицеров и весело мчалась во главе табуна. Каждый вечер, посылая завсегдатаям легкую улыбку, она вставала и запевала одну из песенок своего репертуара.

В это же время любовь привела в Мулен молодую женщину, добившуюся некоторой известности в «Монне» в Брюсселе. Чувства, которые она испытывала к молодому человеку из знатной семьи, графу д'Эспу, заставили ее навсегда порвать с профессией балерины. Любовник служил в 10-м егерском. Она любила его страстно и пожертвовала ради него своей карьерой. Он принял жертву и не женился на ней. *Незаконная,* среди прочего… Танцовщица оставила в истории слабый след, но свидетельства ее бесценны. Она прекрасно помнила первые появления Габриэль на сцене «Ротонды»: «Она была недотрога и запирала дверь на ключ, когда переодевалась. На сцене она умирала со страху, но виду не подавала. В сущности, она была робкой карьеристкой».

Новая актриса знала всего две песни. Она начинала с куплетов из «Кукареку», ревю, где с успехом в 1898 году на сцене одного из самых шикарных парижских кабаре, «Ла Скала», выступала Полер.

В традициях «Ротонды» было встречать появление Габриэль различными звукоподражаниями, среди которых преобладало кудахтанье. Делалось это для того, чтобы подбодрить ее, когда хриплым голосом она выводила робкое «кукареку», в котором с трудом можно было распознать победный крик петуха. Затем она проворно седлала второго своего любимого конька, переходя к куплетам, всегда заставлявшим зал содрогаться от грома шуток. Песенка была слегка заезженной, но все же проходной. Называлась она «Кто видал Коко у Трокадеро?» и была примерно того же возраста, что и Эйфелева башня. Песня-фетиш… Габриэль вкладывала в нее все сердце. Когда она пела ее, то уже видела себя королевой мюзик-холла, царящей над Сеной.

Публика, чтобы заставить ее бисировать, повторяла на все лады два слога, общих для обеих песенок: «Коко! Коко!»[9]

Каждый вечер при появлении Габриэль крики «Коко! Коко!» звучали как заезженная пластинка. Звучали так часто, что это имя за ней и осталось.

Она была Коко для всех офицеров, для всех своих друзей из гарнизона. Так оно получилось. Деваться было некуда.

Закончив песенку, дебютантка, прозванная Коко — и вовсе не отцом, как всю жизнь она пыталась всем это внушить, а партером, состоявшим из офицеров, пришедших развлечься, — грациозно приветствовала зал и возвращалась на место.

Столь же красивая, как Габриэль, даже более красивая, но менее одаренная, Адриенна собирала деньги.

* * *

Пребывание в «Ротонде» — в эту авантюру Габриэль ввязалась совершенно сознательно, — казалось, не принесло ожидаемых плодов.

Мулен не был Парижем.

В кафешантане все было посредственно: гримуборные без воды, афиши без «звезд», и принимали там артистов, уже сходящих со сцены, у которых не было ни сил, ни энергии, чтобы тягаться с молодыми столичными волками.

Другая на месте Габриэль, возможно, довольствовалась бы своим положением, ошибочно воображая, что вступила на путь к славе. Но для нее восхищения нескольких офицеров было недостаточно, оно не могло компенсировать того, что ей приходилось появляться в компании захудалых артистов. В этом было мало чести, приходилось признать очевидную истину. Бедность, убогость спектакля бросались в глаза даже самым неискушенным зрителям, и Габриэль овладело сомнение. Что она здесь делает? Было ясно, что научиться в Мулене нечему.

Она уже обладала непреклонной волей и была уверена в своем призвании. Сделать себе имя, шагнуть, подобно Иветте Гильбер, от шитья на дому к огням рампы, завоевать известность как певица… Амбиции у Габриэль были вполне определенные: она мечтала с помощью мюзик-холла попасть в оперетту.

Для этого надо уехать.

Надо обосноваться в городе, где были театральная жизнь, настоящая сцена, и найти там работу. Надо, переезжая, не растерять преданных друзей. Надо, наконец, постараться не всполошить тетю Жюлию, которая не подозревала об увеселениях в «Ротонде».

Дело в том, что между красавцами офицерами 10-го

егерского и жителями Варенна возвышалась прочная стена. Два мира как бы не соприкасались. При встречах они друга друга не видели, при общении им не грозило знакомство.

Но если бы родные и узнали о занятии Габриэль, можно ли с уверенностью предположить, что они бы ее осудили? Шанель утверждала, что да. Она рассказывала об угрожающих посланиях, принесенных Антуанеттой из пансиона святой Богородицы, и заявляла, что семья угрожала засадить ее и Адриенну в исправительный дом, если они позволят гарнизонным франтам соблазнить себя.

Не стоит этому верить. Девушки были совершеннолетними. Чем они рисковали? К тому же особенно бахвалиться варенцам было нечем… А уж тем более давать другим уроки. Жюлию, старшую дочь Жанны Деволь, единственную оставшуюся в семейном кругу, обрюхатил ярмарочный торговец. Она только что родила. Отец признал ребенка, но на Жюлии не женился. Тем не менее жили они под одной крышей. У Шанелей существовали свои традиции, и из поколения в поколение все повторялось заново.

Но мы можем предположить, что злоключения сестры, которую она любила и вместе с которой провела столько печальных лет, не оставили Габриэль равнодушной.

Словом, она приняла решение, возмутившее завсегдатаев «Ротонды»: Коко их покидала. Разве можно было этому поверить? Творение ускользало от своих создателей.

Когда негодование улеглось, офицеры решили проявить понимание.

Габриэль уезжала в Виши всего на один сезон. Водный курорт, ставший модным со времен Второй империи, находился всего в пятидесяти километрах. Егеря отправлялись туда по всякому поводу. Скачки, концерты, прекрасные незнакомки, которых офицеры отбивали друг у друга, множество женщин, благочестивых и не очень… Виши был Баден-Баденом Франции времен господина Лубе, местом отдыха и приключений для офицеров гарнизона. Итак, следовало смириться с тем, чтобы прожить несколько месяцев в Мулене без Габриэль. Адриенна тоже уезжала. Они были неразлучны.

Отъезд сопровождался обещаниями не терять друг друга из виду.

Егеря, оседлав лошадей и сомкнув ряды, провожали беглянок.

Никогда еще у полковника де Шабо не просили так часто увольнительные в Виши, как летом 1905 года. Габриэль была всеобщей любимицей…

* * *

Тем не менее кое-кто отреагировал на отъезд Габриэль неожиданно. Один офицер-стажер весьма скептически отнесся к артистическому будущему Коко.

— Ты ничего не добьешься, — сказал он ей, — голоса у тебя нет, поешь ты отвратительно.

Габриэль решила не обращать внимания на его слова, хотя этому человеку она верила больше других. Любопытно, не правда ли? Пехотинец… За ней ухаживало столько кавалеристов, а она предпочла пехотинца. Был ли он ее кавалером? Пока еще нет, но он был влюблен в нее и не скрывал этого. Один из очевидцев вечеров в «Ротонде» утверждал даже, что пехотинец стал ее первым любовником. Но вряд ли это было так. В 1905 году Габриэль Шанель не испытывала по отношению к нему ничего серьезного. Они развлекались, дружили, но не более того. Если бы она любила его, то разве уехала бы?

Пехотинца звали Этьенн Бальсан. Он держался естественно и просто, выгодно этим отличаясь от франтов из Сен-Жерменского предместья, и Габриэль понимала его куда лучше. Круглолицый, с банальными усами, он не выделялся ни ростом, ни сложением. В манерах его не было ничего от военного, и одевался он неброско, без претензий, на шик, столь милый кавалеристам. Действительно, выглядел он менее элегантно и изящно, чем егеря. Зато отличался невероятным задором, великодушием и умел, как никто, поддерживать дружбу. Иметь друзей больше, чем у него, было просто невозможно.

Что он любил? В чем было его счастье? В лошадиных скачках, в женщинах, дарящих удовольствие, в веселящих винах его родной провинции… Хорошее настроение, хороший стол, красивые женщины, красивая жизнь… Если бы слова «бонвиван» не существовало, его следовало бы придумать, чтобы охарактеризовать Этьенна Бальсана.

Семья Этьенна была из Шатору, промышленного города. Его родители сколотили солидное состояние. Достоинство, серьезность, значительность, компетентность крупной французской буржуазии с ее холодно-сдержанной манерой выражаться — вот что представляла собой семья Бальсан, это был общественный класс, дотоле Габриэль неведомый.

Простой люд и военные — вот и все, кого она знала.

90-й пехотный полк стоял гарнизоном в Шатору в течение тридцати лет. Когда пришло время поступать на военную службу, сын Бальсанов, естественно, был записан именно в этот полк. Пехотинец… Странное положение для призывника, главной

мечтой которого было выращивать скаковых лошадей. Необходимость служить в пехоте повергла его в отчаяние. Что делать? Этьенну удалось перевестись в Мулен, в отдел изучения восточных языков. Получилось здорово. Он появился в полку под аплодисменты егерей. Эти господа приняли Бальсана в свой круг. Они многого ждали от такого весельчака.

И не ошиблись.

Егеря пришли в полный восторг, когда узнали, что их другу удалось убедить начальство в том, что он должен изучать один из диалектов Индии, ибо однажды интересы родины могут потребовать, чтобы туда заслали шпионов… Но диалект этот был так мало известен, что не нашлось специалиста, который мог бы его преподавать.

Все было ловко устроено. Бальсан мог теперь жить припеваючи, ездить на лучших лошадях, кутить вволю.

Тут-то он и встретил Коко. Он и не думал похищать ее. Что бы он стал с ней делать? Образ жизни этой молодой особы не указывал на светские таланты. Но Этьенн, как и другие, а может быть, даже больше, хотел помочь ей добиться успеха. В чем? В этом и заключался главный вопрос.

Хотя Бальсан испытывал серьезные сомнения по поводу вокальных способностей Коко, он взял на себя все хлопоты, чтобы облегчить ей устройство в Виши.

Он предложил Габриэль и Адриенне свою помощь в обновлении гардероба. Но не хотел, чтобы об этом знали. Он не любил, чтобы люди бывали ему чем-то обязаны. В эпоху, когда талант Габриэль Шанель был общепризнан, а слава ее далеко шагнула за границы страны, Этьенн Бальсан мог бы рассказать о том, какую роль он сыграл в ее жизни… Но он ничуть к этому не стремился. Что он такого сделал? К чему пустые разговоры? Он ограничивался тем, что скромно заявлял: «Я только помог ей вставить ногу в стремя».

Недостаточно было уметь кроить и шить, надо было еще купить все необходимое. Габриэль и Адриенна в магазине на Часовой улице выбрали несколько отрезов новой ткани, от которой все женщины сходили с ума, — сюры. После чего последовали советам «Иллюстрасьон». Егеря ничего другого не читали, так что иного наставника у девушек не было.

Светская хроника журнала оказывала большое влияние на провинциалок, предрасположенных к кокетству. Ее редактор, баронесса де Спар, внушала буржуазии доверие. Габриэль и Адриенна также не избежали ее диктата. Они всеми силами старались не допустить мешанины цветов, которую осуждала баронесса, и поэтому отказались от атласа «радамес»,

«производящего кричащее впечатление и не позволяющего отличить светскую даму от шлюхи». Для костюма баронесса настоятельно рекомендовала сукно «амазонка», утверждая, что «нет ничего более изысканного и приятного в носке». Они купили сукно.

Стоило по меньшей мере поблагодарить Бальсана. Несомненно, они были в равной мере поражены и признательны. Как дать ему это почувствовать?

Этьенн Бальсан так никогда и не смог понять, на что намекала Коко, когда сказала ему:

— У меня уже был покровитель по имени Этьенн. Он тоже творил чудеса.

Мог ли он догадаться, о каком Этьенне шла речь? Она никогда не рассказывала ему об Обазине.

Вокруг шляп возникли споры.

Следуя примеру тети Жюлии, Габриэль и Адриенна сочли своим долгом переделать уже готовое. Но кто мог бы их вдохновить? Баронесса считала лучшей парижской шляпницей Мелани Першерон, тогда как при этом имени егеря покатывались со смеху, утверждая, что в их семьях женщины носят только творения Каролины Ребу, великой мастерицы с улицы Мира. Понять было ничего нельзя. Разве баронесса могла ошибаться? Они колебались.

Решение приняла Габриэль: она смастерит шляпы по *своему вкусу*. Адриенне оставалось только подчиниться.

Так они прибыли в Виши в платьях и шляпах, сделанных собственными руками.

Первые известные фотографии Габриэль Шанель относятся к этой эпохе.

В ее одежде есть что-то от амазонки, она отличается строгостью, объясняемой, несмотря на явную женственность, романтическим толкованием военной формы. Четкая линия плеч и корсажа, высокий воротник, пояс с пряжкой, никаких прикрас, но на рукаве — почти незаметная вышивка в тон, робкая дань увлечения егерскими галунами.

Поражает серьезность взгляда и простота облика Габриэль. Рядом с ней Адриенна, воплощенная красота, кажется более зашнурованной и затянутой… Тогда как, глядя на тело Габриэль, нельзя не почувствовать ее желания носить одежду свободную, скользящую.

Чтобы понять, как много обещало появление Габриэль, достаточно вспомнить тех, кого на этих фотографиях нет: вспомнить других женщин, посетительниц казино, с крутыми бедрами, пышными задами, в огромных, давящих непосильным

грузом шляпах.

Она уже тогда казалась чудом, спасенным от нелепостей эпохи.

III
Сезон в Виши

Варенн был предан забвению. Перевернута еще одна страница.

Виши станет важнейшим этапом в удивительной судьбе Шанель. Этот город не был ни «королевским птичьим двором»[10], подобно Канну, ни летним филиалом Парижа, каким для крупной буржуазии являлся Довиль, поэтому здесь Габриэль близко познакомится не с высшим светом и не с элегантной космополитической средой. Но все же она увидела другую Францию, о которой не знала в Муленё.

Шанель совершила большой скачок, сменив скромную тень сада «Ротонды» на роскошь парка Виши. В городе было немало нарядных магазинов, подаренных остепенившимся кокоткам признательными пашами. Превратившись во владелиц магазинов, куртизанки стали такими пристойными и так образумились, что их клиентками были выходцы из старинных фамилий, местные владелицы замков, герцогини, весь этот мирок, производивший такое сильное впечатление на жителей с Часовой улицы. Что показалось новым Габриэль? Длинная череда колясок под изящными балдахинами, лошади с белыми наушниками, поразительное убранство бюветов с железными украшениями в стиле «метро». Их стеклянные навесы, словно гигантские бабочки с распахнутыми крыльями, укрывали высокопоставленных чиновников, охваченных запоздалыми сожалениями, ибо цвет лица их был навсегда испорчен обильной пищей, а также государственных деятелей, сломленных бесконечно длинными банкетами. И офицеров… Эти были жертвами долга и уленайлов[11].

Если в те времена Франция ела слишком много, что же говорить о ее жажде завоеваний? Гастрономические излишества, равно как и всякого рода романтические экспедиции, обеспечивали Виши постоянно обновлявшуюся клиентуру. Жара, жизнь в палатках, встречи в мавританских кафе и экзотическая любовь губительно сказывались на юношах из хороших семей. Они возвращались в метрополию совершенно изможденными. Им прописывали лечение водами. Они приезжали в Виши, где сезон затягивался на полгода, и лечились вместе с женами или любовницами. Самое главное было не только выздороветь, но и как следует развлечься.

Русских было мало, людей с Востока — много. Ливанцев и

египтян было столько, что говорили, будто «в Виши течет не Алье, а Нил». Дипломаты приезжали из-за границы вместе с прислугой. Их происхождение угадывали по цвету кожи их лакеев. Бывало, кого-нибудь из слуг увольняли, и тогда бедняга бродил по городу, используя свои жалкие знания французского, чтобы найти другую работу. Частенько южане-французы, масленые или мыльные короли, негоцианты или судовладельцы, которые по части экзотики видали и не такое, пользовались предоставившимся случаем… И тогда можно было услышать, как они похвалялись друг перед другом: «Мой дорогой, мне достался черномазый в наследство от посла такого-то…» И они возвращались в Прованс с нубийцем, сидевшим рядом с кучером, или с алжиркой, дремавшей в своих покрывалах.

Таковы были курортники.

Габриэль сняла самую скромную комнатку, которую делила с Адриенной. Поселились они на одной из тех улочек, что встречаются только в Виши, не тупик, не пассаж, а разом и то и другое. Здесь находились холостяцкие квартиры, а на первых этажах гнездились доступные женщины, служащие без гроша в кармане и гастролирующие актеришки.

Если верить ее подругам того времени — как и она, озабоченным, чтобы вырваться из своей среды, как и она, страшившимся вновь оказаться в рядах пролетариата, — первые месяцы жизни Габриэль в Виши были трудными, ее первые опыты — мало обнадеживающими. Признания тогдашних близких подруг Шанель чрезвычайно пикантны. Удивительные это женщины, несмотря на преклонный возраст… Можно догадаться, сколь соблазнительны они были пятьдесят лет назад.

Они, кем мужчины восхищались, кого обожали, а порою и искренне любили (хотя всегда считалось, что жениться на таких женщинах нельзя), умирали в одиночестве, в бедности, без друзей, в жалких маленьких гостиничках. Они слишком завидуют блестящему успеху Коко, чтобы возвеличивать ее. Поэтому в разговоре они не прибавляют лишнего и ограничиваются главным. Рассказывают просто, без затей, и сообщенные ими сведения кажутся достойными абсолютного доверия. Из инстинкта самосохранения и женской солидарности они на удивление сдержанны в том, что касается любовных дел Габриэль. Об этом — ни слова. Они ограничиваются рассказами о том, что, с их точки зрения, не может никого скомпрометировать. Упорная борьба, чтобы пробиться… Блеск и нищета их молодости… Всю жизнь страдая от унижений, которым подвергались женщины-содержанки, они старались всеми способами показаться респектабельными в глазах современников

и доказать, что они вели жизнь безупречную, что для них важна была только любовь. Об остальном они умалчивают, зная, как слабы их позиции.

Получить ангажемент в Виши было не так просто, как в кафешантане Мулена.

Спектакли там отличались иным уровнем.

В залах Виши выступали только признанные артисты, туда приезжали показать себя парижане и парижанки. Там не было места для статисток. Уже давным-давно директора отменили эту традицию, которая считалась унизительной и более не соответствовала буржуазной эстетике. Бедняжки, скучившиеся, как перепуганное стадо овец, позади «звезды», служили теперь объектом обидных насмешек. Их называли «порочным кругом»… В Виши им делать было нечего.

Но ничто не могло остановить Габриэль. Ей никогда не случалось колебаться или думать, что она ошиблась. Она хотела сделать карьеру певицы романсов и шла вперед.

Чем больше трудностей она встречала, тем с большим жаром старалась их преодолеть. Ее стремление во что бы то ни стало добиться успеха ошеломляло и приводило в трепет. Прежде всего Адриенну…

Габриэль надо было выбрать, в какую дверь следует постучаться. О «Гран казино» нечего было и мечтать. Его престиж не позволял питать ни малейшей надежды. Куда же было обратиться? В театр «Эдем», чье кафе находилось в прохладном саду? Это было заманчиво. В «Эдеме» больше склонялись к оперетте. А в «Реставрации»? Спектакль там был живой, но публика больно чинная. Пойти в «Альказар», храм варьете? С освещением *a giorno,* со столами вокруг сцены, с натуралистической кадрилью, с гостиной, где фотографировались на память, с тунисскими концертами и настоящими египтянками, исполнявшими танец живота, «Альказар» пытался соперничать с «Парижским садом» на Елисейских полях, привлекавшим модную столичную публику. Зажиточные коммерсанты, министры на отдыхе, развеселые иностранки и «совершеннейшие парижанки» во множестве приходили в «Альказар» за своей порцией веселья. Но захотят ли принять туда Габриэль?

Ей удалось добиться прослушивания.

Оно проходило в подвале, расположенном под кабаре. Пианист наигрывал старые арии голодным кандидаткам. Он был в сговоре с торговкой подержанными туалетами. Когда кто-то из девушек проявлял некоторый талант, он предлагал ей взять напрокат костюм, после чего оповещал директора.

Иногда на этих прослушиваниях присутствовали

импресарио-«работорговцы», приезжавшие из Парижа. Им нужны были новые жертвы, чтобы бросить их на арену.

Кабаре — это прежде всего выбор специализации. Как быть с этой робкой ученицей или тем бедным, молодым человеком? Какой жанр им посоветовать? Сделать из нее *плясунью* или *исполнительницу романсов,* а из него — *чтеца или эксцентрика*?

Результаты прослушивания Габриэль были разочаровывающими. Она обладала индивидуальностью и определенным шармом, который мог нравиться, но голоса у нее не было. Так… очень слабенький.

Ей сказали, что она может рассчитывать на амплуа *франтихи.* Благодаря растущей популярности Полер этот жанр вызывал многочисленные подражания. Но прежде всего ей следовало поработать. Все будет зависеть от того, какие она сделает успехи. В сущности, обещать ей ничего не могли.

У Адриенны же отняли последние иллюзии. Она походила на принцессу и совершенно не годилась для сцены.

Ей без обиняков посоветовали попытаться сделать карьеру в другом месте. Она вернулась в Мулен.

Коко взялась за работу.

Пианист из кабаре предложил ей свои услуги. Он переделал для нее несколько песенок, пользовавшихся успехом в Париже, чтобы поставить ей голос. Разумеется, «франтихе» надо было крутить бедрами, прыгать, вертеться. Многое зависело от туалета, от умения *дрыгать ногой* и *делать вертушку.* Но надо было еще и петь. Коко нашептывала «Нет, я не злой» Морисе, которую пианист переделал для нее на женский лад, получилось: «Нет, я не злая, терпения хоть отбавляй, но рассердилась — ты не зевай», — эту песенку она и напевала тусклым голоском. В репертуаре у нее было также «Тра-ля-ля-ля-ля, вот англичане» Макса Дирли, где она выглядела чуть более убедительной.

Ее репетитор не скупился на критику: «Голос у тебя словно трещотка, мимики никакой, держишься так, словно палку проглотила, и, кроме того, все кости наружу… Добавь на декольте оборок».

Коко была настойчива и беспощадна к себе. Но прогресс был медленным.

Уроки были платными, и необходимость пробовать себя в амплуа франтихи, или *жиголетты,* искать свою дорогу — это называлось *мастерить* — требовала определенных расходов. Славившиеся жадностью, торговки подержанным платьем не упускали случая, чтобы обжулить дебютанток. Они без конца придирались, находили воображаемые повреждения, дырки, пятна. Приходилось штопать, гладить, освежать костюмы,

подновлять их. Не то, детка моя…

Габриэль проводила ночи напролет с иголкой в руке.

«Франтиха» чаще всего носила платье с блестками. Чего уж эффектнее в огнях рампы. Но какая же это была работа! Сколько мучений… При малейшей зацепке блестки начинали осыпаться. Дебютантки бросались собирать их. В панике они ползали на коленях: «Мои блестки!» Им сочувствовали. А торговка, пользуясь ситуацией, требовала дополнительной платы за испорченный костюм.

Но Коко не сдавалась. Она не могла представить себя в другом месте. На что она надеялась? Повторить путь Зюльмы Буффар в Эмсе? Встретить в Виши своего Оффенбаха, который повлиял бы на ее карьеру?

Во всяком случае, она была счастлива.

Она училась гримироваться, танцевать, петь. Она жила за кулисами своей мечты.

До сих пор среди «франтих» модны были красные блестки. Публика от них была без ума. Но в Париже мадам д'Альма осмелилась попробовать лиловый цвет. Ее звали теперь не иначе как «лиловая франтиха». Даже шляпа ее была усеяна блестками. Такого еще не видывали. В провинции «франтихи» тотчас же оделись в лиловое. Далее, опять-таки в Париже, одна девчонка из деревни, вовсе не хорошенькая, рот до ушей, начала с успехом выступать в амплуа «франтихи» в черных блестках. В черных! Надо же было иметь такое нахальство! Черный цвет, роза у корсажа, стройные ножки — этого оказалось достаточно. Первые ее успешные выступления начались лет шесть назад, и она уже становилась «звездой». Товарки звали ее Жанной, но в актерском мире ее знали только под сценическим именем — Мистангетт… О ней пошли слухи. Провинциальные кафешантаны тут же поспешили перенять ее костюм.

Коко удалось взять напрокат платье с черными блестками, классическое платье «франтихи», короткое, обрисовывающее бедра, сильно декольтированное, лиф в обтяжку, юбка, обшитая тюлевыми оборками, слегка расширяющаяся книзу и доходящая до середины щиколоток. Платье — без роду без племени, без прошлого, но изящество его будет преследовать Габриэль всю жизнь. Пока она этого не знает…

Придет время, и в тридцатые годы женщины под влиянием Шанель начнут носить усыпанные блестками платья «франтих». Когда это простое платье станет появляться в гостиных и в сверкающих светом театральных залах, когда, в силу необычного эффекта, засияв, словно черное зеркало, оно своим очарованием завоюет сердца, возможно, тогда одна только Габриэль будет

знать, откуда оно появилось. Возможно, в сверкании блесток она будет видеть смутный отсвет давнего прошлого.

Трудность состояла в том, чтобы раздобыть денег.

* * *

После того как бывали утолены аппетиты торговок туалетами, заплачено пианисту, за жилье и еду, что оставалось из сбережений Габриэль? Деньги… Сколько зарабатывали в Париже? Правда ли, что дебютировать там было так трудно, как говорили? Если верить коллегам, прежде чем добиться успеха, все нынешние идолы познали ужасающую нищету. Жили на два франка в день… Столько платили за появление в начале спектакля тогда никому не известной, приехавшей из Нормандии Иветте Гильбер. Три франка за то, чтобы рассмешить публику, состоявшую из коммивояжеров… Столько получал в день тринадцатилетний мальчишка, малыш Шевалье. Он вырос, и о нем заговорили. А Полен, вернувшийся из Америки? Кажется, с туго набитой мошной… Ему платили пинками в то время, когда он пытался заставить кучеров и кухарок аплодировать своим первым песням. Служили ли эти истории утешением? Поводом, чтобы проявлять упорство? Могла ли Габриэль сказать себе, что разделяла общую судьбу?

Году в 1906-м она решила, что, раз вокруг столько разговоров о деньгах — а слово это не сходило с уст артистов мюзик-холла, — надо постараться их заработать.

Нет сомнений, что в Виши она попробовала себя на разных поприщах. На этом сходятся все свидетельства.

Она сумела занять себя. Но чем?

Не штопкой, как позже с презрением предполагали некоторые клиентки. Тривиальный образ убогой комнатушки, где бедная девушка целыми днями чинит постельное белье курортников, чтобы выжить и удовлетворить свое честолюбие, принадлежит к области вымысла, равно как и проистекающие из того же источника сведения о ее любовных похождениях, которые ничем не могут быть доказаны. Мы считаем, что это просто мелочные выдумки.

«Если верить американской прессе, я приехала в Париж в сабо, — с саркастическим смехом говорила Габриэль. — Почему не в фартуке горничной?»

Фотографии Габриэль Шанель 1906 года категорически опровергают подобные выдумки. Ни женщина легкого поведения, ни штопальщица. Одетая слишком скромно, чтобы быть

куртизанкой, слишком прилично, чтобы заниматься починкой белья. Но то, что она принимала в Виши Этьенна Бальсана чаще, чем кого-либо другого, что он продолжал помогать Габриэль, хотя и не сумел избавить ее от мелкой работы, — это кажется более чем правдоподобным. Можно ли представить, чтобы Шанель сама отказалась от своего властного призвания? Поверим скорее подругам тех трудных дней, утверждавшим, что, несмотря на все усилия, несмотря на все надежды, через несколько месяцев Габриэль опять стала тем, чем была по отъезде из Мулена, — портнихой на дому, подгоняющей туалеты прежних клиенток с Часовой улицы, приехавших в Виши на воды. Так и не сумев поступить в «Альказар», но заручившись рекомендацией одного из офицеров 10-го егерского, у которого были связи, она обратилась в поисках работы в водолечебницу. Ее приняли подавальщицей воды у Большой решетки. Одетая во все белое, тепло обутая в забавные, тоже белые и короткие сапожки, Габриэль, стоя на дне глубокой ямы, брала один из оплетенных в солому стаканчиков, висевших на стене и образовывавших странную гирлянду. В центре, под колпаком из хрусталя, бил драгоценный, теплый источник. Габриэль подходила к нему, с важным видом наполняла стакан, затем критическим взором проверяла дозу. Она нравилась. Курортники наклонялись к ней. Протягивали руки. Осыпали ее комплиментами. О чем она думала? О сапожках, которые сразу показались ей верхом комфорта? Или о музыке? О том и другом, быть может…

Вдалеке муниципальный оркестр давал на террасе «Гран казино» концерт «разнообразной музыки». По-прежнему «Мадам эрцгерцогиня» и «Фингалова пещера».

Ее нетерпение делало жизнь невыносимой. Но не будем жалеть о том, что казалось ей потерянным временем. Благодаря ему она обогащалась новыми идеями. Однажды на улице Камбон оживут не только платья «франтих», но маленькие сапожки подавальщиц воды. Сапожки дней ее сражений…

Когда в робких лучах октябрьского солнца сезон в Виши закрылся, улицы понемногу вновь обрели провинциальный покой. Поток приезжих сократился. Кучера фиакров вновь завели с лошадьми спокойные разговоры по душам, редко прерываемые криками грумов. Балдахины с бахромой были спрятаны, наушники засыпаны камфорой. На некоторых магазинах появились их парижские адреса, а кабаре закрылись до следующего сезона под стук молотков, заколачивавших доски.

Все было кончено.

Успех не пришел. Коко проиграла партию.

IV
Полдники у Мод

Когда Габриэль вновь встретилась с Адриенной, та уже жила не в Мулене, а в окрестностях Сувиньи, где у ее подруги Мод Мазюель была вилла. Мод пригласила Адриенну к себе. Замечательно удобный дом Мод! Довольно просторный, он находился в нескольких шагах от маленького вокзала в Куландон-Мариньи, и местные жители, понимая, что там происходит, называли его «замком»[12].

Мод много принимала.

Не вырвав Адриенну из ее сугубо «кавалерийского» окружения, подруга представила ее местным владельцам замков, более старшим по возрасту, чем офицеры 10-го егерского, более состоятельным и свободным. Но поскольку дворяне и офицеры принадлежали к одному и тому же кругу и имели общие вкусы, в равной степени отличаясь непогрешимостью суждений в том, что касалось «главного» — то есть лошадей, женщин, одежды, охоты и вина, — не проходило и недели, чтобы «кукушка» не привозила в Сувиньи группку завсегдатаев, гражданских или военных. Они повсюду ездили вместе, вместе отправлялись на скачки в Виши и на *пикники* водолечебницы, которые посещали элегантнейшие светские дамы, но куда удавалось проникать как незнакомкам благодаря своей красоте, так и некоторым известным содержанкам.

Мод Мазюель была незамужней девицей. Ее отличали завидные светские аппетиты и страстное желание преуспеть. Родись она в другой среде, она бы держала салон. Из-за своего скромного происхождения — она была дочерью старшего каменщика и сестрой подрядчика — она вынуждена была ограничиться тем, что способствовала знакомствам и, может быть, связям. Дом ее всегда был полон народу. На что она жила? Если познакомившаяся у нее пара влюблялась по-настоящему, она следила за тем, чтобы молодые люди, как бы они ни были увлечены друг другом, не забывали, чем обязаны ей, подружке Мод. Кроме того, ей приписывали покровителя со скромными средствами.

Пухленькая, без всяких интеллектуальных достоинств, Мод знала, что не может похвалиться обаянием. Но она отличалась задором, уверенностью в себе и при желании умела держаться с достоинством, чему способствовали ее навевавшие исторические реминисценции шляпы в мушкетерском духе, украшенные пером,

лихо торчавшим, словно знамя, корсажи с жабо в стиле Людовика XV или вдохновленный Директорией покрой костюмов, косо срезанные полы которых не могли скрыть на удивление неровный абрис ее обширных габаритов.

У нее было два противоречивых призвания: заводилы и дуэньи. Она умела быть и тем и другим.

У нее можно было встретить провинциалок, живших по соседству, подружек господ офицеров из Муленского гарнизона (и вызывавшую восхищение хорошенькую балерину из театра «Монне», за которой молодой граф д'Эспу ухаживал с небывалым рвением), но не законных жен.

Стол у Мод был хорош, все устроено запросто. Дамы и кавалеры встречались в саду. Под тенью деревьев были расставлены шезлонги. Пирожные, чашки с шоколадом, сливки передавались из рук в руки, в корзинках лежал хлеб. Самая большая забава состояла в том, чтобы в солнечные дни, невзирая на туалеты, надеть черные соломенные канотье, которых у Мод было в избытке. Тогда венгерки несколько теряли свой официальный вид и воротнички расстегивались. Это был момент, когда господа офицеры, закусывая на ходу, начинали обсуждать продвижение по службе, помещики, дымя сигарой, вели меж собой сельскохозяйственные разговоры, а коннозаводчики со всей серьезностью, на которую были способны, беспокоились о будущем Общества содействия развитию. Дело в том, что Комитет стал принимать в свои ряды тех, кто не был членом Жокей-клуба. Что за времена! А прекрасные провинциалки отдыхали, охваченные истомой.

Ни одна из них не могла сравниться с Адриенной изяществом, осанкой, королевскими манерами. Более очаровательная, чем когда-либо, она была бесценным украшением полдников Мод.

В те дни Мод старалась придать себе сельский вид. Она украшала шляпу маргаритками и оставляла ленты незавязанными. Она резвилась в своем тиковом пеньюаре, в котором ей, по ее словам, было так же удобно, как в ночной рубашке. Но едва только предстояло показаться на публике, как в лице своей хозяйки, должным образом затянутой, зашнурованной и убранной, члены клана находили незаменимую ширму, обойтись без которой они бы не могли. Мод позволяла молодым женщинам, ищущим любовных утех, совершать прогулки в обществе компаньонки, а провинциалкам, ищущим любовников, — успокаивать ревнивых мужей, рассеивать беспокойство и подозрения близких… потому что они были с Мод.

Маленькие праздники, устраиваемые в Сувиньи, открыли Габриэль доступ в клан.

В Мулене будничная жизнь шла своим чередом: всей компанией по-прежнему ходили пить шоколад в «Тантасьон», по-прежнему было много длинноногих красавцев в ярко-красном на улицах и веселых шутников в «Ротонде».

Ни один из поклонников Габриэль не оставил военную службу.

Итак, по-видимому, ничего не изменилось.

Тем не менее она быстро поняла отрицательные стороны своего отъезда в Виши, сделавшего для нее возвращение невыносимым. Чувствовала ли она, что ее пребывание в Мулене будет всего лишь паузой, и ничем более? Еще один год неопределенности. Потому она в особенности ценила полдники у Мод, хотя и сожалела, что Этьенн Бальсан отказывался ее туда сопровождать. Он с предубеждением относился к дамам из Сувиньи, считая их скучными.

Габриэль почти разделяла его мнение. Тем не менее, будучи до всего любопытной, она с усердием посещала дом Мод.

На многочисленных фотографиях 1907 года Этьенна Бальсана нет. Габриэль же запечатлена на них с дерзко-безразличным выражением лица. Следует ли заключить из этого, что после возвращения из Виши она отдалилась от Бальсана? Или надо хотя бы однажды поверить стареющей Шанель, утверждавшей, что долгое время он оставался для нее всего лишь «добрым товарищем»? Габриэль, которая пока не могла осуществить свою единственную заветную мечту — стать певицей, вела себя в Сувиньи, как в подвале «Альказара»: она снова «мастерила», искала свою дорогу.

На фотографии Габриэль в один из решающих моментов своей жизни. Она присутствует на воскресных скачках в Виши, причем сидит не на трибуне владельцев, а запросто среди департаментских буржуа, приезжавших на скачки ради пущей важности. Сидит, по-прежнему ни на кого не похожая, выделяясь особой подвижностью среди окружающих ее дебелых особ, соперничая дерзкой простотой наряда с крайней изысканностью парадного туалета Адриенны с уймой плиссированных оборок и шантийских кружев. Габриэль принимает участие в развлечениях приличного общества, в то время как подружка Мод в роли дуэньи величественно восседает между барышнями Шанель, возвышаясь над всеми перьями своей шляпы.

* * *

Раздражал ли Габриэль образ жизни, не оставлявший места ее личным амбициям? Или же она вела себя так, словно у нее не было другой цели, как стать дамой полусвета?

Может быть, ее усталость объяснялась и беспокойством, что она не сумеет вести эту игру с таким же блеском, как Адриенна?

Ибо у Адриенны был поклонник.

Граф де Бейнак был из тех аристократов, что прочно привязаны к земле. С пышными усами, он был страстно влюблен в псовую охоту и наделен той экстравагантностью, которая, делая из него важную особу, вместе с тем составляла в глазах знакомых главную его прелесть. Никто никогда не говорил об остротах, коллекциях или даже замках графа де Бейнака, тем более о его состоянии, но всегда упоминали о его акценте и оригинальности. И если порою пересказывали случавшиеся с ним забавные истории, то только для того, чтобы лучше подчеркнуть его живописность: господин де Бейнак был тем Немродом, что сумел со своей сворой затравить, правда, не оленя, а последнего волка, оставшегося в Лимузене. Господин де Бейнак был игроком, который однажды, метнув кости, разом выиграл у своих четырех товарищей четырех танцовщиц из «Казино де Пари», чтобы отпраздновать победу, усадил барышень в бричку, запряженную четырьмя лошадьми англо-нормандской породы, и, распевая во всю глотку песни на родном диалекте, галопом пронесся по Елисейским полям. Наконец, господин де Бейнак был тем молодцом, который, поставив на своих лошадей и проиграв их, вынужден был вернуться в родную провинцию пешком, что он и проделал как ни в чем не бывало.

Таков был человек, влюбившийся в Адриенну.

Почти разорившись, он нашел в лице своего лучшего друга, маркиза де Жюмийака, своеобразного мецената, который всегда готов был оплачивать его проказы и сам в них участвовал. Оба стали наставниками сына одного из местных помещиков. Красивый молодой человек уже был хорошим охотником и отличным наездником. Здесь его нечему было учить. Но они решили вылечить его от провинциальной серьезности. Используя опыт своих менторов, молодой человек за короткое время сделался потрясающе элегантным.

Это-то трио обожателей и оспаривало друг у друга общество Адриенны.

Если не было никаких сомнений в том, что роль официального покровителя принадлежала графу де Бейнаку как старшему по возрасту, вряд ли он был единственным фаворитом.

Постепенно родилась идея совершить всем вместе путешествие в Египет. Должны были ехать Адриенна и

хорошенькая балерина, а также ее возлюбленный, причем все делалось совершенно открыто, ибо граф д'Эспу повел себя серьезно и начал поговаривать о женитьбе — вещь совершенно немыслимая в этом обществе.

Мод торжествовала.

Увы, извещенные о проекте графа, родители д'Эспу из своих лангедокских владений объявили, что никогда простолюдинка не будет носить их имя и что они предпочитают навсегда порвать с сыном, чем позволить ему обесчестить себя. Он, принадлежащий к лучшей фамилии в департаменте! Он что, с ума сошел? Шлюха, потаскуха, девка, распутница, продажная тварь — таковы были определения, которыми старшие д'Эспу награждали любовницу сына. Поразмыслив, любовники решили не спешить и дождаться смерти дорогих родителей.

Возникшие на их пути препятствия, однако, не помешали бы им чувствовать себя молодоженами на берегах Нила.

Любопытно, но одна только Габриэль заявила, что пирамиды, фараоны, пустыня, Хартум, храмы и все прочее ее не интересуют. Между тем надо было убедить ее поехать. Мод Мазюель похвалилась, что уговорит ее, но потерпела неудачу. Габриэль говорила, что ей непонятно, что́ она станет делать в Египте. «Но ты увидишь сфинкса», — убеждали ее. Очевидно, ей было на это наплевать.

Однако к путешествию начали готовиться, и Адриенна уже выбирала дорожные туалеты, подбирая вуали к шляпам и легкие пыльники к костюмам, когда закончил службу Этьенн Бальсан. Этьенн рад был вернуться к гражданской жизни, но ничто больше не заставляло его жить в Шатору. Отец его умер, мать тоже. Случайно он узнал, что неподалеку от Компьеня, в Руайо, продается поместье. Получив наследство, Бальсан купил его у одной вдовы в декабре 1904 года.

Все в Руайо: и луга, и постройки, где было отведено большое место конюшням, — соответствовало желаниям Бальсана. Он хотел устроить там конный завод и участвовать в скачках. Кросс в По, национальные соревнования в Ливерпуле — Этьенн мечтал вести жизнь коннозаводчика и *наездника.*

Эти проекты возвышали его в глазах Габриэль.

Когда он заговорил с ней о своих планах в первый раз, она обрадовалась. Жокеи вызывали у нее восхищение. Традиционная церемония взвешивания, когда в весовом зале звенит колокол, медленное шествие по кругу, волнение, которое испытываешь, когда лошадь удаляется, гарцуя и составляя одно целое с жокеем в яркой куртке, — все это безумно ей нравилось. У нее даже был номер, который друзья часто требовали показать: Габриэль умела

мимировать тот решающий момент, когда маленькие мужчины в белых штанах взлетают в седло. Ее поклонники затягивали хором: «Скачки, скачки, ах, нет лучше ничего!», это был припев из одного музыкального ревю, созданного членами Жокей-клуба, он служил сигналом к началу действия. Тогда Коко «заносила ногу», и аудитория покатывалась со смеху. После чего она изображала суровые физиономии тренеров, проверяющих подпруги.

В роли лошади чаще всего выступал граф де Бейнак.

Узнав о планах Бальсана, Габриэль спросила его:

— Тебе не нужна ученица?

Он поймал ее на слове.

— А! Маленькая Коко хочет, чтобы ее научили ездить на лошади, она хочет, чтобы ее взяли с собой, ну что ж, возьмем ее с собой!

Это было отнюдь не романтическое похищение, отнюдь не язык страсти. Но благодаря Этьенну для нее становился доступен Париж. Габриэль бросилась Бальсану на шею.

V
Хорошая партия

Все было необычно в Руайо, вплоть до присутствия Этьенна Бальсана. Людей светских шокировало то, что он выбрал местожительством деревню. Это было не в правилах хорошего общества, где слово «обосноваться» понималось исключительно как устройство в Париже. «Обосноваться» значило снять в Париже на девять лет квартиру, сразу же украсить ее гипсовыми розетками в стиле Людовика XV и обить стены такой материей, чтоб ей не было сносу. Ибо заниматься обстановкой более одного раза в жизни считалось такой авантюрой…

Было уму непостижимо, что можно обосноваться в замке. Обычно доставшееся по наследству семейное владение оставалось в том виде, в каком его унаследовали, и никакие переделки не предполагались. Семейные портреты продолжали висеть на прежних местах, кресла стояли все так же кругом, умывальни были столь же редки. Только Ротшильды составляли исключение. Обитатели Сен-Жерменского предместья отнюдь не считали хорошим тоном, что барон Альфонс установил телефон между своим замком Феррьер и банком на улице Лаффит — неслыханная инициатива, потребовавшая прокладки девяноста километров двойной проволоки. Они полагали, что барон прежде всего старается поразить воображение, а потому к владельцам замков, у которых на этаже было больше одной ванной комнаты, по-прежнему относились неодобрительно. Стремление к подобной роскоши было непонятно обществу, для которого элегантность отнюдь не зависела от таких ценностей, как комфорт или чистота. Аристократия мылась редко. «Волосы никогда не мыли», — читаем в мемуарах графини де Панж. Она предпочитала избегать ненужных затрат и ограничивала свое омовение содержимым одного чайника, но зато не скупилась на выездных лакеев и их ливреи.

Поэтому аристократы не понимали Этьенна Бальсана.

Чего он хотел добиться, обновляя свое владение? Он был сирота, богач и холостяк. От него ждали, что он начнет с рвением ухаживать за девицами на выданье. А он забился Бог знает в какую дыру и не посещал балов.

Этьенна во время увольнительных видели в разных модных местах. И Бальсаны не упускали случая, чтобы похвастаться его любовными похождениями, хотя порою приходили от них в ужас. Но сама мимолетность его увлечений свидетельствовала о том,

что Этьенн не безоружен. То, что после стремительной связи ему удалось бросить Эмильенну д'Алансон, было подвигом, заслуживавшим уважения.

Эмильенна, очаровательнейшее создание, имела на своем счету многочисленные жертвы. Из-за нее разорился молодой герцог д'Юзес. Не зная, как удержать ее, он подарил ей сперва один драгоценный убор, затем другой, за ними последовали и все фамильные драгоценности. Чтобы положить конец столь разорительной связи, мать не нашла иного способа, как отправить его в Конго. Едва прибыв на место, бедняга умер от дизентерии.

Таким образом, Этьенн Бальсан, сумевший сорваться с крючка вовремя, в глазах благородных матерей представал героем и хорошей партией.

Но что он собирался делать в Компьене?

Руайо находился в самом сердце провинции, где главным занятием были разведение и выездка лошадей. Считалось, что чистокровная лошадь, чтобы достичь высоких степеней, должна быть тренирована только в этой местности, и ни в какой другой. Это и привлекло Бальсана в Руайо.

В округе поселились целые династии тренеров, приехавших из Великобритании. Шантийи и Мезон-Лаффит стали английскими деревнями, где высились красные кирпичные дома. Бартоломью, Каннингтоны, Картеры пользовались уважением, о них писала пресса. Не менее десятка специализированных изданий и полоса в каждой ежедневной газете того времени были посвящены бегам. Малейший неподобающий поступок в этих кругах вырастал до размеров скандала. Стоило подтвердиться слуху, что некоторые владельцы, пытаясь получить информацию о своих конкурентах, нанимали шпионов, как «Иллюстрасьон» тут же посвящала этому событию первую страницу, а французская пресса разом воспламенялась.

В эти-то страсти и окунулась Габриэль Шанель, едва приехав на место.

Могла ли она подозревать, что ее положение в Руайо окажется почти таким же, как в Мулене?

Ей предстояло жить в близости с человеком, являвшим собой совершенный тип *sportsman,* не признававшего иного мира, кроме мира скачек, посещавшего только нескольких друзей и дам полусвета.

Этьенн Бальсан не знал Парижа, его актеров, писателей, художников, не сталкивался со снобизмом общества, вкусы и заботы которого он не разделял. Его нисколько не заботили ни великие мира сего, ни их добрые деяния. Женщин, бывавших у него, никогда не отмечали в светской хронике ни за элегантность,

ни за благотворительную деятельность. Это были не дамы-патронессы.

Чтобы женщине получить приглашение в Руайо, достаточно было быть веселой, всегда ходить в сапогах и быть готовой целыми днями скакать галопом из одного края леса в другой.

Руайо? Веселая шайка друзей. За исключением лошадей, смеха и развлечений — больше ничего.

Содержатели и содержанки (1906–1914)

Когда жена председателя, которой всюду чудились незаконные сожительства, оторвавшись от рукоделья, мерила взглядом проходившую по вестибюлю маркизу де Вальпаризи, приятельницы судейши покатывались со смеху.

Марсель Пруст.

Под сенью девушек в цвету

I
Жизнь в замке

Когда-то Руайо был монастырем, почти таким же старинным, как Обазин. Что осталось от его прежнего сурового облика, когда туда приехала Габриэль? Только выложенный плитами коридор, довольно крутая лестница и крытый вход сохраняли следы феодальных времен, когда капелланы Филиппа Красивого да и сам король приезжали в Руайо на поклонение. Что до остальных построек, то в результате переделок в XVII–XVIII веках они, выиграв в изяществе, потеряли первоначальную строгость. Монахов сменил женский религиозный орден, и изменения, привнесенные бенедиктинками святого Иоанна Лесного, соответствовали духу того века, в котором особенно проявилось французское очарование. Руайо обязан своим первым аббатисам тем, что стал похож на красивое провинциальное поместье.

Габриэль была бесконечно далека от мысли, что когда-нибудь ей захочется обладать подобным поместьем.

Этот день придет только четверть века спустя, когда на берегу Средиземного моря она построит в Рокбрюне виллу «Ла Пауза», под стать своему успеху. Строение, сотканное из камня и неба, принадлежавшее самодержице, которой станет Шанель, будет отличаться строгостью, навеянной воспоминаниями об Обазине и Руайо.

Фасад, прорезанный высокими окнами, светлые комнаты с красивыми деревянными панелями, которые ждали только, чтобы их подновили, — таким был Руайо, когда Бальсан начал приводить его в порядок. Античные фонтаны и римские капители — остатки разбитых колонн — должны были украсить парк. Строгие чугунные перила были почти разрушены. Этьенн Бальсан приказал изготовить новые, точно такие же.

Работы продолжались до его приезда из Мулена.

Дом был уже готов, когда на чердаке Бальсан обнаружил картину, спрятанную бенедиктинками, когда Революция изгнала их из монастыря. Это был серый от пыли портрет монахини. Кто она такая? Этьенн начал поиски. Оказалось, что на картине изображена Габриэль, первая аббатиса, сумевшая вернуть Руайо былой блеск. Портрет набожной Габриэль де Лобеспин занял почетное место над лестницей. Примечательно, что Габриэль Шанель поселилась не в комнате аббатисы, самой красивой и самой просторной в доме. Ей достались апартаменты более скромные.

Вероятно, Бальсан посчитал, что поместить ее в комнате аббатисы значило бы оказать ей слишком большую честь.

Он относился к ней как к второстепенной гостье. В конце концов, она была не из тех женщин, которых следовало выставлять напоказ, а уж тем более жениться на них. Милая Коко из «Ротонды»… Да к тому же уже не девочка. Ей было уже почти двадцать пять.

Габриэль довольствовалась положением, которое не очень обременяло ее и обеспечивало определенную свободу.

Этьенн сделал ее своей любовницей, но не хозяйкой дома, поскольку здесь она оказалась редкой неумехой. Ее неопытность проявлялась в самые неожиданные моменты. Все в Руайо ее изумляло: комфорт, роскошь ванных комнат, плиты на кухне, которых она прежде никогда не видела, соединявшаяся с домом небольшая забавная пристройка, где Бальсан играл в игру, о которой ей никогда не приходилось слышать, — сквош. Молодые конюхи были единственными людьми, говорившими на понятном ей языке. С ними она чувствовала себя свободно.

Только позже, окончательно расставшись с иллюзиями относительно театральной карьеры, она стала задумываться о своем положении в Руайо. Но что скажет Этьенн? Никогда он не принимал их отношения всерьез. Он предоставил ей кров, но не хотел, чтобы этот жест был истолкован как проявление любви.

* * *

Отчасти из-за природной нелюдимости, отчасти ради удовольствия в первые месяцы пребывания в поместье Габриэль никуда не выезжала. Она старалась делать то, чего ждал от нее Бальсан, — развлекать и жить в праздности.

Отдавая все время и средства тому, чтобы удержаться в числе лучших французских наездников, отчаиваясь, когда ему это не удавалось, — с 1904 по 1908 год в списке принимавших участие в скачках с препятствиями он занимал места между первым и тринадцатым, и затраты его превышали доходы, — Бальсан больше не покровительствовал Габриэль, стремившейся добиться успеха. Он был из среды, где праздность считалась естественной, и счел бы причудой, если бы Габриэль упорствовала в желании работать. Но он невольно восхищался тем, как замечательно она пользовалась преимуществами жизни в замке. Он еще не встречал никого, кто бы так любил валяться в постели. «Она лежала, ничего не делая, до двенадцати, пила кофе с молоком и читала дешевые романы. Самая ленивая из женщин…» — признавался он

тридцать лет спустя. Но едва речь заходила об утренней прогулке, как ленивица первой была на ногах.

Этьенн, казалось, увидел Габриэль новыми глазами. Просто он жил, не подозревая, что внезапная уверенность в будущем может служить источником счастья. В то время как Коко… До сих пор ей ничем не удалось попользоваться. Поселившись в Руайо, она выказывала желания разумные, но хотела всего сразу: спать столько, сколько хочется, стать во что бы то ни стало лучшей наездницей, размышлять как можно меньше, научиться беззаботности — одним словом, превзойти приятелей Этьенна именно в том, в чем они были сильны. Что такое жизнь, в конце концов? Постоянное «там будет видно».

В достигнутом успехе она видела доказательство того, что вела себя правильно.

Тем не менее трудно понять, как Бальсан, обладая крупным состоянием, позволил Габриэль обратиться к деревенскому портному, клиентами которого были только молодые конюхи да доезжачие. Будь он из аристократической семьи, в его поступке можно было бы усмотреть наследственную скаредность и взвалить ответственность на какого-нибудь предка, путавшего бережливость со скупостью, подобно принцу де Бово, обладавшему значительным состоянием и жившему в окружении сотни домочадцев, но подававшему к столу кислятину, или принцу де Брою, заставлявшему дочь одеваться у портного, шившего ливреи для его лакеев. Но ничего подобного среди предков Бальсана не было. Скупость у молодого человека, расточительность которого превозносили друзья, выдает истинную природу его отношения к Габриэль: она была для него всего лишь протеже, и ради нее не стоило пускаться в расходы. Он не только не поселил ее в просторной комнате аббатисы, но и не считал нужным подарить ей амазонку от Редферна, без которой живущая на содержании женщина, чувствовавшая себя любимой и уважаемой, не обошлась бы ни за что на свете.

Как и в те времена, когда с небольшой суммой в кармане она ходила за покупками к милым торговцам с Часовой улицы, в Руайо Габриэль не церемонясь отправляют за всем необходимым в ближайшую лавочку.

Итак, все было как в Мулене.

Оскорбляло ли это ее? Напротив. Всю жизнь Габриэль оставалась признательна Этьенну за то, что он относился к ней как к девушке из приличной семьи, которой положено было одеваться недорого.

Подобные представления Габриэль следует объяснить тем, что Руайо посещали одни холостяки. Все, что Габриэль узнавала о

неведомом городе — Париже, — она черпала только из их рассказов. Поскольку им нравилось повествовать прежде всего о своих похождениях, до нее доходили сведения в основном о полусвете. Так, довольно долго Габриэль считала, что определенная роскошь, все яркое, броское, «разорительное», жизнь на широкую ногу, аллея Акаций и Голубиный тир, возможность выпить стаканчик в «Арменонвиле», сходить в Ледовый дворец и поужинать в «Максиме» — удел исключительно кокоток, на которых ни в коем случае не следовало походить. Иллюзия провинциалки.

Удивительно, но именно это душевное состояние, когда стремление к свободе смешивалось со страхом и робостью, послужило отправной точкой карьеры Габриэль, а следовательно, и целого направления в моде.

Одеваясь по-своему, сторонясь того, что в глазах ее друзей считалось роскошью, Габриэль надеялась избежать участи, которая пугала ее больше всего, — участи содержанки.

Она уже до такой степени верила в *костюм,* что воображала, будто, не нося его, избежит и связанной с ним *роли.*

Она и не догадывалась, как быстро приходит в действие механизм светского злословия.

Никого не зная и никуда не выходя, могла ли она подозревать, что вызывает чье-то любопытство? Между тем одного ее пребывания в Руайо оказалось достаточно, чтобы создать ей как раз ту репутацию, которой она больше всего опасалась.

Она была *незаконная* Бальсана для всех, кто в уединении Этьенна видел доказательство того, что ему есть что скрывать.

II
Портной из леса

Итак, Габриэль отправилась к неизвестному портному в Круа-Сент-Уэне. Мимо его дома проезжали дилижансы, направлявшиеся на пикники. Мода на них, придя из Англии, распространилась в кругах, которые были англофобами в политике и англоманами в привычках. Кто-то собирался травить оленя со сворами маркиза де л'Эгля или просто последить за охотой издали: собачьими упряжками лихо управляли молодые люди в полной экипировке — серо-голубые сюртуки, жилеты, пелерины, красные бархатные обшлага, белые штаны, сапоги. Чередой следовали гвардейцы, отправлявшиеся «поднимать дичь»; брички, битком набитые детьми в сопровождении французских гувернанток, английских нянь, немецких бонн; повозки и кабриолеты с младенцами и итальянскими кормилицами в чепчиках с лентами. Это был непрекращающийся поток прекрасных экипажей, запряженных выхоленными лошадьми.

Изредка попадались также электрические коляски и даже автомобили — последним криком моды была марка «рошешнейдер», — но они еще так напоминали конные экипажи высотой, формой, занавесками, угловыми фонарями, похожими на дилижансные, что можно было ошибиться. Рев, вырывавшийся из огромного рожка, заставлял лошадей вставать на дыбы, а прохожих — шарахаться. Шоферы, бывшие кучера, пока все еще носили широкие бакенбарды. Выездные лакеи, взятые на пикник, взгромоздившись сзади, держались по обыкновению очень прямо, скрестив руки на груди.

На это и смотрел с уважением скромный ремесленник. Отслужив в Компьене в 5-м драгунском полку и отличившись портняжным мастерством на службе у полковника Гранье де Кассаньяка, он вышел в отставку и открыл мастерскую в Круа-Сент-Уэне.

Выбор был сделан правильно.

Более века назад в компьенском лесу охотились франкпорцы. Но как за это время изменился их внешний вид! Одетые в красное в 1790 году, франкпорские стрелки сменили свои мундиры на зеленые в 1848 году и носили их до тех пор, пока Наполеону III не пришла в голову злосчастная идея тоже одеться в зеленое. Тогда они были вынуждены отказаться от зеленого и перейти на серо-голубое. Но всякий раз, как приходилось менять одежду хозяевам,

меняли ее и лакеи. Именно это и интересовало прежде всего бывшего портного 5-го драгунского полка. Ибо его делом было одевать не владельцев сверкающих колясок в летящих рединготах и шелковых зеркальных шляпах, не красавиц, портреты которых писал Болдини, не амазонок в треуголках, а их слуг, доезжачих, псарей и конюхов в ливреях.

Своего визита к сент-уэнскому портному Габриэль Шанель не забудет.

Она часто рассказывала о том, как был ошеломлен портной, увидев ее. В мельчайших деталях она порой описывала мастерскую, клиентов в рейтузах и мягких шляпах, легкий запах английского лака, мешавшийся с навозным духом, пропитавшим одежду посетителей. Рассказы ее были так хороши, что, вероятно, она говорила правду.

Она уверяла даже, что в тридцатых годах, узнав ее на фотографии, портной написал ей, и она приняла на улице Камбон «маленького старичка, очень заурядного», черты лица которого стерлись у нее из памяти, но вокруг него витал знакомый, незабываемый запах: «От него по-прежнему пахло лошадьми».

Они переписывались до войны. А потом связь прервалась… Она, казалось, была больше возмущена, чем опечалена его исчезновением. Мысль о том, что он умер, не приходила ей в голову.

Когда в 1907 году, при первых погожих днях, любители деревенского воздуха садились в карету, запряженную великолепными лошадьми, и отправлялись на природу, чтобы «запросто» опустошить корзинки с провизией, женщины были разодеты, как в городе.

Именно такими их любили мужчины.

Между тем тогдашняя мода была страшно неудобна.

С началом века вспыхнуло своеобразное безумие, затянувшееся надолго. Все свелось к реминисценциям. Начали с подражания Людовику XVI, после чего в моду вошли тафта по будням и праздникам, пастушьи шляпы и цветочные мотивы, бывшие в чести при дворе Людовика Любимого. Все — будь то мебель или литература, театр или светские увеселения — оказалось затронутым этим повальным увлечением. Во время импровизированных пикников все знаменитости Предместья собирались у маркизы де Соммери и пировали под деревьями в шляпах а-ля Помпадур, с напудренными волосами. Не устояла даже Сара Бернар… Она поставила самую скверную пьесу своего репертуара, лишь бы иметь удовольствие сыграть роль Марии Антуанетты в ничтожном творении Лаведана и Ленотра «Варенн».

Длинные юбки, громоздкие шляпы, узкие туфли, высокие

каблуки — все, что мешало ходить и вызывало необходимость помогать женщинам передвигаться, успокаивало мужей, ибо в подобных туалетах они видели знак женской покорности. Раз их супруги по-прежнему не могли обходиться без них, значит, жизнь на вольном воздухе не подвергала их власть опасности. При любых обстоятельствах женщины были обязаны одеваться и вести себя так, словно были хрупким, драгоценным, требующим заботы и защиты предметом. Этой необходимости следовало подчиняться, ибо речь шла не столько о моде, сколько о привилегиях, не столько об изысках в одежде, сколько о признаке касты, столь же важном, как деформация ног, на которую обрекали женщин в Древнем Китае, или деревянный диск, вставлявшийся негритянкам в нижнюю губу. Туалеты модниц свидетельствовали об их принадлежности к определенному кругу, где свободы, дарованные прекрасному полу, имели свои границы. Было очевидно, что; украсившись сложными прическами, водрузив на головы дорогостоящие катафалки, где покоились, растопырив крылья, невинно убиенные птицы, светские женщины никогда не окажутся в числе тех, кто соблазнялся последними новинками, что они не позволят лорнировать себя в купальных костюмах, не станут выставлять себя напоказ на площадке омнибусов[13] или носиться на велосипедах по Булонскому лесу.

Лошади, только лошади.

Не существовало занятия, более для женщины достойного, не было спорта, лучше сохранявшего женскую загадочность. Наездники сходились в том, что было верхом неприличия требовать от женщин, чтобы они карабкались на сиденье автомобиля, тогда как в карету они могли сесть, не показав даже краешка лодыжки. Видеть женщину на лошади было еще приятнее, и амазонка становилась еще желаннее оттого, что длинная юбка доходила ей до каблуков.

Многие верили в то, что мотор — преходящее увлечение.

Хотя гаражи начали постепенно вытеснять конюшни, хотя в Париже уже смогли организовать распродажу трехколесных, четырехколесных велосипедов на бензине, обычных велосипедов, электрических машин, находившихся во владении некоего принца Империи[14], тем не менее светская женщина никогда не рискнула бы водить подобные механизмы. В аллеях парка, вдали от нескромных взглядов — куда ни шло… Но на публике? Как можно показаться на людях с открытыми икрами, в велосипедных штанах, то есть в одежде, практически запрещенной постановлением Министерства внутренних дел? Жертвой блюстителей порядка стали две молодые иностранки, барышни Баскез де ла Майя, осмелившиеся поставить свои велосипеды у

дерева и сделать в штанах несколько шагов по лесу Сен-Грасьен. Префект Эра тут же сигнализировал об их недостойном поведении в дирекцию сыскной полиции.

И штаны, и их владелицы показались подозрительными.

Сколь же велико незнание условностей у тех, кто по складу характера способен на риск! Самый простой способ бросить вызов общественному мнению — пренебречь им, о том не подозревая.

Габриэль Шанель, разумеется, не осознавала, сколь необычным было ее решение отправиться к портному из Круа-Сент-Уэна и просить его сшить по ее меркам брюки, — ему и во сне не могло присниться, чтобы женщина носила такие. С первой же встречи со скромной клиенткой, которая хотела, чтобы он скопировал галифе, одолженные ей конюхом-англичанином, портной понял, насколько эта посетительница отличалась от всех, кого он видел прежде.

Незнакомка не испытывала ни малейшего сомнения насчет уместности подобного костюма — дело в том, что она хотела сэкономить на паре сапог и вместе с тем садиться на лошадь по-мужски.

Это казалось немыслимым.

Пошив костюма для новой заказчицы оказался для портного таким же невероятным приключением, как то, что довелось пережить сорок лет назад молоденькой работнице с улицы Людовика Великого, когда она увидела, как два огромных кринолина с трудом протискиваются в ее мансарду… Графиня де Пурталес и принцесса Меттернихская открыли двору в Тюильри имя неизвестной модистки — Каролины Ребу.

Но в Круа-Сент-Уэне все произошло совсем по-другому, ибо скромный портной навсегда остался в тени.

В данном случае проявилась одна из черт характера Шанель — упорное нежелание признавать чужие заслуги и выдвигать кого-то другого, кроме себя.

Ничто не пугало Габриэль.

Она стала заниматься верховой ездой в дождь и ветер, в любое время дня и года. Ее выносливость была прямо пропорциональна ее стремлению изумлять. Гордая, неистовая, она сумела поразить даже бывалых наездников.

Больше всех был удивлен Этьенн Бальсан.

Все свидетели этих лет сходятся в одном: способности Габриэль были более чем необычны.

У Габриэль никогда не было иного наставника, кроме Этьенна. Ему она обязана тем, что научилась рано утром выводить лошадей на тренировку, а днем, сняв одежду конюха, превращаться в строгую и достойную амазонку.

В восемьдесят с лишним лет Габриэль, употребляя весьма вольные выражения и подкрепляя их соответствующими жестами, объясняла, как добиться хорошей посадки и как правильно ездить верхом.

«Для этого, — говорила она, — существует единственный способ: представить себе, что у тебя между ног пара драгоценных яиц (здесь следовал жест) и что не может быть и речи о том, чтобы на них присесть. Вот так. Вы меня поняли?»

Кавалерийские словечки слетали с ее уст естественно. Это был язык, на котором разговаривали в конюшнях Руайо.

* * *

Никогда Этьенн не добивался того, чтобы Габриэль принимали.

Возможно, он знал, что ему это не удастся.

Но после того, как она показала себя признанной наездницей, он почувствовал за нее гордость, и, поскольку в нем было что-то от Барнума и он еще не совсем отказался от мысли сделать ее известной, заточению Габриэль пришел конец.

Ее стало можно показывать.

Но кому?

Не аристократам-коннозаводчикам, не «великим мира сего» и президентам различных компаний, не руководителям конного спорта на ипподромах Довиля или Лонгшана, а, если судить по фотографиям, очень узкому другу друзей, положение которых было подчас сомнительно. Ибо к приятелям Этьенна очень быстро присоединялись молодые женщины довольно низкого пошиба, их тогдашние любовницы.

Одним из преимуществ гостеприимства Бальсана было отсутствие всякого снобизма. Поэтому веселую «шайку» наездников привлекали не только удовольствие от встреч с Этьенном, не только роскошь его дома, но и редкая возможность выставить напоказ свою связь.

Этьенн изгнал из своего дома когорту добродетельных супруг, грозных старых барынь, и у него жили, укрываясь от «безжалостного огня лорнетов»[15]. Понимал ли он ничтожность, глупость светской комедии, или его отвращение к свету происходило от скуки? Во всяком случае, знаменитости были для него менее интересны, чем люди, сделавшие блестящую спортивную карьеру.

Кого он принимал у себя? Прежде всего тех, кто прославился на скачках. Кажется, единственными завсегдатаями его дома

были в эти годы коневоды и тренеры, и Бальсан искал общества людей самых простых. У него собиралась компания на удивление демократичная для того времени, особенно если учесть, что до 1914 года скачки были уделом самых избранных слоев общества.

Но Этьенна Бальсана не смущали правила, и если судить о людях только по их знаниям конного дела, то неудивительно, что его другом был Морис Кайо, человек скромного происхождения, небрежно одетый усач, но обладавший столь редким умением разбираться в однолетках, что, став компаньоном графа де Пурталеса, он сумел победить самых знаменитых коннозаводчиков. Кайо дважды выигрывал Гран при.

Друзья Этьенна с удовольствием принимали участие в шутках хозяина дома. Излюбленная — попросить дам прихорошиться и повезти их на скачки в Компьень, но не в коляске, а верхом на осле, по лесным дорогам. На пустынных тропинках веселая компания могла проказничать вовсю. На дистанции однажды встретились Габриэль Шанель и Сюзанна Орланди, очаровательная особа с миндалевидными глазами, в то время *незаконная* барона Фуа. Условия были следующие: провести скачки галопом. Одни ставили на Сюзанну, другие — на Габриэль. Победила мадемуазель Форшмер, подружка Мориса Кайо. Он был этим немало горд.

Кому Габриэль была обязана необычным знанием ослиной породы? Надо было видеть ее, когда она говорила: «Хм, вы же знаете, что это такое, когда какому-нибудь чертову ослу придет в башку тащиться шагом. Хотела б я посмотреть на того, кто заставил бы его сменить аллюр…» Казалось, она имеет в виду какое-то конкретное воспоминание. Но все попытки заставить ее добавить еще что-нибудь бывали бесполезны. Когда же собеседники старались разгадать смысл оброненной ею фразы, она замечала, что это всего лишь воспоминание детства, сохранившееся с той поры, когда ее отец выращивал лошадей. Ложь рождалась так естественно! Она добавляла: «Вы знаете, у каждого из нас был свой ослик». Безусловно, имея при этом в виду своих братьев и сестер.

О проказах в компьенском лесу — никогда ни слова.

Такое поведение становится понятным, когда видишь снимок, сделанный в Робинсоне бродячим фотографом, когда перед его объективом собрались все участники кавалькады. Какая неудовлетворенность в глубине таких красивых в то время глаз Габриэль! На тонком лице, затененном огромной шляпой, — следы непостижимой горечи. Сдержанность очевидна, ироничность тоже. Улыбка, на улыбку не похожая, гневный рот, беспокойная грация озадачивают, словно маскарадный костюм.

Только со всей очевидностью бросается в глаза стремление этой гордой амазонки к свободе.

И угадывается главное… Неподражаемая лихость маленького галстука-бабочки делает ее владелицу чудом своеобразия. По сравнению с окружающими ее хорошенькими девушками кажется, что она принадлежит к иной человеческой породе.

Мы видим, что техника одежды, которая через пятнадцать лет будет отличать Шанель, уже определяет особенности надетого ею в тот день костюма. Автором его, без сомнения, был скромный портной из Круа-Сент-Уэна.

Строгий жакет с узкими бортами; отложной воротник, контрастирующий своей почти мужской строгостью с кружевной пеной прелестных расшитых воротников а-ля Генрих II, которые стягивают шею и в которых остальные участницы этой кавалькады похожи на призрачные экспонаты из Музея костюма; шляпа отменного черного цвета, чей покрой уже подчиняется законам иной перспективы и делает анахроничным обилие вуалеток, органди и лент, которыми увенчаны головные уборы девиц Форшмер и Орланди, — так начинает возникать тот стиль, который, нарушив обычаи, отличит Габриэль Шанель от других женщин и вскоре сделает ее знаменитой.

* * *

Понедельник в Сен-Клу, вторник в Энгиене, среда в Трамбле, четверг в Отейе, пятница в Мезон-Лаффите, суббота в Венсенне, воскресенье в Лонгшане — жить с Этьенном значило ездить с ипподрома на ипподром.

Так прошли три года, когда радости и заботы, доставляемые скачками, должны были заменить все остальное. Без жемчугов и кружев, всегда одетая как молодая девушка, в строгом костюме и канотье, ибо в своем навязчивом желании ни в коем случае не походить на кокотку она несколько перебарщивала в благопристойности. Свободное время она проводила с друзьями Этьенна: уткнув нос в посвященную бегам газету, они позволяли ей поддразнивать себя и одалживать у них одежду (у Габриэль была мания одалживать галстуки и пальто). По вечерам, после хорошего обеда, неизменные сюрпризы — ждать в темном коридоре возгласов возмущенных гостей и яростных криков дам, обнаруживших, что их шлепанцы прибиты к полу: «О, мои тапочки! Мои тапочки!», драться подушками и мазать друг другу физиономии мылом для бритья под безмятежным взглядом другой Габриэль, доброй аббатисы, со стены взиравшей на

происходящее, — короче говоря, забавы школьников, в хоре голосов которых раздавался и голос Коко. Жизнь шла своим чередом: по пять-шесть раз в год поездки на скачки в провинцию и быстрое возвращение к лесным запахам Руайо, где Габриэль с любопытством принимала новых гостей.

Несколько знаменитостей, словно во сне, встретились провинциалке, которой она по-прежнему была. Среди них Эмильенна д'Алансон в сопровождении своего последнего поклонника Алека Картера, идола толпы.

В 1907 году Эмильенна несколько вышла из моды. Время ее литературы миновало, и о «Храме любви», стихотворном сборнике, автором которого она себя называла, больше не говорили. Закончилась и славная пора, когда восемь членов Жокей-клуба организовали общество, чтобы одарить ее рентами, лошадьми, картинами и тем самым завоевать право каждому по очереди приходить к ней «на чай».

Но Эмильенна по-прежнему представляла собой фигуру примечательную.

На нее показывали пальцем как на главную диковину Парижа кутил и гуляк, и имя ее было известно не только прожигателям жизни от Бухареста до Лондона, но и трудовому люду Мезьера — Шарлевиля.

Маленький вздернутый носик, полные щеки, широкие бедра и красивые ляжки — в Эмильенне было нечто мощное и настоящее, и военные прославляли между собой ее достоинства, дабы заглушить охватывавшую их порой меланхолию.

Хорошая отметка на вступительном конкурсе в театральное училище, маленькие рольки то здесь то там, номер укротительницы белых кроликов на арене Летнего цирка — начало карьеры Эмильенны в пятнадцать лет совпало с возмущением парижан, ужасавшихся тем, что их столица изуродована глубокими траншеями. Об Эмильенне заговорили примерно в то же время, что и о метро. Но теперь с этим было покончено, и, когда она впервые приехала в Руайо, речь уже шла не о том, чтобы покорять молодых герцогов и престарелых монархов, а о том, чтобы позабавиться. Эмильенне было тридцать три года. Она нажила состояние, и впредь жизнь ее была посвящена откровенным развлечениям, чему она предавалась с крайней непринужденностью и задором, составлявшими главное ее очарование.

Высокомерные красавицы уже не боялись конкуренции со стороны соблазнительницы, слишком опростившейся, чтобы быть опасной.

Родившись в привратницкой на улице Мучеников, Эмильенна

была фавориткой зевак, которые признавали в ней свою. Они относились к ней с симпатией, окрашенной одобрением.

Сейчас она стакнулась с жокеями.

В прошлом году газеты объявили о ее помолвке с Перси Вудландом. И вот теперь она подарила себе Алека Картера, одержавшего четыреста побед. Подарила его себе именно она… Обратное было бы невозможно, учитывая аппетиты Эмильенны и все-таки ограниченные средства этого сына тренера.

О чем говорили меньше и что довольно быстро навредило ей, так это посещения ею — и все более частые — мест, предназначенных исключительно для женщин: кафе только для дам.

В самом деле, Эмильенна несколько разочаровывала: помимо жокеев, она завела себе еще и скрипачку.

Хотя Габриэль внимательно наблюдала за женщиной, говорившей «ты» бельгийскому королю и уверявшей, что французы, при условии, что они принадлежат к сливкам общества, — единственные мужчины, умеющие как следует заниматься любовью, она не испытывала ни малейшей ревности к этой бывшей любовнице Этьенна, которая пять лет назад недолго делила с ним его холостяцкую квартиру на бульваре Мальзерб, а теперь приезжала в Руайо с Картером. Эмильенна носила рубашки с пластронами и крахмальными отложными воротничками, порою монокль, порою белую гвоздику в бутоньерке и всегда галстук по моде клубменов-националистов — строгий, темный, с крапиной булавки.

Говоря о ней, Габриэль ограничивалась уточнением, что от Эмильенны «пахло чистотой»: в устах Шанель это было равнозначно страстной похвале. Для нее всегда много значили запахи, и, когда друзья Этьенна, рассказывая о балах, уверяли, что там «вонючее пекло», у нее это вызывало отвращение.

А Картер? Габриэль не просто наблюдала за ним, она пожирала его глазами.

Это был соблазнитель, носивший с того года грозный титул непобедимого. Он был выходцем из династии английских тренеров, обосновавшихся в Шантийи, и то, что он порвал с традицией, чтобы стать жокеем, ставило его в особое положение. На ипподромах, где не понимали, как можно отказаться от спокойной жизни тренера и предпочесть ей опасность, публика, верившая в красивые жесты, обожала его. Когда Картер начал выигрывать, общей радости не было границ.

В глазах знатоков он воплощал искусство верховой езды, доведенное до совершенства.

«Самое красивое положение рук и лучший на свете

товарищ», — говорили шестьдесят лет спустя члены Жокей-клуба, помнившие его. Что до женщин, то они сходили по Картеру с ума и преследовали его своими домогательствами.

Имеет определенное значение тот факт, что «бесценная» кокотка и жокей, да к тому же англичанин, оказались первыми знаменитостями, с которыми довелось познакомиться Габриэль.

Встреча с Алеком Картером, принцем из королевства, где лошадей обожествляли, знаменует поворот в судьбе Габриэль. Она позволяет бросить взгляд в прошлое — рождение в Сомюре и ученичество в Мулене в компании красноштанников. Вместе с тем Картер явился провозвестником будущей, третьей или четвертой, жизни Габриэль, ибо в семьдесят восемь лет, без всяких объяснений, она заявила, что покупает молодую кобылу, выбирает для нее самого знаменитого жокея во Франции, Ива Сен-Мартена, и каждое воскресенье будет ходить на скачки. Что и было сделано. В 1961 году.

Ее попытка начать все заново патетична… Диалог призраков.

Как все переменилось! Теперь вокруг Шанель толпились люди, ее почитали, ее общества искали, ее цитировали газеты. Пресса называла ее «Великая Мадемуазель». В глазах современников Габриэль была волшебницей, которой достаточно было пары ножниц и нескольких терпеливых жестов, чтобы под ее руками бесформенная материя превратилась в изумительные туалеты, которые для окружающих были олицетворением роскоши.

Для чего она ходила на скачки? Чтобы развлечься или чтобы отомстить за прошлое, когда дамы с перламутровыми биноклями, в шляпах с перьями, в платьях, подметавших траву, при ударе колокола отправлялись на особую, «зарезервированную» трибуну, куда *незаконной* Бальсана не было хода?

Долгое время Габриэль вынуждена была довольствоваться соседством по-воскресному разодетых колбасников, лавочниц, мелких торговцев, уличных мальчишек, женщин легкого поведения, сутенеров, карманников. Ибо следовало избегать встреч с теми особами, которых столкновение с молодыми женщинами из окружения Этьенна могло оскорбить.

В Лонгшане приходилось прибегать к всевозможным уловкам, чтобы не наткнуться на красавицу Аниту Фуа, урожденную Поржес, законную супругу Макса, графа Фуа, владельца конных заводов в Барбевиле в Кальвадосе. Ни он, ни его жена не здоровались с *незаконной* брата, маленькой Орланди с огромными миндалевидными глазами. Они обвиняли ее в том, что она его «совратила».

А на ипподроме в Монпелье…

Та же картина, но на сей раз следовало не попадаться на глаза отцу Боба д'Эспу и его грозной матери, графини д'Эспу, в каждом письме писавшей сыну: «Твоя шлюха сведет меня в могилу…»

А в Виши…

Какой приходилось делать крюк, чтобы Адриенна не повстречалась с разгневанными владельцами замка, сын которых стал ее любовником.

Ибо по возвращении из Египта Адриенна сделала свой выбор.

Из трех поклонников, предлагавших ей путешествие по Нилу, двое — Жюмийак и Бейнак — по собственной инициативе сняли свои кандидатуры в пользу самого молодого из них, их общего протеже, которому Адриенна раз и навсегда отдала свою благосклонность. Это можно было предвидеть… Более неожиданным оказалось то, что речь зашла о женитьбе.

Родители тут же высказали свое мнение.

Потоки материнских слез: «Ни за что, пока я жива». Окончательный приговор отца: «Это, должно быть, горничная навеселе».

Поэтому, прячась и скрываясь, любовники из Виши и любовники из Монпелье выжидали.

Вы думаете, такое можно забыть? Можно забыть, как отводили глаза, как пожимали плечами? Это было жестокое время, Прекрасная Эпоха для других, странное прошлое, о котором Габриэль вспоминала с горечью, когда через пятьдесят лет в Трамбле под устремленными на нее со всех сторон взглядами она смотрела, как мчится галопом ее лошадь Романтика, как побеждает ее жокей Ив Сен-Мартен в красных куртке и шапочке.

III
Прекрасная Эпоха. Для кого?

В двадцать шесть лет Габриэль плохо знала Париж.

Можно ли знать город, который видел только мельком? Скачки, военные парады, велосипеды, кружащие по Зимнему велодрому, — таковы были основные развлечения, предложенные ей Этьенном. Если добавить к этому несколько больших универсальных магазинов, и самый удивительный среди них, «Прентан», вызывавший ее восхищение, — здание из железа и стекла, которому было столько же лет, сколько и ей, — вот примерно и все, что в ту пору знала о Париже Габриэль.

Она совершила несколько автомобильных вылазок. Леон де Лаборд, лучший друг Этьенна, иногда предоставлял в распоряжение банды всадников свою машину. Это был красный автомобиль типа купе, с кузовом от Шаррона, радиатор надо было постоянно заливать. Но ни разу эта машина не отвезла Габриэль туда, куда ее манило: в Ледовый дворец, в Булонский лес в день конкурса на самый элегантный туалет, в Голубиный тир, туда, где, если верить газетам, и проходили главные события.

Спеша прибыть на ипподромы, куда их призывали обязанности, Этьенн и его друзья подъезжали только к предместьям Парижа, после чего огибали столицу, и Габриэль замечала лишь самые невыразительные ее детали: Венсеннские ворота, ворота Сен-Клу, площадь Республики, успевая увидеть похожего на пуделя льва, приглядывающего за жалкой статуей, а у ног толстой дамы — унылую, словно ночной горшок, урну, олицетворявшую Всеобщее избирательное право. Габриэль с трудом верилось, что это и есть Париж.

Чаще всего они пользовались поездом. Друзья Этьенна, реваншисты, шовинисты и ура-патриоты, считали своим долгом каждый год присутствовать на параде 14 июля.

Это было традиционное развлечение.

То, что генерал Пикар, военный министр, упал с лошади, объезжая войска, казалось Этьенну и его друзьям событием, бесконечно более важным, чем падение Клемансо. На это событие маленькая группка наездников едва обратила внимание.

На обратном пути Этьенн и его приятели, расстелив одеяло, играли на коленях в карты до прибытия поезда на компьенский вокзал. Они постоянно стремились выразить презрение по отношению к образу жизни старшего поколения. Мягкие шляпы,

сдвинутые на затылок, прекрасный английский твид, изысканная небрежность — тем самым они заявляли о своем неприятии чопорной элегантности отцов, посещавших ипподромы в пристежных воротничках и галстуках с пластронами, в монокле, с тростью и гвоздикой в петлице. Между ними не было ничего общего.

В это время их молодые спутницы перебирали впечатления от проведенного дня, говорили о *моде,* и прежде всего о *шляпах.* Семья, дети, любовь, драгоценности — ничто не вызывало такого интереса, как эта тема, причем в самых разных кругах. Увлечение шляпами родилось в прекрасные времена Второй империи и с тех пор не угасало. Как не отметить волнующее постоянство в любви к головным уборам? Достаточно сопоставить изумление, охватывавшее всех, кто, находясь в обществе императрицы Евгении и принцессы Меттернихской, ожидал услышать, как эти дамы обмениваются речами исторической важности, тогда как те «обсуждали только, как лучше надеть шляпу, чтобы она была к лицу», и оторопь церемонной дурехи Алисы Токла, которая в «автобиографии», упоминая о Фернанде Оливье, любовнице Пикассо, поражалась, как гений мог любить женщину, испытывавшую подлинный интерес лишь к творениям своей модистки.

Следовательно, не приходится удивляться, что познания Габриэль ограничивались именами нескольких генералов и модисток. Что до всего остального… Слышала ли она когда-нибудь о Дягилеве?[16] Едва ли. В течение предыдущих сезонов он, однако, открыл парижанам мир звуков и цвета, по сравнению с которым маковки из папье-маше и псевдославянство Всемирной выставки казались дешевыми лубочными картинками. Но что знала о Сергее Великолепном затворница из Руайо? А о Шаляпине «Борисе»? Без сомнения, ничего.

Большей частью своих познаний она была обязана чтению «Эксельсиора», газеты, которая обычно валялась на столах в Руайо. Иными словами, если она и слышала о Сергее и Борисе, то лишь что это были великие князья, о которых писала пресса.

Они были в центре всеобщего внимания.

Любовные истории в Ницце, неудавшиеся инкогнито служили предметом для специальной рубрики. Стоило только какой-нибудь принцессе времен Империи перестать здороваться с великими князьями, потому что один из них позволил себе свистнуть под ее окном, прося ее спуститься, как любители сплетен тут же бывали об этом оповещены. Решительно, эти Сергеи и Борисы нравы имели странные. Они били свою челядь… И под тем предлогом, что адъютанты должны всегда «быть под

рукой», заставляли бедняг спать в ванне. Можно ли было об этом не знать? Ведь дело происходило в «Негреско»…

Наконец, если великие князья ударялись в проказы полусвета, увлекались актрисочками и жрицами любви, то, возможно, для того, чтобы забыть, что другие Сергеи и Борисы, оставшиеся в Санкт-Петербурге, их братья, дяди или кузены, являлись мишенью для нигилистов. Флот был уничтожен. Царская Россия разваливалась. В Польше, на Кавказе, на берегах Черного моря, наконец, в Москве шли чредой забастовки, грабежи, бунты, погромы. Царская армия терпела неудачи. У царицы было зловещее лицо. Царь казался отсутствующим… Этого было достаточно, чтобы извинить зимние проказы Романовых в Ницце и других местах.

К тому же пресса никого не уважала.

Париж открывал для себя Дебюсси, Пруста, Ренуара, Боннара, новые формы театрального выражения и поэтов из «Ревю бланш».

Но в Руайо от лошадей могла отвлечь только игра.

Там не интересовались ни музыкой, ни живописью, ни тем более авангардом. Сара Бернар была единственной актрисой, чье имя произносилось. Да и то не без колебаний… Ведь она была еврейкой.

Адриенна, будучи проездом в Париже, по-прежнему помолвленная со своим возлюбленным и по-прежнему в сопровождении дуэньи, пригласила Габриэль пойти с ними на поэтический концерт, чтобы поаплодировать «мадам Саре». Адриенна была вне себя от восторга. Мод Мазюель говорила, что она чуть не разрыдалась. Надо ли верить Шанель, когда в старости она утверждала, что всегда считала Сару до крайности нелепой? «Она так корчилась… Старый клоун…»[17] А что думать о презрении, с которым она относилась к театру первых лет нашего века?

В феврале 1964 года, во время представления «Сирано де Бержерака» в «Комеди Франсез», ее резко неодобрительное поведение шокировало зрителей.

Культ пьесы, и сейчас еще считающейся шедевром Эдмона Ростана, существует, как мы знаем, уже более восьмидесяти лет. Но, ничуть не обращая внимания на громкие «т-сс» и возгласы протеста, раздававшиеся вокруг, Шанель, попав в центр внимания зала, продолжала иронизировать, и было невозможно заставить ее замолчать.

Было слышно, как она обличала актеров и автора этих пошлых острот: «Нет, но какая гадость!.. Что за вирши… Какой во всем этом дурной вкус! Сколько претензий! Ужасная эпоха! И этот французский ура-патриотизм, какая глупость! Поведение,

достойное консьержа».

В самые патетические моменты она цедила сквозь зубы оскорбительные замечания. Она метала громы и молнии.

Выражением какого протеста была эта враждебность, признанием в каком душевном смятении? Против кого были направлены ее насмешки? Против Ростана? Если только не против самой себя и против прошлого, груз которого был особенно велик, ибо теперь она лучше понимала его незначительность. Мулен, патриотический репертуар кафешантанов, «красноштанничество»…

Может, она не могла себе простить, что была заложницей вкусов и развлечений касты, которая сперва открыла ее, а затем сама же сделала существом второго сорта? Жалела ли она как о потерянном времени о годах, проведенных в Руайо? Она слишком долго довольствовалась тем, что ездила на лошади, участвовала в фарсах Этьенна, в его поездках, в праздношатании по местам столь банальным, что, казалось, они даже не были частью города, в котором находились. В По маленькая меблированная квартирка над «Старой Англией», где после пяти часов собирались все спортсмены, но куда, как и в Сувиньи, как и в Руайо, никогда не приходили их жены… А в Ницце, а в Виши и Довиле? Они жили в холостяцких квартирах, всегда обставленных так похоже, что по утрам, просыпаясь, она спрашивала себя: «Где я?»

Из потока ее гневных обвинений мы можем выделить одно: «Ужасная эпоха!»

Разумеется, она лгала, утверждая, что думала так всегда. На самом деле подобная оценка есть плод более поздней эволюции. Но это ничуть не умаляло искренности, с которой она возмущалась.

Ужасной была эпоха, когда из страха, что ее сочтут «распущенной», Габриэль вынуждена была следовать моде, которая была подражанием, перегруженностью, принуждением. Ужасной была эпоха, заставлявшая ее носить жесткий, словно оковы, корсет. Ужасными были люди, во власти которых она находилась и которые помешали ей одной из первых созерцать сияющую зарю нового века и вдохновлять музыкантов, художников, поэтов.

Не она первой поняла их, не она первой их полюбила.

Это сделали другие, не она…

Например, Мися, с которой она вскоре познакомится.

Что читала Мися Натансон[18] в ту пору, когда Габриэль, живя затворницей в доме, где не было книг, поглощала халтуру господина Декурселя, самого посредственного автора романов с продолжением того времени? Мися знакомилась с творчеством

писателей и критиков из окружения своего мужа: Мардрю, переводившего «Тысячу и одну ночь», Андре Жида, Леона Блюма, молодого Пруста, опубликовавшего тогда только «Утехи и дни». И пока Габриэль аплодировала во время парадов, которые так любили Этьенн и его друзья, Мися читала в «Ревю бланш» Толстого[19], чьи статьи заставляли дрожать Сен-Жерменское предместье: «Патриотизм есть искусственное, безрассудное чувство, пагубный источник большинства бед, обрушивавшихся на человечество». Мися олицетворяла собой интеллигенцию, о существовании которой Габриэль в то время и не подозревала.

Строго затянутая в корсет, одетая как положено, чтобы произвести хорошее впечатление, — муфта, огромная черная бархатная шляпа, длинная приталенная накидка, доходящая до икр, и вуалетка — Габриэль прогуливалась под пальмами по Английскому бульвару в сопровождении эскорта поклонников.

В том же году за несколько километров от Ниццы, под солнцем Сен-Тропеза, Колетт писала другу: «Я валяюсь на песке вместе с шестью собаками и двумя лошадьми. Что за прелесть! Ни туфель, ни чулок, ни юбок, ни корсетов, ни перчаток. Поговорите-ка со мной о Кабуре, и, сравнив ту жизнь с моей, я пожму плечами!»[20]

Нет, Габриэль не была первой и никогда не простила этого «ужасной эпохе», которую винила во всем.

IV
В поисках свободы

Весной 1908 года в Руайо появился новый завсегдатай. К банде приятелей прибавился англичанин с черными прямыми волосами и матовым цветом лица.

Внешность привлекательная, хотя и необычная.

Что о нем было известно? Что бóльшую часть своей юности он провел в лучших колледжах. Сперва в Бомонте, иезуитском колледже для сыновей джентльменов-католиков, затем в Даунсайде, не менее шикарном заведении, руководимом бенедиктинцами. Что он происходил из хорошей семьи, но над его рождением довлела какая-то тайна. В «Who is who» он не значился. Звали его Артур Кейпел. Он получил прозвище Бой. Никогда он не говорил о своей матери. Некоторые считали его внебрачным сыном одного француза, умершего незадолго до того, как Бой завершил учебу. Якобы он был сыном Перера. Незаконнорожденный сын банкира… Но ему это прощали, равно как и небольшое количество еврейской крови, ибо, согласно наведенным справкам, в Лондоне он посещал самые фешенебельные места. Итак, поскольку англичане ценили его редкий талант в поло и считали оригинальным и забавным, что этот юноша находил удовольствие в учебе, а затем и в работе, парижане тоже с радостью согласились принять его в свой круг, и больше никто не интересовался несуразностями его рождения.

Напротив, друзья охотно восхваляли его шарм и то, что он сумел извлечь доход из унаследованных угольных месторождений Ньюкасла.

Хотя Артур Кейпел был другом самых блестящих светских людей, например Армана де Грамона, герцога де Гиша, он думал и жил иначе, чем они. Для него не было ничего важнее работы. А потому, хотя и не подавая виду, он часто испытывал раздражение по отношению к тем, кто принял его с распростертыми объятьями. Было ли это связано с тем, что он прекрасно понимал, что никогда не будет до конца принадлежать к их кругу? Подобное умонастроение могло бы объяснить некоторые особенности его характера: в частности, именно у Боя Габриэль Шанель найдет понимание, которое она тщетно искала прежде. Дело в том, что он лучше, чем кто-либо, знал, чего стоит необходимость постоянно «противостоять судьбе». Кейпел вел себя как человек решительный.

А Габриэль распирало от нетерпения.

Когда между ней и Этьенном возникли первые разногласия, связанные с ее желанием изменить образ жизни, Артур Кейпел был единственным, кто поддержал ее. Ей надоело жить в уединении в Руайо? Ей скучно? Что в этом дурного? Нужно чем-нибудь заняться.

Габриэль хотела было снова петь. Но эта идея не встретила одобрения, тем более что ее предыдущие попытки оказались бесплодными. Младшая сестра Габриэль, Антуанетта, едва выйдя из монастыря, тоже решила, что сумеет добиться успеха на вокальном поприще. Результаты оказались столь же плачевны, как у Габриэль.

Понадеявшись на свою мордашку и тонкую талию, Антуанетта теперь находилась в Виши без средств и какого-либо ангажемента. Обосновавшаяся неподалеку, чтобы не удаляться от своего возлюбленного, Адриенна взяла на себя хлопоты о ней, помогала ей деньгами и искала работу.

Не хватит ли в семье одной жертвы вокала?

Габриэль позволила убедить себя. Следовало пробиваться другим путем. Тогда, подбадриваемая Боем, она приняла предложение Этьенна.

В понимании Бальсана, речь шла скорее о времяпрепровождении, нежели о настоящем занятии. Делать шляпы для друзей — чем не прекрасная идея? У нее ведь уже просили образчики ее шляпного творчества. Разве она не забавлялась тем, что подружки с восхищением примеряли сделанные ее руками шляпы? Шкафы Габриэль были забиты головными уборами. Сама Эмильенна д'Алансон… Одно из канотье Коко так ей понравилось, что она оставила его себе и с тех пор всюду появлялась только в нем. Правда, канотье было перегружено и обезображено личными находками Эмильенны, но отрицать влияние Габриэль было невозможно.

Дело в том, что Габриэль обладала несомненным даром. Была ли она обязана им каникулам в Варенне, когда занималась переделкой шляп тети Жюлии? В той ловкости, с которой она умела придать шик любому плетеному изделию, чувствовался не только вкус, чувствовалось прежде всего унаследованное умение «сделать нечто из ничего».

Именно это и ощущалось в творениях Коко.

Модели, которые она предлагала, как правило, отличались простотой, и было любопытно, что некоторые из ее подруг воспринимали эту строгость как новое проявление эксцентричности. Надеть на себя широкую, колышущуюся ленту с едва заметным донышком, на которое ничего не крепилось? Некоторым женщинам это нравилось: одни забавлялись из

лихости, другие — из желания заинтриговать.

Ибо у окружающих сразу возникал вопрос: кто был создателем шляпы, на которой не было ни страусиных перьев, обнимающих тулью, ни лихо торчащего плюмажа, ни пышно присборенного тюля, ни бархатных бантов, ни волны лент?

Дамы вынуждены были строить предположения, задавать вопросы: «Кто ваша модистка?» — и пускаться в догадки. На улице Мира, Королевской улице, в квартале Оперы недостатка в модистках не было. Итак, эта шляпа, чья она? Камиллы Марше, Шарлотты Энар, Карлье, Жоржетты, Сюзанны Тальбо? И однако, нет… Ни одна из известных модисток не была автором этого чуда, отличавшегося несравненным изяществом.

Носить творения Габриэль было все равно что носить вместо короны ребус, ее клиентки учились нравиться, идя наперекор существующей моде.

* * *

Устройство Габриэль в Париже создавало определенные проблемы. Купить ей магазин? Заключить договор об аренде на ее имя? Этьенну было плевать на мнение окружающих до тех пор, пока незнакомка из Мулена жила, уединившись, в Руайо. Но он придавал большое значениё тому, что́ подумают о нем господа из Жокей-клуба. Иметь любовницу, содержать ее, жить с ней — все это могло сойти за важный элемент престижа. Но заставлять женщину работать было недопустимо, и Этьенн мог ожидать порицания.

Кроме того, подобно многим мужчинам его круга, Этьенн испытывал наслаждение, тратя только на лошадей.

Поэтому под предлогом, что он якобы хочет помочь своей подружке, не обижая ее, Этьенн довольствовался тем, что предложил ей свою квартиру на первом этаже дома 160 по бульвару Мальзерб, будучи убежден, что стремление Габриэль к самостоятельности разовьется в этой обстановке естественным образом.

Он не ошибся.

Устроить Коко в холостяцкой квартире по адресу, где со своими подружками из бомонда Этьенн «занимался глупостями», — весьма неожиданный способ создать ей рекламу. Его прежним любовницам предстояло трепетать по-новому, приходя заказывать шляпы туда, где несколькими годами ранее они уступали Этьенну, и ценой какого риска! Избавиться от экипажа так, чтобы не знал муж, упростить свой туалет, который

был воплощенной сложностью, так чтобы не знала горничная, раздеться — операция, которую, по словам Жана Кокто, следовало «предусмотреть заранее, словно переезд», — наконец, отдаться любовнику — настоящий подвиг! И вот теперь та же самая квартирка становилась местом вполне пристойным. Теперь там предстояло не раздеваться, а совершать покупку.

Как все это было неожиданно! Даже если бы шляпы не были так хороши, идея сама по себе была привлекательна.

Успех не заставил себя ждать.

Подружки Этьенна поспешили сюда, приводя своих приятельниц.

Бой заходил по соседски. Он жил рядом и не скупился на поддержку. Очаровательная, какой она умела быть, по-прежнему одетая пансионеркой, Габриэль впитывала каждое его слово. Вот человек, который выказывал ей уважение. Такого с ней еще не случалось.

Скоро и Бой стал направлять к Габриэль своих знакомых красавиц.

Весь мир скачек перебывал у нее.

У Габриэль не было недостатка в идеях. Но ей не хватало практики и, самое главное, навыков. Красноречия у нее было хоть отбавляй. Как отец и дед, она умела продавать. Но перед новой клиентурой этого было недостаточно. Ее покупательницы были невероятно требовательны. Разочаровавшись, они могли исчезнуть так же быстро, как появились.

Пришлось еще раз воспользоваться помощью Этьенна. По его мнению, игра стала слишком серьезной, и он посоветовал Габриэль заручиться технической подмогой. Надо было действовать быстро. Тогда-то, в 1909 году, и произошла встреча Габриэль с молодой женщиной, младше ее на три года, — Люсьенной Рабате. Она только начинала свою карьеру, но все, с кем Габриэль советовалась, были единодушны: ей нужна именно Люсьенна, и никто другой[21].

Габриэль бросилась к Люсьенне.

Надо было убедить ее примкнуть к новому делу.

Задача была посильная. Люсьенна сама пыталась создать себе клиентуру. Актрисы, светские женщины молились на нее. Она приняла предложение Габриэль и, воспользовавшись своим уходом от Левис, увела с собой двух ее лучших мастериц.

Для начала этого было вполне достаточно.

В один прекрасный день, на волне успеха, пришлось призвать на помощь Антуанетту. Габриэль поручила младшей сестре принимать клиенток и держать салон, где та была вполне на своем месте. Малышка превратилась в хорошенькую девушку.

Изящно одетая, она обладала определенным шармом, хотя подбородок у нее был тяжеловат, а выражение лица — слегка глуповатое. У нее была отвага Габриэль, но не было ее талантов. Однако под влиянием Адриенны, уверявшей, что «малышка годилась на все сто процентов», Габриэль стала «протежировать» сестре.

К тому же Антуанетта унаследовала некоторые семейные качества.

Она была выносliва в работе. Никогда не отлынивала от дела. Поскольку Антуанетта была единственной, кто ночевал в мастерской, она ложилась позже Люсьенны, позже Габриэль, продолжавшей жить в Руайо. Наутро, к моменту открытия, работа бывала закончена. Славная маленькая Антуанетта брала на себя и доставку готовых изделий по вечерам.

Адриенна, из своей далекой провинции, рукоплескала. Ей нравилось, что двое из трех сестер Шанель наконец объединились и, как во времена Варенна, были заняты тем, что пришивали оборки, подкладку, перетягивали, сметывали, расшивали жемчугом, кроили.

Адриенна больше чем когда-либо хотела, чтобы в обществе прекратились пикантные намеки на семейное прошлое. Вместе с тем сама она была человеком простым и откровенным. Но помимо доброго сердца, она была наделена страстным стремлением к респектабельности. Оно диктовалось ей законами среды, в которую она хотела быть принятой. Неуступчивые родители ее молодого аристократа по-прежнему заявляли, что ни за что на свете не согласятся на «гарнизонный брак».

Адриенну по-прежнему не принимали.

Ее никогда не примут.

А как она любила… Жестокой была судьба к этой молодой красивой женщине, которой пришлось ждать двадцать лет, пока ее искреннее и прочное чувство не увенчалось замужеством.

V
Как стать модисткой

Февраль 1910 года. Клиентура Габриэль, вот уже год как обосновавшейся в холостяцкой квартире Бальсана, росла день ото дня.

Работать приходилось в тесноте.

Мир скачек сменился светскими дамами, красавицами, одевавшимися у Ворта, Редферна, Дусе. Эти дамы не всегда заказывали, но заходили, движимые любопытством.

Пришлось отказать в жилье Антуанетте, чтобы превратить ее комнату в мастерскую. Куда ее поселить?

Всадники из Руайо примчались на помощь бедной «бездомной» и тут же предоставили в ее распоряжение еще одну квартирку на первом этаже, крохотную, но удобную, ибо она располагалась рядом с ателье.

Недавней постройки, аляпистого стиля, с просторными прихожими, украшенными мрамором, чьи пурпурные краски и замысловатые цветовые сочетания неодолимо напоминали огромные витрины с заливным или колбасные лавки, высокие дома квартала Мальзерб были предназначены не только для буржуазии, но и для того, чтобы в укромные уголки на первом этаже тогдашние обольстители могли, без ведома супруг, захаживать «по обыкновению».

Разумеется, было очень удобно, что все наши герои оказались в одинаковых условиях и жили рядышком, в нескольких улицах друг от друга: ателье находилось в доме 160 по бульвару Мальзерб, квартира Артура Кейпела — в доме 138, Антуанетта поселилась в номере 8 по авеню Парка Монсо, — но проблема так и оставалась нерешенной. Места не хватало, и адрес выглядел несолидно.

Тогда Габриэль попросила Бальсана дать ей денег взаймы. Она хотела снять помещение и открыть дело под своим именем.

Этьенн категорически отказался. В Руайо ему пришлось пойти на новые расходы, чтобы купить прилегавшие к поместью луга. Лошади и так стоили ему дорого. Больше он ничего не мог для нее сделать.

Она настаивала.

Она говорила, что продолжать работу, не заплатив за патент, в помещении, для этого не предназначенном, рискованно.

Это было верно. Настолько верно, что ее сотрудничество с Люсьенной не выстояло. Что не понравилось Люсьенне?

Принятый в доме стиль поведения? Некоторая беспорядочность, постоянные визиты Боя, красавца Леона де Лаборда, Этьенна? Люсьенна никогда не могла предположить, что за модисткой может ухаживать столько мужчин сразу. И что думать о молодых людях, афишировавших столь чрезмерную небрежность в одежде? Это что, новые денди?

Будучи с юных лет на выучке у требовательных «первых» мастериц, сформировавшись в суровой школе парижских ателье, Люсьенна была настоящим профессионалом. Она постепенно взбиралась по ступенькам мастерства, пройдя их одну за другой — от молоденькой ученицы в рабочем халате, которой поручалась работа самая незатейливая, до мастерицы, занимавшейся сперва отделкой шляп, затем их украшением. Потом она стала помощницей «вторых» мастериц, бегая с булавками из ателье в салон, где царили клиентки, которым старались изо всех сил угождать, и, наконец, дослужилась до «младшей первой», человеческой особи, которой дозволялось молча присутствовать на церемонии примерок и даже подавать тем, кто священнодействовал, эгретки и райских птиц, предназначенных для украшения охотничьих натюрмортов, коими являлись шляпы.

Модное ателье в холостяцкой квартире поначалу показалось ей чрезвычайно забавным. Антуанетта, как и Коко, была помешана на пении. Как только клиентка уходила, сестры Шанель принимались распевать во все горло. Порою они прибегали к репертуару довольно вульгарному. Уморительные создания эти Шанель. Было куда веселее, чем у Левис…

Но довольно скоро Люсьенне пришлось столкнуться и с отрицательными сторонами своего сотрудничества с Шанель.

Габриэль не любила делить с кем-либо власть. Она начинала верить в свои силы и, хотя знала несравненно меньше Люсьенны, не слушала ее советов.

Люсьенна была уверена, что следует учитывать некоторые тайны светского общества, если хочешь хорошо делать свое дело. Существовали неписаные правила, которые, однако, необходимо было уважать. Самой наивной ученице с улицы Мира через несколько месяцев работы становилось об этом известно. Тогда как Габриэль… Как она могла постичь секреты протокола, запрещавшего назначать свидание в одно и то же время баронессе де Ротшильд, супруге Анри, и красавице Жильде Дарти, которые ни в коем случае не должны были встречаться друг с другом, хотя счета обеих следовало направлять именно барону Анри? От кого могла она узнать о существовании двух княгинь Пиньателли, к которым надо было относиться совершенно по-разному, ибо одна была знатной дамой, приезжавшей за покупками специально из

Неаполя, а другая — всего лишь шумливой дамочкой, в дни молодости щеголявшей на сцене в более чем легкомысленных туалетах? Подобные тонкости были Габриэль неведомы.

У Люсьенны же было достаточно опыта, и она знала большинство клиенток. Она попыталась убедить Габриэль, что порою выгоднее отказаться от клиентуры одного сорта, чтобы завоевать другую. Она считала, что следовало иметь определенную систему ценностей, что нельзя принимать одинаково Режан, Барте и какую-нибудь актрисулечку из «Одеона». Наконец, внимание, которым Габриэль окружала некую Клер Гамбетта — высокую, смуглолицую, чрезмерно накрашенную женщину, чье имя производило на Шанель магическое воздействие, — было совершенно незаслуженным. Габриэль крутилась вокруг нее, повторяя, словно припев, «мадемуазель Гамбетта». Еще одна оплошность… Ибо если кого и следовало бы не принимать, так именно эту так называемую актрису, навлекшую на себя всеобщее презрение в тот момент, когда она попыталась сделать деньги на своем имени. Она распевала: «Ты дал дуба, дуба, дуба» — в ту самую ночь, когда в Виль-д'Авре агонизировал ее дядя, трибун, Леон Гамбетта, идол жителей Эльзаса и Лотарингии.

Иметь подобную клиентку было сущим безумием. Эта женщина, всеми единодушно осуждаемая, не должна была больше появляться в ателье.

Но, узнав, в чем провинилась мадемуазель Гамбетта, Габриэль расхохоталась. По ее мнению, подобная «промашка» отнюдь не заслуживала презрительного или враждебного отношения. «Она делала свое дело», — возражала Габриэль категорично.

Между компаньонками начались стычки.

Тогда Люсьенна воспользовалась первой подвернувшейся ей возможностью уйти от Габриэль, и та осталась одна.

Вот во что обошлось ей любительство.

Но как убедить Этьенна?

Габриэль предприняла новую атаку. Люсьенна ее покинула. Этот аргумент мог повлиять на решение Бальсана. Артур Кейпел поддерживал ее. Он твердо верил в талант Габриэль и тоже считал, что пришло время устроиться по-другому. Он вставал на ее защиту в любых обстоятельствах.

Бальсан был удивлен и весьма рассержен такой крутой переменой в поведении своего лучшего друга. Внезапно Артур Кейпел стал серьезно относиться к «работе» Габриэль, в которой раньше, как и Этьенн, видел только забаву. Что это значило?

Наступил момент, когда причины столь неожиданной

перемены стали очевидны: Кейпел был влюблен. Кстати, он этого и не отрицал. Он любил Коко.

Медовый месяц втроем закончился.

Чтобы лучше понять Этьенна, надо иметь в виду, что продажные любовницы, которых он узнал очень рано, сделали для него любовь подозрительной. Но то, что другие верили в нее, могло его глубоко тронуть.

Итак, Бой и Габриэль…

Добрый малый, Этьенн по-прежнему отдавал свою холостяцкую квартиру в ее распоряжение, хотя и знал, что Габриэль жила в другом месте.

Передача власти совершилась без криков и сцен. Смена любовников произошла в лучших традициях Мариво.

Артур Кейпел совершенно естественно заменил Бальсана, и именно он дал Габриэль аванс на покупку необходимого помещения.

В последние месяцы 1910 года Габриэль оказалась в доме 21 по улице, с которой в течение полувека будет связано ее имя, — улице Камбон.

Руайо по-прежнему оставалось местом встречи старых друзей, и казалось, что ничего не изменилось.

За исключением, однако, некоторых деталей.

Покинутый Бальсан заревновал. С какой легкостью приняла Габриэль мысль о разрыве! Уязвленный в своей гордости, он начал жалеть о ней.

Габриэль приезжала теперь в Руайо с Артуром и в качестве приглашенной. Пребывание там ограничивалось уик-эндами. Можно было подумать, что это другая женщина. Ее серо-жемчужные амазонки вдруг позволили заметить, что жизнь ее изменилась. По тонкому сукну, по тому, с каким шиком косыми складками падала юбка, по нарочитой асимметрии длинного жакета, позволявшей всаднице, уже находящейся в седле, свободно прикрывать колено, наконец, по тому, какой радостной представала Габриэль каждое утро перед глазами друзей, было ясно — и этого не увидел бы только слепой, — что ее долго лелеемая мечта все-таки осуществилась. Она одевалась теперь у одного из лучших портных… У одного из тех англичан, к которым обращались красавицы наездницы в цилиндрах и жилетах, чье несравненное изящество заставляло биться сердце молодого Пруста.

Но кем бы ни был этот портной и какое бы уважение он ни внушал Габриэль, ей тем не менее удалось навязать ему некоторые детали костюма, в которых просматривалась тайная связь с ее юностью. Она не обращала внимания на то, что ей

говорил портной. Он уверял ее, что всадница ни под каким предлогом не может отказаться от строгой рубашки и трижды обернутого вокруг шеи белого пикейного галстука, который, будучи заколот булавкой, производил то же впечатление строгости, что и пристежной воротничок. Да что ей за дело до этой строгости? В других обстоятельствах куда ни шло… Но в Руайо?

— Мы катаемся на лошадях в дружеской компании, запросто, — объясняла она.

Портной был иного мнения и выразил свое неодобрение, почти скорбь, оттого что такая хорошенькая женщина хладнокровно собирается его опозорить. Что она хочет сделать? Поехать в амазонке без галстука, в рубашке с открытым воротом? Чистое безумие. А что еще? Надеть с костюмом строгого покроя блузку с широким воротником и муслиновый галстук, завязанный бантом. Что за мысль!.. Пусть она оставит подобные выкрутасы юным школьницам.

Портной был уязвлен.

Но и в отношении других деталей Габриэль оказалась столь же несговорчива. Весьма холодно отнеслась она к его предложению заказать у Мотша цилиндр из черного плюша с прикрепленным к полям моноклем, как носила принцесса Мюрат. Это было вовсе не в ее вкусе, равно как и маленькая черная треуголка, украшенная несколькими страусовыми перьями, которую принцесса Караман-Шиме только что ввела в моду.

Такие шляпы были ей не нужны.

Она намеревалась носить пикейную головную повязку, которая, будучи закреплена под шиньоном, прекрасно держала бы волосы.

Портной заставил ее повторить свои слова дважды.

— Головную повязку? — недоверчиво спросил он. — Вы говорите, повязку? Нечто вроде того, что носят теннисистки?

— Нет, — возразила она. — Уже… Вроде того, что носят монахини. Понимаете, что я имею в виду? Эта лента носится у самых корней волос.

Последние слова заказчицы укрепили портного в его сомнениях.

Быть подружкой Артура Кейпела, без сомнения, являлось редкой привилегией. Но это все же не было основанием для того, чтобы выступать в роли законодательницы мод. Молодая женщина далеко не пойдет. Она смешивала стили.

Первые поставщики Габриэль, как говорят, сохранили о ней самые скверные воспоминания.

VI
Новые подруги

Габриэль Шанель в разных обстоятельствах утверждала, что она любила всего один раз в жизни и только однажды знала человека, казалось созданного для нее, — Артура Кейпела. Мы можем быть почти уверены, что на сей раз она говорила правду.

Иностранный акцент Кейпела, ритм нового существования, обаяние человека занятого и пунктуального, большие черные глаза, глядевшие на нее властно, черные как смоль волосы, такие черные, что они словно отбрасывали тень вокруг головы, — все это было для Габриэль внове.

С сумасшедшей бандой приятелей было покончено, было покончено с лесными скачками. Чтобы действовать и создавать, надо было иметь друга, на которого можно опереться. Артур Кейпел и был таким другом.

Габриэль всегда хотела покончить с той жалкой ролью, на которую обрекли ее легкомысленные офицеры и разочаровавшиеся спортсмены. И вот она встретила человека, относящегося к ней с нежностью, доверием, уважением. Начиналась новая жизнь? По-настоящему?

У Кейпела были бесчисленные любовницы. Он их бросил. Они пытались вернуть его. Он решил ими пренебречь. Было ли это доказательством прочной любви? Питая надежды, Габриэль задавалась постоянными вопросами. Могла ли она довериться Кейпелу? Ведь его вкусы почти совпадали с вкусами Бальсана. Спортсмен… Как и прежде, снова в ее жизни спортсмены. Но Артур был не только спортсменом. Это был человек до всего любопытный, интересовавшийся политикой, историей, читавший массу странных книг. Произведения социалиста Прудона «О федеративном принципе», чудаковатого эрудита Фабра д'Оливе «История рода человеческого», святого ясновидца Ива Альвейдрского «Миссия государей» были его настольными книгами. В его библиотеке вперемешку стояли Ницше, Вольтер, отцы церкви, «Политические опыты» Герберта Спенсера и «Мемуары» Сюлли, которые он всеми силами хотел заставить Габриэль прочесть. Она открывала для себя, что можно быть одновременно чемпионом по поло и страстным книголюбом. Сколько сюрпризов!..

И тогда Габриэль оказалась в одной из тех ситуаций, которые умеет подстраивать жизнь. Шанель вынуждена была признать, что, когда она влюблена, работа привлекает ее меньше, чем когда

ей некого любить. Она узнавала на опыте, что такое счастье, и, к своему удивлению, понимала, что это состояние самодостаточное.

Тем не менее нужно было продолжать заниматься делом.

Она постаралась убедить Люсьенну вернуться, и ей это удалось, хотя и ненадолго.

Успокоившись, Габриэль какое-то время пребывала в нерешительности: то ее охватывало безумное желание никогда не выходить из дома, чтобы любимому не приходилось ее ждать. Затем наступала бурная реакция: она не хотела обрекать себя на заточение. Вслед за тем приходил черед столь же бурных угрызений совести. Тогда, не выходя из дома Боя, она мечтала жить только для него. Но это была не жизнь… Что же делать?

Кабаре перестало ее интересовать. Но стоило подругам Боя в ее присутствии рассказать о своих визитах к Айседоре Дункан, как Габриэль вновь воспылала страстью к сцене.

Красавиц в студию Дункан влекло одно лишь любопытство. Они надеялись, что та, которая посредством танца проповедовала свободу чувств, откроет им некие тайны. Габриэль искала другого. Ритмика была в моде. Она становилась не просто методом танцевального искусства, но системой воспитания, и люди всех возрастов отправлялись, словно на богомолье, в институт, только что открытый в Дрездене мастером этого жанра Жаком Далькрозом. Габриэль захотелось научиться танцевать. Узнав о ее желании, Артур Кейпел одобрил ее.

Что плохого в том, если, помимо шляп, его подруга займется еще и танцем? Почему бы не попробовать? Он ничего так не боялся, как праздных женщин. Между тем именно они привели Габриэль на авеню Вилье.

Айседора жила в фаланстере, в окружении весельчаков и забавников, артистов всякого рода. Она принимала, прикрыв обнаженную грудь пеплумом. Очень худой молодой человек, с бородой как у фавна, находился при ней неотлучно. Подавали смеси алкогольных напитков с совершенно необычным вкусом. Вокруг смеялись, болтали, развлекались, Габриэль слушала. Наконец наступил долгожданный момент, и Айседора объявила, что будет импровизировать. Она устремилась вверх, взметнув руки, словно все боги Олимпа находились под застекленной крышей. Ее позы были убедительны. О бедности аксессуаров — гирлянде роз из мятой бумаги — сразу забывалось.

Внезапно молодой бородач одним прыжком оказался в центре зала. Под воздействием танца и алкоголя Кеес Ван Донген повел себя как сатир. Он схватил обеими руками ягодицы великой жрицы, что, казалось, ничуть ее не оскорбило.

Айседора закончила импровизацию, продолжая обращать к потолку красивейшие жесты.

В художественных кругах, хотя бы из презрения к условностям, танцам Айседоры громко аплодировали. Габриэль же была совершенно не готова к подобному неистовству, не могло ей в этом помочь и грубоватое веселье кафешантана. Она была приучена только к фривольностям. У Айседоры же она столкнулась с вольностью. И сочла, что подобная несдержанность — дурного тона. Шанель уважала условности? И насколько! Можно ли было ждать другого от воспитанницы монахинь? От дамы полусвета? А она ведь была и тем и другим.

В последние годы жизни у нее, казалось, не осталось никаких воспоминаний о посещении Дункан, но, когда, рассказывая об Айседоре, она говорила: «Я всегда видела ее под хмельком. Это была муза супрефектуры», чувствовалось, что в эту оценку Шанель вкладывала испытанные когда-то неловкость и недоумение.

Отказавшись стать ученицей Дункан, Габриэль не отказалась от танца вообще. Она продолжила поиски и наконец нашла преподавателя по своему вкусу — характерную танцовщицу Кариатис. Крестьянское происхождение, мать — портниха из Оверни, детство, большей частью проведенное в монастыре, где церемонии первого причастия бывали особо торжественными, ибо монсеньор де Дре-Брезе являлся туда собственной персоной, дабы руководить ими, — между прошлым Кариатис и Габриэль было много общего. А отец? Копия папаши Шанеля, Родные дети называли его «господин паяц». Торгуя вразнос галантерейными товарами, он колесил по дорогам Франции с мешком за спиной и босиком. Женившись, он стал учеником булочника у одного крупного помещика в Перигоре, затем приобрел некоторую известность, орудуя у печей в «Ларю», дабы затем исчезнуть навсегда, сделавшись шеф-поваром в транссибирском поезде, потом любовником какой-то русской дамы, потом… Тогда брошенная супруга поступила в услужение к одной певице-содержанке, и маленькая Кариатис помогала матери — кроить платья, потом ее поместили ученицей швеи к Пакену. Это ли привлекло Габриэль или стиль танцовщицы? Кариатис соединяла элементы классического танца с ритмическим методом Далькроза.

Экстравагантная женщина, чье имя связано со странными хореографическими импровизациями вроде танца Зеленого серпантина для равелевского цикла «Моя матушка-гусыня» и «Эксцентрической красавицы» Эрика Сати, до того, как бросила танец, вела жизнь совершенно сумасшедшую. В 1929 году она

стала женой Марселл Жуандо и оставалась ею на протяжении сорока лет, внося и в его жизнь, и в его творчество отголоски постоянных семейных раздоров. Муза монмартрских кафе, неукротимая Кариатис, которая за свою жизнь, в слезах и страсти, сменила немало мужчин, благодаря замужеству вошла в литературную легенду.

Элиза Жуандо прекрасно помнила, как она принимала Габриэль на улице Ламарка. Квартира, где она в то время жила, служила убежищем ее бурной любви с Шарлем Дюлленом. Без ее свидетельства мы бы ничего не узнали о том, как в 1911 году Габриэль появлялась по утрам на Монмартре, о ее хореографических амбициях, ничего не узнали бы и о тех уловках, к которым она прибегла, чтобы ее приняли у Кариатис. Она говорила, что якобы приходит только для того, чтобы сопровождать свою лучшую подругу. «Знаменитую кокотку», — утверждала Кариатис. Рассказчица никогда не называла имени этой подруги Шанель, с тех пор «занявшей положение», добавляла она, чтобы объяснить свое молчание.

На улице Ламарка Габриэль имела не больше успеха, чем в подвале кафе в Виши, за восемь лет до этого. У нее не было способностей. Дело не в том, что ей не хватало упорства, напротив, Кариатис видела ее почти каждый день. Прошло немало месяцев, и Габриэль пришлось признать очевидное: от затеи с танцами надо отказаться.

Это была ее последняя попытка.

Она продолжала посещать занятия у «Кариа» из соображений гигиены, и под смех присутствующих ей случалось даже заменять тапера.

Какие воспоминания остались у нее от квартала, где жили бедно, но так же счастливо, как в далекой провинции? Монмартр был словом, которое Шанель не произносила никогда, был местом, куда, казалось, никогда не ступала ее нога. А вместе с тем что могло быть увлекательнее, чем Холм в 1911 году? В нескольких шагах от улицы Ламарка — бульвар Клиши, где только что обосновался Пикассо, улица Коленкур и мастерская Ван Донгена, Бато-Лавуар, где жил Хуан Грис, в номере 12 по улице Корто — дом Утрилло, Валадона, Реверди и странного Альмерейды[22]. Все они знали Кариатис, и она знала их всех. Но Габриэль ни о чем не подозревала и послушно возвращалась в центр города, где происходило столько событий, о которых она и не догадывалась. Что она знала о Шатле и идущих там спектаклях? В 1910 году — «Жар-птица», в 1911 — «Петрушка». А Нижинский в «Призраке розы»? Мир балета был ей так же чужд, как и Монмартр.

Ее занимали только любовь, работа и несостоявшееся призвание, оставившее в ней отметину на всю жизнь.

Габриэль Шанель навсегда сохранила пристрастие к романсам и оперным ариям. Стоило ее немного поупрашивать, и она не отказывалась выставить свое умение напоказ. Ее репертуар был обширен — от «Дочери мадам Анго» до «Пуритан». Когда она пела — несколько крикливым голосом, как в пору своих выступлений в муленском кафешантане, — целый пласт прошлого оживал в ней, и она не старалась даже объяснить себе, отчего ей становилось так горько.

Что касается ее попыток на хореографическом поприще… Разочарование наступило быстрее и не было таким острым. Тем не менее существует немало фотографий, где в объятиях Сержа Лифаря мы видим стареющую Шанель, пытающуюся изобразить довольно жалкие антраша. Она продолжала мечтать.

Начиная с 1911 года Габриэль уже стала относиться со всей серьезностью к клиенткам, все более усердно посещавшим ее ателье и старавшимся завладеть моделями, которые Шанель придумывала для себя. Тем самым они побуждали ее расширить поле деятельности. Она бы хотела заставить своих клиенток носить майки наподобие тех, что Артур надевал на пляже или во время игры в поло. Или свитеры и блейзеры. Почему их производили только в Англии?

Идея осталась на стадии проекта.

Ей казалось, что женщины не настолько готовы, как они говорили, к тому, чтобы принять ее новации. Носили еще слишком много финтифлюшек в стиле Дусе, слишком много безделушек в духе Пуаре. Пока следовало ограничиться шляпами.

Габриэль придется утратить еще несколько иллюзий, пока профессия станет единственной целью ее жизни.

Она любила, была любима. Ей исполнилось двадцать восемь лет. Она была красива, но главное — она была неподражаема. Тоненькая, темноволосая, искрящаяся жизнью, поразительно гибкая, обладавшая странным очарованием, Габриэль уже открыла то, что затем станет секретом «привлекательности по Шанель»: ей можно было бы дать лет на десять меньше. Ее мастерская? Пока это было только времяпрепровождение, финансировавшееся Артуром Кейпелом. Она занималась шляпами только потому, что не хотела разочаровывать его, ибо от Боя она ждала всего.

Нет ни малейшего сомнения, что она страстно хотела выйти за него замуж. Счастье, респектабельность, уважение общества — вот что, вместе с состоянием, принес бы ей этот брак. Никогда о нем не заходило и речи.

VII
Воскресенья в Руайо

В чувстве Артура Кейпела к Габриэль не было никакой снисходительности. Он полностью отдавался тому, что испытывал, бывал с нею в свете и представлял ее своим друзьям, будучи вхож повсюду. Естественность Габриэль и ее язвительная колкость были теми качествами, которыми он восхищался особенно, поэтому Бой настаивал, чтобы она принимала участие в разговорах. В начале связи для нее это было пыткой. «Что ты думаешь по этому поводу?» — спрашивал он. Ничего толкового… Неразвитость Габриэль была ужасной. Если беседа не касалась модных куртизанок, рекордов некоторых жокеев и чистокровных жеребцов, что она могла сказать? Что боа огненного цвета Лианы де Ланей было самым длинным, что в корсете красавицы Отеро было больше всего пластинок, что у Луизы Балти был самый острый язычок и что Клео де Мерод была красавицей из красавиц… Вновь и всегда рекорды. Вечная болтовня кокоток.

Именно Артуру Кейпелу Габриэль обязана тем, что вырвалась из узкого мирка галантных развлечений. Если ничто не смогло изгладить ущерба, нанесенного ей прошлым, — и в течение жизни она неоднократно от этого страдала — по крайней мере ее подругами перестали быть одни только дамы полусвета.

1911 год стал поворотным. Счастливый год, каких Габриэль знала не много.

Бой познакомил ее со своей любимой сестрой, Бертой. Это была совсем молоденькая девушка, которую восхищал пример брата. Берта мечтала бежать из Англии и жить свободно, не таясь, отдаваясь страстям. Она хорошо приняла Габриэль, и та стала искать ее общества. Иностранка… Это был новый объект для наблюдений. Жалеть Габриэль не пришлось. Берта приберегла для нее не один сюрприз.

Именно Артур Кейпел ввел Габриэль в мир театра. Это была среда очень свободная, где добродетель не значилась среди основных достоинств, но она была все же куда привлекательнее, чем обычное окружение Габриэль. И потом, здесь не считали, что единственное оружие женщины — дар обольщения. Артистки говорили даже, что главное — талант.

В глазах артистов, которые в большинстве случаев начинали так же трудно, как она, неопределенное положение Габриэль проходило незамеченным. Ее не спрашивали ни кто она, ни откуда. Перестав стесняться, она наконец смогла стать самой

собой.

Воскресенья в Руайо были теперь другими. Не то чтобы там меньше веселились — проказничали по-прежнему, — но Кейпел и Бальсан объединили своих друзей. Приятели Бальсана имели отношение к лошадям, приятели Кейпела были артистами. Компания от этого только выиграла.

Появилась вторая Габриэль, молодая актриса редкой индивидуальности — Габриэль Дорзиа[23]. В лице певицы Марты Давелли, только что с блеском дебютировавшей в Комической опере, компания нашла свою заводилу, а Габриэль Шанель — двойника. Женщины специально подчеркивали свое сходство, причесываясь и одеваясь одинаково. Между ними родилась дружба, глубинная причина которой состояла в том, что ни одна из них не могла смириться со своей участью и хотела быть на месте подруги. Габриэль отдала бы все на свете, чтобы петь, как Давелли, а та, подчиненная жесткой дисциплине своей профессии, ничему не завидовала так, как свободе и любовным успехам Габриэль. Среди новобранцев Руайо фигурировало также молодое животное женского пола, в меру романтичное, которое замечательно могло бы вдохновлять писателей или художников в XIX веке. В прошлом она была актрисой, без особого таланта исполнявшей в театре «Жимназ» маленькие роли элегантных дам. Она называла себя Жанной Лери.

Все вместе эти молодые женщины старались развлечь Этьенна Бальсана.

Однажды вечером метрдотель нанял служанку, и Жанна Лери, неузнаваемая, в накрахмаленных манжетах и плоеном чепчике, подавала блюда, путаясь ногами в фартуке. На следующей неделе некий прелат спросил, может ли епископ остановиться в Руайо по дороге в Бове. Этьенну польстила подобная просьба: Бальсану было приятно, когда к нему относились как к помещику. Он поспешил согласиться и прочел приятелям наставления, чтобы они продемонстрировали хорошие манеры.

Молодые женщины надели самые целомудренные туалеты, а Габриэль поспешно прибавила вставку к своему вечернему платью, которое прозвали затем «епископским».

С наступлением вечера прибыл епископ в сопровождении целой свиты. Габриэль держалась безупречно. Она проводила гостя в его апартаменты. Артур Кейпел, будучи католиком, похвалил ее за то, как умело она обращалась с духовными особами, чего никто не мог ожидать. Но ведь никто и не знал о Мулене, Обазине и долгих годах, проведенных в монастыре.

Но через несколько мгновений, пока епископ совершал свой

туалет, в гостиную ворвалась горничная и пожаловалась, что монсеньор пытался с ней заигрывать.

«Банда» грохнула от хохота.

Этьенн заявил, что это «случайность», и потребовал от друзей, чтобы они вели себя как ни в чем не бывало.

Все стали ждать появления епископа. Наконец он спустился.

Обед прошел самым отвратительным образом. Сразу после супа монсеньор принялся пить, не зная меры, затем стал оказывать знаки внимания метрдотелю, обращаясь к нему со словами, не оставлявшими ни малейшего сомнения по поводу его намерений. Он называл его: «Мой шалунишка…»

Только после окончания обеда Этьенн, чьи провинциальность и наивность были, быть может, самыми трогательными его чертами, открыл наконец истину. Фарс был подстроен Давелли. Епископ был статистом из Оперы.

Так проходили воскресенья в Руайо в 1912 году.

Но самой памятной была майская ночь, когда Кейпел и его друзья решили устроить у Этьенна костюмированный праздник, сюрприз которого тщательно скрывался.

Заботу об организации праздника поручили Габриэль, положившись на ее воображение. Она решила сымпровизировать «сельскую свадьбу». Можно угадать, какая реальность скрывалась за выбранной Габриэль темой, заключавшей в себе и то, кем она когда-то была, и то, кем хотела стать. В «свадьбе» костюмы прошлого, одежда принарядившихся крестьян, соединялись с подвенечным платьем, символом ее потаенного желания.

Одежда невесты, жениха и их окружения была куплена в одном из универмагов. Этьенн, более удивленный и растроганный, чем, возможно, он хотел показать, встречал девственницу-новобрачную, одетую в белое линоновое платье, корсаж которого был украшен мандариновой веткой, — это была Жанна Лери; старая дама в сером тиковом платье оказалась Артуром Кейпелом, ребенок в прелестном чепчике — Леоном де Лабордом, а обе Габриэль держались за руки.

На Габриэль Дорзиа, изображавшей слегка придурковатую пейзанку, были слишком короткие носки и чересчур длинная юбка. Другая, Габриэль Шанель, была ее кавалером — робким подростком, деревенским Фортунио, чья курточка из двухцветной ткани, надетая на белый жилет, свеженакрахмаленная рубашка с отложным воротником, неловко завязанный бантом галстук, белая шляпа с приподнятыми полями и высокие ботинки были куплены в отделе одежды для мальчиков в магазине «Самаритен».

Трудно было представить себе картину более соблазнительную, чем эта девушка-паж, поэтому уместно задать

себе вопрос, в чем состояла природа ее магнетизма. Она заключалась в умении, с которым Габриэль облачилась в мужской костюм, при этом всячески подчеркнув свою женственность. Она не производила впечатления ряженой, казалось, она просто приготовилась позировать художнику. Здесь перед нами уже наметки, поиски того подхода к созданию одежды, в котором позднее ей не будет равных, — заимствование элементов мужской одежды и их использование в женской моде. Помимо всего прочего, костюм навевал еще и определенные ассоциации: он напоминал о двусмысленности и дендизме, характерных для мира Мариво и Мюссе, а мечтательная грусть модели была схожа с полотнами Ватто. Связь эта так очевидна, что мы вновь вынуждены объяснить наследственностью эту типично французскую грациозность.

В чем же состояла современность костюма Габриэль? Вынутая из альбома пожелтевшая фотография, хотя и относится к эпохе расцвета стиля «метро», уже широко распахивает двери навстречу нашему времени.

Успехи, забавы, победы, ощущение, что жизнь наконец начинается, что с нее спали некоторые оковы… Но Габриэль не могла бы сказать, чтó делало ее свободной.

Она долго оставалась маленькой лореткой из муленского кафешантана, доверявшей только женщинам одного с ней положения. Любопытно, что она выбрала кокотку посредницей в знакомстве с Кариатис, беспутство которой было общеизвестно. Так и в Руайо она сблизилась с Жанной Лери, а не с Габриэль Дорзиа.

Дочка бывшей светской дамы, вынужденной зарабатывать на жизнь любовью, Жанна Лери была жертвой страсти. Она бежала из Парижа, чтобы скрыть свою связь с одним из любовников матери, великим князем Борисом[24]. Он запретил ей оставаться в Париже, и Жанна отказалась от театральной карьеры. Затем она родила мальчика. После чего любовник бросил ее. Жанна Лери тут же вернулась в Париж к подругам из театрального мира. Невозможно было в чем-либо отказать отважной женщине, которая все разом поставила на карту.

Именно ей поручила Шанель упросить Габриэль Дорзиа сделать заказ на шляпы для пьесы, которую она репетировала в «Водевиле». Надо было попытать счастья. У Габриэль Дорзиа была главная роль в инсценировке «Милого друга» Мопассана. Ее должен был одевать самый знаменитый портной с улицы Мира — Дусе, Но кому она закажет шляпы? Дорзиа позволила убедить себя. Головные уборы были поручены Шанель. Созданные ею две соломенные шляпы, без украшений и перьев, замечательно

дополнили туалеты знаменитой актрисы.

Это был дебют Габриэль Шанель на сцене. Дебют, сразу же замеченный. Для моды открывалась новая эра, в ее простоте угадывался конец былой роскоши «бель-эпок».

VIII
Довиль, или Несостоявшийся праздник

Весна 1913 года была суматошной.

В мае все были потрясены «Весной священной»[25] и с трудом оправлялись от шока. Многие решил, что реплика Флорана Шмитта[26]: «Молчать, шлюхи шестнадцатого!» — относится непосредственно к ним.

Все восхищались тем, как нечувствительная к оскорблениям, влиятельная госпожа Мульфельд, салон которой притягивал все стоящее с точки зрения критики, высмеивала балет.

Однако пойти на «Весну» все очень стремились. Это объяснялось и прелестью нового зала театра на Елисейских полях, и тем, что хореографом был сам Нижинский, и, наконец, главная привлекательность состояла в том, что он прибег к сотрудничеству с одной из учениц Жака Далькроза — Мари Рамбер.

В тот вечер весь цвет парижского общества отправился на спектакль в надежде увидеть, как русские вместо балета покажут своего рода светскую гимнастику, состоящую по большей части из грациозных поз и робких импровизаций. Ожидания партера не оправдались. Разразился скандал.

Изумленная провинциалка оказалась в самом центре событий. Привилегией присутствовать на спектакле Габриэль Шанель была обязана Кариатис, которая сама была приглашена фон Реклингхаузеном, своим богатым немецким любовником. Кариатис постаралась, чтобы нежданным случаем попользовался и ее французский любовник, но бедняк — Шарль Дюллен. Отсюда возникла необходимость пригласить Габриэль, дабы пощадить чувствительность Дюллена: любовный треугольник был для него неприемлем.

Случайная встреча Дюллена и Шанель будет иметь плодотворные последствия.

Кариатис увидела в «Весне» все, что было ей близко в искусстве, и хлопала изо всех сил. Рев, свист, скандал? Этого было недостаточно, чтобы испугать ее. Члены «банды Кариа» были в числе сумасшедших, в числе восторженных поклонников, аплодировавших на галерке. Правда, им не удалось повлиять на ход событий. Ярость партера была такова, что Стравинскому пришлось спасаться бегством.

Можно представить, каково было изумление Габриэль, столкнувшейся с таким неистовством страстей. Что такое

обшикивания в провинциальном кабаре по сравнению с пароксизмами, сотрясавшими столицу? Никогда она не могла себе представить, чтобы богатые клиентки господ Дусе и Пуаре, упакованные в шелка, в тюрбанах и эгретках, поднимали такой гвалт.

Мода находилась на распутье.

Несколько красавиц отказались от стиля «Шехерезада», что знаменовало упадок тюрбанов и господина Пуаре. Если верить «Комедиа», гребень («добавление к мягкой завивке») производил фурор: «На роскошных гала-представлениях „Русских балетов“ мадемуазель Габриэль Дорзиа, являющаяся в некотором роде арбитром современной женской элегантности, одна из первых продемонстрировала эту новинку. Теперь повсюду мы видим затылки, прелестно украшенные светлыми или крапчатыми черепаховыми гребнями». Вся в белом, в огромном страусовом боа, спадавшем с плеч, с водопадом волос, словно пена застывших на затылке, Дорзиа, участница верховых прогулок в Руайо, царила в партере. Она была признана «звездой».

Стоит сказать несколько слов о прическе Кариатис. Некоторое время назад, под настроение, она отрезала свои пышные волосы, обвязала их шелковой ленточкой и повесила на гвоздик в доме мужчины, чью страсть ей не удалось разбудить. Она стала Жанной д’Арк, с пересекавшей лоб челкой. Внешность ее оскорбляла взор почти так же, как вывернутые ноги, грубость поз и коллективный транс русских Дягилева, подчиненных варварским диссонансам партитуры Стравинского.

Нет сомнений, что этот вечер подал Габриэль мысль обрезать волосы, что она и сделала три года спустя, все хорошенько обдумав. В середине двадцатых годов совершенно справедливо считалось, что именно Шанель заставила женщин пережить эту революцию. Тогда-то она и выдумала небольшое происшествие, о котором впоследствии часто рассказывала и которое было честно отображено бесчисленными журналистами: вышедшая из строя газовая плитка сожгла ей волосы в тот самый момент, когда она собиралась отправиться на праздничный спектакль. Шанель взяла в руки ножницы и исправила положение, пожертвовав своей шевелюрой. Так родилась прическа, которую стали носить все ее современницы. Затем следовал рассказ о прибытии в Оперу, где она произвела сенсацию и имела бешеный успех у собравшейся избранной публики. Поверим только в успех. Что до остального, то это сплошь выдумки. Короткая стрижка была вовсе не случайностью, а заранее обдуманным и спланированным актом, вполне в духе женщины, которой она к тому времени стала.

Вечер с Кариатис оказался для Габриэль началом хоть какого-

то знакомства с Парижем. Продолжится ли оно? Увы, лето начиналось неважно. В прессе все чаще писали о неизбежности «конфликта».

Вопреки всякой логике высшее парижское общество, которое проект закона о подоходном налоге беспокоил несравненно больше, нежели угроза войны, повело себя тем летом подобно страусу в пустыне. Оно отправилось в Довиль, дабы забыться на песчаных пляжах. А вместе с ним — и Габриэль. В этом не было ничего нового, ибо в стране уже сложилась определенная привычка: второй раз менее чем за сорок лет от опасности бежали в Довиль.

Так, уже в 1870 году, 15 июля, герцог де Грамон, тогдашний министр иностранных дел, в чью обязанность входило зачитать с трибуны парламента объявление Францией войны Германии, вынужден был «остаться в Париже». Если верить воспоминаниям его внучки, «все шикарное общество было в Довиле». Можно понять, как удручен был этим обстоятельством ее великолепный предок. Шла война. Но столь же печальным событием было то, что герцог де Грамон лишился привычного отдыха в Довиле в августе.

В 1913 году большой имперский орел улетел, но ничто не изменилось ни на нормандском курорте, ни в умах. Просторные гостиницы, к грубым нормандским фасадам которых лепились всевозможные пристройки в стиле тогдашней эпохи, богатые виллы, претендовавшие на то, чтобы быть одновременно коттеджем, небольшим замком и швейцарским шале, продолжали привлекать суетное парижское общество.

Каникулярное настроение допускало некоторые вольности. Однако свободой надо было пользоваться обдуманно и показываться только в те часы и в тех местах, где можно было встретить людей своего круга. Ибо в присутствии модной публики фыркали в нетерпении, словно молодые кобылицы, более свободные, а значит, более опасные, чем в Париже, *незаконные* и актрисочки, то есть те женщины, которых следовало избегать.

Во время утреннего моциона допускались только прогулки вдоль моря. Купание было модой, прививавшейся плохо. Несколько отчаянных — и среди них Шанель — рисковали. За их маневрами неодобрительно следили в лорнет. Море существовало, чтобы на него смотреть, а не для того, чтобы в нем купаться. Пляж оставляли боннам, няням и детям, которым разрешали делать песочные куличи.

В туалетах наблюдалась некоторая эволюция. Но довольно робкая. «В Предместье перемены», — испуганно замечали старые

дамы, намекая на графиню де Шабрийан, которая продемонстрировала мятежный дух, совершив три поступка, наделавших много шуму: она укоротила свои ожерелья, заново отделала свой особняк и стала носить шелковые чулки, к великому возмущению своей матери, госпожи де Леви-Мирпуа.

Появление в ветреный день двух англичанок в беретах вызвало различные реакции. «В этом головном уборе женщина напоминает подмастерье художника, он придает ей вид непринужденный, деревенский», — отмечала в своем еженедельном отчете дежурная хроникерша. Тогда как другая ежедневная газета считала, что подобная эксцентричность годится только для «мисс». Эту полемику владелицы замков и парижанки-курортницы сочли неинтересной, ибо они вообще не рискнули бы выйти на улицу в ветреный день, занимались прогулками только в своем саду и в любом случае чувствовали, что защищены от подобного неприличия образом своей жизни.

Долгие полуденные часы они проводили в визитах в окрестные поместья, в чаепитиях во время матчей в поло, гордо появляясь на скачках в белых линоновых платьях, вышитых гладью, со вставками из валансьенских кружев, приводившими горничных в ужас. Мода требовала также носить остроносые ботинки с четверными петлями, которые зашнуровывались с огромным трудом и только с помощью крючка, тройной ряд жемчугов, низвергавшихся на корсаж, непременной принадлежностью туалета был зонтик. К тому же модница водружала на шляпу из английского кружева определенное количество страусовых перьев и муслиновых роз, дабы соответствовать своему положению.

Такова была мода в 1913 году, когда Габриэль Шанель, поддерживаемая и финансируемая Артуром Кейпелом, открыла магазин в самом центре Довиля, на улице Гонто-Бирон, *улице самой что ни на есть шикарной,* по-прежнему отделяющей «Нормандию», роскошную гостиницу, от казино, где играют по-крупному. Габриэль наняла двух славных девушек, которым не было шестнадцати и которые едва умели держать иголку в руках. Какая разница… Этого было достаточно, чтобы приняться за работу. Затем, поскольку ее магазин находился на солнечной стороне, она повесила на окна большую белую штору, на которой черными буквами впервые было выведено ее имя.

Можно представить, какое она производила впечатление, бегая по городу в костюме мужского покроя, в удобных ботинках с закругленными носами, не такая, как все, — будь то верхом или пешком, не отказавшись ни от одного из своих безумств, несмотря на советы знатоков по части элегантности. Она

показывалась на матчах, поло в блузках с открытым воротником, в странной шляпе, похожей на сплющенный котелок, — это была панама ее собственного изобретения. И наконец, что было уже верхом неприличия, она афишировала свою связь, сохранив при этом целую когорту обожателей. Леон де Лаборд, Мигуэль де Итурбе и даже Этьенн Бальсан сменяли друг друга всякий раз, когда дела удерживали Артура Кейпела вдали от Довиля.

Бой играл роль знаменитости. Он вел свои дела как человек, который торопится, и не сковывал себя священными правилами буржуазной осмотрительности. Ему не было нужды щадить чувствительность членов административного совета, ибо совет этот состоял из членов семьи. Он был сам себе хозяин и повиновался только своему чутью. Инстинктивно Артура Кейпела влекло в горячие точки. Число его углевозов не переставало расти.

Несмотря на то что инциденты следовали там один за другим, Марокко, это яблоко раздора, это осиное гнездо, как говаривал Жорес, привлекало Боя. Другой бы стал колебаться. Но не он. Кейпел предчувствовал, что колониальные завоевания откроют ему новые рынки. Войска Лиоте стояли в Фесе всего год, а Бой Кейпел уже вкладывал туда деньги и говорил о том, что надо сделать из Касабланки порт, через который шел бы импорт английского угля на всю Северную Африку.

Банкиры различных национальностей, будь то барон д'Эрланже или де Ротшильд, правительственные чиновники, политики, сомнительные финансисты, журналисты, падкие на скандалы, которые то и дело разражались в деловых кругах, магнаты прессы, будь то Эдвардс, Эбрар или Бельби, видные семейства, международные красотки, эскортируемые титулованными мужьями сомнительных нравов, вроде волнующей Ольги де Мейер, про которую говорили, что она дочь английского короля, и ее мужа-барона, одного из первых фотографов моды, — среди таких людей вращались теперь Артур Кейпел и Габриэль.

Первыми их стали принимать англичане. Лорды на отдыхе не были такими ригористами, как французы, их мало заботило прошлое хорошенькой особы, в которую был влюблен Кейпел. Его влюбленности самой по себе было достаточно, чтобы их принимали вместе.

Этого Габриэль не забудет никогда.

Пылкая симпатия, которую она всегда демонстрировала ко всему британскому, превосходство Англии, которое она видела во всем, объяснялись только этой причиной.

Вместе Артур Кейпел и Габриэль разожгли вдохновение Сема.

Вот уже почти три года, как знаменитый карикатурист сменил местожительство. До сих пор он оказывал предпочтение Парижу, и в особенности аллее Акаций, где занимал свой пост каждое утро с десяти часов вместе со своим приятелем Болдини. У Сема была комплекция жокея, и он всегда показывался на публике одетым с иголочки. Болдини же был здоровенный, высоченный малый с огромной головой, на которой с трудом держалась малюсенькая шляпа. Два приятеля в засаде не оставались незамеченными. Но это время для Сема закончилось. Теперь он изощрялся в своей иронии в Довиле.

Безжалостный рисовальщик, которого боялись те, кто хотел избежать подобного рода известности (но которому многие охотно заплатили бы, чтобы он их заметил), изображал красавца Боя в виде кентавра, похищающего в галопе женщину, в которой легко было узнать Габриэль. На конце длинного молотка, которым он потрясал, словно копьем, болталась шляпа с перьями. Намек был ясен, но, чтобы сделать его еще прозрачнее и чтобы каждый понимал, что кентавр не только любовник, но и вкладчик, Бой держал еще шляпную картонку, на которой было написано одно слово: Коко. У довильского общества больше не оставалось сомнений. Это была неслыханная реклама. В глазах светского общества Габриэль начинала быть *кем-то*. Если добавить, что Сем очень сдружился с ней, что рядом с Габриэль часто видели маленького человечка с острым лицом и озорным взглядом, что, наконец, она осталась в дружеских отношениях с таким неуступчивым и гениальным человеком, как Дюллен, можно прийти к выводу, что у модистки с улицы Гонто-Бирон появился совершенно необычный круг знакомых.

По горло занятая делами, ибо магазин всегда был полон (и она в который уже раз вынуждена была призвать на помощь сестру), знала ли Габриэль о том, что́ творилось в Париже? Бою приписывали новые победы, новые связи — с иностранками, с настоящими знатными дамами, любовные авантюры, следовавшие друг за другом в ошеломляющем ритме. Верила ли Габриэль, что только профессиональной необходимостью объясняются его столь частые отлучки?

То, что происходило, ускользало от нее совершенно, и она была бы склонна преуменьшить серьезность слухов, если бы они до нее дошли. Тем не менее беда подстерегала ее. Но она об этом не знала. В тот момент в жизни Габриэль соединилось слишком много всего — печального, веселого и безумного, и это помешало ей заподозрить что-либо.

Умерла Жюлия, невезучая старшая сестра. Судьба неизвестного племянника, оставшегося в одиночестве в далекой

провинции, взволновала Кейпела и Габриэль. Они взяли на себя заботу о сироте и послали его в Бомонт, в английский колледж, где когда-то учился Бой. Без их помощи кем бы он стал? Вероятнее всего, как его дяди, Люсьен и Альфонс Шанели, воспитанником приюта. Только юная Берта Кейпел, голова которой всегда была начинена безумными идеями, отказывалась верить, что этот маленький мальчик не ребенок Габриэль. За несколько лет с помощью недомолвок и полупризнаний Берта вызвала к жизни стойкую легенду: о сыне Боя, или лжеплемяннике Шанель.

Приехала Адриенна, еще красивее и влюбленнее, чем всегда. Она зашла в магазин, какие-то шляпы взяла взаймы, другие купила, меняла их каждый день и, показываясь на публике, заставила столько говорить о себе, что клиентура Габриэль удвоилась. Шанель, сама того не зная, открыла полезность манекенщиц и тут же завербовала Антуанетту. Обе модницы в самое прогулочное время были посланы на набережную. Они вернулись торжествуя: на них останавливались все взгляды. Тогда, укрывшись в глубине магазина, в комнате, которую они называли «исповедальней», три воспитанницы монахинь ордена святого Августина, наконец соединившись, предались общей радости. Во времена Варенна, во времена Мулена кто бы мог предвидеть, что их жизнь примет такой оборот? Иногда, в конце дня, к ним присоединялась Мод Мазюель. Она по-прежнему показывалась рядом с Адриенной, хотя и в новой роли. Она больше не была дуэньей, позволявшей Адриенне пользоваться своими связями, все было наоборот: теперь Адриенна, имевшая надежного жениха с незыблемыми намерениями, тянула подругу на буксире. Они надеялись найти для славной Мод мужа.

Как всегда, больше всего вопросов задавала себе Габриэль. Она думала, что с Кейпелом жизнь будет другой. Теперь же она замечала, что во многих отношениях Бой оставался узником своей среды. Это было особенно любопытно, ибо в других сферах он отличался редкой свободой взглядов.

Дело в том, что у Боя были свои счеты с обществом. Тайная язва — неизвестный отец — подтачивала его. Во Франции, где с небывалой резкостью проявляли себя растущие антисемитизм и шовинизм, было немало примеров, когда видных деятелей пытались свалить, обнаружив у них среди прочих изъянов сомнительное происхождение. Артур Кейпел был уверен в том, что для того, чтобы избежать ловушек своих заклятых врагов и одолеть их, ему надо прежде всего породниться со знатным семейством.

Это была не единственная перемена в характере Боя. Он

проявлял удивительное стремление к власти. Было ли это карьеризмом? Кейпела видели в странных компаниях. Чего искал он в обществе Клемансо? Бывший президент Совета был не из тех людей, кого легко очаровать. В чем же тогда дело? Как объяснить интерес, проявляемый им к любовнику Шанель?

Было во всем этом нечто такое, что в среде клубменов переносили с трудом.

В ту пору в глазах правых Клемансо был всего лишь сомнительной личностью. Разве он не превратил газету, которой руководил, в военную машину, яростно нападавшую на респектабельного господина Пуанкаре? Куда он лез, этот Клемансо? Неужели глава государства нуждался в его разрешении, чтобы отправиться с официальным визитом в Санкт-Петербург? В глазах постаревшего общества, верившего только в приличия, Клемансо был повинен во всех грехах. Хуже всего было то, что он не верил ни в силу царя, ни в верховную власть Папы. Сомневаться в царе, сомневаться в Папе? И с подобным человеком, с безбожником, носившим костюмы свободного покроя и осмелившимся прогнать папского нунция, общался Артур Кейпел?

Шляпа Клемансо, его перчатки, которые носили только принарядившиеся фермеры да прислуга, вызывали иронию. Баррес, который по крайней мере был *gentleman,* не ошибался, когда писал: «Клемансо — просто кучер, каких слишком много…» Это была характеристика, отмеченная печатью здравого смысла. Красавец Бой помешался на человеке, никогда не снимавшем перчаток, на крестьянине, завтракавшем в ужасных тапках и в клетчатой кепке. В таком чудовищном одеянии он стряпал отвратительную бурду — густой суп, разивший луком. Разве это был подходящий друг для молодого судовладельца, блестящего делового человека? И как можно спускать Клемансо то, что в любом другом случае квалифицировалось бы как развратные действия? Разве можно было забыть, как в ответ одному пастуху из Вара, назвавшему его шпионом, продавшимся Великобритании, Клемансо не нашел ничего лучшего, как расстегнуть штаны? Затем, прибавив к одной хамской выходке другую, воскликнул: «Что вы хотите, мой друг, королева Англии без ума от этой игрушки. Она и слышать не хочет о других». Разве подобная распущенность была допустима? И Артур Кейпел, англичанин, да к тому же католик, находил гениальным этого мужлана? Было что-то неприличное в том, как вел себя Бой, никто этого не ожидал.

Сомнения, вызванные его поведением, только укрепили Артура Кейпела в его убеждениях. Как и Клемансо, а возможно, и

под его влиянием, Бой больше не верил, что мир можно спасти. Ужасное испытание приближалось, и делалось ясно, чего можно ждать от угольных месторождений Ньюкасла, от кораблей Боя и его деловой хватки. Уголь становился ключом ко всему. Поэтому, желая стать неуязвимым, Кейпел более чем когда-либо стал подумывать о том, чтобы остепениться.

Он хотел, чтобы Габриэль была его единственной конфиденткой. Он всегда возвращался именно к ней. Наверное, Бою следовало увидеть в этом знак того, что любил он только ее… Но этого не произошло, и истина открылась ему, когда ошибка была уже совершена… когда он уже был женат.

Что касается Габриэль, то ее иллюзии умерли: он не женится на ней. Большая любовь, о которой она мечтала, грозила внезапно закончиться. Разрыв? Потерять Боя? Об этом не могло быть и речи. Значит, ей оставалось терпеть нетерпимое, довольствоваться крохами любви и вновь соглашаться на полуофициальное положение, столь для нее привычное…

Начиная с 1913 года Шанель перестала надеяться. Она ничем не выдала себя. Но в поведении ее начинает проступать горечь, которая в конце концов захлестнет ее.

Чтобы взять реванш, она испытывала теперь только стремление к независимости. Она хотела стать свободной, свободной от всего — от окружающего мира, от мужчин, от любви. Это желание придавало ее жизни новый смысл. Ведь чтобы удовлетворить подобные амбиции, у нее было только одно средство — работа. Значит, впредь будет только это. Она впряглась в работу с ожесточением и азартом, после упущенной возможности добиться счастья у нее было полно неизрасходованных сил.

Было странно, что в обществе, где способность самой зарабатывать на жизнь не пользовалась уважением, ей удалось встретить если не счастье, то человека, разделявшего ее стремление трудиться и преуспеть. Возможно, именно это и связывало их особенно глубоко. Каковы бы ни были превратности судьбы — сначала война, потом женитьба Боя, — они не отказались друг от друга и продолжали вместе закладывать основы империи Шанель.

* * *

Июнь 1914 года был прекрасен. Никогда сезон в Довиле не начинался так удачно. Наплыв отдыхающих для того времени был рекордный. Англичане, дети, спортсмены — все были здесь.

Виллы были открыты и отданы на попечение целой армии слуг, следивших за тем, чтобы сады, печи и гостиные находились в безупречном состоянии, когда в Сараеве раздался револьверный выстрел, докатившийся до Парижа.

Но не до Довиля, здесь он почти не наделал шуму.

Клиентура Габриэль Шанель пополнилась известными именами. Успех не давал ей передышки. Она была обязана им одной из Ротшильдов. Эта дама, перенеся неслыханное оскорбление, в особенности хотела сделать рекламу Шанель, ибо поклялась погубить Поля Пуаре. Он осмелился выгнать ее из своего салона, да еще в присутствии целой толпы клиенток.

В общем-то, гнев «султана» парижской моды казался совершенно оправданным.

Про эту Ротшильд говорили, что она помешана на моде и ухаживаниях мужчин. Правда, что никто не делал столько покупок, как она, никто не выставлял напоказ такого количества любовников. Среди прочих особенностей эти молодые люди обладали еще одной: они продолжали посещать дом дамы уже после того, как бывали изгнаны из ее постели. Поэтому она была окружена постоянным эскортом. Как-то под предлогом внезапной болезни она попросила Пуаре, у которого была лучшей клиенткой, прислать ей коллекцию на дом, настояв на том, чтобы она была представлена самыми красивыми манекенщицами. Девушки сочли условия, в которых их заставили показывать модели, неприемлемыми. Баронесса с распущенными волосами, одетая в оранжевый пеньюар с многочисленными рюшками, величественно восседала в шезлонге, окруженная толпой игривых жиголо, обращавших внимание отнюдь не на платья, а на манекенщиц. Пуаре, увидев, что девушки вернулись разъяренные, словно фурии, поклялся отомстить за них.

Эта месть в назидание и сослужила службу Габриэль Шанель.

Изгнанная Пуаре, баронесса поспешила привести к Шанель самых блестящих своих подруг, именно с ними в эпоху Бальсана Габриэль должна была избегать встреч: это были маркиза де Шапонне, графиня де Праконталь, принцесса де Фосиньи-Люсенж… Девица де Сен-Совер одевалась только у нее. Из очень хорошенькой барышня превратилась в необыкновенную красавицу. Через несколько лет Леон де Лаборд, завсегдатай воскресений в Руайо, сообщник Габриэль и самый страстный ее поклонник, потеряет голову из-за этой особы, на которую прежде никогда не обращал внимания, и женится на ней. Решение, которое должно было навести Шанель на горестные размышления. Удар судьбы был жестоким.

Наконец, баронесса де Ротшильд представила Габриэль

Сесиль Сорель, которая, не довольствуясь тем, что на сцене рукоплескали роскоши ее туалетов, уже задавала такие пышные приемы, что «роллсы», «паккарды» и «левассоры» устраивали заторы перед входом в ее особняк на набережной Вольтера. Встреча, заслуживающая внимания, ибо, если светские львицы видели в Габриэль только молодую талантливую модистку, более проницательная Сорель разглядела в ней личность. Она заказала Габриэль шляпы и заставила дать обещание, что та непременно навестит ее по возвращении в Париж.

Именно у Сесиль Сорель три года спустя Габриэль встретит единственную женщину, чье совершенство поразит ее, — Мисю Серт.

Наступил июль, а с ним невыносимая жара. Габриэль решила, что час новой моды пробил. В ее решении угадывается наследие предков, чья жизнь зависела от капризов погоды.

Было вполне вероятно, что в знойное лето, когда в воздухе к тому же витала военная угроза, женщины согласятся носить одежду более свободную и удобную. Тогда-то Шанель привела в исполнение план, давно созревавший у нее в голове. Она раздобыла два типа ткани, характерных для английского гардероба, позаимствовав у Боя трико его свитеров и фланель блейзеров. Потом она будет часто прибегать к этому методу, роясь в шкафах своих любовников в поисках новых идей.

Так родилась первая модель, которая по своему покрою смахивала на матроску, а по материалу — на пуловеры конюхов. Линии ее были свободны и не требовали никакого корсета. Тело под одеждой только угадывалось.

Мода же тех лет, доходя порой до карикатуры, стремилась прежде всего подчеркнуть женские прелести и тем самым была прямо противоположна нарождающимся тенденциям. Но Габриэль рискнула. Она была убеждена, что, уважая естественность, она ничуть не грешит против женственности. Прием, оказанный ее моделям, доказал, что она права.

Таким образом, Шанель добилась своего первого успеха в качестве модельера. Но почти сразу же была объявлена всеобщая мобилизация. Война? Никто в Довиле в нее не верил. Между тем с определенной формой безбедного существования было покончено. Необходимость выставлять напоказ богатство, развлечения, возведенные в обязанность, нравы и моды высшего французского общества — все это должно было погибнуть. В самом деле, с четырнадцатилетним опозданием готовилась агония неугомонного XIX века. Но и об этом в Довиле не беспокоились.

Дворянство весело отправилось на свидание со смертью.

Отправилось на него, как спешат к любовнице, которой слишком долго пренебрегали. Война… Война, если это действительно была она, имела смысл. Об этом знали все. Если бы удалось вернуться к границам до 1870 года, родина обрела бы две утраченные провинции. Война? Это была она. Сомневаться больше не приходилось. Вражеские армии были на марше.

За несколько часов братья, мужья, слуги разъехались. «Рукопожатье, одинаковое для всех, ни слез, ни поцелуев»[27].

Дамы вновь восседали на кретоновых канапе, тогда как немецкие горничные с криками «Иисус! Мария!» поспешно срывали со стен своих каморок литографии с портретом кайзера.

31 июля раздался еще один выстрел — был убит Жорес. Умолк голос бородача в котелке, крикнувшего французам: «Хотим ли мы быть народом войны или народом мира?» И молодежь торопилась на Восточный вокзал распевая: «Да здравствует могила! Смерть — это чепуха».

Лидеры оппозиции сумели придать похоронам Жореса размах мощного народного объединения. Ко всеобщему удивлению, на церемонии присутствовал старый друг Боя Кейпела и заклятый враг Жореса — Клемансо. Хотя внешне он изменился мало — все тот же жесткий взгляд, нитяные перчатки и галстук, повязанный как попало и болтающийся, словно веревка, вокруг высокого воротника, — все же Клемансо выглядел пожелтевшим и постаревшим.

Ему было семьдесят три года. Но у него достало великодушия, чтобы прийти в такой час и выразить свою веру в патриотизм трудящихся. Пристрастный политик инстинктивно стушевался, уступив место государственному деятелю.

На следующий день в «Ом либр» за подписью Клемансо появилась статья, в которой он призывал с ожесточенной решимостью: «А теперь к оружию!.. Каждый сын нашей земли примет участие в огромном сражении… Самому слабому достанется своя часть славы… Нация — это душа».

Через двадцать пять лет, составленная почти в тех же выражениях, речь Черчилля станет свидетельством того же боевого духа.

* * *

Итак, война вновь опустошила довильские пляжи.

Виллы, гордо стоявшие по стойке «смирно», обратившись фасадами к горизонту, владычествовали над пространством, которое пожирали молчание и пустота. Ни светлых платьев, ни

зонтиков, ни нянь на пляже. Магазины потеряли свой праздничный вид. Закрылась гостиница «Руаяль», а оставшаяся открытой «Нормандия» казалась выпавшей из времени.

За исключением миссис Мур[28], настойчивой американки, все иностранцы разъехались. Затем были реквизированы автомобили, цены на горючее подскочили, и на улицах снова появились лошади. Казалось настолько очевидным, что летний отдых обречен, что даже миссис Мур решила отступить. Но куда поехать? В Биарриц? Об этом городе у нее сохранились весьма яркие воспоминания. Именно там с помощью «военной хитрости» ей удалось представиться английскому королю. Подкупленный шофер Эдуарда VII изобразил поломку, с тем чтобы якобы случайно проезжавшая мимо миссис Мур смогла предложить Его Величеству свою машину. Ах, восхитительное прошлое… Король соизволил принять предложение. Но что творилось теперь на баскском побережье? Говорили, что в Биаррице еще продолжали соблюдать ритуал светских обедов. Миссис Мур поехала туда. Многие иностранки, проживавшие во Франции, поступили точно так же. Настоящий исход, о последствиях которого Габриэль Шанель могла размышлять на досуге.

Ибо она не двинулась с места.

Будучи мобилизован, Бой посоветовал ей: «Подожди. Не закрывайся. Посмотрим». Она повиновалась. Она ждала на этом пляже, который внезапно, она и сама не знала почему, показался ей отрезанным от всего мира, откуда доносился теперь усиливающийся шум бури.

Довиль покинул еще один иностранец. Он был русским подданным и носил польскую фамилию. Он только что потерял работу. Сидя без денег, он не мог позволить себе заплатить за отдых и надеялся на журналистику, чтобы подзаработать. «Комедиа» поручила ему следить за курортными празднествами в «Королеве пляжа». Вот он и сделался светским хроникером! Он! Это было несерьезно. Но за неимением лучшего… Он приехал в Довиль 26 июля, известие о всеобщей мобилизации застигло его в тот момент, когда он наблюдал за завсегдатаями «Гран казино», собравшимися вокруг зеленого стола. В белом сиянии электрического света всего за несколько секунд часть музыкантов покинула эстраду, столы опустели, и неуверенные ноты последнего танго со странной медлительностью таяли в воздухе.

Специального корреспондента «Комедиа» звали Вильгельм Костровицкий. Он мог бы называться Флуджи д’Аспермонт, как его итальянец-отец, если бы этот дворянин признал его, чего, однако, не случилось. Иностранец стал артиллеристом, а затем убитым под именем Гийома Аполлинера французом.

Он назвал свой репортаж «Несостоявшийся праздник» и в сладко-горьких выражениях рассказал о прощании Довиля со своим прошлым.

Репортаж, редкий по качеству. Поэт рассказывает, что утром 31 июля 1914 года видел, как «изумительный негр, одетый в длинный широкий плащ меняющихся цветов», ездил по улицам Довиля на велосипеде, затем подъехал к морю и стал погружаться в него, и зеленый тюрбан его медленно исчезал с поверхности воды. Но если оставить подобные истории в стороне, Аполлинер работал как добросовестный журналист; Ничто не ускользнуло от него — ни миссис Мур, погрязшая в снобизме, ни нос в форме бумеранга господина Анри Летелье.

Он наблюдает, он замечает: «Танцующих танго мало». Он признается: «Мы не верим в войну». Он видит все — испуганные взгляды немок и безлюдье улиц. «Каждый день, между полуднем и часом, улица Гонто-Бирон казалась пустынной улицей Помпеев…»

И поэт уехал. Его увез автомобиль, «с невероятным шиком промчавшийся мимо все более немногочисленного населения».

Это была эпоха, когда его друзья, кубисты, усеивали свои полотна буквами и обрывками газет, а Аполлинер, повинный в поисках того же рода — он вводил клише в типографские тексты и создавал первые каллиграммы, — был отстранен от должности художественного критика в «Энтрансижан». «С пристрастием и односторонностью, диссонирующими с духом нашей независимой газеты, вы упорно защищали только одну школу, наиболее передовую…» — написал ему директор в письме, объявлявшем об увольнении[29].

В ту ночь 1914 года обратная дорога вдохновила Аполлинера на стихи, строки которого создавали контур маленького автомобиля: «Я никогда не забуду это ночное путешествие, когда никто из нас не произнес ни слова…» Он направлялся к Парижу. Он покидал Довиль, эти Помпеи, где на улице Гонто-Бирон Габриэль Шанель ждала, уцепившись за свой магазин, как за спасательный круг.

Основы империи (1914–1919)

Мы принадлежали к поколению, которому выпало на долю в восемнадцать лет, весной 1915 года, когда стало уже ясно, что люди не так-то скоро выберутся из окопов… к поколению, которому выпало на долю удивительное счастье — мы были первыми за долгое время, на протяжении которого французам раз пятьдесят успело сравняться восемнадцать, первыми, кто увидел на улице женскую лодыжку.

Луи Арагон. Анри Матисс.

I
Запах гангрены

Дни Габриэль текли, ничем не заполненные, когда 23 августа 1914 года, после битвы при Шарлеруа, совет Боя — «Подожди» — наполнился драматическим содержанием.

Довиль стал заполняться вновь.

27-го немецкие войска вошли в Сен-Кантен; 28-го драматическое коммюнике «От Соммы до Вогезов» раскрыло масштабы вторжения. В Довиле «Руаяль» был срочно открыт под госпиталь. А в своих летних резиденциях спасалась знать с Мезы, из Арденн, из Эны, поскольку их поместья были захвачены или находились под угрозой.

«Мы действительно покажем вам, что мы варвары». Такие слова бросил фон Клюк в лицо французскому народу. Самые прекрасные замки Франции падали словно карточные домики — Тийлуа, жемчужина XV века, принадлежавшая графу Хиннисдалю, был сожжен; Анизе, владение маркиза д'Арамона, — разрушен; Пинон принцессы де Пуа уничтожен до основания. Довиль стал аристократическим «тыловым» городом.

Прибывали дамы, «все потерявшие», как говорили они о себе. И это было верно. Все, кроме возможности заказать себе новый гардероб. Они обращались в единственный открытый магазин: к Шанель.

Она сразу же предложила клиенткам то, что носила сама. Прямая до полу юбка, едва открывавшая кончик ноги, матроска, блузка, туфли на плоском низком каблуке, соломенная шляпа без малейших украшений — это была ее военная форма. В ней удобно было ходить пешком, шагать быстро, передвигаться повсюду без помех, ничего другого и не требовалось. Одеваться, как Шанель, на тот момент стали все.

Затем начали прибывать первые раненые: мужчины с зелеными лицами лежали на соломе на полу вагонов. От Шарлеруа до Довиля путь был долгим. Зрелище было ужасное… В «Руаяле» запахло гангреной.

Для глинтвейна, который подавали солдатам на вокзалах, был еще не сезон, поэтому дамы предложили свои услуги военному врачу. Тот принял их предложение, но следовало умерить пыл новоявленных медсестер. Они сновали туда-сюда, болтали слишком много. Им приказали одеться в белое. Где было найти халаты, передники, шапочки? Гостиничные бельевые могли предложить только одеяния горничных, с большими

присборенными манжетами и длинными фартуками с глубокими карманами, как носили подавальщицы в «Бульонах Дюваля»[30]. Врач тут же организовал распределение имевшейся в наличии одежды. После бесполезной суеты с булавками, безуспешных примерок, напрасных попыток поменяться друг с другом, наконец, после тревожного состояния, странно напоминавшего возбуждение, испытываемое в вечер бала-маскарада, дамам не осталось ничего другого, как обратиться к Шанель.

Конечно, время было не то, чтобы заказывать у Ворта форму медсестры из клюнийских кружев, как это сделала когда-то Элизабет Греффюль, пожелавшая присутствовать при родах дочери. Но обращаясь к Шанель с тем, чтобы она подогнала халаты по их меркам, доброволки все же попросили ее придать им хоть какое-то изящество. Габриэль согласилась: она сделает из этих платьев *кое-что*.

Прежде всего надо было отказаться от кружевной наколки, слишком символической принадлежности тех, кому она предназначалась, и заменить ее. Чем? — спрашивали будущие медсестры. Головным убором, строгим и благородным. Остальное, говорила она, образуется само собой.

Она была хорошей модисткой, дамы это знали. Они ей доверились.

Результат превзошел все ожидания.

Но ее новые клиентки глубоко ошибались, если думали, что этим чудом они обязаны парижской моде. Скорее, воспитанию в Обазине и воскресеньям у тети Жюлии.

Габриэль пришлось обратиться за помощью. Антуанетта тут же отправилась за Адриенной. Вернулась она несолоно хлебавши. У Адриенны душа не лежала к путешествиям. Она жила в тревоге. Не имея вестей от своего «обожаемого», она проливала слезы. Антуанетта нашла ее в расстроенных чувствах, в окружении верных наперсниц: Мод Мазюель и бывшей звезды-балерины, вечной невесты графа д'Эспу. Габриэль в ярости повторила свой ультиматум: судьба «обожаемого» Адриенны была судьбой всех «обожаемых» Франции, почта в армии работала скверно, прибавила она тоном скорее категоричным, нежели ободряющим. Кроме того, нет ничего лучше работы, чтобы отвлечься от неприятных мыслей. Адриенна уступила.

В легком пару глажки, в запахе разогретых утюгов, в липнущем к пальцам крахмале возрождалась атмосфера товарищества времен Мулена. Быстрые движения. Немногословье. Никто не жалел усилий. Все было, как когда-то. Почти монашьи головные уборы переходили из рук в руки, и, пока рослые красноштанники сражались на фронте, сестры Шанель снова

шили.

Наспех разработанной формой для медсестер и ограничивается вклад Габриэль в национальную борьбу. Ее ни разу не видели среди раненых в «Руаяле», не стала она и медсестрой. Позже фронтовики — по крайней мере те, кто уцелел, — удивлялись. В частности, Бальсан: «Тебя не слишком-то было видно, Коко». Почему она тоже не пошла в медсестры? «Не по моей части», — отвечала она. И ни одного визита, даже тогда, когда «поездки на фронт» стали почти модой среди возлюбленных, будь то жены или любовницы. «Не в моем духе», — говорила Габриэль.

На все у нее был ответ. Но она никогда не раскрывала глубинных причин своего отказа.

В действительности же она хотела во что бы то ни стало порвать с прошлым. Для этого был единственный способ: избегать его свидетелей, то есть военных.

В первые дни сентября на фронте отступали повсюду, теперь говорили не «немцы», а «боши», и правительство Франции находилось в Бордо. Довиль принял второй поток беженцев: вновь помещики, на сей раз из департамента Сены и Уазы. Но этих Габриэль знала, она видела их издалека, красавцев-охотников в белых галстуках и амазонок в треуголках, в то время, когда жила у Бальсана.

Ее растущая известность привела к тому, что теперь они считали возможным здороваться с ней. К тому же шла война. Наконец, этим дамам тоже надо было освежить гардероб. Поэтому с ней здоровались… Было сказано несколько сдержанных слов. Так Габриэль узнала, что поместье Этьенна занято немецким штабом. Какую это причинило ей боль! Солдаты и армейский беспорядок в доме, приютившем ее, в саду, который когда-то казался ей самым красивым на свете.

Но происходившие события имели для профессиональной жизни Шанель самые непредвиденные последствия. В некотором смысле они ей благоприятствовали. И она вынуждена была констатировать, что война, грабившая одних, помогала ей выковывать будущее. Странно складывалась ее судьба: чем сильнее неприятель угрожал Парижу, тем больше возможностей стать свободной и ни от кого не зависеть появлялось у Габриэль.

Когда немецкие армии оказались всего в тридцати километрах от столицы, Гальени окружил город колючей проволокой и завербовал сорок тысяч гражданских на рытье траншей. Театры не работали. Актеры, актрисы, авторы, критики уехали. Они заполонили Довиль.

Это были последние беженцы.

Комнат не хватало. Но холл «Нормандии» принял свой обычный вид, хотя прежнего веселья не было[31].

Что касается Габриэль, то, не зная, куда усадить своих клиенток, она вынесла столы и стулья на тротуар и устроила салон перед дверью, в тени большого опущенного навеса. Праздность. Тревожная болтовня. Противоречивые новости. «Мэр Довиля с величайшим трудом прекратил пораженческие разговоры и приказал молчать»[32].

Последние из прибывших давали понять, что с французской стороны что-то готовится. Возможно ли это? Все знали, что в распоряжении Гальени находятся только изможденные солдаты. К французам, еще не оправившимся после удара под Шарлеруа, добавились обескровленные войска сэра Джона Френча. Тогда для Габриэль началась пора лихорадочного ожидания. Она наконец поняла, что испытывала Адриенна. В течение долгой жизни, дважды быв свидетелем страданий страны, причиненных войной, только в этот единственный раз она разделяла боль своих соотечественников. Дело в том, что при штабе сэра Джона Френча одним из офицеров связи служил лейтенант Артур Кейпел.

6 сентября случилось нечто удивительное: в Довиль прибыли стада. Они заняли ипподром под бдительным оком охранников, наскоро превращенных в пастухов и одетых в полувоенную одежду. Это были солдаты войск территориальной обороны, приехавшие из Парижа и получившие задание охранять резервы говяжьего мяса.

С начала войны голосов простых людей не было слышно в Довиле. И вот в этом почти нереальном из-за своей роскоши мирке вдруг заговорили горожане и крестьяне, кучера фиакров, возчики, представители крепкой и казавшейся такой надежной человеческой породы. Они были свидетелями изменений в столице. Закрытые магазины, гражданские, занимавшиеся строевой подготовкой на эспланадах, газеты, состоявшие из одной страницы и ограничивавшиеся публикацией коммюнике, реквизированные такси и автобусы. Их засыпали вопросами. Их заставляли рассказывать о войне. Их слушали, словно арабских сказочников.

Так беспечный город осознал то, что готовилось: со своими *пуалю* и измотанными *томми* Жоффр переходил в наступление. Пришел его приказ: «Умереть, но не отступать». Для дам в длинных юбках началось нервное ожидание. Перевозящие подкрепление, трясущиеся по военным дорогам парижские такси вошли в легенду. Это была Марна: Париж был спасен.

Стада ушли вместе со своими пастухами. Без них стало пусто. О них жалели. Но надо было кормить солдат. В Довиле осталась

привилегированная публика.

Дамы самого высокого происхождения осмелились тогда на то, о чем два месяца назад и не помышляли: они стали купаться.

Габриэль Шанель придумала для них весьма целомудренные купальные костюмы, в которых шаровары доходили до колен.

II
Зазывалы

В середине октября Габриэль получила известие от своего брата Альфонса. Каллиграфический круглый почерк без единой помарки, который она хорошо знала, — послушные «а» и аккуратно уложенные в строку, словно яички в корзинку, «о». Каждая буковка выписана как положено — где тонким штрихом, где нажимом, — так писали все, кто, подобно Альфонсу, учился грамоте у сельского священника.

Будучи мобилизован, Альфонс писал сестре перед отъездом на фронт. Он отправлялся в 97-й пехотный полк, оставляя без всяких средств в севеннском поселке беременную жену Мадлену Бурсари и маленького сына. Их свадьба была отпразднована 17 ноября 1910 года в Балансе, и уведомления о ней были разосланы членам клана на поздравительной бумаге, обычно продававшейся на ярмарках. Габриэль, в то время начинающая модистка, сразу же поздравила своего дорогого Альфонса.

Четверо детей Жанны Деволь не теряли связи друг с другом. Писать Альфонсу, следить за его приключениями, такими же, как у Люсьена, поздравить его по случаю свадьбы — пока Габриэль не в состоянии была сделать больше. Она знала, что, едва достигнув возраста, когда они смогли работать, упрямец Альфонс и послушный Люсьен были помещены учениками к ярмарочному торговцу, что несколько лет назад они собирали кору на склонах горы Эгуаль, потом добывали уголь на одной из севеннских шахт. Братья Шанель расстались только в 1907 году, когда Люсьен завербовался в пехоту. Ему было восемнадцать лет, и он, хотя характера был миролюбивого, мечтал о карьере военного. Но через год его комиссовали, и он снова оказался без средств.

Тогда ему представились две возможности: отправиться на север к отцу, осевшему в Бретани, или пуститься в дорогу с Альфонсом, ставшим в Гаре «разъездным продавцом газет». Люсьен остановился на первом варианте. Он не был злопамятен. Приехав к отцу, он ясно показал бы папаше, что не сердится на него.

После смерти жены Альбер Шанель из трактирщика снова превратился в ярмарочного торговца. Родитель, которого Габриэль сделала сперва виноделом, затем «без вести пропавшим», перед этим наделив его судьбой человека, много путешествовавшего и добравшегося аж до Соединенных Штатов, чтобы сколотить там состояние, довольствовался тем, что

священнодействовал на ярмарке в Кемпере. Все члены клана об этом знали. Всем было также известно, что он вновь принялся бегать за женщинами и что у него развилась явная склонность к выпивке. Но этих прегрешений было бы недостаточно, чтобы отлучить его от клана, если бы не *другое*.

Прежде всего он не заботился о родителях. Их приняла у себя, с помощью Адриенны, все та же тетя Жюлия.

Анри-Адриану Шанелю должно было стукнуть восемьдесят. Он жил теперь в Варенне, на Вокзальной улице, неподалеку от Костье. В пенсионном возрасте бывший крестьянин снова вернулся к прежним занятиям. Жители Варенна, видевшие, как он вскапывает огород, сжигает сорняки и ловит лягушек, и представить себе не могли, что он был ярмарочным торговцем. Для них старик был севеннским горцем, достойно доживавшим свои дни рядом с женой и дочерью, уважаемой госпожой Костье, супругой железнодорожного служащего.

Адриенна, сэкономив небольшие суммы, делала все, что могла, чтобы облегчить участь стариков. Она регулярно приезжала в Варенн, где соседи Костье находили, что для крестьянской дочери она чрезмерно элегантна. Это было подозрительно, но она была так хороша! И как доволен был отец, что, преуспев, дочь продолжала заботиться о нем. Из десяти детей, произведенных им на свет божий, она всегда была «последней малышкой», самой любимой. Адриенна приезжала поездом из Виши, великолепно одетая, с корзинкой съестных припасов. В этот день тетя Жюлия извлекала белую скатерть, и устраивалась пирушка. Тогда дом в Варенне хотя бы на день становился избранным местом, где встречались разбросанные повсюду члены бродячего племени.

Окончательно порвать с Альбером Шанелем заставил Костье визит Люсьена в Кемпер в 1909 году. Сын обнаружил, что отец сожительствовал с женщиной, которая была его моложе, но по части выпивки ему не уступала.

Альбер Шанель, хотя и был без гроша в кармане, принял сына хорошо. Он устроил его в меблированной комнате, которую делил вместе с подругой, и предложил Люсьену взять его на работу. После чего, воспользовавшись притоком неожиданной рабочей силы, исчез. «Отправился на гастроли», — сказал он.

Люсьен узнал от сожительницы, в чем состояли эти гастроли.

Альбер нанимал в кредит прекрасную упряжку, украшал султанами лошадей и, объезжая окрестности, держал убедительные речи, объявляя, что на днях вернется с посудой одного помещика, доверенным лицом которого он является. Помещик испытывает трудности, объяснял Альбер, и собирается

распродавать посуду — тарелки, блюда и прочее, грех было бы упустить подобный случай.

Назавтра Альбер и вправду возвращался…

Ему удавалось, расхваливая свой товар, убеждать крестьян покупать обычную посуду с ярмарки, при этом он уверял их, что продавал сокровища маркиза де Баррюкана, своего хозяина. Просчитывался он редко. Имя маркиза оказывало магическое воздействие. Надо ли уточнять, что господин де Баррюкан никогда не существовал. Имя же происходило от слова *«barrique»* — бочка. Мы видим, что, даже полностью деградировав, Альбер Шанель не мог расстаться со старой винодельческой мечтой — она продолжала неотступно преследовать его. Это позволяет нам лучше понять его дочь Габриэль, которая, пытаясь скрыть свое происхождение, упрямо повторяла выдумки отца, наделяя его в глазах окружающих тем положением, которого тот так стремился достичь. Выдавая его за винодела, она мстила жизни и мстила за отца: Альбер Шанель добивался удовлетворения хотя бы посмертно.

Со слов отцовской подружки Люсьен узнал также, что Альбер был вынужден, по крайней мере однажды, поспешно ретироваться с места своих «подвигов». Это произошло несколько лет назад, где точно, она не знала. Но не без причины Альбер добрался до Кемпера, города, где он никого не знал и где его не знал никто. Женщина предполагала, что до прибытия в Кемпер у Альбера были нелады с жандармерией.

Но этим дело не кончилось. Люсьен лично убедился, что подружка отца была женщиной легкого поведения. Воспользовавшись отсутствием Альбера, она посягнула на добродетель молодого человека. Люсьен бежал этой Федры в рубище и покинул Кемпер, не дожидаясь возвращения отца.

Он приехал в Варенну. Семейный трибунал был безжалостен. Пьянство, нечестность, развращенность — чаша терпения переполнилась. Альбер был исключен из клана. Его имя никогда больше не произносилось.

Люсьену удалось найти работу. Как отец, как дед, он стал ярмарочным торговцем. Снова появился Шанель, торгующий обувью рядышком с собором в Клермон-Ферране. Между улицей Гра и улицей Шоссетье Люсьен занимал на рынке постоянное место. У него была своя клиентура, состоявшая из селян. Тогда он решил жениться. Что и было сделано в 1915 году. Почти сразу же о нем вспомнила армия. Люсьен пытался доказать, что был уволен со службы против воли и окончательно. Тем не менее его направили в 92-й пехотный полк.

Более робкий, чем Альфонс, Люсьен не осмеливался что-либо

просить у далекой сестры, которая, как говорили в семье, «разбогатела». Поэтому он ограничился тем, что объявил ей о призыве на солдатскую службу, как несколько месяцев тому назад сообщил о своей женитьбе. Но во время каждой увольнительной он останавливался в Париже. Габриэль хорошо принимала брата, но остерегалась говорить ему о месячном содержании, выплачиваемом ей Альфонсу. Боялась ли она, что и Люсьен попросит у нее того же? Некий деловой человек, господин Обер, бывший также поверенным Артура Кейпела, каждый месяц отправлял горнисту Альфонсу Шанелю перевод в три тысячи франков, сумму по тем временам значительную. Но почему надо было посылать деньги полевой почтой именно Альфонсу? Не проще ли было переводить их прямо его жене? Тому была причина: мать детей Альфонса Шанеля не была его законной супругой. Когда и как Габриэль узнала об этом? Во всяком случае, она, конечно, не долго оставалась в неведении. Но она не сердилась на брата. У Альфонса была внебрачная связь? Он был не первым в семье, с кем случалось подобное. Да и она сама разве не родилась вне брака? Альфонс Шанель пользовался великодушием Габриэль в течение двадцати пяти лет, она никогда не забывала о переводах и никогда с ними не опаздывала.

В 1911 году в Таре Альфонс познакомился с девицей Косс, угловатой молодой особой, обладавшей кое-какой собственностью неподалеку от Вигана. Он не дал себе труда признаться ей, что в прошлом году обзавелся женой. Поэтому, забеременев, она удивилась, что он не женится. Семья Жанны Косс была одной из самых уважаемых в округе, и девушке пришлось скрывать свое положение. Она бежала из дома, обосновалась в Ниме, устроившись прислугой, и, когда пришло время, родила в богадельне ребенка, записав его под своим именем. История была очень похожа на ту, что четверть века назад пережила Жанна Деволь.

Альфонс в то время работал механиком в Сен-Лоран-ле-Минье. Он следил за вагонетками в шахте, осваивал первые автомобильные моторы и вел веселую жизнь. От случая к случаю он выбирался в Ним, где его ждала влюбленная и на все согласная Жанна. Три года спустя связь их длилась по-прежнему, Жанна Косс была снова беременна, а Альфонс мобилизован. Жанна потеряла работу и укрылась у одной родственницы во Флораке. Там она родила девочку, которую в знак признательности за чудом доставшееся содержание назвали Габриэль.

Тем временем брак Альфонса с Мадленой Бурсари, о котором

Жанна по-прежнему не знала, был расторгнут. Решение о разводе было зарегистрировано гражданским судом Баланса за месяц до начала войны.

Учитывая, что мобилизованные отцы семейств имели некоторые привилегии, в том числе увольнительные, Альфонс Шанель решил признать двух своих детей. Он не указал, что разведен и в соответствующем документе значится холостяком.

Так с опозданием была признана еще одна Габриэль Шанель, к которой позже, в 1919 году, добавился третий ребенок, маленькая Антуанетта, родившаяся в Ганже в департаменте Гар.

Незаконное сожительство Альфонса Шанеля и Жанны Косс продолжалось сорок лет. Только в 1953 году, после смерти отца, дети Альфонса узнали, что их родители никогда не были женаты.

Как и Жанна Деволь, Жанна Косс была самой несчастной супругой. Альфонс Шанель был точной копией своего отца. Он вспоминал о Жанне, едва только запивал или влезал в долги.

«Бог на улице, дьявол в доме», — говорила она.

Мужества Жанне было не занимать. В момент рождения дочери Габриэль от ее земель в Вигане ничего не осталось. Альфонс очень быстро взял на себя труд промотать ее состояние и накопления. Но как бы там ни было, Жанна никогда не теряла надежды, что однажды он образумится.

В 1919 году пехотинец Шанель вернулся с войны. Содержание, которое переводила Габриэль, обеспечивало ему несомненный достаток. Он решил поселиться в Вальроге, маленькой севеннской деревушке, находившейся в глубокой долине. Совсем рядом были заснеженные вершины Эгуаля, ельники, горные потоки, а когда наступала пора сбора ягод, корзинки бывали доверху полны черникой.

Местные жители, старики Вальрога, недавно еще помнили о прибытии в деревню в 1919 году разбитного усатого парня на велосипеде, отца семейства, обладавшего торговой жилкой. Едва устроившись, Альфонс Шанель купил повозку зеленщика, лошадь и каждый день отправлялся в Ганж закупать овощи для маленького базара, где заправляла его жена. Но это занятие, слишком скромное, было Альфонсу не по вкусу. И тогда он сумел заполучить единственную в Вальроге табачную лавку. Доказательство того, что у Альфонса были связи… Ибо ему пришлось устроить так, чтобы предыдущего продавца выбросили на улицу. Как ему это удалось? Ловкач…

Примерно в двадцатых годах Шанеля увидели за рулем красивой автомашины, и одновременно от почтальона жители деревни узнали, что в Париже у него есть сестра-портниха, щедротами которой он пользуется. Тогда к великодушному

продавцу табака, который охотно ставил выпивку, проигрывал и говорил, что не откладывает ни сантима, стали испытывать глубочайшее уважение.

Односельчане сразу учуяли в нем важную персону.

В Вальроге к Шанелю относились как к настоящему господину. Он был самой известной особой в деревне наравне с мэром и кюре.

III
Эти чертовы англичане

В последние месяцы 1914 года парижане решили, что столица уже находится на достаточном расстоянии от фронта, и стали возвращаться в Париж. Аристократки и буржуазки, не имея ни приемов, ни слуг, ни угля, ни даже кондитерской, где можно было бы встретиться за чашкой чая, внезапно открыли для себя прелести гостиниц. Поскольку «Ритц» находился в центре и отапливался лучше других, он стал излюбленным местом свиданий дам, воспитанных в одних и тех же монастырях, танцевавших на одних балах и терпевших от суровых мужей одни и те же принуждения.

Для них гостиница была связана прежде всего с выездом на курорт и с грехом. Предоставленные самим себе, одинокие супруги обошлись без разрешения мужей и осмелились показаться в «Ритце». Они проникли в бар, место, куда в мирные времена доступ им был строго заказан. Главная новизна состояла в том, что теперь дама могла прямо обратиться к бармену, оказаться рядом с политическим деятелем-атеистом, посидеть на одном диване с каким-нибудь выскочкой и поприсутствовать при споре спекулянтов.

Война приблизила женщин к тому, что всегда было для них запретно, — к свободе, и помешать этому ничто не могло.

И вновь война сыграла на руку Габриэль Шанель. Ее парижское ателье, случайно расположившееся в доме 21 по улице Камбон, ибо в свое время не подвернулось иной возможности, теперь находилось как раз на пути женщин, учившихся познавать, что происходит в городе и чем он живет, ибо впервые они ходили по улицам Парижа в одиночку и пешком.

Тогда, подобно своему предку Анри-Адриану Шанелю, доверившемуся в 1860-е годы вечному ритму странствий, Габриэль, одаренная тем же чутьем, той же подвижностью, решила, что пришло время покинуть Довиль. На этот риск стоило пойти. Надо было доверить магазин какой-нибудь продавщице до следующей весны, а самой сложить багаж и вернуться в Париж… Так она и поступила, вместе с ней поехала Антуанетта. Воплощение роскоши в глазах тех, кто считал, что хорошо ее знает, на самом деле Габриэль была крестьянкой по крови, с юности знавшей, что зарабатывать на жизнь — значит бесконечно скитаться из одного города в другой.

В декабре 1914 года сестры Шанель вернулись в свои

квартиры в квартале Мальзерб. Адриенна уехала в Виши, куда ее призвал печальный долг. Вслед за матерью, скончавшейся годом раньше, умер отец. Исчезли, почти одновременно, старый бродяга и Анжелина, до самой старости остававшаяся для Анри-Адриана девочкой-подростком, дикой, покорной, на которую когда-то он набросился с яростью и которая, радуясь и мучась, следовала за ним во времена их бродячей юности. Адриенна похоронила их вместе в Виши.

Сколько утрат! Именами ушедших пестрят письма, которыми обменивались сестры. То Адриенна сообщала Габриэль о смерти одного из весельчаков, когда-то во все горло хохотавшего в «Ротонде», то наступала очередь Габриэль дать понять Адриенне, что она потеряла одного из молодых красавцев, сердцеедов, завсегдатаев вечеринок у Мод. Банда из Руайо тоже лишилась своего самого славного наездника: Алек Картер, британский жокей, был убит одним из первых. Он завербовался добровольцем в 23-й драгунский полк, чтобы остаться со своими французскими друзьями. Его тут же назначили квартирмейстером, и он был безумно счастлив. Неделю спустя… Убит… Словно солдату вовсе не пригодилось то, что в мирное время он воплощал собой искусство и науку верховой езды.

Войска надолго засели в окопах. В Париже засуетились деловые люди. Сукно, уголь, ставшие редким товаром, были объектом бешеных спекуляций. Бой, хотя и выполнял свой воинский долг, пользовался любой возможностью, чтобы заскочить в Париж, и бдительно следил за своими делами.

Его друг Клемансо, назначенный председателем комиссии по военным делам, был самым грозным политиком во Франции. Он донимал министров, разоблачал недостатки в оснащении армии оружием, бездарность медицинских служб. Раненые… Какой позор! Их эвакуировали в моче и навозе, на соломе, служившей для перевозки лошадей. Разве это допустимо? Он обрушивался также и на спекулянтов, наживавшихся на войне, на тыловых крыс и на Мальви, особо ненавистного ему министра внутренних дел, которого застали в Аркашоне веселящимся в обществе Нелли Верил, полусветской дамы, в то время как его люди сражались и умирали. Конфискация тиража, запрещения, цензура — ничто не помогало, и газета Клемансо была самой читаемой. Сто тысяч экземпляров…

Но этим не ограничивались его действия. Он взялся за дело и решил не отступать. Клемансо отправился в поисках истины на фронт, в окопы.

Одетый как на заседаниях Сената, с той только разницей, что на нем были сапоги, а вместо котелка — нелепая фетровая шляпа,

изношенная до такой степени, что могла считаться призраком шляпы — всю жизнь он любил немыслимые головные уборы, — Клемансо зачастил на фронт.

Во время одной из таких инспекций он проезжал через деревню, находившуюся недалеко от линии фронта, в ней размещалась английская часть. Солдаты отдыхали. В группе всадников Клемансо узнал знакомый силуэт Артура Кейпела. Он играл в поло на глазах сэра Джона Френча… Его спутники с трепетом ожидали худшего: насмешек, потока сарказма, беспощадных слов, брошенных в лицо англичанам. Одним жестом Клемансо отмел их страхи. «Эти чертовы англичане!» Они его очаровывали. Тренироваться среди покосившихся домов и рухнувших стен, какое самообладание! Он решил остановиться. Он захотел лично поздравить их.

Было ли это доказательством пристрастного отношения, легкомыслия? Правда ли, как говорили некоторые, что его околдовал Артур Кейпел?

Дело было совсем в другом. Бой напоминал Клемансо юность… Тридцать лет назад он, как и Кейпел, был человеком, переходящим из одного круга в другой, берущим без разбору все, что попадалось под руку, — светских женщин, актрис, девок, с удовольствием балансируя на грани скандала, мошенничества, словно добиваясь, чтобы у него закружилась голова. Разве не достаточно он наслушался упреков? Разве противники с ожесточением не преследовали его из-за любовниц, долгов, лошадей? Ах, да! Лошадей… Ибо верховая езда была его страстью. Он даже сделал ее своим ремеслом в Соединенных Штатах, когда молодым человеком, без гроша в кармане, искал работу. Возле Нью-Йорка, в Стэнфорде, он стал преподавателем французского языка и езды в манеже в женском колледже, молодой франт, от которого ученицы были без ума. А какими оскорблениями осыпали его и по этому поводу!.. Мэри Пламер, дочка пастора, с которой он развелся… Почему? Пусть объяснится. И потом, не слишком ли хорошо он говорит по-английски? Но это уже была другая история. Англофилия Клемансо всегда казалась подозрительной.

Кому Артур Кейпел был обязан своим назначением во франко-английскую военную комиссию по углю? Маловероятно, чтобы Клемансо не приложил руку к этому решению.

В 1915 году все видели, что трагический список орудий смерти растет: именно тогда в небе появились первые самолеты, на земле — первые танки, а в воздухе — ядовитые удушающие газы, против которых не было спасения. А перед Боем открывался мир, о котором немногие еще осмеливались мечтать. Жить между

Парижем и Лондоном, удалиться от зоны боевых действий, избавиться от лишений, страданий, быть не просто офицером среди прочих, а тем, кто принимает решения и заставляет других выполнять их, — от этого голова шла кругом.

Все это вполне соответствовало мечтам настоящего честолюбца.

Кейпел хотел добиться положения, которое помогло бы ему отомстить за несправедливость — за свое незаконное рождение, заставлявшее его так страдать. Ему это удалось. Теперь он мог вернуться в Англию и общаться на равных с молодыми людьми из хороших семей.

Но летом, до отъезда, он получил увольнительную. Всего на несколько дней. Этого как раз было достаточно, чтобы устроить каникулы. Он повез Габриэль в Биарриц.

* * *

Франция переживала новое расслоение населения: на фронте те, кто страдал, в Париже те, кто болтал, в Довиле те, кто ждал, в Биаррице те, кто извлекал выгоду.

«Мирамар» выглядел, как в мирные времена. «Пале» — тоже. Там каждый вечер танцевали. Отпускники, в ушах которых звучала еще совсем другая музыка, вновь почувствовали себя уверенно на блестящем паркете. Танго было противоядием. В какой тональности играется «Под небом Аргентины»? На фронте, где небо было сплошь в разрывах, снаряды свистели на ми-бемоль. От воспоминаний об этой песне надо было защищаться.

С другой стороны границы прибывали верные клиенты — брюнеты с напомаженными волосами и кудахчущие испанки, ведомые сильно развитым чувством элегантности и страстной жаждой удовольствий. Закрытые кондитерские вызывали у них приступы гнева. Что происходит? Биарриц стал «совсем не таким». А русские, куда подевались русские? Полицейский кордон больше не защищал князя Юсупова и великого князя Дмитрия во время их морских шалостей. Ах, эти двое, как же в них влюблялись! Прекрасны, словно ангелы небесные. Женщины сходились толпой, чтобы поглазеть на них. В конце концов ангелам осточертело: оставят ли их когда-нибудь в покое? Муниципалитет был извещен об их недовольстве. Отсюда — полицейский кордон. Но жандармов в Биаррице недоставало. Поэтому адъютанты собственными телами прикрывали купальщиков. Бесполезно. Как можно скрыть величие великого князя?

Но те времена кончились. Исчезли Феликсы, Дмитрии, и если только вы не возили с собой кондитера и запасы муки, с чем многие смирились, несмотря на неудобства, — никаких пирожных. Возмутительно, не так ли? Заметим в скобках, что Габриэль было на это наплевать. Бою тоже. Существовали хапуги, тыловые крысы? Что ж, верно. И было бы глупостью во имя непонятно каких принципов не воспользоваться ситуацией. Нувориши заявляли, что готовы купить все *что угодно.* В военные времена «что угодно» имело точный смысл — роскошь. Значит, надо было дать им роскошь. И Бою, и Габриэль пришла мысль повторить в Биаррице тот же опыт, который год назад в Довиле дал такие замечательные результаты. Что было у Боя на уме? Хотел ли он воссоздать обстановку прошлого? Или собирался добавить еще одну жемчужину в корону Габриэль? А может, подсознательно, он хотел удалить Габриэль из Парижа, где теперь собирался проводить больше времени?

Возможно, у Боя и были эти задние мысли. Но преобладала общая для обоих склонность к риску и предпринимательству. Это было главным. За несколько дней до отъезда Артур Кейпел дал Габриэль ссуду, и она открыла в Биаррице уже не ателье, а настоящий дом моделей, с коллекциями и платьями по 3000 франков.

Никогда еще в Биаррице не видели, чтобы портниха устраивалась с подобной роскошью. Вместо магазина — вилла, расположенная на спуске к пляжу, напротив казино. Это был дом, похожий на маленький замок, с башенкой, выходящей на улицу, просторным внутренним двором, обнесенным каменной стеной. Габриэль, сняв виллу, начала с того, что засадила двор гортензиями.

Денег было потрачено много. Теперь предстояло добиться успеха.

Габриэль попыталась извлечь из уединения Адриенну, единственную женщину, которой она могла бы довериться. Но расчет на помощь Адриенны не оправдался. Габриэль, никогда не предполагавшая, что перед ней можно устоять, предложила той шикарные платья, каникулы. Адриенна по-прежнему не соглашалась. 25-й драгунский полк находился на отдыхе. Ей вот-вот должны были дать разрешение провести несколько дней со своим «обожаемым». Она жила в ожидании. Но позже… Она обещала, что позже…

Когда она приехала, безжалостная Габриэль разразилась одним из замечаний, на которые всю жизнь была мастерица: «Твое „позже“ превратилось в „слишком поздно“».

Дело в том, что Антуанетта, по-прежнему глуповатая, но

добрая, примчалась на помощь, и между Парижем и Биаррицем уже установился обмен работницами, что должно было позволить успешно провести обучение новеньких.

Поэтому Адриенну приняли холодно.

Эта влюбленная, которая из-за пустяков впадала в состояние оцепенелого ожидания, начинала невероятно раздражать Габриэль. Чего было бояться женщине, в которую любовник был влюблен настолько, что не знал иной заботы, как только жениться на ней? Более того, Адриенну не удовлетворяло то, что осчастливило бы Габриэль: ей поминутно казалось, что ее *респектабельности* что-то угрожает.

Поэтому она трагически восприняла историю, показавшуюся Габриэль предметом для веселых шуток. Адриенна вернулась из поездки на фронт уязвленной и сконфуженной. Человек, проверявший срок действия разрешений, спросил ее: «Вы супруга лейтенанта де…?» — и, получив отрицательный ответ, прибавил с откровенностью, вызванной скорее наивностью, нежели непочтительностью: «Тогда порядок, я вас пропускаю. Полковник предпочитает полюбовниц законным. Он говорит, что жена расслабляет, тогда как краля…» Но Габриэль категорическим тоном пресекла все попытки Адриенны похныкать. Ей не было дела до того, что не касалось работы. Она добавила, что замечание, оскорбившее Адриенну, не столь глупо, как может показаться. И потом, если та так боится армейских грубостей, сидела бы себе дома.

Так между ними впервые пробежал холодок, и вместе с тем проявился новый облик Габриэль. Облик женщины, у которой бывали внезапные приступы плохо сдерживаемой враждебности. Картины разделенной любви, незатейливого счастья выводили ее из себя. Она вставала на дыбы перед тем, чего никогда не знала. Но если несбывшиеся мечты и терзали ее, Габриэль скрывала их умело. Она прятала рождавшуюся в ней горечь, отказываясь уравнять в правах любовь и свое страстное желание добиться успеха.

* * *

У Габриэль был свой план военных действий. Биарриц являлся своего рода аванпостом, делавшим для нее Испанию доступной. Нейтральная страна была совсем рядом, с сырьевыми ресурсами и клиентурой. Надо было устроиться как следует, воспользовавшись предоставившейся возможностью. А потом? Хватать все, что плыло в руки, — нитки, ткани, женщин.

Ее тактика состояла в том, чтобы, обеспечив себе тылы, вернуться на улицу Камбон и развернуть там свою штаб-квартиру. Она торопилась освободиться. Бой был в Париже один. Рассчитывать на Адриенну? Бесполезно. Она оставила в Биаррице Антуанетту, дав ей полные права. Пусть она обоснуется в городе. Большего от нее не требовалось. Габриэль взялась убедить сестру в том, что ее будущее было в Биаррице и только там.

Антуанетта была женщиной несколько крикливой. Она стала ломаться. Габриэль разгорячилась и использовала все виды оружия: угрозы, запугивания. Кажется, Антуанетта стала идиоткой? Разве она может в другом месте встретить какого-нибудь иностранца, привлекательного, богатого, способного жениться на ней? Самое главное — выйти замуж. Антуанетте нельзя терять времени.

Что касается примерок, это не ее забота, «первые» всем займутся сами. Ей останется только руководить салонами и принимать клиенток. И чего ей еще не хватало, чтобы удовлетворить свое тщеславие? Она будет вести тот же образ жизни, что и знатные дамы, известные во всем мире красавицы и светские женщины, будет вращаться в обществе, исчезавшем в других местах. Париж, она же знала, «был не тот, что прежде». Роскошь? Где ее можно было встретить, как не в Биаррице?

В один прекрасный день кончится война, и тогда возродится, вырвавшись из-под руин, призрак былой элегантности. Именно в ожидании подобного события Антуанетта и должна повиноваться Габриэль. Держать в своих руках Биарриц — в этом состояла война сестер Шанель. Пора ей понять это. Последние кружева, последние вышивки, крепдешин, гипюр? Ими будет пользоваться только Антуанетта. Все, довольно тянуть. Было бы опрометчиво упустить такой случай.

Проект был набросан в июле 1915 года. В сентябре все было готово.

Габриэль не замедлила обнаружить, насколько ценной оказалась ее инициатива. Но могла ли она предположить, что выгода будет столь велика? Заказы испанского двора, из Мадрида, из Сан-Себастьяна, из Бильбао…

Ателье в Биаррице работало с полной нагрузкой и насчитывало более шестидесяти работниц.

В конце года, гордая своей победой, которой она была обязана только себе, Габриэль вернулась в Париж, где ее служащим пришлось увидеть ее в истинном свете: она была импульсивна, изменчива, авторитарна, резка. Она держала себя полной хозяйкой, сама осуществляя связь между своими передовыми постами. Она снабжала Антуанетту непосредственно

из Парижа, где одно из ее ателье работало только на Испанию. Подобно тому, как командующий армиями передвигает свои резервы по мере военной необходимости, так и Габриэль переводила из Парижа недостающий персонал в Страну Басков и, предпринимая шаги более рискованные, с успехом осуществляла маневры в обратном направлении. Она донимала перепуганных провинциалов, сопротивлявшихся тому, чтобы их «доченька ехала в Париж», упорно стояла на своем, убеждала родителей в том, что их долг разрешить девушке уехать. А опасности города, войны, а солдаты-дебоширы, а цеппелины? «Подумаешь!» — сварливо возражала Габриэль. Патриоты они или нет? Побежденные семьи склоняли голову и уступали.

Таким образом, в то время как в Вердене шли беспощадные сражения, Габриэль Шанель укрепляла свою империю. Париж переживал студеную зиму, о которой на вершинах Монмартра писал Пьер Реверди. Постоянно мучимый голодом, холодом и гвалтом, устраиваемым в нижней квартире Утрилло, Реверди приподнимал завесу над тем далеким временем.

В то время уголь
Стал так же драгоценен
И редок, как золотые самородки,
И я писал на чердаке,
Где снег, падая
В щели крыши, становился
Голубым.

От холода умирали дети. Над военной промышленностью висела постоянная угроза нехватки каменного угля. От угля зависела победа, и Бой нажил состояние. Его личные интересы так идеально совпадали с общими, что он мог посвятить им себя без зазрения совести.

В первые месяцы 1916 года Габриэль Шанель безраздельно властвовала над тремястами работницами. Ее независимость была обеспечена.

Для тех, кто еще стремился выглядеть элегантно, волнующая альтернатива «Шанель или Пуаре?» перестала существовать. Грозный конкурент Габриэль отдал свой талант исключительно на службу армии. Мобилизованный в интендантские службы, *нормализуя* покрой шинелей, он сумел сэкономить шестьдесят сантиметров ткани и четыре часа работы на каждом изделии.

Таким образом, Габриэль Шанель осталась на сцене одна. Разумеется, в те годы быть женщиной означало существенное преимущество.

Она осознала это, когда, к своему удивлению, поняла, что в состоянии вернуть долги Артуру Кейпелу. Ведомая безошибочным инстинктом, она поспешила сделать это, даже не спросив его мнения. Она знала, что он будет восхищен тем, что решения, принятые как-то вечером во время отдыха, принятые весело, легко, так быстро обернулись успехом, обеспечившим ее достаток. Она также смутно догадывалась, что, расплатившись с долгами, кое-что изменила в их отношениях. Лучшим доказательством этому было то, что Бой вновь стал безумно ревновать ее. С какой радостью он оставил бы ей всю вырученную прибыль! Но на сей раз приходилось признать ее независимость. К этой неожиданности он не был готов.

Новая манера поведения Габриэль, происшедшие с ней глубокие изменения привели к тому, что всякое удовольствие, испытанное без нее, было теперь Бою не в радость.

* * *

Благодаря поколениям упрямцев, решившим, несмотря на кризисы и убытки, удержаться на скудной земле, благодаря им родились, одно за другим, открытия Габриэль. Благодаря им и ремесленникам, врагам «псевдо-красивого», допускавшим для собственного употребления только прочное, настоящее, — что это за ткань, спрашиваю я вас, если скроенная и сшитая из нее одежда не послужит двум, а то и трем поколениям? Благодаря их настойчивости, наконец, когда в свободное время они создавали шедевры, которыми гордились, и главное было в умении, а не в богатстве материала. Искусно вышитые головные уборы… Никто не убедит меня, что может быть чепец более элегантный, более изысканно-кокетливый, чем свадебный убор девушки из Конта, выставленный в музее «Арлатен» в Арле. Могу добавить, что в Маконе есть миниатюра, на которой изображена молодая женщина, одетая, словно королева, в черный бархатный убор брессанок, достойный кастильской инфанты… Не было ничего случайного в том, что Габриэль открыла, а затем использовала то, что станет ее тайным оружием. Изобретательность и сноровка, оставленные ей в наследство прошлым, давали Шанель особую силу.

В 1916 году в Париже, стараясь придерживаться того, что принесло ей успех в Довиле, стремясь остаться верной самой себе, она искала ткань, похожую на трико. Сам выбор весьма красноречив. Вязание… Вечное занятие деревенских жителей. Но в эпоху, когда шерсть стала редкостью и служила только для

изготовления вязаных солдатских шлемов, особой тонкости в работе ждать не приходилось.

Именно тогда то обстоятельство, что с детства она узнала бедность, стало преимуществом. Мы не ошибемся, заметив, что козырь этот был весьма ненадежен и что нескольких лет безраздельного господства роскоши в моде было бы достаточно, чтобы это преимущество уничтожить. Например, опасность состояла в том, что можно было поддаться очарованию «Русских балетов» и поставить знак равенства между женским очарованием и буйством тканей. Искусство нравиться, соответствующее канонам красоты по Баксту? Мы знаем, что этого не произошло, и «дувший из степей ветер» пощадил Шанель. Она решила отказаться от *украшения.* Клиентки, для которых богатство и элегантность были неразделимы, вероятно, сделали бы подобную задачу невозможной для Пуаре, Ворта, Дусе. Но для Шанель? Она привыкла с юности использовать то, от чего отказывались другие, так что ей не надо было ни меняться, ни отступать. Поэтому, когда один фабрикант по имени Родье предложил ей, за неимением лучшего, неиспользованный товар, который, по его мнению, и использовать было нельзя, он был крайне удивлен, что вызвал у Шанель интерес.

Это был экспериментальный образец.

Создавая эту ткань для трикотажного производства, ее изобретатель думал удовлетворить запросы спортсменов. Родье рассчитывал, что молодые люди, обожающие свежий воздух и «английский стиль», оценят ткань, которая называлась «джерси», и что производство кальсон, помеченных инициалами, ночных рубашек из двойных полотнищ и маек, сшитых на заказ, полностью оправдает ее употребление.

Ничуть не бывало.

Во время показа одни сочли ткань слишком жесткой, другие — «незабавной», и потом, что это за текстура? Машинная вязка?

Послушайте, несмотря на самое расчудесное оборудование, она будет *пузырить,* будет *морщить,* и не говорите, что это не так! А цвет? Бежевый, который хорошие поставщики сочли «бедняцким». Из такой материи можно шить только рабочую одежду для вагоновожатых, чернорабочих… В общем, никто ткань брать не захотел. Затем началась война, у Родье были другие заботы, и запасы джерси так и остались у него на руках.

Габриэль их скупила.

Это было как раз то, что она искала: трико, но связанное на машине. Она утверждала, что благодаря своей строгости джерси завоюет место, до сих пор принадлежавшее набивным материям. Родье ей не поверил, сомневаясь в том, что она заставит женщин

носить ткань, которую мужчины сочли неподходящей для себя. Она не обратила никакого внимания на его предупреждение и сделала ему дополнительный заказ. Он отказался, не рискуя начать производство и испортить сырье.

Пусть она вначале попробует, а там будет видно.

Последовала дискуссия, обмен резкостями. Она обозвала Родье ничтожным трусом. Он стоял на своем. Их препирательства были лишь бледным прообразом того, чем будут в течение полувека отношения Шанель с поставщиками и компаньонами. Сколь бы ни были важны оказанные ими услуги, сколько бы ни было пережито вместе, она всегда кончала тем, что разрабатывала планы, чтобы вытеснить их, отстранить и производить вместо них. Борьба в зависимости от обстоятельств заканчивалась комедией или драмой, судебным процессом, примирением, уходом, криками: «Мне надоело», объявлением об окончательном разрыве… и все начиналось сначала. Отметим, чтобы больше к этому не возвращаться, что согласие с теми, от кого по самой природе своей деятельности она *зависела,* всегда будет невозможно. И дело было не в личностях, а в том, что зависимость была для нее непереносима.

Доказательством правоты Габриэль, успокоившим страхи Родье, стала созданная ею из джерси модель, которую она стала носить сама. Она сделала пальто свободного покроя, доходившее до середины юбки, без каких-либо украшений, почти мужское по строгости кроя. Любой, даже менее искушенный, чем Родье, даже не знаток, а просто человек, обращающий внимание на то, что делает женщину элегантной, с первого взгляда заметил бы, что в этой модели была неведомая сила.

Что преобладало в моде до сих пор? Требования заказчиц, от которых зависело все: у них было монопольное право на украшения, ткани и иногда даже фасон. Портные перекраивали и переделывали в зависимости от желаний светских знаменитостей, так что их туалеты представляли собой «синтез их личных вкусов и вкусов их портного»[33]. И беда ему, если красавица замечала на другой платье, в чем-то похожее на ее собственное!

И вдруг украшательство уступило место линии, появилась одежда, родившаяся только благодаря логике создателя, отвечавшего на требования эпохи. Если женская мода была обязана Пуаре такими важными новшествами, как облегченный корсет, как попытка укоротить юбки — эти смелые нововведения льстецы слишком часто приписывали Шанель, которая, кстати, и не думала опровергать подобные вымыслы, — если Пуаре был непревзойденным колористом, то именно Шанель в 1916 году навязала моде столь решающие изменения, что заставила ее

войти в XX век. Право женщин на комфорт, на непринужденность движений, возросшая важность стиля в ущерб украшательству и, наконец, неожиданное использование простых тканей, повлекшее за собой *ipso facto* возможность в ближайшем будущем создавать элегантные модели, доступные для самого широкого круга покупательниц.

Шанель хотела добиться того, на что никто до нее не осмеливался с такой откровенностью: она хотела, чтобы одежда больше не подчеркивала ни талию, ни бедра, чтобы женщины держались свободно и носили сильно укороченные юбки. Пуаре показал ножку? Шанель пошла дальше, открыв щиколотку. Пуаре ввел моду, позволявшую не затягивать талию до удушения? Шанель сделала лучше, ее модели вовсе не были приталенными. Она поступила так умышленно? Или, как утверждали некоторые, это было лишь следствием посредственного качества джерси? Вне всяких сомнений: Габриэль не могла поступить иначе. Впервые революция в женской моде состояла не в том, чтобы подчиниться фантазии, а прежде всего в том, чтобы, следуя неумолимой необходимости, ее упразднить.

Дело в том, что джерси трудно поддавалось обработке. При малейшей попытке заложить складки слишком слабый уток раздергивался. Другая бы на ее месте отказалась. Габриэль упорствовала. Упростить, иного решения не было. Платье-рубашка заканчивалось много выше щиколотки.

Тем самым Габриэль уничтожила движение, существовавшее на протяжении многих веков и с наслаждением подстерегаемое мужчинами в тот момент, когда женщина поднималась по лестнице: движение, которым она подбирала юбки. Исчезала целая эпоха — складок на корсаже и падавших каскадами вуалей на шляпах, эпоха Виши, Сувиньи, эпоха побед Адриенны.

Габриэль, уничтожая собственное прошлое, навсегда изменила облик улиц.

Таким образом, время той, что шла, «расстилая за собой длинный шлейф сиреневого платья»[34], прошло. Теперь приходилось опасаться женщин со свободной походкой, которые одевались без посторонней помощи и раздевались мигом. Что касается тех — а их было немало, — кто испытывал ностальгию по усопшей красавице, они будут стенать понапрасну, словно Орфей. Восклицания Пруста «Увы!», «Какой ужас!» будут повторяться многократно. Но ни вздохи при виде платьев, которые, как писал он, «сделаны даже не из ткани», ни его грусть при виде женщин «заурядных» — ничто не могло воскресить госпожу Сван.

Новенькая могла обескуражить. Это была совершенно другая

женщина, в одежде которой не было *никаких намеков.* Бесполезно было задавать ей вопросы. Правила игры были перепутаны сознательно.

Как надо было отнестись к моде, ключевые направления которой нельзя было отыскать в музее? Можно было сколько угодно блистать эрудицией, эта женщина превосходила воображение. И кому бы пришла в голову мысль искать истоки подобной реформы в глубине нищей провинции? Никто никогда не слышал, чтобы изыски моды брали свое начало в грудах щебня.

IV
«Charming chemise dress»

Исчезновение газет, посвященных моде[35], объясняет тот факт, что открытая щиколотка до конца первой мировой войны была привилегией одних парижанок. Только в 1919 году они осознали, что заниженной талией и прямыми пальто сильно удивляли иностранных визитеров.

То, что они носили, сразу стало Модой.

История француженок, бывших в мрачные годы несчастий прообразом будущего, — один из парадоксов истории. Сами того не зная, они предвосхитили шумную юность мирного времени.

На улицах Америки в 1916 году не было видно ни одной ножки, юбки по-прежнему прикрывали каблуки. И чтобы лучше в этом убедиться, достаточно посмотреть на фотографию, сделанную в 1917 году, где члены «Космополитен клаб» запечатлены все вместе в Нью-Йорке. Лодыжки едва видны из-под платьев.

В данном случае мы имеем дело с трудноразрешимым противоречием, ибо впервые имя Шанель появилось как раз в американской прессе.

В 1916 году «Харпер’з Базар» впервые воспроизвел одну из моделей Габриэль, с трудом поддававшуюся описанию. Это было платье, которое можно было определить только с помощью последовательных отрицаний. Но оно великолепно ложилось на карандаш, ибо линии его были прямы и чисты.

Это было платье из коллекции Биаррица. Предназначенное для красавиц-заказчиц Антуанетты, оно обладало бесспорным очарованием, но в нем совершенно не чувствовалось аромата предвоенной эпохи. Ни фиалок на корсаже, ни тем более орхидей, и по понятной причине: корсажа не было. Ни рюшей, ни оборок у ворота, ибо его, как и корсажа, не существовало. Платье, словно от удара саблей, было раскроено буквой «V», верх напоминал жилет мужского покроя, сквозь отвороты которого — о, дерзость! — виднелась голая шея, и не только шея. Ни пышных рукавов, ни кроя «кимоно», любимого Пуаре, рукав обтягивал руку, словно чулок, от плеча до запястья. Ни вуалей, ни зонтиков, а на шляпе с широкими полями и облегающим донышком, делавшим головку маленькой, не было ни одной из деталей, до недавнего времени составлявших славу шляп, — ни ножом торчавших кверху перьев куропатки, ни развесистых страусиных перьев. Шляпу украшал узкий и плоский жгут в виде ленты… С

той только разницей, что жгут был из соболя, и, что бы там ни думать об этой детали и как бы ее ни судить, никогда не было видано, чтобы женщина носила меха подобным образом. Что касается талии… Но кто говорит о талии или поясе? Скользя вокруг бедер, длинный шарф в цвет платья реял, словно командирский стяг.

Обескураженные отсутствием привычных деталей и тем не менее восхищенные, американские редакторы приветствовали платье короткой подписью, гласившей: «Chanel's charming chemise dress»[36].

Габриэль пришлось ждать четыре года, чтобы французская пресса отнеслась к ней с уважением.

Это время понадобилось стране, чтобы вновь обрести вкус ко всему суетному.

Ни слова о Шанель, ни одной воспроизведенной в журналах модели до 1920 года.

* * *

Трудно представить себе, какое впечатление произвела на Шанель начинающаяся известность по ту сторону Атлантики. Была ли она хотя бы извещена о ней? Трудно ответить с уверенностью. «A charming chemise dress»… Узнать о таком признании было бы ей приятно. Но прикрывшаяся нейтралитетом Америка была такой далекой…

Какое представление о Соединенных Штатах было у Габриэль в 1916 году? На этот счет у нее сложилось вполне определенное мнение: поскольку она любила Боя, то и думала точно так же, как он. Бой же по этому поводу думал точно так же, как Клемансо. Иными словами, подобные ему сторонники войны до победного конца выступали против президента Вильсона и его лозунга о мире без победы. Разве допустимо было говорить о подобной возможности летом 1916 года, когда наконец остановили немцев под Верденом? И вот вам, в Берлине посол Соединенных Штатов заявил, что никогда германо-американские отношения не были так хороши. Удачно же он выбрал время! Можно ли было ожидать, чтобы представитель президента Вильсона вдруг оказался в рядах русских или немецких революционеров и проповедовал те же взгляды, что и анархист Альмерейда? Пораженцы, предатели, негодовал Клемансо, ставленники немецкой пропаганды! Когда наконец правительство решится принять жесткие меры? Пусть начнут расследование и пусть все узнают, кто финансирует этого Альмерейду. Три любовницы, три

резиденции, три автомобиля, не слишком ли много для журналиста, который всего несколько месяцев назад нищенствовал? И вот летом 1916 года он является в Параме, с вызывающе яркой любовницей, лакеем-испанцем и шофером-негром. Это было слишком. Клемансо не колеблясь публично обвинил министра внутренних дел. Кто дает подобным типам деньги? Отвратительный Мальви, разумеется… и его клика пораженцев. Тон накалялся. Бой и его окружение забыли о *charming chemise dress* и лаврах Габриэль.

Тем паче, что, несмотря на увещевания со стороны набережной Орсе, Клемансо взялся за президента Вильсона лично. Сразу же в различных кругах общества в его адрес раздалась резкая критика. Таким неподходящим способом нельзя было заставить Соединенные Штаты вступить в войну, и Клемансо приносил больше вреда, чем пользы. Тогда как триумфальные гастроли Сары Бернар оказались куда полезнее. В Нью-Йорке говорили только о ней. Разве она не утверждала, что ей по силам сдвинуть американцев с места? Правая «Аксьон франсез» называла Клемансо «зловещим фигляром», «подстрекателем». Его оскорблял Баррес, очернял Доде. Рабочие и крестьяне, не любившие Клемансо и в мирные времена, продолжали его остерегаться. Буржуазия? С этой стороны тоже ничего не изменилось. Колкости Клемансо сидели у всех в печенках. Он высмеял Жоффра, заявив: «Фуражки с галунами недостаточно, чтобы превратить дурака в умного».

Клемансо оказался в любопытном положении. Действительно, в тылу его ненавидели. Тогда он сделал то, что всегда делал в подобных обстоятельствах. Друг Артура Кейпела решил принять грязевые ванны… в окопах.

Стоял октябрь. К своей повседневной одежде он добавил небольшой барочный мазок в виде широкого шарфа, *связанного вручную,* и вновь мы вынуждены заметить, что он напоминает Черчилля, который двадцать лет спустя, в похожих обстоятельствах, проявил столь же необычные вкусы в одежде. Можно ли забыть о шляпе и трости премьер-министра, посещавшего в 1940 году английские береговые укрепления, о «zyp siren-suit», в котором он принимал в 1944 году Эйзенхауэра, или о старом человеке, производившем в 1942 году в Эль-Аламейне смотр британским войскам с белым зонтиком от солнца в руках?

Клемансо в кашне отправился подбодрить тех, кто поддержал его. Фронтовики относились к этому сенатору, как к солдату, который пользовался своей тростью словно ледорубом, чтобы спуститься в окопы и убедиться, что армия не испытывала

недостатка ни в оружии, ни в хлебе. Они называли его «Старик». Бывали и забавные случаи. Так, в районе Коммерси часовой, услышав, что его окликнул усач, и не представляя, что тип, внезапно появившийся в окопе, может быть настоящим сенатором, заставил его замолчать, бросив: «Заткнись! Не слышишь, боши кашляют?» Клемансо был на седьмом небе. В том октябре он отправился также в английскую зону, нанес визит сэру Дугласу Хейгу и объявил, что там все организовано «великолепно». Ах! Все-таки англичане, эти чертовы англичане… На них можно было положиться.

По возвращении с фронта Клемансо попал в кипение дипломатических страстей. Президент Соединенных Штатов вновь вмешался в дело. Он высказал пожелание, чтобы воюющие стороны согласились на переговоры. 874 000 убитых среди французов, 634 000 среди англичан, не пора ли положить конец этой бойне? После чего он счел приличествующим адресовать французскому сенату длинное пацифистское послание. Клемансо усмотрел в этом личный выпад. Ему бросили вызов в его вотчине.

Он поднялся на трибуну, и тут же Министерство иностранных дел задрожало.

«Нас убивают, сударь, сейчас не время разглагольствовать».

Так заканчивалась его гневная диатриба. Можно ли было подобным образом обращаться к президенту Соединенных Штатов?

После этого распространился слух, что революция стучится в ворота царского дворца и что образ «русского колосса» был чудовищным надувательством, призванным одурачить французских солдат.

Наконец, говорили также, правда, без особой уверенности, что белорукие красавцы-купальщики, чьи морские забавы так сильно волновали их поклонниц в Биаррице, великий князь Дмитрий и князь Феликс Юсупов оказались грозными мстителями. Они убийцы? Их подозревали в том, что они организовали в Санкт-Петербурге своего рода вечер-ловушку, подмешали в портвейн цианистый калий, одной рукой предлагали отравленные розовые пирожные, а в другой прятали заряженный револьвер, и все это с целью убить Ефима Новых, монаха-распутника, ближайшего советника их зловещей кузины Александры, императрицы всея Руси. Как этому поверить? Но если они не виноваты, почему царь спровадил красавца Дмитрия в глушь Персии, а неотразимого Феликса сослал в его имение в Комск? Дело было замято. А монах? Умер или нет? Говорили только об этом.

Именно поэтому в декабре 1916 года в Париже не было более

желанной собеседницы, чем принцесса Мюрат.

До сих пор скорее насмехались над ее небрежностью в одежде, нежели хвалили ее ум. Вдруг парижское общество, позабыв о том, что у нее из-под платья вечно торчали нижние юбки, обнаружило у этой молодой женщины массу достоинств: живость, забавность и — почему бы нет? — определенный шик. Дело в том, что принцесса Мари каждую неделю получала письма из России. Шарль де Шамбрен[37], атташе французского посольства в Санкт-Петербурге, если бы мог, писал бы Мари каждый день. Но… Существовало одно «но». Принц Люсьен, не правда ли…

Среди писем из России было одно, которое принцесса Мари могла прочесть вслух. Об этом письме только и говорили во время изысканных парижских завтраков. Его читали как у Сесиль Сорель, так и у Филиппа Вертело[38]. Присутствовала при этом и Габриэль Шанель.

«Только что я вернулся из Яхт-клуба, где великий князь Дмитрий заканчивал свой обед в то время, как я начинал свой, — говорилось в письме. — Он сделал мне знак. За соседним столом четырнадцать сотрапезников говорили все разом, с невероятной горячностью. Внезапно раздался громкий голос Николая Михайловича[39]: „А я вам заявляю, что он не умер“. …Я повернулся к моему соседу, великому князю Дмитрию. Он был бел как полотно. Его налитые кровью глаза выдавали беспокойство. Когда я сел рядом с ним, у меня возникло ощущение, что рука, которую он протянул мне со слабой улыбкой, замешана в драме. Чувство необъяснимое. „А вы, Ваше высочество, — спросил я его шепотом, — вы верите, что Распутин умер?“ „Да, верю“, — пробормотал он.

„Известны ли имена убийц?“

„Возможно, они среди первейших в России“, — едва слышно ответил он. Затем Лорензаччо встал, звякнул шпорами и заявил дерзко: „До свидания, господа, сегодня суббота, я загляну в Михайловский театр“».

Вот что говорилось в письме из России.

Сенсация следовала за сенсацией, поэтому было не до charming chemise dress Шанель и рисунка в «Харпер’з Базар».

* * *

Было несколько дней в мае 1917 года, когда Шанель была счастлива.

В эти дни Артур Кейпел отпраздновал с ней в Париже

появление книги[40], над которой он работал больше года и которая только что вышла в Лондоне. Ибо в перерыве между двумя путешествиями он взялся за дело самое неожиданное — написание книги. Когда у него спрашивали ее название, Бой отвечал: «Размышления о победе». Надо было сильно верить в будущее, чтобы в тот момент размышлять на эту тему. Клемансо, узнав о проекте, дал знать, что достанет все необходимые документы. Потом к «Размышлениям о победе» добавились «Проект федерации правительств» и предисловие, в котором Бой уточнял, что, будучи англичанином, он достаточно долго прожил во Франции, чтобы полюбить эту страну и рассуждать как француз. Это было словно признание в двойной принадлежности, которая мучила его. Он добавлял, что именно во Франции и ни в какой другой стране должны возникнуть предпосылки для создания союза народов. Подобное утверждение, сделанное англичанином, было весьма удивительно.

Артур Кейпел подкреплял свои тезисы цитатами, свидетельствовавшими о том, что круг его чтения был весьма разнороден. Он ссылался одновременно на Бисмарка и Наполеона, Плутарха и Гермеса Трисмегиста, Вильгельма Молчаливого и Бальзака, но главным образом на «Мемуары» Сюлли.

Любознательный ум, странная книга, где было немало противоречий. Автор говорил о победе так, словно она была неизбежна, хотя, несмотря на вступление в войну американцев, никогда еще с 1914 года положение союзников не было более шатким, и выражал свою веру в возможное появление Города будущего, уважающего демократические традиции. Но он отвергал понятие «гражданина» — «одно из самых искусственных и самых пагубных нововведений за последние сто тридцать лет»… Он набросал суровый портрет централистского государства — «скверного коммерсанта, несимпатичного поставщика, дурного хозяина, плохого администратора» — и хотел, чтобы оно исчезло, уступив место федерации на европейском уровне с предоставлением каждой корпорации, каждому региону, народу, расе полной автономии. Это заставляет нас предположить, что Артур Кейпел был «европейцем» до срока, сторонником крайней децентрализации, отнимавшей все шансы у Европы, организованной по партийному признаку, и сторонником корпоратизма, питаемого принципами, которые, по его мнению, вдохновлялись Прудоном. Хотя Прудон-то видел решение проблем несправедливости только в уничтожении собственности — реформа, которая пришлась бы явно не по вкусу Артуру Кейпелу.

Другой парадокс: книга была написана в защиту молодежи. «В нашем цивилизованном обществе, — писал автор, — старики поедают молодых, заставляя их томиться на второстепенных ролях…» Он констатировал, что Французская революция была делом рук людей, которым не было и тридцати, и упрекал Людовика XVI в том, что в двадцать лет тот был «стар всей старостью монархии». Замечания, которых трудно было ожидать от верного подданного Его британского величества, да к тому же консерватора.

Наконец, он нападал на геронтократию, считая ее виновницей «резни», в которой участвовали европейские нации. Чтобы избежать повторения подобных преступлений, был только один способ: «освободить молодежь», дать ей право на слово и власть. Удивительные речи, если учесть, что во Франции Артур Кейпел связывал все надежды с возвращением к власти человека семидесяти шести лет — Клемансо.

Главное достоинство книги состоит в том, что она была написана в определенную эпоху. Под этим углом зрения тревога автора перед лицом послевоенных проблем обретает свое подлинное значение. И мы с удивлением обнаруживаем, что в то время, когда преобладало чувство мести, молодой человек предостерегает, что мир не будет прочным, если все устремления немецкого народа будут раздавлены и немцы понесут наказание. Если верить автору, такой мир будет чреват пробуждением нового реваншистского духа.

Книга появилась 10 мая 1917 года. Пять дней спустя начался один из самых черных периодов войны. Более чем в ста семи полках — потери, солдаты отказывались двигаться к линии фронта. На вокзалах получившие увольнительные нападали на жандармов, оскорбляли их. Что происходило? Возобладал «русский дух»?

С трибуны сената Клемансо анализировал причины беды с присущим ему неистовством. Мятежи? Они были следствием законной усталости и результатом постыдной пропаганды. Надо было поднять боевой дух войск и пресечь пораженческие настроения. Он угрожал и вновь разоблачал: «Господин министр внутренних дел, я обвиняю вас в предательстве интересов Франции».

Дабы приостановить драму, надо было нейтрализовать всех, кто копошился около Мальви и Кайо. Посадить в тюрьму пятнадцать человек, другого средства не существовало.

Можно понять, что в этих обстоятельствах книга, посвященная послевоенному периоду и не подвергавшая победу сомнению, вызвала многочисленные комментарии. Все

удивлялись, что у денди оказалось в голове столько мыслей, и Боя теперь вспоминали не в связи с его победами в поло или проницательностью в делах, а потому что о его книге говорилось в колонках «Таймс». «Таймс» сочла особенно дерзкой идею попытаться оторвать от немецкого блока те враждебные нации, которые, казалось, были наиболее готовы порвать альянс. Тем не менее критик сожалел о том, что автор не счел нужным углубить практический аспект проблемы и что, самое главное, не изучил, какими средствами можно было бы добиться того, чтобы предлагаемая им федерация стала реальностью.

После того как Артур Кейпел был признан английской прессой, его поездки в Лондон участились. По-прежнему влюбленный в Габриэль, он, однако, шел по пути, по которому вели его амбиции, и ничуть не скрывал своих намерений. Уже в Париже он увлекался хорошенькими вдовушками. В Лондоне он встретил новых.

Группа молодых англичанок, занимавших самое высокое положение, приняла его с такой любезностью, что он был поражен. Он решил найти себе жену в аристократической среде. Со своей стороны Габриэль, которая любила только Боя, силою воли сумела убедить себя, что впредь он будет занимать в ее жизни меньше места. Она начала с предубеждением относиться к его манере вести себя. Она поверила в вечную любовь и вновь обманулась. Презрение к себе она видела даже в доверии, которое питал к ней Бой. Пусть он ухаживает, за кем хочет, лишь бы он больше не считал необходимым сообщать ей об этом! Решительно, пропасть, разделявшая ее и новых приятельниц Боя, была непреодолима. Каждый день он виделся с людьми, которых она не знала и которых, конечно, никогда не узнает. Вот что стало с ее Боем и с ней…

Тем не менее Габриэль беспокоилась о предстоящем разрыве меньше, с тех пор как ее тоже стали принимать умные друзья, красивые и блестящие женщины. Но речь шла о совсем другом обществе. У Сесиль Сорель Габриэль встретила Мисю Серт. Событие отмечено в дневнике Поля Морана 30 мая 1917 года. «С некоторых пор у женщин появилась мода на короткие волосы. Все они поддались ей: госпожа Летелье и Коко Шанель, заправилы, затем Мадлена де Фуко, Жанна де Сальверт и т. д. Кокто рассказывает о невероятном обеде у Сесиль Сорель. Там были Бертело, Серт, Мися, Коко Шанель, которая решительно становится заметной особой».

Когда отголоски успехов этой коротковолосой Габриэль достигли Лондона, Бой удивился. Вот *его* Габриэль принята в обществе, для которого он, Бой, — ничто, вот к чему они пришли

после стольких взаимных обещаний. Быть может, он надоел ей теперь, когда она стала независима и почти богата. Эта мысль особенно встревожила Артура Кейпела, ибо никогда он не предполагал, что Габриэль сможет обойтись без него.

V
Непреодолимое восхождение красавца Артура

Ноябрь 1917 года. Париж переживал любопытную осень. Жизнь в гостиницах била ключом. Считалось хорошим тоном иметь любовника. Наибольшим спросом пользовались авиаторы. Город был перекрестком, где встречались военные всех национальностей, находившиеся в увольнении. Всячески старались развлекать американцев. Но неудачливой миссис Мур не было в Париже, чтобы принимать соотечественников. Ваза с пеплом в колумбарии Биаррица — вот и все, что осталось от нее. Она умерла в гостинице «Крийон» после последнего «даже не очень шикарного обеда». Она умерла, управ с лестницы. Ее смерть была символична. Вся светская жизнь военных времен скользила вслед за ней к пропасти.

Трудности жизни заставляли забыть о том, что накрыли нескольких предателей и расстреляли прекрасную Мату Хари, несмотря на слезы ее адвоката, одновременно и любовника. Одной шпионкой меньше. Что это меняло? Союзники были на краю катастрофы. В Италии — Капоретто, беспорядочное бегство, был опрокинут целый армейский корпус и на правом фланге союзников итальянская оборона уничтожена. В России больше не было ни царя, ни армии, сначала хаос, потом Ленин у власти. Русский колосс оказался на глиняных ногах. Гарантию мощи, на которую рассчитывали французы, у них внезапно отняли. Общественное мнение почувствовало себя одураченным. Восстание произошло в стране, чья роскошь была у всех на устах, но никто никогда не рассказывал о ее драмах и бедах. Закончилось великолепие, с которым не мог сравниться ни один двор в мире.

Не было больше эскорта, не было косматых, бородатых, изумительных казаков, не было самодержца всея Руси, скакавшего галопом в сопровождении сверкающего эскадрона великих князей и адъютантов. Опустела трибуна, где, принимая Пуанкаре, восседали под белыми парусиновыми навесами печальные императрицы и их невинные дочери. Невероятная череда катастроф и просчетов, которыми были отмечены девятнадцать лет царствования Николая II, закончилась отречением, и смертельный залп в Екатеринбурге прозвучал в ушах французских буржуа как предвестник конца света. У них перед носом захлопнулась красивая книжка с картинками. Не

было больше царя? Верх изумления. Но французы были не столь глупы, чтобы верить, что Владимир Ильич станет выполнять обязательства Николая II. Тогда, подобно Сганарелю, оплакивающему хозяина и кричащему первому встречному «Мой залог! Мой залог!», мелкий французский вкладчик закричал «Мои облигации!» и стал напрасно сетовать на заем, на который он, опьяненный великолепием, подписался.

На фронте дело обстояло еще хуже. Ждать чуда не приходилось: русские собирались сложить оружие. Грозный Людендорф, главнокомандующий немецкой армией, намеревался снять с фронта, не представлявшего больше опасности, и бросить на Францию сто восемьдесят дивизий, а может, и больше — двести. Немцы обеспечили себе численное превосходство, которое вступление Соединенных Штатов в войну не могло компенсировать. Войска Першинга были уже в Европе, верно. Козырь решающий, только использовать его было нельзя. Американская армия была еще не в состоянии сражаться.

В таких условиях Клемансо был призван управлять Францией. «Война, только война», — он не мог обещать ничего другого. Разумеется, придет час, и Париж встретит наши победоносные войска. Но эта слава могла быть завоевана только через «кровь и слезы». Солдаты перестали звать его «Стариком», и в народе появилась кличка «Тигр».

Как только Клемансо оказался у власти, Артур Кейпел тут же явился к нему. Действуя через голову министров и обойдя ближайших сотрудников Старика, он пренебрег всесильным Манделем[41] и добрался до главы правительства — ничто не могло больше импонировать Клемансо, чем подобный образ действий. Чего хотел от Клемансо Кейпел? Он брался снабжать Францию углем, несмотря на угрозу подводных лодок. Клемансо согласился и при каждом удобном случае нахваливал Боя. Кейпел же возвратился в Лондон. Таким образом он совершил переход из кругов важных в круги руководящие.

В первые месяцы 1918 года Кейпел воспользовался поездкой во Францию, чтобы нанести визит герцогине Сатерлендской[42]. Высокая, осанистая, с повадками королевы — Черчилль пишет о ней как о самой красивой женщине, которая когда-либо существовала, — герцогиня отвечала за санитарный автомобиль в зоне расположения войск. Леди Дадли, герцогиня Вестминстерская и многие другие знатные английские дамы, увлекая за собой дочерей, племянниц и их подружек, занимались тем же. Стало быть, герцогиня Сатерлендская не была исключением. Но приезжал ли сюда Бой ради Миллисент или ради одной из ее медсестер — молодой особы, которую он

заметил еще в Лондоне? Она была младшей дочерью четвертого, и последнего, барона Рибблсдейла, чей портрет кисти Сарджента — одна из жемчужин Национальной галереи. Все Рибблсдейлы были похожи на этот портрет, иначе говоря, все они были необыкновенно красивы. Как было устоять перед желанием попросить руки этой молодой женщины? Дочь и невестка лорда, едва выйдя замуж и тут же овдовев, она была хрупкой, наивной, нежной и растерявшейся молодой женщиной. Война отняла у нее все. После мужа — друзей детства. Рядом с ней Бой ощущал себя ангелом-хранителем, этому чувству он позволил разрастись до такой степени, что вообразил, будто любит ее. Тем не менее он колебался. Ведь были и другие возможности. Чего-чего, а хорошеньких вдовушек хватало. И потом, надо было предупредить Габриэль.

Едва вернувшись в Париж, Бой начал жалеть, что ему придется сообщить Коко такую печальную новость. Успех красит женщин: Габриэль еще больше похорошела. Ее дело в Биаррице процветало. Она купила виллу де Ларральд и заплатила за нее наличными 300 000 франков. Она была окружена поклонниками, ею восхищались, она ни от кого не ждала помощи и ни в кого не была влюблена.

Он находил тысячу причин, чтобы оттянуть момент признания.

Между ними опять установилась близость. Вдруг любовь, страсть вспыхнули снова. Бой уверял, что всегда любил ее. Они снова стали жить вместе. Но роковая новость просочилась. В конце концов, не выдержав, Габриэль решила облегчить его задачу. Бою нужно что-то ей сказать? Пусть скажет скорее. Она была готова услышать это, давно готова. В течение многих лет она шла рядышком с несчастьем, стараясь отвести от него взгляд. Вот несчастье и случилось.

Прошло несколько дней, пока Бой решался. Он боялся потерять ее. Только в этом была опасность, других он не видел. Но она настаивала. Тогда он признался: Диана Листер, дочь лорда, он хочет на ней жениться.

Габриэль слушала его без слез.

Через некоторое время поездки Артура Кейпела между Парижем и Лондоном заметно участились. Он был назначен политическим секретарем британской секции Большого совета союзников в Версале.

Для Габриэль эта новость имела только одно значение: Бой будет дольше и чаще жить во Франции.

Он действительно вернулся и, хотя официально был помолвлен с Дианой Листер, продолжал видеться с Габриэль, как

и прежде.

Тогда встал вопрос о жилье. Габриэль не могла продолжать жить под его крышей на бульваре Мальзерба. Уехать… Новая пытка. Быть может, худшая. Артур Кейпел принялся уговаривать ее найти дом в ближнем пригороде. Почему такая настойчивость и почему в пригороде? У нее возникли сомнения. Не пытался ли он опять удалить ее? Габриэль догадалась, что дело было и в этом тоже, но было и другое. В предвидении неизбежных жизненных перемен он хотел, чтобы она устроилась в качестве *незаконной* в укромном месте, где бы он мог видеться с ней.

Короче говоря, она теряла Боя и не теряла его.

Это было время, когда Париж находился под обстрелом недавно изобретенного оружия, дальнобойных пушек, и когда стены Сен-Жерве обрушились на верующих в святую пятницу; это было время, когда грациозные создания отправлялись из «Ритца» к Шанель за ночными туалетами — быстро надев их, они могли показаться в холле, а затем и в подвале гостиницы не просто в ночных рубашках. Габриэль одела их в пижамы. Первый и поспешный набросок брюк, появившихся четыре года спустя. Их стали носить женщины с бритыми затылками, в фетровых шляпах, умело пользовавшиеся карманными платочками и курившие сигары. Эти эмансипированные дамы, одетые, как красивые молодые мужчины, воспринимались некоторыми как оскорбление нравственности.

Итак, не послушав Боя — жить в пригороде значило бы удалиться от него, — Габриэль посылала избранниц в подвал в ярко-красных пижамах. Цвет удивлял. Ее спрашивали: «Почему?» Она отвечала: «А почему бы и нет?» Она захлопнула двери в свое прошлое и не любила, когда ее просили их приоткрыть. Но могла ли она придумать этот костюм, если б не воспоминания о красных штанах?

Перед лицом угрозы со стороны большой Берты, сознательно или нет, но Габриэль мысленно возвращалась к временам Мулена и 10-го егерского. Странное сходство. Завсегдатаи «Ритца», сами того не зная, пришли на смену веселым всадникам из кафешантана.

Потом, к всеобщему ужасу, все началось сначала, словно четыре года борьбы прошли впустую. Снова был прорыв немцев, 6-я британская армия атакована с флангов, и галопом из Понтуаза, Лиона, Невера, Мулена на выручку войскам помчались егеря, которых пыталась забыть Габриэль и которые последние недели были заняты тем, что укрощали забастовщиков, помчались драгуны, и среди них «обожаемый» Адриенны, но было слишком поздно, и перед прорывом глубиной в двадцать четыре

километра соединение с британцами оказалось невозможным. Люди Дугласа Хейга отступали, Клемансо без устали ездил от одной штаб-квартиры к другой — ах! эти англичане, что происходит, черт побери, эти славные парни не могли больше сдерживать бошей, — по-прежнему он, словно старый трагический эльф, забирался на триста метров в глубь вражеских позиций и покидал деревню под обстрелом, в то время как с другого конца в нее входили немцы. Столетний Оберон, Тиль Уленшпигель, согнувшийся от усталости, запыленный, появляющийся и исчезающий, не покидал фронт. Он выступал с речью по-английски перед австралийскими войсками, пел с сенегальцами, призывал японцев вмешаться, оскорблял графа Чернина, императора Карла и все, что осталось от двуглавой монархии, возбуждал всех и свирепствовал во Франции: анархистов выкурили из их монмартрских логовищ, сторонники Альмерейды были приговорены к смертной казни, Тигр в ярости рычал на депутатов: «Внутренняя политика? Я воюю. Внешняя политика? Я воюю. Я все время воюю… И буду продолжать до последней минуты, ибо последняя минута будет за нами». Клемансо предпочел Петену Фоша и поручил ему руководство операциями, в бой были введены французские резервы, но и они держались не лучше англичан, и снова был Шмен-де-Дам, катастрофа, семьсот потерянных пушек, восемьдесят тысяч пленных, Компьень вновь под бомбами, враг у ворот Парижа, большая Берта была активнее, чем когда-либо, паника. Консьержи покидали свои привратницкие, кухарки отказывались идти на рынок. Пустынные улицы, битком набитые поезда. Люди бежали из города, сотрясаемого взрывами, бежали как можно быстрее в Биарриц, в Довиль, а там горделивые виллы и обтянутые кретоном канапе вновь раскрывали объятия плачущим дамам. Сколько утрат! Война никого не щадила. Прекрасные заказчицы Габриэль оплакивали мертвых… Лейтенант принц Александр де Ваграм, лейтенант принц Жослен де Роган, капитан принц де Полиньяк, лейтенант граф Жан де Брой де Сен-Жермен, капитан Адриен де Грамон-Лепарр, лейтенант летчик Санш де Грамон, Шарль де Шеврез, Анри д’Ориньи… Тех, кто остался от 10-го егерского, перевели в пехоту.

* * *

Свобода Габриэль состояла том, чтобы быть непохожей на других. У нее не было ни семьи, ни мужа, ни детей, ни погибших на фронте, а значит, не было причин покидать Париж.

Четыре года назад, во времена битвы на Марне, она обзавелась собственной клиентурой в Довиле. Кажется, чего можно было ждать от Шмен-де-Дам? Но сколь чудовищным ни было поражение, оно вновь принесло ей выгоду, задержав Боя во Франции. В Версале Большой совет союзников заседал постоянно. Как можно жениться в таких условиях? Увольнительные были отменены. Женитьба временно отложена.

Случайная квартира, снятая в суматохе города, над которым висела угроза, несмотря на свой диковинный вид и нелепый альков, стала для Габриэль пристанищем, где в последний раз она была счастлива. От стен исходил сильный запах. Словно аромат какао…

Страх остаться без опиума согнал с места их неизвестного предшественника. Он удрал, оставив в шкафах целую коллекцию кимоно, а Мисе Серт — поручение сдать квартиру. Случайность, которой сразу воспользовалась Коко.

Квартира находилась в первом этаже дома на набережной Бийи, окна с одной стороны выходили на Сену, с другой — на холм Трокадеро. Но им не удалось полюбоваться видами, ибо стекла были затянуты плотным шелком. Сумеречное освещение. Несоответствие между низкой мебелью и гигантским буддой сразу поражало при входе. Альков был весь в зеркалах. В прихожей тоже причудливо развешанные зеркала и черный лакированный потолок. Эти детали глубоко врезались в память Габриэль, навязчивыми мотивами появляясь в каждом из ее жилищ. Шанель без устали переносила, видоизменяла их. Без них она испытывала бы непереносимое чувство потерянности.

«Кто видал Коко на Трокадеро?» Вот она и оказалась на Трокадеро. Чего она достигла? В любви ей было отказано, и опереться ей было не на кого. То немногое, чем она владела, стоило ей больших усилий. Ничто не доставалось ей даром, и роль ее всегда была прежней — тайной любовницы, вечной *маргиналки.* Пусть маргиналки. Она была готова отказаться от борьбы и смириться со своим положением. Но с условием, чтобы то, что составляло ее радость, длилось вечно. Она не представляла жизни без ежедневных неожиданных визитов Боя. Более чем когда-либо она хотела удержать его.

С первыми погожими днями американская армия была готова вступить в дело. Еще несколько тяжких испытаний, сражение в Аргонне, и наступил октябрь. Артур Кейпел вернулся в Англию. Известие о его женитьбе дошло до Франции, когда наметились контуры победы.

Декорацией для его свадьбы послужило одно из владений графства Инвернесс: Бофорт Касл был воздвигнут на холме.

Местность вокруг состояла из прихотливого чередования земли и воды. Сомнений не возникало: вы находились в самом сердце Шотландии. Церемония прошла в личной церкви лорда Ловата, зятя невесты и четырнадцатого барона в роду. Угнетало ли Боя воспоминание о девушке из севеннских лесов в тот момент, когда его принимала в свое лоно семья, прославленная не только знатностью, но и оригинальностью? Лорд Ловат благодаря своим исключительным знаниям пользовался авторитетом в палате лордов. Надо прибавить, что во время бурской войны он командовал частным полком, *Lovat scouts,* сформированным из людей его клана, воспитанных на его землях и зачисленных в полк его заботами. Его дети и близкие заполняли дом, где столы, большие фарфоровые вазы в восточном стиле, камины, ширмы, абажуры, подставки, заваленные тканями, и прочие многочисленные атрибуты викторианской эпохи мало-помалу смягчили первоначальный суровый облик крепости. Гостеприимство Ловатов было ни с чем не сравнимо. Они производили впечатление людей, с рождения лишенных предвзятости. Политических недругов, тори или либералов, молодых людей, только что выпущенных из Оксфорда и щеголявших умеренным социализмом, исповедовать который было принято среди студентов из высшего общества, проповедников и поэтов — таких как Рональд Нокс[43] и Морис Баринг[44], — всех их принимали, и единственный риск, которому можно было подвергнуться, остановившись в Бофорт-Касл, — это заразиться идеями Рима, ибо — вещь крайне странная для шотландского аристократа — лорд Ловат был католиком.

Добрые люди с удовольствием расписывали Габриэль великолепие этого жилища, широко распахнувшего свои двери Бою. Вот он и добился того, о чем мечтал всего сильнее: солидного положения в обществе.

Артур Кейпел перешел в другой лагерь.

Габриэль Шанель решила, что теперь ее свобода в том, чтобы обзавестись садом. Там можно было бы отдыхать от работы. Сирень, розы, прекрасный вид — ей надо было чем-то отвлечься, чтобы забыть свою любовь. Она поверила, что стремится именно к этому, и сняла в Сен-Клюкюфа виллу «Миланез», где собиралась проводить дни в одиночестве. В Париже кричали о победе, плакали и пели, беснующаяся толпа бурно приветствовала Клемансо, но Габриэль не принимала участия в празднествах. Но только ли одно желание одиночества и покоя руководило ею при покупке уединенной виллы в Сен-Клюкюфа? Разве не осуществила она пожелание Боя? Тихий, спокойный дом, где бы она могла жить *вне досягаемости.* Сладость Сен-Клюкюфа нисколько не

помогала Габриэль свыкнуться с ее горем. Обида была жестокой.

Тогда в этом доме появились мужчины, появились из мести, из вызова, для того чтобы доказать, что она свободна, появились потому, что они были богаче, знаменитее, красивее, знатнее, чем самые знатные молодые женщины, с которыми знался теперь Бой… Габриэль заглушала свое горе любовниками, как другие заглушали бы его алкоголем, игрой, наркотиками, скитаниями, опасностями постыдных развлечений, смертью.

Была и еще одна вещь, которая ее опьянила, — новый мир Миси, в который она бросилась, как бросаются в воду, желая утонуть.

VI
Удачные браки

Горе пришло к Габриэль в 1919 году. Тем не менее Артур Кейпел вернулся, и можно догадаться, что он не смирился с необходимостью порвать с ней. Богатый, женатый, добившийся всего, чего хотел, Бой не переставал жалеть о том, что потерял: о более разнообразной жизни, о жизни холостяка, в которой Габриэль занимала главное место. Рядом с нею он преодолел немало предрассудков, с успехом делал карьеру и переживал беды, принесенные войной, которая потрясла мир. Габриэль отождествлялась с войной. Она была его *авантюрой*… Что он мог поделать? Совместные затеи, до сих пор казавшиеся ему второстепенными, — различные эпизоды ее продвижения, то, как он финансировал ее вначале, — теперь, после его женитьбы, приобретали иной смысл. С каждым днем они занимали в его жизни все большее место. Словом, все происходило так, словно любовь Габриэль была необходима Бою, чтобы довести до благополучного конца столь рискованное предприятие, как женитьба на другой.

Габриэль видела эту крутую перемену в поведении Боя. Но в отличие от Адриенны и других *незаконных,* судьбу которых она так долго разделяла, она не была создана для того, чтобы бесконечно приносить жертвы. Она испытывала по отношению к Бою раздраженное разочарование.

Не то чтобы она любила его меньше. Просто в ней иссякало ослепление, без которого, хочешь не хочешь, любовь истощается. Это были первые признаки разочарованности, от которой она будет страдать до конца жизни. Ибо, разуверившись в возможности любить тех, кого принято называть *элитой,* она очень быстро стала судить этих людей без всякой снисходительности. Габриэль не отказала себе в этом удовольствии. Необычное умонастроение для той, кто по роду своей деятельности общался с этой так называемой *элитой* каждодневно.

* * *

Габриэль особенно укрепилась в своей правоте после нелепой авантюры Берты Кейпел, которая добровольно согласилась на фиктивный брак. Решение, которое можно объяснить только

некоторой безуминкой, своеобразной бравадой на английский лад.

Разве недавний опыт Боя не показал, что брак — это институт, от традиционных форм которого следует отказаться радикальным образом? Разве не соблазнительно было разоблачить перед всеми комедию браков по сговору?

Приглашенная на одну из вилл в Довиль, Берта стала действующим лицом сделки, в реальность которой трудно поверить.

Обладая весом в сто килограммов, состоянием, считавшимся одним из самых значительных в Англии, и характерным прозвищем Жадина, леди М. напоминала колдунью, из сказочного мира «Тысячи и одной ночи». Каждое лето она приезжала в Довиль в сопровождении мужа и двух молодых людей, из которых младший был ее сыном. Старший был сыном от первого брака лорда М. О нем-то Жадина и завела разговор с Бертой. Ему было всего девятнадцать лет, но его надо было женить. Под разными предлогами она устраивала встречи молодым людям. Они друг другу понравились. Тогда, словно злая сказочная фея, леди М. поклялась Берте, что, если та согласится выйти замуж за ее пасынка, «у нее будут все основания быть довольной». Леди М. была готова дать своей будущей невестке годовую ренту в миллион фунтов. Тем не менее у этого контракта было одно условие: никакого потомства. А жених? Леди М. говорила, что уверена в нем. Получив от ворот поворот, он откажется от своих прав. Были основания полагать, что супруга-недотрога устроит его во всех отношениях.

Вместе с тем Берте была дана свобода жить по своему усмотрению. Молодая жена могла заводить любовников при условии, чтобы об этом не было известно. Требования леди М. ограничивались следующим: ни скандалов, ни детей.

Была ли это месть со стороны леди М., как полагали многие? Говорили, что Берта была любовницей ее мужа, и тот был к ней очень привязан. Но большинство считало, что леди М. вновь прекрасно оправдала свое прозвище Жадина. Ибо, лишая пасынка законного потомства, она делала своего сына единственным наследником и титула, и колоссального богатства лорда М.

Быть богатой, жить, не связанной формальностями брака, — Берта всегда мечтала только об этом. Она согласилась на сделку и, выйдя замуж, так хорошо сумела заставить мужа позабыть о себе, что когда через сорок лет они встретились за карточным столом, то не узнали друг друга.

Из желания прослыть оригиналкой, с годами Берта М. превратилась в одну из тех эксцентричных дам, которых умеет

порождать только британское общество, ибо никакие правила общественного приличия не запрещают им проявлять в погоне за экстравагантностью все возможное старание. Однако лицо незнакомки вызвало у мужа смутное ощущение чего-то уже виденного. «Это лицо я где-то видел, — сообщил он метрдотелю. — Кто эта старуха?» — «Это миледи, милорд».

Свидетели сцены увидели, что лорд М. ретировался так быстро, как позволили ему приличия.

* * *

Пришел черед Антуанетты. Она тоже вышла замуж в 1919 году.

На авиаторов, как известно, был большой спрос. Тот, кого она выбрала, был канадцем хорошего воспитания, покинувшим семью и родину, чтобы вступить в ряды британских воздушных сил.

Оскару Эдварду Флемингу было двадцать три года, когда он приехал в Париж из Брайтона. Сложная профессия пилота не помешала ему вести жизнь, которая весьма отличалась от юношеских лет. У его отца-адвоката было одиннадцать детей и никакого состояния. Он был пятым ребенком и старшим из сыновей. Сестры, мать, отец — все были растроганы тем, что он был добровольцем, летчиком, и природная суровость Флемингов, равно как и свойственные им принципы экономии, отступила перед тем очевидным фактом, что Оскар заслуживал помощи. Он воспользовался этим, чтобы тратить больше своего содержания, и позволил себе зажить по-европейски, то есть с эксцессами и в компании молодых людей, более богатых, чем он сам.

Нет маски более обманчивой, чем мундир. Нет эпох более смутных, чем послевоенные. Антуанетта стала жертвой наиболее распространенного недоразумения: она приняла Оскара за того, кем он не был. Она считала его богачом. Тем не менее она поощряла чувство, которое он питал к ней, вовсе не из холодного расчета, а чтобы добиться того, что не удалось Габриэль: выйти замуж по велению сердца. Оскар ей нравился. Бесконечная обманчивость костюма… Она представляла себе свое лестное положение, постоянные поездки в Канаду, видела себя под руку с молодым франтом посланницей элегантности, царящей над Онтарио.

Они обручились.

Обеспокоенные Флеминги отправили в Париж Гасси, старшую дочь, с поручением разузнать, в чем дело. Но Гасси в свою очередь поддалась очарованию Европы и, написав родителям

несколько невнятных, но восторженных писем, объявила, что вернется только через год. Она была вне себя от радости, и понять что-либо в ее проектах было очень трудно, за исключением того, что по совету Габриэль Шанель, она решила посвятить себя декораторству.

Кажется, именно Габриэль послала Гасси в Испанию с самыми лестными рекомендациями. Гасси отправилась в страну, не тронутую войной, с тем чтобы собирать мебель эпохи Возрождения. Надо ли было продолжать расследование, упорствовать и посылать в Европу другого гонца? Флеминги решили пока ничего не предпринимать. Берта, их вторая дочь, добровольно вызвалась поехать в Париж. Но ее кандидатуру отклонили. Если отправить ее за информацией, есть ли уверенность, что она вернется?

Свадьба Оскара состоялась в Париже 11 ноября 1919 года. Свидетелями Антуанетты были капитан егерей — никто иной, как *обожаемый* Адриенны, и Артур Кейпел — судовладелец и кавалер ордена Почетного легиона. Поскольку нельзя было обойти молчанием отца невесты, он был объявлен *негоциантом* и, для большего удобства, проживающим в Варенне, что хоть и было неверно, зато звучало хорошо.

После короткого пребывания в Брайтоне и окончания обучения Оскар Флеминг объявил о возвращении в Виндзор, в просторный семейный дом. Антуанетта, молодая жена, сопровождала его. Она отправилась в путь с горничной, семнадцатью чемоданами и ящиком с серебряным чайным сервизом работы известного ювелира, куда входил и самовар в форме урны, занимавший страшно много места. Братья и сестры Оскара заканчивали учебу. Атмосфера, царившая в доме Флемингов, отнюдь не была легкомысленной. Помимо адвокатской деятельности, он живо интересовался политическими делами страны. Флеминг-старший был специалистом по судоходным рекам и в часы досуга изучал течение реки Святого Лаврентия.

У Антуанетты не было случая ни надеть роскошные туалеты, подаренные ей Габриэль, ни, из-за отсутствия приемов, использовать самовар, так и оставшийся в ящике. Она не говорила по-английски, и ей было очень трудно объясняться со своей новой семьей. Одна из ее молодых золовок обозвала ее горничную «обезьяной», это было единственное известное той французское слово. Оскорбленная камеристка сложила с себя обязанности, едва прибыв на место. Пришлось отправить ее на родину на средства Флемингов. Госпожа Флеминг встретила неприветливо Антуанетту, отличавшуюся чрезмерным

пристрастием к нарядам, что кружило голову барышням. И потом она курила на публике, что противоречило обычаям приличного общества. Отношения с Антуанеттой стали еще более натянутыми, когда госпожа Флеминг застала младшую дочь, курящую тайком в туалете. Антуанетту обвинили в том, что она приохотила девицу к табаку. После чего Оскара отправили в Торонто изучать право. Семья решила, что он сумеет лучше сосредоточиться, если поедет один. Оставшись в Виндзоре, Антуанетта смертельно скучала.

В письмах из Парижа Габриэль и Адриенна давали ей разумные советы и старались выиграть время. Они посоветовали Антуанетте заняться чем-нибудь полезным. Габриэль доверила ей представлять модели Шанель в Канаде. Это было сделано для того, чтобы Антуанетта потерпела. И кроме того, это был самый верный способ наконец использовать дорогостоящее приданое.

Совершенно прямые платья, одни отделанные внизу жемчугом, другие перьями[45], были извлечены из чемоданов. Антуанетта отправилась показать их в некоторые универмаги Детройта. Но покупать их не захотели. Такие платья были неприемлемы. Они не соответствовали вкусам местных клиенток. Антуанетта настаивала. Бесполезно. Тогда, побежденная, она отступила. Она вышла замуж за студента без гроша в кармане и оказалась в провинции, отличавшейся в области моды крайне банальными вкусами. Все было кончено. Она принесла Габриэль присягу на верность и потребовала обратный билет. Чем скорее, тем лучше. Тогда случайно или чтобы выиграть время, Габриэль попросила сестру отсрочить отъезд, а к зятю, воспользовавшись его каникулами, обратилась с просьбой принять в Виндзоре одного молодого южноамериканца, желающего познакомиться с образом жизни в Онтарио. Флеминги предложили ему свое гостеприимство. Молодой человек был аргентинцем, ему было девятнадцать лет, волосы у него были напомажены, в бутоньерке торчала вечная гвоздика, он носил забавные приталенные пиджаки и белые гетры с кожаными рыжими ботинками. Он был любезен по натуре и очень богат. В своих чемоданах он возил заводной граммофон со складной трубой, на котором ставил для себя то, что танцевали в Париже: «Шаг медведя» и «Танец краба». Он попытался обучить девиц Флеминг, утверждая, что это американские танцы. Они засомневались, это было совсем не похоже на то, что танцевали в Онтарио. И потом, темп этих танцев сочли чрезмерным, а позы — шокирующими. Тогда как Антуанетта… Как только заводили граммофон, она не владела собой. Она надевала один из своих красивых туалетов и переходила из рук Оскара в руки молодого аргентинца, изгибаясь

во все стороны. Антуанетту вновь сурово осудили. Флеминги стали задаваться вопросами. Зачем им прислали аргентинца и что он делает в Виндзоре? Они вообразили, что это сын Габриэль и что целью его приезда в Канаду было развлечь Антуанетту. Когда же он уедет?

Действительно, вскоре он уехал, и Флеминги так никогда и не смогли объяснить себе, зачем он приезжал.

Через некоторое время за ним последовала Антуанетта.

Призналась ли она, что уезжает навсегда? То, что она ничего не взяла с собой — ни украшенные перьями платья, ни самовар, — заставляет предположить, что она никому не открылась.

Ее брак продержался меньше года: короткое время опьянения в Брайтоне, за которым последовало унылое пребывание в Виндзоре.

Но это не помешало Оскару запомнить свою парижскую победу. Его увлечение маленькой француженкой, такой живой, такой веселой, которая так хорошо танцевала и пела, было искренним. В сущности, он любил ее. В семье старались не говорить о ней. Он утешился без труда и довольно быстро излечился от своего горя.

Через несколько месяцев Оскар объявил отцу, что овдовел. Казалось, он был вполне этим доволен. Антуанетта умерла в Аргентине. Господин Флеминг, весьма строгий в вопросах морали, заподозрил хитрость со стороны сына, желавшего жениться вновь. Он приказал провести расследование с помощью Королевского банка Канады. Подтверждение не замедлило прибыть. Осложнения после испанки свели Антуанетту в могилу, в то время как она совершала по Южной Америке «турне с целью изучения рынка» в интересах дома Шанель.

Кто бы поверил, что из трех сирот Обазина две погибнут так рано? После Жюлии — Антуанетта.

Совершенно неизвестно, скорбела ли Габриэль. Но вполне вероятно, что переживаемое ею в ту пору горе сделало ее нечувствительной ко всякой другой боли. Бой… Бой… Габриэль была одна.

Итак, свадьба Антуанетты была последней возможностью для членов клана Руайо собраться всем вместе, в компании старых друзей. Всем из присутствующих мужчин, кроме Оскара, было известно, как бедно и скромно начинали барышни Шанель. Без сомнения, они испытывали большую радость от того, что могли в подобных обстоятельствах быть самими собой. Им не надо было ничего скрывать от красавцев-соблазнителей, которые на протяжении стольких лет окружали их нежной заботой, какое

блаженство! Боже мой, эта свадьба… Адриенна, все более безмятежная и все более любимая, Бой и *обожаемый* Адриенны, оба во фраках, разодетые так, словно они собрались идти на скачки в день Большого приза. Выставляя напоказ новенькие военные кресты, они были свидетелями очаровательной Антуанетты, которую сестра прелестно одела. Как все это было мило! Давно они так от души не смеялись!.. И добрый Этьенн, по-прежнему великодушный, и Леон де Лаборд с мечтательными усами окружали Габриэль, старшую сестру, такую обольстительную, что сравниться с ней было невозможно. Она одолжила невесте свою машину — великолепный «Ролле», ее работницы видели, как она приезжала на нем каждое утро. Швеи подстерегали ее у окон ателье: «Берегись! Хозяйка едет!» Шофер в мягкой фуражке, пыльнике и гетрах открывал ей дверь, и она выходила с поистине королевской уверенностью. Но в тот день она явилась, покорная и послушная, под руку с Боем, что дало повод для бесконечных шуток и всевозможных кисло-сладких улыбочек. Ибо Бой показывался публично с Габриэль в тот самый момент, когда его молодая супруга, не покидавшая Лондона, ждала второго ребенка. Этот Бой все-таки, что за тип… Казалось, он был все более решительно настроен вести двойную жизнь.

Все участники свадьбы-сюрприза в Руайо, этого незабываемого маскарада, о котором они беспрестанно вспоминали, были здесь. У милой Жанны Лери был вид совершеннейшей *комильфо*. Идиллия с великим князем Борисом, робкие попытки на сцене театра «Жимназ» были давно позабыты. Вот и она объявила, что собирается замуж. Настоящая эпидемия… Ее жених, один из участников банды Руайо, носил прекрасное имя. Этот молодой человек промотал свое состояние, общаясь с весьма безрассудными особами. Его звали Педре Лаказ.

Едва женившись, Педре попытался, как он говорил, «стать другим». Для этого он решил обосноваться в Патагонии. Эту новость его всегда заставляли повторять дважды.

— Где, ты говоришь?

— В Патагонии.

Патагония казалась понятием скорее воображаемым, нежели реальным, неким абстрактным выражением, означавшим, что они с Жанной просто собираются бежать безумства страстей, ибо никто не знал, где находится край с таким странным названием.

Пришел черед и Мод Мазюель. Адриенна торжествовала. Наконец-то Мод пристроена. Американец… Мод колебалась. Можно ли связать свою судьбу с человеком, носившим такие странные сапоги? Подбитые гвоздями, остроносые, с небольшим каблуком, они вызвали иронические насмешки у всадников

Руайо. Мод это было известно. Кроме того, она боялась, что, покинув эту блестящую жизнь, «похоронит себя в глуши». Но *обожаемый* Адриенны, которому, по правде говоря, осточертело повсюду таскать за собой Мод, подсчитал, каких несметных богатств она лишается, отказываясь от такой удачной партии. К тому же Мод была не первой молодости. Тогда все решилось. Компаньонка барышень из муленского кафешантана, гостеприимная хозяйка Сувиньи собиралась покинуть родину, чтобы сочетаться законным браком с красивым, осанистым капитаном, настоящим техасцем со звонким смехом и громким голосом.

VII
Ночь перед Рождеством

Все, что нам известно о последнем путешествии Артура Кейпела, почерпнуто из противоречивых свидетельств его современников. Он отправился в путь на автомобиле со своим механиком Мэнсфилдом.

Одни видят в этом отъезде в первые зимние холодные дни желание порвать с Габриэль. Молодая жена ждала его в Канне, где они собирались вместе провести рождественские праздники. Бой уезжал на средиземноморское побережье, словно надеясь, что, удалившись от Парижа, он положит конец этому безумию — любви к Габриэль. Другие считают, что его поездка имела совсем другой смысл. Бой, утверждают они, жил практически отдельно от жены. Он отправился на поиски уединенного дома, где можно было бы спокойно пожить с Габриэль.

Можно выбрать любую из предложенных версий, но развязка была одна.

Неважно, каким был дом его мечты — белым или розовым, неважно, чья тень его укрывала — кипарисов или ракитника… Неважно, что заставило Артура Кейпела уехать, ибо в уединении, о котором он мечтал, ему было отказано. Одна только смерть поджидала его.

В английских ежедневных газетах того времени остались кое-какие следы происшедшего.

Под заголовком «Английский автолюбитель погиб во Франции» «Таймс» от 24 декабря 1919 года писала: «Lord Rosslyn, telegraphing last night from St Raphael, stated that Captain Arthur Capel, who was killed in an automobile accident on Monday, is being buried today at 2,30 p.m. at Frejus with full military honours»[46].

Телеграмма агентства «Рейтер» содержала несколько дополнительных деталей: «Капитан Кейпел ехал из Парижа по направлению к Канну, когда у него лопнула шина». Верный Мэнсфилд был тяжело ранен.

Наконец, в «Таймс» от 29 декабря 1919 года читаем следующее: «Captain Capel’s death is a great blow to his many friends in Paris. He was probably one of the best known Englishmen living in France, where he had important coal interests. During the war, he did excellent liaison work both officially and unofficially, and was a great favorite with Clemenceau. He was a thorough sportsman and at the same time a lover of books»[47].

Значит, этот «чертов» Артур, помимо своей обычной миссии

офицера связи, выполнял еще и то, что на английском языке стыдливо зовется неофициальной работой… До какой же степени обманчив костюм!..

Наконец, с откровенностью, свойственной одной только британской прессе, в феврале 1920 года «Таймс» напечатала завещание Артура Кейпела, проживавшего по адресу Бульвар Мальзерб, Париж, и Чейн-Уолк, Челси, бывшего офицера связи в Версале. В завещании, написанном его собственной рукой, все состояние распределялось между законными наследниками и любовницами: семьсот тысяч фунтов. Иллюзии рухнули. Всем открылось, что покойник был Дон Жуаном, и всех поразило, как ясно выразилось в завещании его отношение к происходящему, словно он пожал на том свете плечами: «Раз я умер, не все ли равно!»

Душеприказчиками были в Англии лорд Рибблсдейл и лорд Ловат; во Франции — Арман Антуан Огюст Аженор де Грамон, герцог де Гиш. «Таймс» опубликовала документ in extenso, и имена двух значившихся там *незаконных* вовсе не были окружены тайной. Одинаковую сумму в сорок тысяч фунтов получили француженка, Габриэль Шанель, и одна итальянская графиня, молодая вдова, муж которой был убит под Верденом. Все остальное, за исключением различных даров сестрам, становилось собственностью его английской супруги, а после нее — «нашего ребенка».

Ибо у Артура Кейпела в апреле 1919 года родилась дочь. Разумеется, не знавший об антиклерикализме Жоржа Клемансо, о том, какие муки тот заставил некогда пережить свою американскую невесту, племянницу пастора, — «Надо выбирать между мной и Богом», лорд Ловат, слегка ослепленный своей набожностью, решил оказать честь одновременно Клемансо и дочери Артура Кейпела, попросив первого стать крестным отцом ребенка. Об этом того просили уже не раз. Вандейские крестьяне-пуалю, чиновники часто обращались к нему с подобной просьбой. Напрасно. Он — крестный отец? Его секретари передавали возмущенный отказ. Но в данном случае Жорж Клемансо согласился. Правда, церемония должна была состояться в Англии, и у него не было ни малейшего намерения туда отправляться. Тот, кто в глазах французского народа был уже не «Стариком» и даже не «Тигром», а «Папашей Свободой», послал своего представителя, и дочь Артура Кейпела получила редкую привилегию — стать единственной крестницей Жоржа Клемансо.

Когда Бой погиб, его жена была беременна. Рождением в 1920 году второй дочки закончилось земное приключение этого соблазнителя, несшего в себе неразрешимые противоречия.

* * *

Когда 22 декабря 1919 года в Париже распространилась новость о смерти Боя, несколько друзей из клана Руайо собрались вместе. Один из них вызвался известить Габриэль. Глубокой ночью Леон де Лаборд отправился в Сен-Кюкюфа. Метрдотель вздрогнул, услышав его звонок. Жозеф Леклер[48] колебался, прежде чем впустить в подобный час посетителя, которого он плохо знал. Но он прекрасно знал капитана Кейпела. Несчастный случай? Он погиб!.. Леон де Лаборд вспоминал, с каким трудом ему удалось убедить Жозефа разбудить Габриэль. Лучше, чем кто-либо, метрдотель представлял себе, какой это для нее ужас. «Подождите до завтра», — повторял он. Но Лаборд настаивал. Жозеф подчинился. Затем спустилась Габриэль, в белой пижаме, короткие волосы торчали в беспорядке. «Фигурка подростка, юноши, одетого в атлас», — вспоминал господин де Лаборд. Тогда впервые он увидел, как она не в состоянии скрыть то, что чувствует. Ее лицо исказила немая гримаса; на нем выразилась вся мировая скорбь.

Но ни единой слезинки.

Он вспоминал также, как он мучился, стараясь не сказать ей все сразу, и заговорил о тяжелом ранении. И как метрдотель сказал: «Не стоит, сударь, мадемуазель все поняла», и как Жозеф быстро пошел приготовить Габриэль чашку чая. После чего надо было дождаться, пока она заговорит, ждать пришлось недолго, несколько минут, в течение которых она не сводила с ночного посетителя смятенного взгляда. «Хуже всего было то, — говорил Лаборд, — что она плакала, но глаза ее оставались сухими». Потом она встала и, не сказав ни слова, исчезла, затем почти сразу же появилась в дорожном костюме, с сумкой в руках. Занимался день. Она была готова. Она хотела отправиться в дорогу сразу же. Они ехали до следующего дня, до глубокой ночи.

От Канна до Монте-Карло все большие гостиницы готовились к новому году. Зимой на побережье было полно англичан. За отсутствием елок бумажные звезды приклеивали к крутящимся дверям, чтобы отдыхающие чувствовали себя как дома.

Несмотря на настояния де Лаборда, Габриэль отказалась покинуть машину. Он хотел, чтобы она отдохнула. Она не хотела.

Все гостиницы внушали ей ужас. Он оставил ее все с тем же искаженным лицом, все в той же позе — и тут граф де Лаборд начинал путаться, ибо все это случилось давно и он уже не помнил, то ли Габриэль внезапно начала походить на привидение, то ли она выглядела так, «словно увидела

привидение».

В те годы, когда он пытался собрать свои воспоминания, красавец Леон, дерзкий всадник из клана Руайо, когда-то заботившийся о том, чтобы выставить напоказ свойственный его поколению дендизм, не боявшийся провоцировать современников, шокировать их тем, что не снимал каскетку, даже когда пил с Габриэль чай в «Поло» в Довиле, этот Леон стал очень старым господином. Но тот, кто вообразил бы, что с возрастом он отрекся от дендизма, ставшего второй натурой, ошибся бы. Англомания в одежде графа де Лаборда устояла перед всеми современными модами. Поэтому когда в восемьдесят с лишним лет он каждое утро, ровно в десять часов, появлялся на пороге своего особняка на Лилльской улице, одетый зимой и летом в костюм из темной фланели в тонкую полоску, в черной шляпе с загнутыми полями, с темно-красной гвоздикой в бутоньерке, со светлой тростью в руке, невозможно было воспринимать графа де Лаборда иначе, как законченный образец определенной эпохи в жизни Парижа. Габриэль Шанель была одной из тайных мыслей старого человека, медленно направлявшегося на работу, в галерею Шарпантье. Она занимала его мечты, его воспоминания. И никогда он не забывал о той драматической ночи, принадлежавшей им двоим.

Порой у меня раздавался звонок, прерываемый яростными «Алло! Алло!» человека, не любившего пользоваться телефоном и злившегося на аппарат: «Вы меня слышите? Черт побери…», порой приходили маленькие голубые телеграммки, в которых уточнялось, что он вспомнил то одно, то другое. Ибо ему надо было тут же поделиться обретенным воспоминанием, он боялся потерять его снова. Так, совершенно неожиданно он вспомнил, что в 1919 году, приехав в Канн с Габриэль, он оставил машину в нескольких метрах от того места, где десять лет назад один фотограф, работавший на Круазетт, запечатлел их всех своим аппаратом. Потрясающий малый, этот фотограф: восхитительная Габриэль, серьезный взгляд из-под большой черной шляпы, а позади нее, в ряд, свита поклонников (только Боя там не было, потому что «это было еще до него», как говорится, но, как только фотокарточка была проявлена, ему сразу ее послали как открытку, ибо все прекрасно знали, что уже тогда Бой любил только ее). Тогда, в ту ночь в Канне, Леон де Лаборд начал потихоньку подавать назад, чтобы сменить место раньше, чем… Но рука Габриэль легла на его руку: «Не стоит, не беспокойся!», и он оставил ее одну, забившуюся в угол машины, в ожидании его возвращения. Он отправился за новостями, хотя было три часа утра.

В других обстоятельствах граф де Лаборд позвонил бы в казино Монте-Карло, будучи уверен, что найдет там Сатерленда, Росслина, в общем, всех своих английских друзей и, главное, леди М., ибо искал он именно Берту. Наконец, переходя от портье к портье, от гостиницы к гостинице, он нашел ее. Берта была в отчаянии. Она попросила их прийти как можно скорее. Пусть они приходят, у нее апартаменты, она сможет разместить их. Безумная, но славная девочка. И потом, в тот момент, когда она вешала трубку, он узнал еще одну ужасную новость: они приехали слишком поздно. Тело уже положили в гроб, все было кончено. Надо было нанести смертельно усталой Габриэль еще и этот удар: после восемнадцати часов, проведенных в машине, она так и не увидит Боя.

Габриэль снесла и этот, последний удар.

Леди М. плакала, встречая их. Габриэль поцеловала ее в ответ, но глаза ее были сухи.

Она дождалась наступления утра в шезлонге, не раздеваясь, несмотря на мольбы Берты, предлагавшей кровать, лиловые крепдешиновые простыни, покрывало из лебяжьего пуха и Бог знает что еще. Ответом было «нет». Реакция, которую граф де Лаборд сорок лет спустя по-прежнему не мог себе объяснить. Дело в том, что он всегда жил как денди и совершенно утратил всякое представление о крестьянском мире. В Канне, в элегантных апартаментах леди М., все происходило так, словно где-то рядом, ощутимо, хотя и невидимо, находился покойник, распростертый между двумя свечами, с веточкой самшита, поставленной в ногах, с распятием на груди, до подбородка укрытый простыней. Какой бы развитой, какой бы красивой и обольстительной ни была Габриэль, под ее обманчивой внешностью вновь возродилась севенка. Она была худой крестьянкой, которая, окаменев от горя, застыла в кресле, не в силах даже выпустить сумку из рук. Можно ли представить, чтобы в драматических обстоятельствах крестьянка из Понтея, Алеса или любой другой деревни *разделась бы?*

Назавтра были новые сюрпризы… Она заявила Берте, что не поедет во Фрежюс. Почему? Бесполезно настаивать. Она не поедет. А похороны? Нет. Чего она хотела? Попасть на место катастрофы. Берта дала ей машину. Габриэль отказалась от сопровождающих. Даже от Лаборда? Даже от него. Берта смирилась.

Сестра Артура узнала об этой поездке из рассказа своего шофера. Он повез молодую даму туда, куда накануне отвозил миледи. Машина капитана по-прежнему была на месте, ее оттащили на обочину, полусгоревшую, ни на что не годную.

Молодая дама обошла ее, прикладывая к ней руки, словно слепая. Потом села на дорожный столб и, повернувшись спиной к дороге, опустив голову и не двигаясь, страшно рыдала. Страшно. В течение нескольких часов, уточнил шофер. Из деликатности он удалился.

Габриэль умела, Габриэль могла плакать. Но только лицом к лицу с землей.

В ту ночь в сказочном Канне, среди сосен и эвкалиптов, где возвышались большие виллы, было шумнее, чем обычно. Наступило Рождество. В номере рядом с Бертой был праздник с оркестром, и негры играли блюзы.

Французы, англичане, американцы набрасывались на развлечения. Джаз — все думали только об этом.

Славянские годы (1920–1925)

Всякая новая мода — отказ наследовать, ниспровержение диктата прежней моды; мода осознает себя как право, как естественное право настоящего над прошлым…

Ролан Барт. Система моды

I
Черные ставни

Возможно, это было их совместное решение: за три месяца до смерти Боя Габриэль переехала со своим ателье из дома 21 по улице Камбон, за которое она платила патент модистки с 1910 года, и, будучи уже модельером, обосновалась в доме 31 по той же улице, где оставалась до конца жизни. Вскоре после смерти Боя она подписала контракт на покупку новой виллы, которая привлекла ее отдаленностью, что в эти годы, казалось, было главной заботой Габриэль. Она собиралась переехать из леса Сен-Кюкюфа на холмы Гарша, из одной виллы в другую, более просторную и лучше расположенную, из «Миланезы» в «Бель Респиро». Названия, которые могли бы послужить заголовком для новелл Колетт. Как бы она сумела описать их сады, особенно последний, в «Бель Респиро», густой, наполненный ароматами и звенящим пением птиц. Все свидетельствовало о совершенно четком выборе: не жить в Париже, жить скрываясь.

Тоска Габриэль принимала тревожные формы. Закончив работу, она возвращалась в «Миланезу» по субботам, чтобы выплакаться тайком.

По рассказам ее метрдотеля, она велела затянуть свою комнату черным — стены, потолок, пол, даже простыни на кровати были черные, все это было весьма сомнительного вкуса и напоминало погребальные шуточки Карла V в Юсте и Сары Бернар, любившей покрасоваться в обитом тканью гробу. Но в этой комнате Габриэль провела всего одну ночь. Едва улегшись, она позвонила: «Жозеф, быстренько вытащите меня из этой могилы и скажите Мари, чтобы она приготовила мне постель в другом месте. Я начинаю сходить с ума». И Мари, жена Жозефа, устроила хозяйку в другой комнате и оставалась рядом с ней до утра. На следующий день черные драпировки были сняты; обойщик получил приказ «отделать комнату в розовых тонах».

Эта история стоит того, чтобы ее рассказать, ибо она свидетельствует о такой страсти, которая в первые послевоенные годы была уже не в моде. Это было горе, доходящее до исступления, до безрассудства, в духе Матильды де Ла Моль.

Приказав сперва отделать комнату в черных, а затем в розовых тонах, Габриэль надеялась, что ее сердце так же легко, как ее клиентура, покорится магии цвета, что оно подчинится закону розового и что, сделав свой дом светлым и ярким, она заставит горе отступить.

В общем, она пыталась навязать своей боли определенную одежду. О, костюм!

Тот, кто захочет усмотреть в поведении Шанель только суетность, волен поступить по своему усмотрению. Но вот, например, Ролан Барт написал книгу, которая помогает углядеть определенный смысл в резкой смене украшения комнаты — от черного к розовому. Чего искала Габриэль? Избавления от колдовской власти воспоминаний. Это было непросто. Она начала поддаваться мраку, ей это понравилось, и она позволила скорби поглотить себя. Ее воображение разладилось до такой степени, что она впала в странности. Габриэль приказала выкрасить стены не в серый или лиловый цвет, а в самый гнетущий и самый близкий к тому, который бы она носила, если бы была законной женой и вдовой: черный. Барт говорит, что «одежда, в силу своей значимости, есть часть основных фантазмов человека — неба и пещеры, жизни возвышенной и погребения, полета и сна: благодаря своей значимости одежда становится крыльями или саваном, обольщением или властью…»[49]

Как бы то ни было, боль Габриэль была сплошной тьмой. Затем она сделала над собой усилие и наложила на черное запрет. Занявшись отделкой комнаты снова, она решила сделать ее розовой, надеясь тем самым изгнать из нее горе. Она всеми силами поверила в действенность совсем простого, нехитрого рецепта, казалось, прямиком попавшего ей в руки из альманахов, которыми торговали ее предки, своего рода поговорки: «Розовой комнате — веселое сердечко». Другой системы она не знала. Вот еще одно замечание Барта: «Мода может выразить себя в поговорках и подчиняться не закону людей, а закону вещей, такой она предстает самому старому человеку в истории человечества, крестьянину, с которым говорит сама природа: нарядным пальто — белые платья, драгоценным тканям — легкие аксессуары». Что касается возможных обвинений в несерьезности, требуется последний раз процитировать того же автора, в частности следующее его замечание: «Сочетание чрезмерно серьезного и чрезмерно ничтожного, лежащего в основе риторики моды, только воспроизводит на уровне одежды мифическое положение женщины в западной цивилизации: одновременно *высокое* и *детское*». Помимо того что это замечание вскрывает подлинный смысл кажущейся суетности Шанель, в нем слышится шум захлопнутой двери. Что, в сущности, и требовалось, чтобы заставить замолчать недоброжелателей.

* * *

В марте Габриэль, более потерянная, чем девчушка, переживающая первое горе, но уже несущая в себе Габриэль *высокую* и готовую на все, наконец покинула виллу «Миланеза», и занавес упал над черно-розовой комнатой. Она забрала с собой Жозефа и Мари. За ней последовал также целый зверинец: два грозных волкодава, Солнце и Луна, пять их щенков — ее «Большая Медведица», как она их называла, — и две собаки-крысоловки, предмет ее нежных забот, Пита и Поппе, последний подарок Боя.

Еще не переселившись в Гарш, она уже произвела там впечатление экстравагантной дамы. Снаружи стены дома были отделаны штукатуркой бежевого цвета, а ставни выкрашены черным лаком.

Окружающие сочли, что дом выбивается из общего стиля. И, однако, это было красиво — четыре черных мазка на окнах фасада, замечательно сочетавшихся с серой, странно искривленной шиферной крышей. Но в Гарше господствовал нормандский стиль. «Бель Респиро» выглядел чем-то сомнительным, затесавшись среди буржуазных резиденций, шикарных коттеджей, богатых дач — маленьких храмов законного супружества, несущих свои каркасные стены, словно знаки социального престижа. Тогда как черные ставни… Редкие прохожие останавливались, чтобы поглядеть на видневшуюся среди ветвей, ни на что не похожую виллу. Что они могли понять? Дом выглядел как картина, создающая иллюзию реальности в тонах двадцатых годов, декор, обращенный в будущее, хотя и располагавшийся на перекрестке улиц Альфонса де Невиля и Эдуара Детая. Как не отметить такое забавное стечение обстоятельств? Кажется удивительным, что шикарному предместью, жившему воспоминаниями о сквернейших художниках XIX века, предстояло стать местом встречи артистов, творчество которых воспринималось официальным искусством XX века, разными там Детаями и прочими Невилями, как повод для скандала. Сначала Стравинский, потом Кокто. Затем Реверди, потом Хуан Грис, потом Лоране. Голова идет кругом от таких перемен… Открыв черные ставни, Габриэль устремляла свой черный взгляд на бесшумные дороги, на сады, еще пахнувшие лесом, словно они продолжали тосковать по лесным массивам, покрывавшим холм в начале века. Забавно, как в первые дни после переезда Габриэль колебалась, какой путь указать механику — выезд по Невилю, возвращение по… «Вы сами знаете, там, налево…» «По улице Детая, мадемуазель», — говорил Рауль, ибо именно так звали первого ее шофера. Рауль… В этом имени, так же как и в его ливрее, заключена целая эпоха.

По улицам Гарша, столь артистически названным, они вместе спускались к Парижу, Рауль за рулем и немного потерянная Габриэль, и даже не замечали, что им было над чем посмеяться, не замечали, что, произнося каждое утро имена мазил, фабриковавших возвышенное метрами, они оказывали им слишком большую честь. Женщина, чья известность все росла, проезжала дважды в день в «роллсе», словно королева, перед табличками, увековечившими славу создателей «Мечты» и «Последних патронов»! Что бы там ни думал в 70–80-е годы прошлого века знаменитый господин Лафенетр, который в «Ревю де Де Монд» изумлялся, что художник сумел так воспеть «телесную энергию… и внутреннюю доблесть наших солдатиков», этот путь в мир Искусства был весьма зауряден. А что если бы, желая избавиться от своего невежества, Габриэль, ничего не делавшая наполовину, стала бы в свою очередь жертвой того же недоразумения? Представим, что она выбрала бы *своих* художников среди салонных мастеров, увенчанных наградами. Разве она не была для этого достаточно богата? Разве она не могла выбрать в качестве своей портретистки старую барышню Бресло, которой граф Робер де Монтескью расточал пламенные похвалы, или пойти, как ее подруга Берта, позировать в вечернем платье Жаку-Эмилю Бланшу? Пресса не преминула сообщить об этом: «Прелестное лицо леди М., изображенное с такой силой… Поразительная искренность… Задушевность». В конце концов, это было очень лестно, и такого рода рекламная шумиха могла бы соблазнить модельера. Ничего похожего в жизни Габриэль не случилось. Точно так же она не ходила по воскресеньям на пьесы Анри Бернстайна — их владения разделяла общая стена, — который (если верить вдове садовника[50]) не остался равнодушным к очарованию соседки, что неудивительно.

Но подобно тому, как Габриэль из небытия, на которое ее обрекало ее происхождение, одним рывком поднялась к высотам живописи и музыки своего века, так она отвернулась от театра бульваров, едва с ним соприкоснувшись, и вслед за Кокто и Дюлленом открыла для себя драматургию Софокла.

Мы не сможем продвинуться в нашем исследовании новой жизни Габриэль, не произнеся одного, важнейшего имени — Миси Серт. Вместе с тем мы бы произвольно упростили жизнь Шанель, если бы ограничились только одним влиянием Миси.

Разумеется, с Миси все началось, она была первой наставницей. Но можно предположить, что и без нее Габриэль нашла бы лекарство от своего горя в необычной страсти — в наслаждении знать и понимать художников без всякого желания обладать их творениями. Ибо, относясь к жизни с глубоким

любопытством, Габриэль была далека от стремления непременно владеть.

Полотна? Рисунки?

Поразительно, как мало их у нее было.

Всевозможные предметы — другое дело. Настоящее безумие. Предметы загадочные, которые невозможно было встретить в другом месте. Предметы, хранящие следы неведомого, отзвуки далеких миров. Кроме того, много книг, некоторые весьма редкие. Но за исключением двух каминных подставок для дров Липшица и крохотной картины Дали, никаких подписанных работ, ни одного ее портрета, ни одной картины известного художника.

Она любила артистов *вне* их творчества. Она любила их, испытывая единственное желание — восхититься, гордилась только одним — тем, что знала их близко и *узнала* лучше, чем жадные коллекционеры, готовые забрать все. Разница между коллекционерами вроде Гертруды Стайн и Габриэль Шанель состоит в том, как они понимают творчество. Габриэль более чем кто-либо была чувствительна к загадкам стиля. Она поддавалась его колдовству. Это объяснялось огромным уважением, которое внушало ей *все, сделанное руками.* Разумеется, объяснением могли бы послужить некоторые забытые эпизоды ее жизни: часы, проведенные то на берегу канала в Иссуаре, то в Варенне у тети Жюлии, то в саду, где добрый дядя Огюстен работал граблями, возился с тачкой, корчевал, и многое другое, чего она не осознавала, но что, придя к ней из бедного жилища ее предков, составляло ее фамильное наследие.

Подобно ребенку, она изумлялась волшебному жесту творящей руки. Для нее было достаточно того потрясающего момента, когда… Вечная сирота, немеющая перед чудом. Сдержанность, привитая ей воспитанием, подразумевала, что чудо должно освящать, его нельзя воспринимать как нечто банальное, вроде платья, оно содержит в себе часть божественного, и ребенок, выросший у монахинь, пока его не убедят в обратном, остается в убеждении, что Бог не покупается. Влияние сиротского приюта в Обазине и муленского монастыря в данном случае очевидно.

Добавим, что презрение Габриэль по отношению к людям, упорно стремившимся обладать всем тем, чем они восхищались, было удивительно. Оно проистекало отнюдь не из-за недостатка денег. В нем выразилось ее представление об Искусстве, нечто такое, что она доказала самой себе. Тем, кто был знаком с Мисей Серт — в то время ни в чем не знавшей нужды и мотовкой, — покажется, что еще до того, как между ней и Габриэль завязалась

дружба (и какая…), короче, что изначально между ними существовало подлинное родство: они испытывали одинаковое презрение к тем, для кого картина была только картиной. То, что они были вдвоем, убеждало подруг в их правоте. Наконец-то вдвоем! Ибо в течение тридцати лет Габриэль будет разделять суждения и пристрастия женщины, связанной со всеми проявлениями художественной жизни своего времени.

Не хватает слов, чтобы рассказать, сколь пленительна была эта встреча.

Они будут видеться каждый день, внучка ярмарочных торговцев из Понтея и Мися, после которой, как и после Габриэль, не сохранится ничего: ни дневника, ни переписки, ни одной заметки — ничего, хотя и та и другая оставили свой след в истории первой четверти XX века. След дерзкий и легкий, который оставляют музы, вдохновительницы и подруги.

Для Габриэль началось время Миси.

II
Образы юной польки

Когда вы начинаете рассказывать о ней, у вас возникает чувство, что бесполезно пытаться передать ее жизнь словами, ибо зрительный образ предшествовал всем посвященным ей текстам и возобладал над ними. Легендарная Мися… Как противится она всему *написанному*!

Попытавшись рассказать свою жизнь, она не сумела выразить себя. У нас нет даже ее воспоминаний, которые могли бы послужить нам ключом. Ибо в книге «Мися, рассказанная Мисей» Миси нет. Страничка из Поля Морана, поддерживавшего с ней дружеские отношения с 1914 года, говорит о ней больше, чем эта книга, в которой он тоже искал ее понапрасну. «Мися, — пишет он, — не такая, какой ее воссоздают ее слабые „Воспоминания“, а такая, какой она была в жизни…»[51]

Далее следует стремительно набросанный портрет. Насколько я знаю, никто не обрисовал Мисю лучше. В сущности, это похищение. Моран останавливает свою героиню на полном скаку, ибо «с ней, — говорит он, — медлить было нельзя». Вот она, Мися, как есть: двадцатилетняя «красивая пантера, властная, кровожадная, несерьезная», ценимая художниками и поэтами, «Мися Парижа символистов и Парижа фовистов», Мися коварная, о которой Филипп Вертело говорил, что ей нельзя доверять то, что любишь: «Вот кошка, прячьте ваших птичек»: Мися, преуспевшая в жизни, пожирательница миллионов, «Мися Парижа времен Великой войны», наконец, «Мися Парижа времен Версальского мира», уже неразлучная подруга Габриэль мрачных времен 1919–1920 годов, Мися, которая спасла Габриэль от черно-розовой комнаты, дав ей возможность увидеть Италию. Габриэль впервые покинула Францию вместе с ней и открыла для себя Венецию.

Остановимся на этом. Признаем, что, говоря о книге Морана, придется употреблять слова «набросок», «эскиз». Добрый десяток набросков.

В конце концов, почему бы не попытаться рассказать о Мисе в образах? Почерпнуть необходимые элементы в портретах, для которых она позировала, выбрать их из полученных ею писем, из поэм, ею вдохновленных, включить туда несколько фотографий и сделать из всего этого монтаж, который оставил бы у читателя впечатление прекрасной и редкой загадки?

При жизни она согласилась бы сыграть в эту игру и была бы

счастлива появиться перед глазами потомков в форме ребуса из плоти, масла, полотна и бумаги. Мисю устроил бы только такой подход.

Сердце Миси. В изображении Вюйара.

1895–1900 годы

Сперва ее фотографии.

Те, что сделаны Вюйаром. Вюйар, одевавшийся во *все готовое* в «Прекрасной садовнице» и так гордившийся своим «кодаком» с мехами. Клап! Его аппарат издавал звук «клап!» и запечатлевал в салоне на улице Святого Флорантена пышные формы новобрачной, ее пухлые, свежие щеки, волосы, поднятые по тогдашней моде в пышную прическу. Только что сорванный плод — это Мися, дочь артиста, называвшего себя скульптором, бравшегося за все, немного сутенера, довольно светского и очень польского: Киприана Годебского. Таде Натансон безумно влюбился в молодую кузину, которая жила одна в скромной квартирке в 17-м округе, на Весенней улице. Она решила выйти за него замуж, хотя мечтала стать пианисткой и зарабатывала на жизнь, давая уроки музыки ученикам, от которых отказывался ее профессор. Человек большого таланта, этот профессор. Он предсказывал девушке блестящую карьеру. Музыкальность, чувствительность, быстрота — он находил у Миси все достоинства. Когда она объявила ему: «Помните, кузен, который за мной ухаживает, так вот, я выхожу за него замуж!», мэтр разрыдался. Его дорогая ученица подстроила ему такое… Фотография. Это был Форе, первое знаменитое сердце, которое разбила жестокая.

Через несколько лет она заставила плакать Вюйара, затем Таде, бородатого супруга, которого мы видим рядом с ней на фотографии, сделанной на улице Святого Флорантена, в гостиной, где ситцем в тонкую полоску обиты кресла, затянуты стены, отделаны рамы, задрапирован феникс, в гостиной, которая уже была Вюйаром, хотя этого еще никто не знал. И Мися уже была Вюйаром, а значит, бородач Таде…

Вот еще один документ, по-прежнему сделанный «кодаком» Вюйара: Мися в летний день, в просторной тунике, доходящей до земли, в пеньюаре, но без всякого намека на беспутство Мод Мазюель в саду Сувиньи, напротив, чрезвычайное целомудрие в этом туалете, своего рода пеплуме, схваченном между грудями узлом, который воображается красным, вызывающим. Ее взгляд?

Сытой кошки, с тревожной неподвижностью уставленный на лицо тщедушной золовки и словно говорящий: «Бог мой! До чего ж худа! Ах! Не приведи Господь, чтобы я когда-нибудь стала на нее похожа». Для контраста сопоставим с мордочкой Дамы Кошки лицо Миси в последние годы, такой, какой я ее узнала, когда опиум превратил ее в старую исхудалую женщину, конечно же, еще отличавшуюся невероятной дерзостью, но все же трогательную и как бы уже побежденную. Бесполезно было отыскивать в ней следы той, которую любил Таде. Что сталось с его жестокой, юной полькой?

В случае, если некоторые читатели станут путаться в нашем коллаже, поступим следующим образом: подобно тому как в центре лабиринта втыкают стрелку, чтобы указать выход, сгруппируем, покажем, воздвигнем в виде памятника все полотна, посвященные ей Вюйаром: «Мися в поле», 1896, «Мися в блузке в горошек», 1897, «Мися на фоне цветастой драпировки», 1898, «Мися за партией в шашки», 1899, и, наконец, последний раз взглянем на доброго Вюйара, покажем кусочек его галстука, завязанного бантом, вырежем краешек его вечного котелка, носок его ботинка, используем его облысевший лоб (этюд, сделанный Боннаром в 1908 году), включим образец его почерка, взятого из одного из его писем к Мисе, бросим это письмо в угол, ибо именно так она, несомненно, с ним и поступила, что я говорю, соберем все адресованные ей его письма, покажем их такими, какие они есть, — мятыми, испачканными, сначала то, в котором он благодарит ее за сделанную запись (тут вырисовывается профиль Людвига ван…), и подчеркнем следующие слова: «Этой радостью, подаренной стариком Бетховеном, меланхоличной, как все, что он дает мне, я обязан вам. Но в нем заключено еще столько разума и здоровья, как и в вас, Мися, одаренной ими в такой большой мере», и еще: «…я всегда был так робок с вами», и, наконец, на разорванном куске с трудом читаемые слова, которые объясняют все: «…счастье состояло в том, что вы были рядом».

Дух Миси. Тексты Верлена, Малларме, Дягилева.

1896–1898 годы и 1914 год

Шелестом ветра проносятся вокруг нее таланты. Сколько артистов! Поклонники самые разношерстные. Всклокоченная бороденка Лотрека, пушок под губой Фенеона, окладистая борода Русселя, белая бородка Ренуара, козлиная — Валлотона, по-ассирийски черная и прямая молодых деверей, мужа, всех

сыновей Натансонов, широкие баки сводного брата Миси, Кипы Годебского, друга музыкантов, это ему Равель посвятил «Мою матушку гусыню», под которую экстравагантная Кариатис несколько лет назад имела смелость импровизировать. И пусть читатель не примет попытку обрисовать этот круг друзей за мечтания, отвлекающие нас от нашего повествования. Нет другого способа измерить расстояние, разделявшее Габриэль и Мисю, как только понаблюдать за молодой супругой Таде у нее в семье, в загородном доме, в окружении друзей. И тогда выявляется поразительный контраст между прошлым подружек: одна жила в Вильнев-сюр-Йонн, в низком, белом доме без всяких претензий, с фронтоном в виде перевернутой галочки, помещении бывшей почтовой станции, а другая — в Руайо, между высоких каменных стен аббатства, из которого Этьенн Бальсан сделал замок.

Здесь лошади, спорт и девицы, мечтающие только о любовниках, успехе, деньгах.

Там художники, поэты, и прежде всего Верлен.

Покажем его таким, каким вырезал его из дерева Валлотон: раскосые глаза непонятного серого цвета, шарообразный лоб, и Мися на фотографии того времени, одетая в простой тик, без всяких финтифлюшек. А поэму, которую он ей посвятил, эти несколько строк, потерянные Мисей (она все теряла), где Верлен сравнивал ее с розой, заменить рукописью, стихотворением, «Инвективами» или любым другим произведением поэта, напечатанным в журнале, принадлежащем ныне легендарному прошлому, — «Ревю бланш»[52].

Мися была его сердцем, душой, телом. И кто, как не она, был изображен на его обложке? Существует ли документ, дающий более полное представление о том, каким влиянием пользовалась Мися? Ибо в киосках, в витринах, в книжных магазинах именно ей, тысячу раз узнаваемой под маской густой вуали, было поручено олицетворять журнал. Включим сюда и самую красивую обложку «Ревю бланш», сделанную Лотреком.

Еще один документ эпохи, сентябрьское воскресенье, Мися, ее друзья, и среди них — Ренуар. В этот день художники и поэты провожали до кладбища в Саморо похоронную процессию Малларме. Друг, заглядывавший по-соседски, приходивший в гости по субботам вечером, покинул их. И здесь в нашем коллаже резким контрастом, прямо-таки посягая на все остальное, появляются сабо, которые надевал Малларме, направляясь к Мисе и Таде. Тут же этикетка одного из лучших бургундских вин, которое он каждый раз приносил с собой. И наконец, толстая крылатка, которую он набрасывал на плечи, поздно ночью

возвращаясь домой. А потом где-то в стороне крупными буквами слова: «Ха! Ха! Как она мила», потому что именно это говорил Малларме, когда Мися садилась за фортепьяно, и потому что знаменитое четверостишие, которое он ей посвятил, написанное на веере, цитируют слишком уж часто.

В 1933 году Кокто утверждал, что веер еще был у Миси. Кокто видел его у Миси в руках: «На ее веере было написано знаменитое четверостишие Малларме, и мне кажется, что из всех брачных контрактов, из всех видов на жительство это, без сомнения, был единственный документ, сохраненный этой полкой среди изумительного беспорядка…»

Десять лет спустя она признавалась, что не помнит, куда она его дела… Что с ним стало?

В случае пустоты, чтобы *держалось,* как говорят художники, вспомним о слове *«чародейка»,* примененном к Мисе. Так называл ее Эрик Сати. «Может, вы немного чародейка?» — писал он ей. Отшельник из Аркея между тем не был льстецом. Скорее, брюзгой. Но не с ней. В том же письме он объявлял ей, что его *трюк* готов. Трюк — это был «Парад»[53].

Никогда он не называл свой балет иначе.

Наконец, прибавим следующее, сказанное *a mezza voce,* словно признание: «Вспомни, пожалуйста, что уже давно мы серьезно пришли к согласию, что ты — *единственная женщина,* которую я мог бы любить». Добавив монокль на ленточке, шапокляк, белую прядь волос или любую другую деталь того же рода — театральный бинокль или, скажем, оригинальную партитуру, макет, страницу из хореографического трактата, — сделаем так, чтобы это признание в любви как можно точнее напоминало его автора: Сергея Дягилева.

Тело Миси. В изображении Ренуара и Боннара.

Годы 1898, 1906, 1917

Мися, опирающаяся на изогнутую спинку скамейки, чудно подняв руки над головой, — фотография 1898 года. Это ее изображение в позе, способной ввести в искушение и святого, со стоящим перед ней Боннаром и сидящим рядом Ренуаром, предвосхищает полотна, которые она вызовет к жизни, — портреты, много портретов. Кисти Ренуара, сколько? Семь? Восемь? Она не помнила. Тогда в качестве вещественного доказательства приведем одно письмо Ренуара: «Приходите. Обещаю вам, что на четвертом портрете я сделаю вас еще

красивее…» Очень важна одна фраза из этого послания: *Поедим всласть.* Общая черта многих французских художников, не так ли? Брак, Дерен… Покутить, задать обед своей натурщице, угостить в знак признательности за ее присутствие. Запомним дату этого письма, она тоже очень важна: 1906 год Мися к тому времени развелась и снова вышла замуж.

Для большей ясности поместим рядом аккуратно сложенный экземпляр «Матен», ежедневной газеты, выходившей большим тиражом. Тогда каждый поймет, что Альфред Эдвардс[54], ее директор, появился в жизни Миси со своими миллионами, политическими связями, толстым животом и любовницами. Что было общего между завсегдатаями дома в Вильнев-сюр-Йонн, между Ренуаром, сыном башмачника, Вюйаром, сыном корсетницы, Боннаром и его женой, которая до того, как стала именоваться Марта де Мелиньи, была Марией Бурсен, мидинеткой, занимавшейся всякой чепухой в магазине похоронных венков на углу улицы Паскье, между этими людьми и знаменитостями парижского общества? Бегство было наилучшим выходом. Мися вскочила в Восточный экспресс. Эдвардс заказал купе рядом с ней. Думая ускользнуть от него, она вышла в Вене и спряталась в маленькой гостинице. Он снял там все комнаты. Тогда она позвала на помощь сначала Вюйара, потом Таде. Примчались оба. Первым уехал Таде, порядком обескураженный тем, что он увидел, и еще больше тем, что сделал: Эдвардс предложил ему пост директора горнопромышленного предприятия где-то в Польше, и он согласился. Вюйар, тот остался, стараясь сыграть как можно лучше роль телохранителя, со своими печальными глазами, галстуком бантом и чистеньким костюмчиком. Не слишком убедительно. На самом деле между разорившимся Таде и могущественным владельцем «Матен» выбор Миси был сделан. Людоед Эдвардс завладел ею. Вот фотография одной *незаконной,* бывшей тогда в центре всеобщего внимания, — Лантельм. Необыкновенно красива… В сотни раз обольстительнее, чем Эмильенна д'Алансон — Эмильенна Эдвардса. Ибо почти не вызывает сомнений, что Лантельм продолжала быть его любовницей, когда он ухаживал за Мисей. Случайность? Лантельм упала в Рейн и утонула. Он ее туда толкнул?.. 24 февраля 1905 года Эдвардс женился на Мисе в мэрии Батиньоля[55].

Все это для того, чтобы показать подругу художников и поэтов, отправившуюся на поиски денег, вступившую на путь, который десятью годами раньше, но в обратном направлении, прошла Габриэль Шанель, вырвавшись из круга Руайо.

Итак, между двумя подругами было много общего. У каждой

были свои тайны. Отношение Миси к Эдвардсу, ее стремление стереть его из памяти, обойти молчанием, напоминало Габриэль, которая держала себя так, словно ничего не знала о Мулене. Она повторяла: «Мулен?.. Мулен?..» — с таким отсутствующим взглядом, словно ее спрашивали о луне.

Разбогатев, Мися чаще позировала *своим* художникам. Но мог ли Боннар, глядя взглядом знатока на Мисю, сидевшую на скамейке в Вильнев-сюр-Йонн, мог ли он предположить, что в один прекрасный день скамейка превратится в канапе, а сад — в будуар, мог ли Боннар вообразить Мисю в интерьере, где мешались блеск зеркал и атласное сияние стен? Вот вам и портрет: «Мися в будуаре», Боннар, 1908 год.

Представим себе Боннара перед мольбертом, слегка оторопевшего и вспоминающего другую Мисю, Мисю в 1898 году, смеющуюся, радостную, а неподалеку от нее — Лотрек после черт знает какой безумной ночи у одной из его *мадам,* Лотрек, храпящий с приоткрытым ртом, в брюках с расстегнутой пуговицей, но в полотняной шляпе и с пенсне на носу, а на расстоянии протянутой руки — большая груша. Уже начатая, со следами зубов… Клап! Моментальный снимок. Аппарат Альфреда Натансона (брата Таде) издал «клап», навсегда запечатлев уснувшего Лотрека. В другой раз близорукий Боннар в своей «легкомысленной» шляпе (это было в воскресенье в «Релэ», когда они все прогуливались) застал Мисю и Таде в траве, клап! Там был и Альфред со своим новомодным аппаратом. Какие поднялись крики! Эту фотографию хотели все! «Это Ренуар!» — кричали вокруг. Но он, Боннар, скромно и не говоря об этом вслух, подумал: «Это Боннар». Они с Таде лежали в траве, и Мися легонько прислонилась к его ногам, склонив голову к… Ах, нет! Он не должен во время работы думать о том, как именно эти двое лежали тогда, Таде в сдвинутом на затылок канотье, а Мися, глядя потерянно, словно маленькая девочка, только что узнавшая, что такое любовь. И ее голова, лежащая на… Довольно, Боже мой! Больше не думать о Мисе, принадлежавшей Таде, особенно во время сеанса перед этим канапе, на котором сидела молодая женщина, одетая в атлас, и улыбалась Боннару. Госпожа Эдвардс… Кто бы мог подумать? Боннар писал портрет богатой госпожи Эдвардс.

Полотно Боннара надо показать как следует. Сделаем так, чтобы светлые розы на консоли имели то же значение, что и для художника. Такие пышные, распустившиеся, эти розы… Не просто букет, а, скорее, предлог, чтобы отвести взгляд от Миси и ее словно приглашающей груди, перламутровой и столь же пышной, как розы.

Используем в качестве последнего мазка орден Почетного легиона. Тот, от которого друзья Миси, все без исключения, отказались. Вюйар, Боннар, Валлотон… Чего было ждать от официального признания тем, кто по-братски проводил воскресенья в Вильнев-сюр-Йонн? Что касается погони за наградами… Отведем этому ордену то место и тот смысл, которые несут восклицательные знаки в одном интервью Ренуара: «Разве нам нужна защита? Мы люди. Мы больше чем люди — мы художники! Пусть нас оставят в покое! В покое полном, глубоком и окончательном! Это все, чего мы просим!»

III
Излечиться в Венеции

Мися применила к Габриэль то же средство, которое много раз испробовала на себе во время различных житейских бурь. Она считала, что жизнь надо подхлестывать, с ней надо обращаться как с волчком, ее надо хорошенько взбивать, словно тесто, не то она отбивается от рук и затягивает.

Габриэль покорилась. Сперва автоматически. В течение короткого периода — первых месяцев 1920 года — видели, как она повсюду следовала за Мисей, присутствовала, хотя пока и молча, на всех проходивших у нее сборищах. Будь то в музыке или в беседе, Мися очаровывала своих слушателей. «Она нас околдовывала в прямом смысле слова», — писал Жан Кокто. Гостеприимство ее «открытого дома» сильно отличалось от того, что до сих пор знала Габриэль. И даже тон, мечтательный и требовательный, в котором звучало желание быть услышанной, опровергавшееся постоянным «Бог с ним», — даже тон Миси был тем же самым, что у Шопена. Мися, королева Парижа, была полькой в душе.

У нее был собственный мир, ни на что не похожий. В то время как Паскин, Сутин, Модильяни жили на Монпарнасе, а ценность Монмартра стала падать, художники и поэты Миси по-прежнему жили на Холме, по-прежнему на Монмартре проходил парижский период Боннара, Хуана Гриса, Реверди. Хотя «Дом» и был местом встречи авангардистов, писатели и музыканты Жан Кокто и Радиге, Орик и Пуленк встречались в «Быке на крыше», этой ночной прихожей «Русских балетов». Тому было объяснение: более чем когда-либо Мися была связана с танцем. Существовала и другая причина: ее брак с людоедом подошел к концу. Миллионы Эдвардса не смогли возместить того, что друзья Миси и сама Мися чувствовали себя неуютно в его обществе. Она развелась. И хотя третья попытка вновь свела ее с набобом, на сей раз по крайней мере с набобом от живописи.

Иметь в качестве заказчиков одновременно испанское духовенство и Ванделей, разумеется, было совсем не в духе Боннара или Хуана Гриса, и по поводу Хосе Марии Серта можно иронизировать. Разве не смешно, что художник использовал золотую пудру и в одинаковом стиле расписывал фресками своды собора в Више[56], стены здания Лиги Наций, салоны «Уолдорф Астории» в Нью-Йорке и будуары парижской буржуазии? Можно было поязвить на его счет, как Кокто, не отказывавший себе в

этом. В письмах к Мисе он называл его «Господин Жожо» или говорил, что «снаряды, падая, издавали мяуканье, словно жирные дикие кошки, вроде господина Серта». Разумеется… Но существовал один факт, который никто не пытался отрицать: однажды вечером, когда Мися и Серт в самом начале их связи обедали наедине в «Прюнье», Серт представил ей Дягилева, и на этом основании признательность артистов из окружения Миси была ему обеспечена. Получить заказ от Дягилева? Разве не этого добивался каждый? И потом, никто не мог отрицать, что третий супруг их общей музы обладал дарованиями, которых были лишены два предыдущих. Как не признать, что он обладал гениальным чутьем на предметы, крайне развитым чувством грандиозного и редчайшим умением соединять противоречивые эпохи? Благодаря ему Мися нашла подходящую себе обстановку. Этим не следовало пренебрегать. Люди великодушные, друзья-артисты первыми признали: «Господин Жожо — талантливый декоратор». В общем, они его терпели. Они находили, что он очень «в стиле „Русских балетов“». В то время Дягилев и его спектакли особенно интересовали Мисиных друзей.

Главным событием этого года было «возвращение Игоря». Стравинский решил принять французское гражданство. Его пребывание в Швейцарии, где он жил с 1914 года, подходило к концу. Все предвидели, что, едва оказавшись в Париже, тот, кто подарил «Русским балетам» «Жар-птицу», «Петрушку» и «Весну священную», вновь обретет свое место рядом с гениальным организатором — Стравинский был любимым композитором Дягилева. Действительно, Дягилев тут же поручил ему «Пульчинеллу». Речь шла о том, чтобы приспособить к темам Перголезе сюжет итальянской комедии, найденной самим Дягилевым в библиотеке в Неаполе. Декорации должен был писать Пикассо, хореограф — Мясин.

Габриэль Шанель в тени Миси наблюдала за подготовкой этого балета. Никто ее не знал. Ее едва представляли. Ее не было слышно. Она смотрела, слушала. Никогда она не присутствовала на подобном празднике. Наконец-то ее никто ни о чем не спрашивал. Никто даже не интересовался, что она здесь делает. Прошлого больше не было. Габриэль ощутила небывалую свободу. Она вступала, сама того не зная, в период, который можно было бы назвать ее славянской эпохой.

Через некоторое время, отнесясь с вниманием к тому, что неустанно повторяла ей Мися, Габриэль позволила себя уговорить. Получая сведения от Жозефа, расспрашивая его всякий раз, как она бывала в Гарше, Мися твердила, что Габриэль надо на время уехать из «Бель Респиро», оставить работу и переменить

обстановку. Она повторяла, что именно это для Габриэль сущий ад, именно в этом корни ее страданий. Вырваться куда-нибудь! Габриэль согласилась.

Она поехала с супругами Серт в Венецию.

Это было одно из редких путешествий среди всех, ею совершенных, о котором она соглашалась говорить. Она признавала, что «Серты спасли ее». Она не говорила от чего, но это неожиданное признание, сколь бы немногословным оно ни было, показывало меру ее признательности.

Кто когда-нибудь расскажет, как она открывала для себя Венецию? Серт, роскошный бородач, был ее гидом. Он научил ее Венеции, как он один умел это делать, он заставил ее Венецию полюбить. По-своему. Ибо если послушать его, истинное представление о городе нельзя получить только по его дворцам, церквям, общественным зданиям, знаменитым статуям и прославленным потолкам. Габриэль восприняла его урок. Между музеем и жизнью она всегда выбирала жизнь, оставаясь безразличной к прошлому, свидетельством которого были венецианские музеи, и дивным образом несведущей во всем том, что под этим подразумевалось. Светлейшая? Что такое? Она с трудом понимала, о чем речь. Но Венецию, где только что открылся «Харри'з Бар», город, стоящий на воде, где гондольеры были владельцами каналов, «самый блестящий город Европы»[57], да, этот город она знала. Она по-прежнему предпочитала выставленным произведениям искусства те, что находились на предназначенных им местах. Она навсегда сохранила слабость не к Италии, которую не любила, а к Венеции.

Редко случалось, чтобы, за исключением Венеции и Лондона, она нахваливала прелести какого-нибудь иностранного города. Берлин? Она говорила, что никогда там не бывала. Это неправда, но продолжение ее истории объясняет, почему она никогда о нем не упоминала. Нью-Йорк был для нее предметом шуток. О Мадриде она отзывалась как о далекой провинции. Венеция в ее представлении одна только заслуживала титула иностранной столицы. Возможно, тем самым она признавала превосходство города, нереальной атмосферы которого оказалось достаточно, чтобы излечить ее. Говоря «Венеция», Шанель вновь возвращалась мысленно ко времени, когда, приобретя известность и получив признание, она за несколько месяцев стала ровней Мисе. Ибо подлинное событие состояло в следующем: важнее, чем Венеция, был Дягилев, встреча с «царем Сергеем» — важнее, чем все остальное.

Сергей Дягилев находился на отдыхе. В тот день он завтракал с великой княгиней Марией Павловной. Мимо проследовало трио

Серт — Шанель, прибывшее накануне. Удивление. Излияния чувств. Мися была связана с Марией Павловной так же, как и Сергей. Были приставлены три стула, и все стали завтракать вместе. Какого рода беседу прервали вновь прибывшие? Какими воспоминаниями обменивались изгнанники, окруженные чужим великолепием Венеции?

При жизни мужа великая княгиня покровительствовала дебюту Дягилева в императорском театре. Он был из тех счастливчиков, для которых «непреодолимый барьер, возвышавшийся между третьей дамой Империи и остальным миром», никогда не существовал. Она принимала его в своем салоне в Санкт-Петербурге, «где у кресел были оборки, у абажуров — оборки и у юбок фрейлин — тоже». При падении этого мира Мария Павловна выжила чудом. Ее дочь, трое сыновей — все были живы… И это для нее было важнее всего остального. Мария Павловна была из тех великодушных женщин, которые, хотя уже ничем не владели, умели наблюдать за чужим успехом без всякого озлобления.

Как только беседа с глазу на глаз была прервана, разговор пошел только о финансовых трудностях, с которыми в какой уж раз сражался Дягилев. Мясин работал над новой версией «Весны», которую Сергей хотел включить в свой спектакль начала сезона в Париже. Он не сомневался в успехе постановки, во всех отношениях верной духу Нижинского. «Весна», по его словам, стала балетом «надежным». Но ему были нужны деньги. Затраты, которых требовала реприза, были чрезмерны. Дягилев не обратил никакого внимания на брюнетку, сопровождавшую Мисю. Хотя видел ее почти каждый день, Дягилев даже не пытался запомнить ее имя. Но можно без труда представить, какого рода призраки явились перед Габриэль во время этой памятной встречи. Значит, это и была мать великого князя, чье имя молодые люди в Руайо произносили только шепотом, чтобы избавить бедную Жанну Лери от горьких воспоминаний! Значит, это и была мать Бориса, обрюхатившего подружку из Руайо, молодую статистку, дебютировавшую в «Водевиле», золотое сердечко в этой банде сорвиголов, Жанну Лери, которая отправилась с просьбой к Дорзиа, чтобы добиться для Габриэль первого заказа на шляпы. И Дягилев… Наконец-то она видела человека, которым Мися так восхищалась, чаровника… Надо же было случиться такому, что ее новые друзья собирались возобновить именно тот, единственный балет, который она видела. Скандал в 1913 году… Дамы в тюрбанах, красные от гнева, старая графиня де Пурталес в съехавшей набок диадеме, вопящая во всю мочь, крики, и безумная Кариа, с так странно подстриженными волосами, что на

нее оборачивались, — все это ожило в памяти Габриэль. Почему случилось так, что именно об этом балете заговорили в Венеции?

Путешествие в Италию имело несколько последствий. Во-первых, друзья Габриэль, и прежде всего Мися, сочли, что она излечилась. Бой был забыт. Тому был неопровержимый знак: Габриэль больше не ограничивалась ролью зрительницы, она стала участвовать в общей жизни. Она пригласила Стравинского к себе. Он должен был поселиться в «Бель Респиро» с женой и четырьмя детьми. Разве это не было *знаком*? И потом, Габриэль больше не плакала. Глядя на женщин, *которые не плачут,* окружающие охотно верят в их выздоровление, не обращая внимания на то, о чем они умалчивают, на скрытые раны, готовые закровоточить при первом потрясении… Короче говоря, поскольку Габриэль вновь обрела силу скрывать свои чувства, окружающие решили, что она выздоровела, спутав безразличие со здоровьем. Она казалась веселой. Ее и поймали на слове.

Тем временем Дягилев, вернувшись в Париж и по-прежнему не находя средств для постановки «Весны», терял надежду. Именно тогда портье гостиницы объявил ему о визите одной дамы, имя которой было Дягилеву неизвестно. Он колебался. Она была некстати. Потом он смирился и вышел к ней. Едва взглянув на нее, Сергей Дягилев понял, что посетительница была ему удивительно знакома. Это была подруга Миси, это она, Габриэль Шанель, принесла ему деньги, необходимые для постановки «Весны». Она протянула Дягилеву чек, сумма которого превосходила все его ожидания, поставив только одно условие: чтобы он никогда не говорил о ее даре. Договорились, не правда ли? Никогда и никому.

Дягилев сказал. Сказал тому, кто в 1921 году стал его секретарем, — Борису Кохно.

Прошло полвека, пока о поступке Габриэль стало известно. Кохно[58] в книге, посвященной Дягилеву, рассказал об этом эпизоде из ее жизни. Если бы не он, об этом, возможно, никогда бы не узнали.

IV
«Достоинство роскоши…»

Относительно Стравинского и его семьи все ясно. Они поселились в «Бель Респиро» осенью 1920 года и провели там около двух лет. Дочь метрдотеля, Сюзанна Годен, которой тогда было лет десять, никогда не забудет атмосферу, царившую на вилле в Гарше, пока там жил композитор. Она играла с маленькой Миленой, одного с ней возраста, и с Миркой, старшей дочерью Стравинских, изучавшей акварель и подарившей ей две свои работы, портрет толстого русского генерала и собаки Питы, сделанные на обороте старого календаря. В те часы, когда Стравинский работал, детей отправляли в просторную комнату, служившую детской. Им приказывали молчать и не мешать мэтру. Тогда вилла «наполнялась звуками пианино… Но мы с Миленой подходили совсем близко к двери, и иногда музыка звучала так мощно, что мы пугались».

Да, в том, что касается дружбы Габриэль со Стравинским, ошибки быть не может. А как насчет великого князя Дмитрия? Каковы были обстоятельства их знакомства? Трудно себе представить, как все произошло.

По словам одних, это было еще одно последствие путешествия в Венецию, потому что великая княгиня Мария Павловна якобы представила своего племянника Габриэль в один из летних дней 1920 года. Событие будто бы произошло в Биаррице, где «жажда роскоши и элегантности побивала все рекорды», где великие князья находились на иждивении и пили, чтобы забыть революцию, куда страны с высоким обменным курсом валюты — Испания, Англия, Египет, английские Индии и обе Америки — в изобилии направляли своих граждан, где земля росла в цене, где строились виллы и процветала спекуляция. Империя Шанель, основы которой были заложены Кейпелом, держалась. Оборот филиала в Биаррице достигал неслыханных цифр. Следовательно, не было ничего удивительного в том, что Габриэль оказалась там. Точно так же не было ничего удивительного в том, что некоторые из Романовых очутились на баскском побережье, где они часто отдыхали во времена своего былого величия. У некоторых из них там по-прежнему были виллы.

По словам Дорзиа, если местом встречи Дмитрия и Габриэль был действительно Биарриц, то произошла она при иных обстоятельствах. Знакомство состоялось при помощи не великой

княгини, а Марты Давелли. Со времен веселых уик-эндов в Руайо и ее дебюта на сцене красавица певица выдвинулась в первые ряды артистов Комической оперы. Ей аплодировали в «Чио-Чио-сан», в «Кармен», и она готовилась выступить в рискованной роли Папагены в «Волшебной флейте». Более чем когда-либо Марта Давелли подчеркивала свое сходство с Габриэль, и однажды их даже перепутали.

Дорзиа утверждает, что во время одного вечера, когда случайно встретились три постоянных посетительницы Руайо — Габриэль Дорзиа, Габриэль Шанель и Марта Давелли, — эта последняя представила великого князя Дмитрия своим подругам, дав им ясно понять, что он был ее любовником. Известность не лишила Давелли жажды развлечений. Неисправимая гуляка… Какой бы час ночи ни был, она всегда находила ночное кафе, где играл то пианист, то саксофонист, которых надо было пойти послушать, в общем, годился любой предлог, лишь бы не ложиться спать. В то лето, после очередной подобной прогулки, заметив, что ее спутник проявляет к Габриэль повышенный интерес, она будто бы, отозвав Шанель в сторонку, сказала ей: «Если он тебя интересует, я тебе его уступлю, мне он слишком дорого обходится». Великие князья, бедняжки, при всем том, что были прекрасными танцорами, больше не являлись для таких кутил, как Марта, желанными спутниками. У них не было ни гроша… Об этом знали все. Так что встречаться с ними… Притом сколько стоили шампанское и развлечения… Но именно в этом и была разница между Давелли и Габриэль. Хотя Габриэль страстно любила нравиться, никогда у нее не было склонности к кутежам, а тем более к ночным шатаниям. Великий же князь Дмитрий, сильно отличаясь этим от своих дядей, кузенов или знакомых, также не подпадал под категорию гуляк. В его молодости не было «бурных лет». Эксцентричность, ставшая специальностью его кузена Юсупова[59], выходки, создавшие ему славу, ибо Феликсу одному удавалось рассмешить царицу, никогда не были свойственны Дмитрию. Тяжелое детство и суровое воспитание наложили на него отпечаток, поэтому у Дмитрия почти не было фамильного сходства с Романовыми, оказавшимися в изгнании. Разве что длинные ноги. Можно ли было быть Романовым и не быть голенастым? Он тоже был высокого роста, с маленькой головой, без сомнения, очень красивый мужчина, но на этом сходство заканчивалось. Дмитрию было неизвестно, как им распорядится судьба, но он прекрасно знал, от чего страдал всю свою юность. Ему недоставало любви и ласки. Великому князю было двадцать девять лет, только в этом он и был уверен.

Едва закончилось лето, как Дмитрий Павлович отправился

провести некоторое время в «Бель Респиро». Его сопровождал лакей. С темной январской ночи 1917 года, когда великий князь был арестован в своем дворце в Санкт-Петербурге, Петр с ним не расставался. Он уехал вместе с князем, когда генерал Максимович передал тому приказ царя. Немедленный отъезд — такова была плата за участие в убийстве Распутина, его отправили в ссылку. На Николаевском вокзале Петр видел Дмитрия в окружении жандармов, «которые все оправдывали преступление — о Россия!». Он видел, как тот вырывается из объятий великой княгини Марии, «его дрожавшей и находившейся в отчаянии сестры»[60]. Стоял пронизывающий холод, вихрился снег, и все думали, что оба путешественника обречены на гибель, тогда как царский приказ спас их. Все было просто, двухметровый, широкоплечий добряк-гигант с длинными волосами, Петр всегда был рядом. Начиная с 1905 года, с Царского Села. В то время, всего несколько месяцев спустя после убийства великого князя Сергея, Петр уже заботился о юном Дмитрии. Петр все понимал с полуслова, угадывал тревогу юноши, помогал ему надевать парадный мундир. Какой, однако, выдался год! И к чему парады? При том, что происходило… Но по приказу царя Дмитрий Павлович должен был представлять государю свой новый полк. Возникал вопрос почему. Он уже был полковником 11-го гренадерского Фанагорийского полка, и вот теперь его поставили во главе 4-го полка императорских стрелков. В четырнадцать лет! Потому ли, что здоровье престолонаследника было под угрозой и царь относился к Дмитрию как к сыну? Многие говорили, что это так. Тогда Петр одел Дмитрия, помог ему застегнуть портупею, повесить шпагу, затем стянуть подбородный ремень гигантской каски, увенчанной безжалостным, с расправленными крыльями орлом, опирающимся на когтистые лапы. Четырнадцатилетний мальчик, одетый подобным образом, что вы на это скажете… Господин Бергамаско, придворный фотограф, непременно хотел его сфотографировать. Затем Петр следил за Дмитрием взглядом, пока тот, в окружении своих огромных дядей, слегка подавлявших его, производил смотр полка, а потом, выглядя еще меньше рядом с громадными стрелками, проходил перед императором. В следующем году… Чего только не навидался Петр! В следующем году во время ежегодной церемонии освящения вод Дмитрий, вновь в парадной форме, был дежурным и стоял рядом с царем, тогда как Петр находился в первом ряду безымянного батальона выездных лакеев, конюхов, посудомойщиков, ламповщиков, садовников. Смехотворная церемония. Вместо того чтобы проводить ее как положено, в Санкт-Петербурге, перед Зимним дворцом, в

присутствии многочисленной толпы, вместо того чтобы освятить воды Невы, император, живший затворником в Царском Селе, освятил воды бассейна. При этом присутствовали только несколько великих князей, охрана дворца, домашние и попы в золотых одеждах. Сверкающие кадила и евангельские речи возносились над стоячей водой, которую бороздили стайки красных рыбок.

Сколько трагедий, Боже великий… Частенько Петр спрашивал себя, как они оба сумели выкрутиться. И особенно Дмитрий. Уж ему-то досталось, этому юноше. Едва началась война, как его послали на прусский фронт с полком конной гвардии, и тут им с Петром пришлось свести знакомство с немцами. Грязное дельце… Из двадцати четырех офицеров их эскадрона шестнадцать остались на поле боя. Убиты… Потом… Потом они не без труда выжили после обрушившихся на Россию бед. Им пришлось бежать. На Запад они пробирались наугад, вслепую. Изгнание в Персию их спасло. Если бы Дмитрий не навлек на себя ненависть императрицы Александры Федоровны, его бы, конечно, уничтожили вместе с остальными.

И вот теперь у них обоих ничего не осталось, кроме этой дачи, где их принимали парижская портниха и прекрасно вышколенный метрдотель, который делал вид, что не замечает ни потрепанных костюмов, ни стелек из газетной бумаги, скрывавших дыры в башмаках.

Такого дома Петр никогда не видел. В его представлении дача — это была просторная постройка, с балясинами, большой верандой, с часами посредине фасада, как на вокзале, с царствующими хозяевами, массой прислуги, фруктовыми садами, огородами и привезенными из Швейцарии коровами — ничего похожего на виллу с черными ставнями. Но что за важность… Больше всего Петр ценил в Гарше сад и большой кедр, под которым он усаживался, поджидая хозяина. Оно было так красиво, это дерево, вздымавшееся над бескрайним горизонтом, посредине которого четко вырисовывались Париж и Эйфелева башня. Каждый вечер Петр садился под деревом и ждал. Дети Стравинских играли в саду. Он слушал их. Он их понимал. Ему бы хотелось, чтобы эти ссоры и эти игры никогда не прекращались. Дом, где дети говорили по-русски, какое благолепие… Петр чувствовал себя почти как дома.

* * *

Она была старше его на одиннадцать лет; в течение года они

были неразлучны. Их связь потрясла его сильнее, чем ее. Впоследствии их дружба не прерывалась. Больше мы ничего не знаем об истории Габриэль и Дмитрия. Поэтому интерес для нас представляет свидетельство сына последнего[61], когда он уверяет, что воспоминание о Шанель всегда было живо в памяти отца, что ни одна женщина не пробудила в нем столько мечтаний и что, в сущности, встреча с ней была одним из главных событий в его жизни. Этот год был счастливым и для Габриэль. Счастье можно понимать по-разному, пусть оно не было безумным, но в своей любви к Дмитрию она вновь обрела уверенность, которая помогла ей благополучно осуществить один из самых важных замыслов ее жизни — изобретение духов, благодаря которым ее свобода навсегда была обеспечена. В 1920 году родились духи «Шанель номер 5», которые год за годом будут наращивать ее колоссальное состояние. Что-то около пятнадцати миллионов долларов, если верить цифрам, опубликованным после ее смерти («Таймс», 25 января 1971 года).

Одно бесспорно: в течение этого года Габриэль была предприимчивее, чем когда-либо. Прежде всего следует признать, что разработка запаха, где впервые с веществами животного или растительного происхождения были соединены искусственные эссенции, потребовала немалых творческих усилий. Сломленная женщина, которую год назад Мися повсюду водила за собой, Габриэль, готовая сдаться, была бы на такое неспособна. Вероятно, в ней совершилась коренная перемена, которой она явно была обязана чему-то или кому-то. Вне всякого сомнения, поддержке, полученной от Дмитрия Павловича. Иначе как объяснить происходящее? Мы не можем утверждать, что счастье ее было безоблачным, но очевидно, что она вновь обретала веру в себя.

Другие модельеры до Шанель, в частности Поль Пуаре, чувствуя, что мода и парфюмерия имеют много общего и выгодно дополняют друг друга, пытались распространить свою деятельность и на производство духов. Но никто до Шанель не осмелился отказаться от цветочных запахов. До 1920 года женщинам предлагалось выбирать для себя легко узнаваемый запах одного или нескольких цветов. Роскошь состояла в том, чтобы благоухать гелиотропом, гарденией, жасмином или розой, ибо любая смесь, хотя и была очень резкой, быстро выдыхалась. Отсюда необходимость чрезмерно душиться в начале вечера, чтобы через несколько часов запах еще сохранялся. Этим объясняется появление сильно надушенных мужчин и женщин, населяющих воспоминания и хроники первых лет XX века. «Толстый молчаливый человек с чувственным лицом, Тибо де

Брок душился, не зная меры…» — читаем мы в воспоминаниях Элизабет де Грамон. Или еще: «Герцог де Муши был нашим ближайшим соседом. Я всегда знала, когда он проходил мимо, ибо за ним тянулся шлейф благоуханий…»

Габриэль Шанель решительным образом все это изменила. Создав устойчивые духи, она позволила дозировать их использование. К тому же она заменила духи с запахами узнаваемыми духами с неопределенным ароматом. В состав «Номера 5» входит около восьмидесяти ингредиентов, и хотя в них тоже есть свежесть сада, в этом саду витают запахи незнакомые. Именно этим Шанель вошла в историю парфюмерии: «Номер 5» поражает своим абстрактным характером.

Было бы преувеличением видеть в Дмитрии единственный источник вдохновения Габриэль в тот год. Но невозможно отрицать, что существовала тесная связь между тем, что она создала, и тем, что он внес в ее жизнь. И прежде всего безумную любовь к духам. Можно ли забыть, что в Европе не существовало двора, где духи были бы в большей чести, чем в России, причем на протяжении нескольких веков? Откуда Арман Эмманюэль, герцог де Ришелье, позаимствовал манию поливать себя душистой водой? Беды эмиграции сделали из него слугу царя. Одиннадцать лет он прожил на берегу Черного моря и правил там от имени Александра I. Розовая эссенция… «Духи были единственной роскошью, которую позволял себе Эмманюэль Ришелье…» Как же удивлялись люди, глядя на него! Например, маршал Мармон… Он «не без веселого любопытства поглядывал, как герцог берет большой флакон, душит себе руки, опрыскивает волосы, а иногда, приоткрыв ворот рубахи, натирает духами грудь, смачивает подмышки; перед отъездом он приторочил к ленчику несколько флаконов духов, подобно тому как другие берут с собой в дорогу ром»[62].

Век спустя, во время празднеств по случаю коронации Николая II, французская пресса, правда с легким удивлением, радовалась тому, какой огромный заказ получил по этому случаю господин Легран, официальный поставщик российского императора.

Каких слов Дмитрия, каких историй оказалось достаточно, чтобы Габриэль осознала, что духи не только средство обмана, против которого она всегда была предубеждена, охотно подозревая излишне надушенных женщин в том, что они пытаются «скрыть дурные запахи» (вспомним, как в эпоху Руайо она признавала за Эмильенной д'Алансон единственное достоинство — «она пахла чистотой»), но и вещество, обладающее сверхъестественной властью? Составление смеси требовало

долгих проб, изменений, до тех пор пока она не приобретала «доныне не понятое людьми достоинство, достоинство роскоши, и мир еще должен пережить великие потрясения, чтобы мы это поняли…»[63]. Следует заметить, что вряд ли встреча в Грассе Габриэль и Эрнеста Бо, в лабораториях которого был разработан «Номер 5», была случайной. Случайность ли, что этот выдающийся химик-парфюмер был сыном одного из служащих при царском дворе, случайность ли, что он провел большую часть своей юности в Санкт-Петербурге? Можно было бы все свалить на случай… Если только не постараться найти этому случаю имя — Дмитрий.

Внешне в изобретении «Шанель номер 5» нет никаких загадок, это плод совместных усилий Габриэль и Эрнеста Во, предоставившего к ее услугам свои удивительные познания. Те, кто был и остается заинтересован в создании легенды, главную роль, разумеется, отводят Габриэль. Ничто так не способствует продаже духов, как волшебная сказка, когда рождением загадочной жидкости ведают красавица-фея и склонившийся над своими ретортами алхимик, которому все подвластно. Фея столь же сведуща в деле, как и алхимик. Она решает, командует, а при необходимости добавляет своей властной рукой щепотку того или же приказывает убрать капельку сего. Легенда тут же используется в рекламных целях, и духи запущены на рынок.

На самом деле все было не совсем так. Разработка «Номера 5» осуществлена все-таки Эрнестом Бо, хотя последнее слово было за Габриэль, которой он представил на выбор четыре-пять смесей. Все происходило в атмосфере достаточно смутной, напоминавшей тайные интриги, предшествующие дворцовым переворотам, а то, что в дело были замешаны духи, напоминало захватывающий сюжет сказки из «Тысячи и одной ночи». История была полна махинаций, неожиданных развязок и постыдного сообщничества. Чего только не было в сценарии! Даже сенсационное исчезновение одного из лучших химиков фирмы «Коти». Перебежчик унес с собой плод многолетних изысканий: формулу духов, которые фирма «Коти» не решалась пустить в продажу, так дорого было их производство. Это явилось одной из причин, заставивших химика перебежать на сторону врага: он боялся, что, его изобретение никогда не будет использовано. Более чем вероятно, что он тут же передал формулу Габриэль. Кто был этим химиком? Ушел ли он от «Коти» по собственной инициативе или его купили? Звали ли его Эрнестом Бо? Поскольку расследование упирается в стену непроницаемого молчания тех, кому известна правда, нам придется отказаться от попыток выяснить это. Но существует непреложный факт:

примерно через семь лет фирма «Коти» выпустила духи, похожие на смесь Шанель, словно близнец. Несмотря на успешную продажу, «Aimant» не нанес Габриэль вреда. «Шанель номер 5» был уже на орбите.

Флакон Шанель был полной противоположностью декоративных флаконов ее конкурентов, делавшихся обычно в форме амуров, урн, украшенных зубчиками и цветочками, ибо парфюмеры по-прежнему верили, что вычурность — аргумент в пользу успешной продажи. В стеклянном же флаконе с четко очерченными углами, пущенном в оборот Габриэль, замечательным было то, что он заставлял воображение приспосабливаться к новой знаковой системе. Желание вызывало уже не вместилище, а содержимое. Не предмет определял желание купить, Шанель обращалась только к чувству, к обонянию: золотая жидкость, заключенная в прозрачный хрустальный куб, была видна и должна была вызывать желание.

Можно было бы также многое сказать о графической четкости этикетки, по сравнению с которой прежние вычурные, замысловатые линии казались старомодными, о строгой гармонии оформления, основанной на контрасте черного и белого (черное, опять черное), наконец, о названии, состоявшем из одного слова *Шанель* в соединении с сухой цифрой и брошенном со всего размаха в витрины, словно властный приказ: «Ставьте на пять».

Что значил этот язык цифр? На прохожих он производил впечатление колдовства. А что означала одинокая аббревиатура в центре черного круга на печатке, скреплявшей горлышко? Две переплетенных буквы С? Кто после смерти Жюлии и Антуанетты мог знать, что скрывали эти знаки? Кто, кроме них, знал о прошлом Габриэль и смог бы вспомнить о мании ее севеннских предков метить все своими инициалами или о таинственных рисунках на полу в Обазине? Никто. Жребий был брошен. Даже если соперники Шанель и выпустили в продажу разные там «Китайские ночи» и «Лукрецию Борджиа» (духи Поля Пуаре), что это изменило? «Шанель номер 5» поставил на самые дурманящие находки конкурентов позорное клеймо — «вышло из моды»[64].

* * *

На следующее лето Габриэль не поехала ни в Монте-Карло, ни в Биарриц, а сняла виллу в Мулло, возле Аркашона. Белый дом назывался «Ама Тикья». У стен сада плескалось море.

За два месяца, что она провела там, ее мало кто навещал.

Дмитрия и Габриэль не тревожили в их одиночестве. Рыбачья лодка каждое утро отвозила их купаться. Возвращались поздно, пропустив час завтрака. Верный Жозеф и его жена Мари занимались домашним хозяйством. Габриэль привезла с собой собачью свору в полном составе.

Море, солнце, прогулки по окрестностям, что еще? Краткий визит близких друзей Дмитрия, князя Кутузова, его жены и двух их дочерей, которые прошлой зимой тоже жили в «Бель Респиро». Габриэль нашла Кутузову работу. Он будет одним из главных служащих ее торгового дома в течение пятнадцати с лишним лет. Но за исключением этого визита, помимо моря и купаний, ничего или почти ничего.

Такой отдых настолько был не в духе Габриэль, что надо отметить его исключительный характер. Это были самые долгие каникулы в ее жизни и единственные, которые она провела подобным образом. Впоследствии ее видели только на людных курортах, и дома, в которых она жила, где бы они ни находились, всегда бывали полны народу.

Кажется очевидным, что тем летом, под солнцем Мулло, Габриэль и Дмитрий довольствовались друг другом. Можно ли представить себе более странную пару? Дочь ярмарочного торговца-зазывалы, продолжавшего где-то во Франции расхваливать кумушкам свой товар, продавая с шаткой тележки подтяжки, носовые платки по два франка за дюжину, завязки для фартуков, полульняную ткань, и внук Александра II, племянник Александра III, кузен царя Николая II, он, чьи черты проступали в лицах, изображенных на марках, банковских билетах и монетах тех стран, где правили еще его родственники. Дмитрий был похож только на членов королевских фамилий.

Попытались они хотя бы все *сказать* другу другу? Рассказала ли она ему о своем убогом детстве, о смерти матери, о бросившем ее отце? А он, у которого мать умерла в родах, что он ответил ей? Что понимает ее, потому что в том же возрасте перенес похожее горе? Ибо в детстве на его долю выпали поразительные невзгоды.

Сосунком в кружевном платьице он запечатлен на первой своей фотографии на коленях у почти столетней великой княгини, своей прабабки, фотографу было поручено сделать семейный портрет, который занял бы почетное место в доме у всех Борисов, Кириллов, Павлов и Константинов императорского двора, поэтому он заставил младенца склонить головку к плечу царицы, его бабушки, Ольги Греческой, а поскольку полагалось, чтобы мать младенца, хотя и умершая, присутствовала на фотографии, в маленькую ручку Дмитрия всунули медальон с изображением усопшей. Никто и не подозревал, что через колечко

медальона была пропущена длинная нить, которую держала невидимая няня.

Таким образом, все Борисы и все Кириллы России могли смотреть на документ, где был изображен сирота, чей меланхолический взгляд и печальные глаза будут потом так сильно волновать женщин, все Павлы и все Константины, из Греции или иных стран, с полным основанием могли сказать себе, что три великие княжны, несмотря на разницу в возрасте, одетые одинаково и с полным безразличием относившиеся к веяниям моды, ибо моде нет места там, где правит жесткий придворный этикет, будут заботиться о маленьком Дмитрии и заменят ему мать.

Ничего подобного не произошло.

Дмитрием занимались только няни.

Его воспитали молодые англичанки, у которых были молчаливые помощницы, тоже англичанки. Не злые. Только чуточку слишком строгие. Они говорили, что Санкт-Петербург — город, не подходящий для детей. Слишком много семейных обязанностей, великокняжеских приемов, слишком много полдников в обществе недисциплинированных кузенов, проходящих в полном беспорядке, а назавтра — весь день насмарку, и потом, эти прогулки в золоченых каретах до Зимнего дворца в сопровождении эскорта гусар, отвратительно! «Don't get over excited, Dimitri…»[65] До пяти лет Дмитрий почти не слышал русской речи. И эти длящиеся бесконечно православные богослужения… Оглушительный трезвон колоколов, хоры, звучащие словно гроза, золотые одеяния и густые голоса священников, отправлявших службу, производили сильное впечатление на маленького Дмитрия. «Come on, child, behave, please…»[66] Все это дурно, дурно для детей. Но Нэнни Фрай и ее помощница Лиззи Гроув повторяли, что они все-таки любят Россию, и казались при этом искренними. Они любили ее, потому что именно здесь прищемили хвост этому пройдохе Наполеону — незабываемое событие, кроме того, Россия была родиной самовара, заключавшего в себе секрет приготовления хорошего чая.

Дворец в Санкт-Петербурге, где вырос Дмитрий, был уныл и отличался неопределенным стилем. Детская, находившаяся на третьем этаже, где размещалась также и прислуга, выходила на Неву. Нэнни следила за тем, чтобы веселые песни горничных, отголоски их влюбленностей и страданий, не смущали детский слух. Кое-что, однако, просачивалось… Дмитрий прислушивался. Он чувствовал, как начинало биться сердце, едва до него доносился женский голос. Голоса такие веселые, такие певучие…

Но Нэнни говорила, что слушать не надо. Детская должна была оставаться местом, герметически изолированным от всего остального мира.

Визиты были редки. Дмитрий вырос, лишенный книг и друзей, ибо Нэнни не считала, что они необходимы для здорового воспитания. Иногда из соседних дворцов ненадолго заглядывали кузины, они держались с высокомерной робостью, свойственной им от рождения и ограждавшей их, словно барьер, от всех остальных. Что касается отца Дмитрия, то он появлялся неожиданно, одетый в сверкающий мундир. Великий князь Павел командовал императорской гвардией. Нэнни едва успевала присесть в реверансе, как великий князь исчезал снова. Нэнни говорила, что эти мимолетные посещения только волнуют Дмитрия и что подобного рода сюрпризы, право слово…

Однажды, когда Дмитрий вместе с сестрой Марией сидел перед стаканом молока и тартинкой с маслом, в присутствии Нэнни и ее помощницы, державшихся очень прямо, ибо было время чая и нельзя было класть локти на стол или сидеть согнувшись, в этот день великий князь Павел вошел в сопровождении бородатого великана, перед которым все слуги странно присели. Детям сказали, что это дядя Саша и что они могут поцеловать его. Но слуги говорили, что это царь и с ним можно говорить, только стоя на коленях. Во всяком случае, дети, плохо говорившие по-русски, ничего не поняли.

Сюрпризы продолжались.

Вскоре после визита дяди Дмитрий собирался на прогулку, и Нэнни Фрай разрешила надеть на него рыжее кожаное пальто на меху, которое считала слишком броским, хотя мальчик особенно любил его. В это время в страшном волнении в комнату влетела горничная. Нэнни прогнала ее. Она запрещала шуметь в детской. Это было скверно для… Но вслед за горничной вошел офицер с перевернутым лицом: раздеть детей, переодеть их в белое. Умер царь. Приказы и контрприказы не предвещают ничего хорошего в плане воспитания, заявила Нэнни. Тем не менее Дмитрию пришлось выдержать бесконечные примерки, с тем чтобы подогнать одежду, приготовленную для церемонии. Коронование кузена Никки, тоже бородача, но все же не такого высоченного, как дядя Саша, должно было пройти с большой пышностью. Нэнни сказала, что, право слово… Но ее никто не слушал, и она за руку отвела Дмитрия, одетого в белый атлас, к трибуне, с которой они наблюдали, как проходит императорский кортеж.

Итак, у Дмитрия не было матери.

В одиннадцать лет он лишился и отца.

За то, что великий князь Павел обручился без согласия царя,

его выслали.

Казалось бы, вдовец, в возрасте сорока двух лет, уже давший короне крепкое потомство, великий князь Павел был волен распоряжаться своей жизнью по собственному усмотрению. Ничуть не бывало. Ольга Валериановна, на которой он хотел жениться, была урожденная Каранович. По сравнению с царским родом это выглядело легковато… К тому же она была разведена, что в особенности шокировало царицу, этого Александра Федоровна не терпела. Великого князя Павла разлучили с детьми. Он мог жениться по своему усмотрению и уехать в Париж, если ему того хотелось. Дмитрий и его сестра должны были остаться в России, таков был приказ царя. Но что с ними делать? Их поручили тете Элле и дяде Сергею.

Великий князь Сергей был губернатором Москвы. Долговязый тип с печальным взглядом и туповатый. Его жена, сестра царицы, отличалась крайней набожностью. Детей у них не было. Атмосфера в доме царила мрачная. После волнений 1905 года супруги поселились в апартаментах в Кремле. Дмитрий думал, что умрет там от скуки. Никаких нянь, вместо них — наставник, упивавшийся своей властью и имевший чин генерала. Однажды, когда он проверял домашнее задание Дмитрия, раздался оглушительный взрыв. В карету дяди Сергея бросили бомбу. Тетя Элла поспешила на улицу, чтобы собрать куски искромсанного тела мужа. После чего она ушла в монашки и стала настоятельницей монастыря Марты и Марии, сестер милосердных.

Великий князь Павел воспользовался этой ситуацией, чтобы попытаться вернуть себе детей. Просьбу отклонили. Дмитрий и Мария должны были оставаться в Москве, которой угрожали революционеры.

В окружении Дмитрия не было ни одной женщины, за исключением сестры, питавшей к нему властную любовь. Видели, как они бродили вместе по залам Кремля, между дворцами, монастырями, часовнями, бастионами и арсеналами, придававшими этому странному ансамблю вид «крепости, святилища, сераля, гарема, некрополя и тюрьмы»[67].

Они никогда не расставались. Тогда решено было положить конец столь чрезмерным чувствам и выдать девушку замуж за наследного принца Швеции, хотя его сексуальные склонности не позволяли ему интересоваться дамами. За несколько часов до прибытия короля Густава, своего будущего свекра, и за несколько дней до свадьбы Мария уединилась с Дмитрием в одной из кремлевских часовен. Они оставались там так долго, что несколько раз их вынуждены были призывать к порядку. Но они

ничего не слышали. Чего от них хотели? Они были вдвоем, держась за руки и сознавая, что с каждой прожитой секундой от них уходят последние часы детства.

* * *

Едва закончились каникулы, как в доме № 31 по улице Камбон произошли большие перемены. Женщины со вкусом и прехорошенькие были наняты на работу, одни — продавщицами, другие — манекенщицами. Многие из них, обращаясь к Дмитрию, говорили с удивительным акцентом: «Кузен…» У них были труднопроизносимые фамилии, они были княгинями, графинями, отличались отменной любезностью, они были русскими и были разорены. Цвет петербургских салонов… Сразу же после того, как их приняли на работу, к Шанель хлынули те из их подруг, к которым судьба оказалась более благосклонна и которые еще располагали деньгами… Они могли их тратить и не лишали себя этого удовольствия. И поскольку эти дамы были не в состоянии передвигаться иначе, как только извлекая из замков Штирии или Шотландии, лесов Германии или дворцов Венеции всю свою родню, то место, где они оказывались, тут же начинало походить на приемные залы, с которыми они расстались навсегда, на гостиные в цветах, затянутые кретоном и отделанные позументом, когда-то так способствовавшие их легкомыслию.

Облокотившись на перила антресолей, откуда она властвовала, невидимая, Габриэль наслаждалась успехом своей поразительной затеи. Не в состоянии почувствовать грусть этого праздника «бывших», она видела только его престижную сторону, многократно превосходившую то, на что могли рассчитывать ее конкуренты.

Перемены произошли и в составе работниц.

Габриэль стала брать на работу вышивальщиц.

Новость вызвала немалое удивление. Вышивка? У Шанель? Какая муха ее укусила? Неужели она собиралась изменить своим строгим платьям, так похожим друг на друга, что они вдохновили Пуаре на знаменитую колкость: «Что изобрела Шанель? Убожество роскоши».

Действительно, Габриэль решила обогатить свою коллекцию несколькими вышитыми моделями. У нее возникла одна идея…

Ей захотелось пофантазировать на тему *рубашки,* которую носили, подпоясавшись, русские мужики, захотелось интерпретировать ее по-своему, почему бы и нет? Облегающая рубашка из тонкой шерсти с вышитыми воротником и

манжетами, которую будут носить с прямой юбкой, — это была одежда, вдохновленная Россией, но принимавшая сугубо парижскую форму. Габриэль решила, что тем самым даст женщинам новые возможности для обольщения. Она не ошибалась. Прошлое ее любовников всегда было для нее источником вдохновения, и блейзеры, которые носил когда-то Кейпел, осмысленные по-новому и представленные в довильской витрине на улице Гонто-Бирон, определили ее первый успех. Позаимствованная из гардероба Дмитрия рубашка была так замечательно принята, что пришлось создать ателье вышивки. Руководство им было поручено великой княгине Марии, которая после развода со своим шведом вернулась в Россию. Изгнанная революцией, она нашла убежище во Франции у единственного человека, которого любила, — у брата Дмитрия.

Так в 1921 году вилла «Бель Респиро» стала местом встречи иностранцев, которые у себя на родине никогда бы не оказались вместе под одной крышей. Можно поражаться случаю, сведшему вместе и связавшему тесной дружбой правнучку кабатчика из Севенн, сына баритона императорских театров из Санкт-Петербурга, приехавшего на Запад, чтобы реформировать музыку своего времени, и старорежимного русского, отпрыска царской фамилии, ставшего скитальцем и лишившегося родины, как и многие другие. Чего Дмитрий стоил сам по себе? С трудом можно себе представить, что сталось бы в других обстоятельствах с полковником-ребенком, затем молодым заговорщиком, верившим, что с помощью убийства Распутина он избавит от демона императорскую семью. Впоследствии судьба его была столь бесцветна, что о нем нечего сказать, кроме того, что он был красив до самой смерти в 1942 году и до самой смерти сохранял дружбу к Габриэль. Более того, минуты счастья, проведенные на вилле в Гарше, следствием которых стало мимолетное влияние, оказанное Дмитрием на парижскую моду, оказываются главными в его биографии. То, что Россия степей, Россия бояр, к всеобщему удивлению, вдруг возникла в салонах Габриэль широкими пальто на меху, темными переливами расшитых платьев, может показаться ничтожным поводом для гордости. Но эта деталь будет иметь для нас иное значение, если мы увидим в ней прощание Дмитрия со своим прошлым. Эти платья с вышивкой, которыми восторгались, эти юбки до полу, колышущиеся и словно раздуваемые ветром, помогали ему втайне обрести Россию, которую он потерял навсегда.

V
Гении в жизни Габриэль

Расставанию Габриэль с Дмитрием сопутствовал отъезд из «Бель Респиро». Все произошло без драм. В эпоху, когда у князей ничего не осталось, было делом обычным, чтобы они предлагали свое имя и титул какой-нибудь молодой женщине, обладавшей всем, кроме знатного происхождения. Дмитрий не был исключением. В Биаррице он женился на богатой американке Одри Эмери.

Причины, заставившие Габриэль покинуть Гарш, были не сентиментального порядка. Смерть Мари, жены верного Жозефа, сыграла в ее решении куда большую роль. Осложнения после испанки лишили дом его заботливой и всеми уважаемой правительницы. Габриэль решила приблизиться к месту своей работы. Кроме того, дом в Гарше становился непригоден для целей, которые она преследовала. Он был слишком мал, слишком отдален.

Габриэль переехала в Париж. Поразительный взлет фирмы Шанель давал ей для этого необходимые средства.

После тихих аллей пригорода и воскресных любезностей «Бель Респиро» — строгая атмосфера предместья Сент-Оноре, размеренность его фасадов, тишина садов, полное интриг прошлое и особняк: жилище графов Пийе-Виль[68]. Габриэль заняла в нем лучшую квартиру в первом этаже, к которой очень быстро добавился и второй этаж. Высокие потолки, анфилада огромных комнат, глядевших в сад, который тянулся до авеню Габриэля. Все тот же Жозеф, ставший своего рода доверенным лицом, нанял повара, лакея, кухарку. Здесь, в доме № 29, начиналась новая жизнь.

Внутреннее убранство гостиных в духе классицизма немедленно претерпело резкие изменения. Габриэль попыталась что-то сделать с деревянной обшивкой стен, чьи зеленоватые тона и позолоту она возненавидела сразу же, как только переехала. Но ей было запрещено перестраивать что-либо. Приходилось заниматься маскировкой. Она прибегла к помощи Серта и Миси. Да и как могло быть иначе?

Что знала Габриэль о людях, с которыми ей предстояло общаться, о среде, где торжествовал доведенный до крайности эстетизм? Ничего. Как ничего не знала она и о переменчивой в своих вкусах буржуазии, пытавшейся порвать с тем, что она всеми силами внедряла пятнадцать лет назад, — со стилем модерн.

Если бы Габриэль сказали, что пора ее расцвета пришлась на стык двух эпох, что бы она в этом поняла? Прошлое рушилось целыми пластами. Но как она могла об этом догадаться, она, у которой не было прошлого?

Когда Шанель заняла свое место на большом празднике парижской жизни, разрыв уже совершился. Архитектура, мебель, ткани, цвета, мода — все находилось на грани перемен. Расцвет декоративного искусства в 1925 году даже в глазах самых несведущих придаст официальный характер творческим поискам архитекторов и художников, которым Европа будет обязана новым стилем жизни. Но все это было еще впереди. За исключением нескольких избранных и знатоков, лишь очень немногие парижане понимали ценность Ле Корбюзье, Макинтоша[69], Климта[70] или Ван де Вельде[71], еще меньше было тех, кто покупал их работы. Во Франции царил основательный хаос линий и форм, когда инстинкт Габриэль привел ее к тому, что в ее окружении было наиболее устоявшимся, — к барочности Сертов. С их помощью она приобщилась к этому стилю и открыла для себя — в тридцать семь лет — компоненты интерьера, который стал для нее своим и который она обогатила, постепенно вводя в него привычные для себя предметы.

В доме Габриэль было столько же золота и хрусталя, как и у Миси, но с включением черных нот. Зато не было ни мрамора, ни камня, который так любили цари, что каждому главе государства, бывавшему в России, непременно дарили часы из малахита. Этой русской мании Мися тоже отдала дань — у нее в столовой возвышался огромный стол вызывающего зеленого цвета.

Первым ценным предметом мебели, появившимся у Габриэль, было пианино. Едва его привезли, как на нем тут же стали играть — Стравинский, Дягилев, Мися, пианист из «Русских балетов»… Посыпались жалобы от соседей. Граф Пийе-Виль, живший на третьем этаже, считал, что шум стоял невыносимый. Хуже того: однажды вечером, довольно поздно, в особняк явились испанские певцы с гитарами. Негодованию графа не было предела. Кабацкая музыка… К тому же видели, как к Габриэль входили типы с разбойничьими рожами. Это были артисты в сопровождении карлицы, разодетой самым экстравагантным образом, и безногого калеки, который, сидя в своем ящике на колесах, разыгрывал пародию на корриду прямо посредине главного двора.

Но на первом этаже не обратили никакого внимания на жалобы этажа благородного. Стравинский и Дягилев считали этих танцоров настоящими артистами, они вместе разыскивали их в Испании для «Куадро Фламенко»[72]. Пикассо, писавший

декорации для этого небольшого танцевального концерта, привез испанцев в предместье Сент-Оноре. Возбужденный, забавляясь их присутствием в Париже, он избрал в качестве постановочной идеи «театр в театре» вместо того, чтобы показать своих соотечественников в декорациях, напоминающих народные кабаре, где они имели обыкновение выступать. Пикассо воссоздал на сцене старый театр XIX века, с черным задником, перегруженным золотом, и двойным рядом лож, затянутых красным. В каждой ложе сидели пародийные персонажи, нарисованные в тромплее, респектабельные зрители в цилиндрах в сопровождении красивых толстых дам. Счастливая пора для Пикассо! Его хорошее настроение прорывалось сквозь это ироническое изображение родной страны. Любопытный и короткий период его жизни, когда, порвав с богемой Монмартра, он посещал богатые кварталы и с невозмутимой серьезностью — серьезностью испанца — разыгрывал роль пробившегося художника. Он принимал приглашения на завтраки и обеды в городе, дававшиеся в его честь виконтом Шарлем де Ноаем или графом Этьенном де Бомоном. По этому случаю он разодевался соответствующим образом: костюм по последней моде, «бабочка», и несмотря на то, что его старые друзья недоуменно пожимали плечами, на жилете у него красовалась цепочка от часов. Эта новая фаза его жизни была столь же временной, как и его прежние квартиры. Но Пикассо нравилось изображать дело так, будто его примирение со светом окончательно, и иногда ему удавалось убедить в этом даже самого себя. Неужто он дойдет до того, чтобы принимать официальные почести? Об этом начинали поговаривать. Хуан Грис с отвращением писал своему другу Канвайлеру: «Пикассо всегда создает замечательные вещи, когда у него есть время… Между русским балетом и светским портретом».

Пикассо подружился с Габриэль во время работы над «Куадро Фламенко». Подружился настолько, что порою даже жил у нее. Правда, недолго и лишь тогда, когда чудовищный беспорядок, царивший в «Русских балетах», где импровизация и изменения, вносимые в последнюю минуту, были правилом, задерживал его в Париже. Ужас перед одиночеством — доминирующая черта его характера — приводил к тому, что больше всего он боялся провести ночь один в своей квартире на улице Ла-Боэси и оказаться в пустой спальне с двумя медными кроватями, в пустой гостиной с тяжелым канапе эпохи Луи-Филиппа, перед безмолвным пианино с неизбежной парой канделябров — обычное убранство дома человека остепенившегося и женатого на Ольге Хохловой, балерине Дягилева и офицерской дочке[73]. В то

лето он устроил Ольгу в Фонтенбло, где она приходила в себя после рождения их первого сына, и Пикассо без устали запечатлевал любые их позы, датируя каждый из эскизов и ставя даже час, когда они были сделаны. «19–11-1921, в полдень», — читаем мы на рисунке, где изображен Паоло в возрасте двух недель. Этот восторженный отец, когда ему хотелось, жил у Габриэль.

У Миси там тоже была своя комната, но в силу менее ясных причин.

Случалось, что Жозеф, внезапно разбуженный, находил в доме гостей, собравшихся в официантской. Толпа спорящих или голодных? «Русские балеты» переживали пору перемен, Дягилев решил отказаться от традиционной России как источника вдохновения и обратился к артистам, по большей части иностранным, но ставшим гордостью французской живописи и музыки.

Короче говоря, до того как мебель — ее выбором руководил Серт — заняла свое место в доме, стиль которого во многом составил определенную эпоху, поставленное в пустой комнате пианино было единственной связью между Габриэль и художниками и музыкантами, вращавшимися вокруг Дягилева. Затем последовали предметы, в которых проявился подлинный характер обитательницы дома, постаравшейся оставить место мечте.

Первыми появились лакированные ширмы из Короманделя.

Расставленные вокруг пианино, ширмы образовали своего рода альков, выглядевший вполне театрально, и закрыли двери, через которые можно было войти, выйти и пройти в соседние комнаты, не будучи увиденным. Жозеф накрывал стол в библиотеке, стараясь казаться незаметным и не мешать артистам, которых он недолюбливал, считая, что все они прихлебатели, рвачи и «оригиналы».

Таким образом, благодаря ширмам, которые то казались высокими потрескавшимися стенами, то из-за проделанных в них отверстий, пропускавших свет, напоминали деревянные решетки на окнах арабских домов, которые позволяют наблюдать и не быть увиденным, главные особенности шанелевского интерьера определились уже в 1921 году. Ее часто спрашивали о том, что предопределило ее выбор — каждый журналист, столкнувшись с загадкой подобного рода, неутомимо пытался найти к ней ключ, — но никогда Габриэль не говорила о чьем-либо влиянии. Да и разве можно было вырвать у нее истину? Разве могла она признаться, что окружавшая ее повседневная обстановка была создана по рецептам, заимствованным у Сертов? Страстность

отрицаний выдавала ее с головой. «Чего вы добиваетесь?» — кричала она. После восьмидесяти, когда страсть к обману развилась у нее до бреда, она хладнокровно заявляла одной из своих самых верных горничных: «Я люблю китайские ширмы с восемнадцати лет…», — ожидая, что подобное утверждение будет принято за чистую монету.

* * *

Именно в этом доме завязалось то, что стало для Габриэль последним шансом уходящей молодости: здесь, в особняке, какой можно увидеть только в Париже, укрытом тенистой листвой огромных деревьев, стоявших, казалось, в вечном покое, ее любил поэт, Пьер Реверди.

Несомненно, что мысль о замужестве занимала сознание Габриэль довольно прочно. Несомненно также и то, что Реверди глубоко любил ее. Подарить поэту достаток? Сделать этого *беспокойного* счастливым? Безнадежно. Могла ли Габриэль подозревать о существовании человека, еще не известного никому, и в том числе самому поэту, о существовании нового Реверди, опьяненного абсолютом и стремящегося к одиночеству, словно мученик к костру? Она ничего об этом не знала, как не знала и о мрачной радости, толкавшей его к бегству: «Бежать в никуда, в сущности, вот что нам нужно… Есть неизъяснимое наслаждение в бегстве»[74]. Эти слова позволяют понять, что Габриэль отважно взялась играть заранее проигранную партию.

Провинциал, переселенец… «Одновременно угрюмый и солнечный»[75]. Черные волосы цвета вороного крыла, как у цыган, смуглое лицо, звонкий голос — Реверди вносил в беседу ту же сумасшедшинку, что и Габриэль. Разговор был одним из удовольствий, которого они оба не могли лишить себя. Невысокого роста, не отличавшийся стройностью, Реверди не обладал даром обольщения в том смысле, как обычно понимается это слово. Он был привлекателен по-другому. В нем поражало странное умение все преображать. И еще глубина взгляда. Прежде всего притягивало именно это — черный цвет глаз Реверди.

Он был внуком ремесленника и сыном винодела, этого было более чем достаточно, чтобы Габриэль поддалась соблазну установить связь между прошлым и настоящим. Все в Реверди — манера разговора, цвет лица, волосы — напоминало Шанель детство. Ее братьев, искателя приключений Альфонса, часто проезжавшего через Париж, и Люсьена, милого Люсьена, которому она только что пожаловала столь же щедрое

содержание, как и Альфонсу, отличала та же словоохотливость, которая встречается у любого крестьянина родом с Юга. И как они, Реверди испытывал особую радость, когда работал руками. Если добавить, что он хранил в себе мучительное воспоминание о винограднике у подножия Черной горы, о розовой земле, словно отрезанной от мира и испещренной зимой серыми, а летом зелеными бороздками, если вспомнить, какое горе пережил он, когда примерно в 1907 году господин Реверди-отец из-за кризиса в виноделии вынужден был расстаться с виноградником, составлявшим все его состояние, тогда перед нашим мысленным взором возникнет вдруг папаша Шанель, всю жизнь мечтавший о винограднике, но так никогда его и не имевший.

Габриэль наконец жила с человеком, в душе которого земля и связанные с ней драмы оставили такой же отпечаток, как у ее родных. Кризис сбыта вина, вырвав Реверди из привычной семейной обстановки, сделал из Пьера сначала городского мальчишку, которому не удавалось освободиться от воспоминаний о том, что он потерял, потом ученика коллежа в Нарбонне, отчаявшегося затворника, жившего в интернате. Отвращение к интернату на всю жизнь оставило в нем отметину, сделанную словно раскаленным железом. Стоило только Габриэль признаться ему в Обазине или Мулене, как легко было бы им разговаривать…

Реверди с гордостью говорил о мастерах-ремесленниках, от которых он происходил, о своем деде, резчике по дереву, своих дядях, церковных скульпторах, — но ведь и Габриэль считала свою профессию ремеслом. А когда он рассказывал об отце… Человек свободомыслящий, социалист, господин Реверди воспитал своих детей вне всякой религии. «Я только тень отца, — говорил его сын. — Никогда я не встречал ум более гибкий, более широкий, в соединении с характером вспыльчивым и великодушным, всегда *ломавшим рамки*… Он был моим образцом», — к этому Габриэль тоже была особенно чувствительна. *Ломать рамки* — начиная с Виши и кончая Парижем, она только это и делала. Жизнь ни разу еще не сводила ее с человеком, который так мог понять ее.

Позже, много позже, когда пришло время одиночества, озлобления и лжи, брошенной в лицо собеседникам, словно яростный бунт против истины, только имя Реверди казалось ей достойным того, чтобы быть соединенным с ее именем.

После Боя — он… Кроме них — ничего и никого.

До последних дней жизни Шанель больше всего любила сравнивать Реверди, нищего и безвестного, с теми поэтами его поколения, чья слава или богатство воспринимались ею как

чудовищное надувательство. Кем все они были? Кем был Кокто?

«Рифмоплет, — говорила она, и голос ее прерывался от гнева, — фразер, ничтожество. Реверди был настоящим поэтом, то есть ясновидцем». Горе тому, кто пытался с ней спорить. Некоторые имена выводили ее из себя. Например, Валери… Как она его только не обзывала: «Тип, который позволяет, чтобы его осыпали почестями, какой позор! Чего только не нахватал! Увешан наградами, словно рождественская елка. Теперь уж он попал и на фронтон дворца Шайо. Государство издевается над нами. На Трокадеро, подумать только! Фразы-то пустые, никудышные. Какой вздор!» То, что Валери выпала подобная честь и его слова написаны на общественном здании, находящемся к тому же на ее Трокадеро, казалось ей невыносимым. «Подите к черту! Говорю вам, это скандал!» Она злилась так, что у нее садился голос, она так дергала свое колье, что едва не разрывала его. Она кричала, что пора восстановить истину. Это было в 1950 году. Она так никогда и не утихомирилась. Через двадцать лет она взялась за президента Республики. Надо, говорила она, убедить его в том, что он ничего не смыслит в поэзии. Антология[76], изданная им, была бессмысленна, ибо в ней не оказалось Реверди. Она повторяла: «Совершенно бессмысленна, вы слышите меня? Совершенно. На что рассчитывал Помпиду? На Академию? В любом случае, кто это будет читать? Работа школьника». Как было остановить ее? В конце концов, ей позволяли предаваться гневу.

У нее было полное собрание сочинений Пьера Реверди в оригинальных изданиях и почти все его рукописи. Среди прочих сокровищ — экземпляр «Пеньковых галстуков» выпуска 1922 года. У Шанель был экземпляр номер 9, переплетенный Шредером, на каждой странице которого была оригинальная акварель, сделанная одним движением кисти, таким непосредственным и точным, что, когда вы листали книгу, у вас возникало ощущение, что перед вами шедевр. Становилось невозможно *увидеть* Реверди иначе, чем это сделал Пикассо. Ибо именно он как-то вечером, забавляясь, проиллюстрировал этот уникальный экземпляр. «Я сделал иллюстрации к этой книжке для Пьера Реверди от всего сердца», — гласит дарственная надпись Пикассо. Предмет бесценный, который Шанель порою держала в сейфе взаперти, но чаще всего он валялся у нее под рукой. Когда ей говорили: «Когда-нибудь у вас его украдут», она отвечала: «Это совершенно очевидно. Прекрасные вещи созданы для того, чтобы переходить из рук в руки». И когда она позволяла какому-нибудь любителю провести день среди ее книг, он приходил в замешательство… В каждом произведении Реверди, в каждой рукописи — слова

любви, нежности, повторявшиеся из года в год, с 1921 по 1960-й, год его смерти. На «Небесных обломках»: «Моей великой и дорогой Коко от всего сердца и до последнего его биения», 1924-й. На рукописи «Человеческой кожи»: «Вы не знаете, дорогая Коко, что тень — самая дорогая оправа для света. И в этой тени я никогда не переставал питать к вам самую нежную дружбу», 1926-й. На «Источниках ветра»: «Дорогая и восхитительная Коко, поскольку вы дарите мне радость, полюбив некоторые из этих поэм, я оставляю вам эту книгу и хотел бы, чтобы она стала для вас мягким и неярким светом лампы у изголовья», 1947-й.

На полках библиотеки Шанель великолепно переплетенные сочинения Реверди воспринимались как исповедь, перемежающаяся грозами и затишьем, растянувшаяся на годы. Вдруг в дарственных надписях проглядывала история двух влюбленных, становившаяся ясной для тех, кто умел читать. На сей раз Габриэль ничего не скрывала. Она сотрудничала, она предвосхищала вопросы. Не случайно рядом с произведениями Реверди стоял на полках экземпляр книги Поля Морана «Запасы нежности», которую он послал им обоим в 1921 году, соединив в дарственной надписи их имена, что позволяет датировать их связь безошибочно.

О своем романе Габриэль говорила мало. Она не любила, когда выспрашивали, каким было ее чувство к нему. Но о нем… Она всегда с поразительным волнением рассказывала о том, как юношей Реверди оказался замешан в бунт. Дни Нарбонны… Восстание виноделов. Она рассказывала о Юге, жившем в нищете. Откуда брался в ней этот пыл? Она рассказывала о крестьянах, сотнями стекавшихся из разных мест, порою проходивших пешком по двести километров, чтобы принять участие в марше гнева. Она повторяла: «Двести километров, вы слышите, двести…» Она рассказывала о том, что один только красный флаг Лангедока развевался над мэрией Нарбонны, а трехцветный был снят, о том, что площади были запружены народом, что поперек улиц были протянуты веревки, чтобы помешать доступу кавалерийских эскадронов. Внезапно шестнадцатилетний Реверди оказывался свидетелем кровавой расправы. Тогда широкими движениями рук Габриэль изображала звон колоколов. Набат объявлял участникам марша голода о прибытии войск. Гусары из Тараскона, кирасиры из Лиона, жандармы и пехотинцы в боевой форме прибывали под шиканье и свист толпы. Ах, эта Шанель… Когда что-нибудь воодушевляло ее, какой непохожей на себя она могла быть. Следовало бы задуматься, почему она так горячилась, рассказывая о мятеже, самый принцип которого был противоположен ее убеждениям. Но она упорствовала.

Необъяснимая перемена. Внезапно она отказывалась принимать порядок власть имущих. Она рассказывала, как виноделы плевали военным в лицо, в кафе их отказывались обслуживать, а в гостиницах — предоставлять номера. Факты, бесспорно, подлинные, но она передавала их с такой страстью, что казалось, будто она утоляет личную месть. На кого она нападала внутри самой себя? На красивых господ в красных штанах, на офицеров из «Ротонды», на посетителей Сувиньи? Когда дело подходило к развязке, и на глазах лицеиста Реверди солдаты стреляли, и были десятки раненых, и была убита девушка, сомнений не оставалось: симпатии Габриэль на стороне виноделов, и казалось, что она заодно с бунтовщиками. В тот момент, когда очередь, пущенная по закрытым ставням, убивала *кабатчика,* ярость Шанель не знала предела. «Кабатчик, — повторяла она, — какой абсурд…» Что-то обжигало ее. Давние истории обретали плоть. Было слышно, как она бормочет: «Эти мерзавцы…» Далее следовали какая-то невнятица и рассуждения о том, что люди имеют право закрывать свою торговлю, когда им вздумается. Безусловно, она намекала на какие-то другие события. Но всегда именно история ни в чем не повинного *кабатчика,* запретившего солдатам войти в свое заведение, и пролитая за ставнями кровь делали Шанель другой. Само это слово, *кабатчик,* господствовало над всем остальным, заставляя ее хотя бы однажды признать жестокие страдания человека. И ее больше не удавалось отвлечь от драмы, поведанной ей Реверди.

Наступала ночь…

Военные, разместившиеся по углам улиц, не были отъявленными негодяями, но они не понимали женщин, одетых в черное, отмечавших камешками или полевыми цветами залитые кровью булыжники мостовых. Крестьянки, крестьяне… Приходилось следить за ними, не то потом они прятались по темным углам, с куском мела в руке. Они писали на мостовых: «Смерть Клемансо!» Именно его, тогдашнего министра внутренних дел и приятеля Боя, виноделы Нарбонны считали виновником устроенного побоища.

* * *

Реверди познакомился с Габриэль через некоторое время после гибели Боя. Произошло это у Миси, куда он иногда захаживал, хотя не был ни меломаном, ни любителем балета. Его интересовали только художники, только общество поэтов и писателей, при условии, однако, что они не были людьми

светскими. Ибо по отношению к последним он не скрывал своего презрения. В общем, в гостях он бывал редко. Ему некогда было терять время в салонах.

За одним, впрочем, исключением — салона Миси, к которой он питал чувство признательности.

С Мисей он познакомился в 1917 году, когда основал журнал «Нор-Сюд». Через «Нор-Сюд» Реверди, по словам Мишеля Лериса, оказал столь же «революционное влияние на поэтическое чувство нашего века, как и его друзья, художники-кубисты». Журнал находился под эгидой Аполлинера и стал благодаря манифестам Реверди, иллюстрациям Хуана Гриса, Леже, Брака и Дерена передовым органом новой поэзии в глазах молодежи того времени.

Хотя Реверди был освобожден от военной службы и был стойким антимилитаристом, он завербовался добровольцем, едва объявили войну. В 1916 году он был комиссован. «Нор-Сюд» в его понимании должен был объединить всех, кто придерживался современного направления в искусстве, независимо от национальности. Послужить связью между художниками и поэтами, еще находившимися на фронте? Журнал, который будут читать в грязи окопов…

«Нор-Сюд» был его войной, единственной, которая его интересовала, войной, помогавшей определить перспективы развития поэзии, порывавшей с прошлым. Это была неожиданная помощь со стороны Хальворсена, шведского друга, давшего Реверди возможность высказаться. «Нор-Сюд» был его надеждой и, возможно, его победой.

Поразительное предприятие, если подумать, с какой нищетой поэту приходилось бороться.

Вернувшись к гражданской жизни, Реверди вновь оказался в своём временном жилище на самом верху Монмартра в странном саду в серых тонах. Дом № 12 по улице Корто, ветхое строение, столь же знаменитое, как Бато-Лавуар. Другие жильцы? Сюзанна Валадон и Утрилло, Альмерейда и несколько анархистов, которые, несмотря на то что всю жизнь заявляли о своем отказе носить оружие, позволили себя мобилизовать. Дело приняло удивительный оборот, когда один из них, гравер Морис Делькур, проявил героизм и умер кавалером ордена Почетного легиона, к отчаянию толстухи Ненетты, его подружки, которая ничего не могла понять в этой трагической перемене. Из своей комнаты Реверди слышал, как она кричала: «Зачем его туда понесло, моего мужика?» На войне погиб тот, для кого все солдаты всегда были убийцами свободы. Ненетту старались утешить.

В доме стало много пустых квартир, но консьерж по-

прежнему был на месте.

Реверди без всякого удовольствия вновь встретился с этим грозным стражем, чьи сыновья, «настоящие бандиты», сеяли в квартале ужас. Поэта вновь ждали холод, туманы, ужасающая нищета ателье, тихие улицы, все, что он любил на Монмартре и что ненавидел. Разухабистая, косматая, вечно предъявляющая требования богема, кутежи, аккордеон — все это внушало ему такое отвращение, что он усвоил совершенно иной стиль. Подобно Дерену, одевавшемуся «с английским шиком», подобно Браку, носившему котелок и старавшемуся походить на букмекера, Реверди, чьи фантазии в области одежды ограничивались маленькой каскеткой, наподобие тех, что носят помощники конюхов, обозначил свое презрение к художественному беспорядку коротко стриженными волосами, тщательно завязанным галстуком и двубортным пиджаком, с которым никогда не расставался. Кстати, именно таким он изображен на рисунках, сделанных в 1918 и 1921 годах Хуаном Грисом и Пикассо.

Любитель предрассветных прогулок, он вновь обрел Холм, его крутые склоны, его лестницы, словно подвешенные к небу. Он медленно поднимался по ним на заре, в тот час, когда фиакры развозили последних гуляк, а тележки, нагруженные овощами, тянулись вверх с Центрального рынка. Приходилось снова браться за работу, которой он занимался до войны и которая одна только приносила ему заработок. Он был типографским корректором, работая в газетах, выходящих по утрам и делающихся ночью, устраиваясь то в одно, то в другое место, в маленькие мастерские, прятавшиеся в глубине темных дворов. Так продолжалось до 1921 года, когда по необходимости он согласился на постоянную работу в «Энтрансижан». И наконец, жена. Ее он тоже обрел заново. Она ждала его, терпеливо и преданно, в их ледяном жилище. Потому что дело обстояло так: они жили вдвоем на то, что он зарабатывал, вдвоем обогревались, вдвоем одевались. Он был вынужден сам выпускать свои книги, начиная с текста, который он печатал, отдаваясь этой работе с маниакальной тщательностью внука ремесленника, и кончая брошюровкой, которой занималась жена в качестве опытной портнихи, и случалось чудо, когда у одной из этих книжиц, отпечатанных в ста экземплярах, находилось больше тридцати читателей.

Та, что делила с ним тяготы жизни, была связана с воспоминанием о первых месяцах его жизни на Монмартре, когда Реверди только что приехал в Париж и город казался ему наказанием. Какого же южанина не разочаровывал Париж? Взять

хотя бы Пикассо… «Я никогда не знала иностранца, менее пригодного для жизни в Париже», — говорила Фернанда Оливье. Но, будь они каталонцами или итальянцами, обратно они не уезжали. Реверди сблизился вначале именно с итальянцем. Это был художник с горящим, странным взглядом, юноша очень цельный в своих суждениях, что должно было понравиться поэту. Итальянец жил на Монпарнасе, но его часто видели на Монмартре. Он заходил к Реверди либо в поисках Утрилло, которого приводил обратно в состоянии такого опьянения, что от шума вздрагивал весь квартал, либо разыскивая свою любовницу Беатрису Гардинге, которую чаще всего находил у Макса Жакоба. Та приходила в ужас от того, что ей снова придется переносить приступы буйства любовника. Его звали *Моди.* Это был Модильяни, сын социалиста, как и Реверди. Итальянцы, мастерская которых находилась в нескольких метрах от Бато-Лавуара, часто принимали их. Братья Коминетти…

Именно у них Реверди встретился с Джино Северини и Маринетти, у них был свидетелем памятных стычек между старыми апостолами и молодыми адептами футуризма, проходивших в присутствии молодой женщины с большими нежными глазами. Итальянцы считали ее своей. Ее звали Анриетта. Они же прозвали ее *Риотто.*

Молодая женщина работала в доме моделей квалифицированной подручной швеи, где-то рядом с Вандомской площадью. Никто и не знал, что она влюблена в Реверди. Но в один прекрасный день она бросила работу, и они больше не расставались. Когда жить им стало совсем уж не на что, подруга Реверди начала работать на дому. Она не одна была в таком положении. Жена Агеро[77], молодая особа, всегда в рабочем халате, которую принимали за школьницу, тоже шила на дому. Фернанда Оливье, знавшая обеих, вспоминала, что «они проводили ночи напролет за шитьем, чтобы поддержать своих великих спутников».

Состоялась и свадьба, но когда?

Реверди никому не открылся. Он был так скромен, так боялся быть надоедливым… Он оставил своих лучших друзей в неведении. Ни Брак, ни Хуан Грис, ни Макс Жакоб не знали точно, когда он женился.

И вот пришло время, когда Реверди был освобожден от воинской службы, и тогда у него родилась безумная идея. «Нор-Сюд»… Журнал, на котором не будет значиться имя директора. Всего шестнадцать страничек, первая из которых станет и обложкой. Этого мало, но достаточно для начала. Наконец-то он сможет дать в *своем* журнале место молодым неизвестным

поэтам, таким, как Арагон, будет публиковать Бретона, Тцара, откроет их, привлечет на свою сторону, и тогда, быть может, издатели наконец-то отнесутся к ним с вниманием.

Две женщины заинтересовались инициативой Реверди. Адриенна Моннье, продавая в своем маленьком книжном магазине его журнал, который она считала слишком дорогим — пятьдесят сантимов, — но который, по ее словам, отличался «настроем серьезным и логичным», не просто поддержала Реверди: она запустила его на орбиту. И Мися. Она всячески помогала ему. Она находила читателей для «Нор-Сюд», заставляла подписываться на журнал и, чтобы помочь Реверди, не слишком афишируя свою помощь, купила у него, заставив поэта продать их как можно дороже, книжечки, сделанные им своими руками и напечатанные в ста экземплярах.

«Вещи редкие, предметы драгоценные…» А все, что постановляла Мися, приобретало силу закона. Она передавала их из рук в руки, показывала, требовала дарственной надписи.

«Эта книга в единственном экземпляре написана для Миси», — написал он на рукописи «Между страниц». И церемонно подписался: «Пьер Реверди, Париж, 12, улица Корто, Монмартр».

Помощь Миси выходила за рамки простой поддержки, но сделать больше она не могла. Существование «Нор-Сюд» было недолговечно. На шестнадцатом номере из-за нехватки денег, читателей… И ни один финансист не предложил спасти тихо идущий ко дну журнал.

Следовало бы вписать попытку Реверди в странную атмосферу тех лет, в эпоху крутого поворота от войны к миру. Все изменилось, состояния поменяли владельцев, речи — ораторов. Слово было дано спекулянтам, будто укоренилась привычка показывать зубы, и это был единственный язык, на котором разговаривали. 1918… Умирали уже не от выстрелов, а от смертельных осколков денег. Так и Реверди… Не многим писателям выпало на долю столько лишений. Чтобы он показывал зубы? Кричать — еще куда ни шло… И разоблачать, и призывать людей в свидетели. Но показывать зубы?

Это было не в его духе, точно так же он не мог жаловаться или любезничать с богачами, чтобы выманивать у них деньги. Использовать поэзию в подобных целях, компрометировать ее? Реверди никогда не мог с этим смириться. «Жизнь в обществе — это обширное бандитское предприятие, преуспеть в котором можно только с помощью многочисленных сообщников», — напишет он позже. Автор был не силен в салонных играх. И потом, меценатство умерло. Поддерживали только то, что приносило доход.

С наступлением мира Реверди потерял надежду продолжать дело, о котором мечтал. Разумеется, «Нор-Сюд» принес свои плоды. Именно Реверди посвятил Бретон одно из стихотворений в «Свете земли», а Арагон — самые прекрасные строки из «Фейерверка». Реверди стал более известен, более уважаем, и, согласись он кое-чем поступиться, сюрреалисты охотно приняли бы его в свои ряды. В общем, он завоевал авторитет. К тому же он нашел издателя. Это был самый очевидный выигрыш: его стихи, изданные в трехстах экземплярах. Но можно ли жить одним *уважением?* Не имея склонности жаловаться, а тем более — устраивать скандал, Реверди избрал самое целомудренное решение — молчание. Он просто отдавал себе отчет в масштабах своей неудачи.

Итак, в 1918 году «Нор-Сюд» перестал выходить. Реверди и слушать не хотел тех, кто пытался ему объяснить, что в некотором смысле он продвинулся вперед. К чему возвращаться в прошлое? Он проиграл, да, проиграл. Издатель, престиж, уважение… Именно об этом и шла речь! И даже о новых знакомствах. Чего ему было от них ждать? Между тем он любил жить. Он находил наслаждение не в удовольствии, а в крайностях. Слишком много пить, слишком много есть, слишком много курить и все прочее до пресыщения, до отвращения и даже до угрызений совести. Не будучи уверен, что счастье существует, он тем не менее любил соблазнять и позволял соблазнять себя, видит Бог… И наконец, «женщины, женщины… Им достаточно одной черточки, одной линии, одного движения или крупицы нечаянности во взгляде, чтобы в них появилась пленительность»[78]. Впрочем, с женщинами не было проблем. Хотя он не был юбочником, они господствовали в его жизни. Но только временами и не в том году. Поэтому он так мало обратил внимания на Габриэль, увидев ее в первый раз. Находясь еще во власти горя, она тоже отнеслась к нему равнодушно. Что не означало безразличия. Они хорошо понимали друг друга. Еще до того, как наступила пора их любви, они уже в 1919 году нашли радость в дружбе. Любопытная связь, начавшаяся с чувства, которое обычно предвещает ее конец.

VI
Безнадежное дело

То, что она с трудом приспосабливалась к странному поведению Реверди, — понятно. Длительное пребывание в Предместье и внезапные побеги на Монмартр, страстный интерес, который он к ней выказывал, и мрачная радость, с которой он от нее убегал. Его манера заявлять о том, как он ненавидит всякие узы. Как разобраться во всем этом, что считать главным? Что было его истинной натурой — определенная беспечность или безразличие по отношению к людям? Эме Маг видел, как однажды, когда Габриэль давала прием, Реверди спустился по ступенькам входной лестницы и, нимало не заботясь о вызванном им удивлении, с корзинкой в руках направился к газону; он намеревался собирать улиток. Но ежеминутно чувствовалось, как в нем вскипает бунт, который он и не пытался скрыть, а в глазах бушует пожар, так поразивший Арагона, «огонь гнева, который я прежде никогда не видал».

Никогда нельзя было понять, что же одерживало верх: презрение к деньгам или вкус к хорошей жизни, убежденность в том, что счастье — всего лишь ловушка, «слово, которое ничего не значит и которое въелось в сознание людей, словно неизлечимый рак», или уловленная в случайной фразе вера в человеческое сердце. Невольно возникало сомнение, можно ли любить его в радости. Особенно когда Реверди, желая покончить с мифом о счастье, спрашивал: «Что сталось бы с мечтами, если бы люди были счастливы в реальности?» Наступит день, когда он воспользуется этой мыслью, разовьет ее. Однажды он докажет, что «самое прочное, самое надежное связующее звено между людьми — это преграда…». Эта цитата, как и другие, приведенные в нашей книге, отмечена на полях или подчеркнута рукой Габриэль Шанель в произведениях Реверди, которыми она располагала и которые часто перечитывала.

Тогда она обвиняла его в том, что он хочет быть несчастным из *принципа* и культивирует свою разочарованность. Если он был несчастлив, то потому, что хотел этого. В самом деле… Счастье существует, и Габриэль всеми силами старалась доказать это. Хотя вся ее история свидетельствовала об обратном — и то, что она пережила ребенком, и ссоры между родителями, и супружество Боя. Они жестоко терзали друг друга. Пораженная, она слушала, как он повторял, что «человек лучше понимает силу и цену поэтического сигнала, когда его связывают с окружающим

только слабые корни». Она широко раскрывала глаза… Чем же она была в его жизни, преградой или корнем? Быть может, и тем и другим. Ах, понять… Понять, чем же, в конце концов, она была, — в этом состояла главная ее забота.

Но главное заключалось в том, что она ошиблась в природе мучившего его конфликта. Дело было не только в том, что ему претила неверность. Разумеется, это лежало грузом на чаше весов, и тяжелым. Но еще весомее, еще сильнее было то, что звало его к другому. Героика чистоты, ужасное искушение, своего рода катарское безумие, наследие его родной провинции. Кто принес новость Габриэль? Сам Реверди? Никогда мы об этом не узнаем. Наиболее вероятно, что всем в среде художников было известно: Реверди, по его собственным словам, был *сражен.* Внезапно у сына человека свободомыслящего появилось головокружительное влечение к Богу… Что ж, этим Габриэль было не испугать. Она еще настолько находилась во власти иллюзий, настолько была убеждена, что любовь и жизнь — это такое же дело, как и всякое другое, что она восстала. Свести счеты с небом? Вырвать Реверди из-под его влияния? Она не колебалась. Раз он ее любит, то откажется, не так ли? Узнав всю правду, извещенная об обращении Реверди и его крещении 2 мая 1921 года, ни секунды Габриэль не сомневалась в том, что она в силах одержать победу.

И вновь, благодаря книгам из ее библиотеки, мы можем с точностью определить, когда началось это странное противостояние. На экземпляре «Закрыто ночью» есть дарственная надпись Поля Морана: «Коко Шанель, берущейся за безнадежные дела», и дата — 1923 год. Именно тогда ее разногласия с Реверди стали нарастать. Между тем она любила его, и он ее тоже, но она постоянно наталкивалась на его глубинное недовольство, как бы на отвращение к жизни и порожденным ею подлостям. Эти навязчивые идеи казались ей совершенно необъяснимыми, ведь они явились результатом пережитого им литературного кризиса, о котором она ничего не знала.

Считается, что в основе мучительного отхода Реверди лежали только его поиски Бога. Рассуждать подобным образом — значит не знать того, что Реверди был одинок задолго до своего духовного преображения. Его требования в области литературы были предлогом для одиночества в той же мере, как и его религиозные поиски. В его сознании они едва ли различались, ибо в равной мере повлекли за собой надлом. В то время когда Габриэль упорно старалась удержать его, он уже был один, один между ней и Анриеттой, один с несколькими оставшимися у него друзьями. Но он сумел оттолкнуть от себя самых верных из них

своей гневливостью, своей крестьянской резкостью, напоминавшей Шанель, и, хуже того, крестьянской непримиримостью, которую порой было трудно переносить. Так было с сюрреалистами… Со времен его юности и кипучего энтузиазма — «никогда еще воздух не был насыщен столь пьянящими ароматами: никогда еще такая беззаботность и вера не сопровождали нас в движении к неизвестному», — со времен появления кубистов ничто так не привлекало Реверди, как художественные поиски поэтов, сгруппировавшихся вокруг Бретона. И судя по всему, между ними и Реверди не было серьезных разногласий. Их манифесты свидетельствовали об этом со всей очевидностью. Но внезапно что-то разрушило чары. Он перестал верить в их методы. Бред, галлюцинации, фантастические видения… Все это гримасы! Он доказывал Бретону необходимость рассматривать поэтическое творчество как хладнокровный поиск повседневной реальности. Следовало сохранять ясный, трезвый ум, противостоять излишествам и не допускать беспорядочности чувств. Бретон же заходил слишком далеко… Реверди повторял, что он не собирается ни играть в светские игры, ни следовать какой-либо литературной стратегии. Хорошо еще, что он не пускал в ход Бога, словно пощечину. Сюрреалисты — не заявляя, однако, о несогласии с ним — оставили Реверди на принадлежащем ему месте, «на равном расстоянии от проклятия и славы», и то, что их объединяло, стало быстро разрушаться. Разногласия, расхождения множились. Его одиночество обострялось.

Оставались Пикассо, Лоране, Брак и Хуан Грис. Но как надолго? Габриэль продолжала видеться с Грисом, тогда как Реверди избегал его. И здесь тоже разлад, постепенно усугублявшийся, объяснить его было нелегко. Они всегда, с самого начала существования кубизма, уделяли одинаковое внимание одним и тем же вещам и всегда противостояли обманщикам и подстрекателям… Хуан Грис, художник, к которому Реверди ощущал особую близость, настоящий, верный друг, и теперь Реверди был сердит на него… За что? Неясно. За то, что тот увлекся оперой, театром? В этом и была причина их ссоры? Хуан Грис, чистый и непорочный, позволил Дягилеву увлечь себя и впутался в полусветские затеи. Габриэль вступилась за него. Хуан Грис сделал декорации для спектакля, организованного в честь трехсотлетия Версаля. Что в этом дурного? То, что затем последовали ужин при свечах, иллюминации, фейерверк? К подобным вещам Грис относился столь же сурово, как и сам Реверди. Действительно, между 1921 и 1924 годами он несколько раз ездил в Монте-Карло писать

портреты, создавать костюмы. Но какой закон он нарушил? Хуан Грис был без ума от танца. Разве это было преступлением? Как заметил Кокто, «над Монмартром и Монпарнасом тяготел диктат… Кодекс кубистов запрещал всякое путешествие с севера на юг, кроме как между площадью Аббатис и бульваром Распайя». Но Хуан Грис терпеть не мог Монте-Карло. Разве это не было смягчающим обстоятельством? «Я ненавижу эти места, нечто вроде всемирной выставки, где видишь только плохую архитектуру, дурацкие морды и деляг».

Мир балета предстал перед ним в самом непривлекательном свете: «Я часто бываю, это верно, с Дягилевым, Ларионовым и танцовщиками, но все они русские, то есть чокнутые». И в каждом письме он повторял одно и то же: «Мне не терпится скорее покинуть эту сумасшедшую среду, вызывающую раздражение», «Монте-Карло скучен, как санаторий», «Атмосфера казино мне глубоко отвратительна…», «Я все больше и больше ненавижу это место…», «Я спешу покинуть эту среду, которая меня раздражает. Что за адская жизнь в театре». То же самое сказал бы и Реверди. Тогда за что же было сердиться на Гриса? Но дело обстояло именно так: Реверди практически порвал с Хуаном Грисом.

Так большинство из тех, с кем он начинал, без кого в первое время своего пребывания на Монмартре не мог обойтись, стали для него чужими. Кроме одного, поэта и немножко астролога, то одетого как подручный мясника, то облаченного во фрак и с моноклем, — Макса Жакоба. Своим религиозным обращением он был обязан именно Максу.

В то время когда Реверди отличала еще жажда жизни, он без особого интереса слушал то, что казалось ему шуточками неисправимого болтуна, — рассказ о нескольких видениях Макса: сперва в 1909-м, потом в 1914 году. Появление на стенах Бато-Лавуара человека, «об элегантности которого ничто на земле не может дать представления… Христос в светло-желтом шелковом одеянии с голубой отделкой…», Христос, появляющийся между эмалированным умывальником и матрасом, лежавшим на четырех кирпичах, Христос в комнате, где добрый Макс — в тот день он ничего не ждал, у него безумно мерзли ноги, и он отчаянно искал тапочки, — внезапно поднявшись, оказался лицом к лицу с… В следующий раз это случилось в кинематографе, в разгар сеанса. Заполонив собой весь экран, появился некто в желтой одежде, опять он, Христос, но на сей раз, к великому удивлению Макса, укрывая своим широким плащом многочисленных детей консьержки! Наконец, однажды во время мессы в Сакре-Кер Пресвятая Дева вдруг сказала ему. «До чего ж ты уродлив, мой бедный Макс!» А разгневанный Макс ответил:

«Не так уж, милая Богородица!» — и покинул церковь в полном смятении, расталкивая верующих и получив нагоняй от церковного сторожа.

Реверди также довелось выслушать подробный рассказ о крещении Макса, потом о его первом причастии с Пикассо в роли крестного отца, Пабло Пикассо, благоговейно сосредоточенного, но все же балагурящего, ибо он во что бы то ни стало хотел, чтобы его крестник был назван Фиакром. В конце концов Макс Жакоб при крещении 18 февраля 1915 года получил имя Сиприен — Киприан святейшей Троицы фигурировал среди семи имен, полученных Пикассо в день крестин. И поскольку у Реверди, заинтригованного рассказом, возникло сильное желание вникнуть в происшедшее и понять, поскольку он приставал к Максу с вопросами, тот, готовый на любые фокусы, лишь бы обратить приятелей в веру, поведал Реверди о страстях Христовых, сопроводив свое повествование мимикой и жестами. Монолог был произнесен языком простым, но он был так мечтателен и исполнен так талантливо, что Реверди, отличавшийся крайней впечатлительностью, расплакался.

Так все и началось.

Когда Реверди решил креститься, он захотел, чтобы его крестным был именно Макс Жакоб.

Между тем очень скоро между ними начались разногласия.

За расхождениями литературными, отдалившими Реверди от сюрреалистов, последовал разлад духовный, отдалявший его от верующих. Как это должно было кончиться? Габриэль делала все от нее зависящее, чтобы победить изолированность, в которую замыкался Реверди. Она очень хорошо знала Макса Жакоба, невероятно ее забавлявшего. Он советовался с ней, выбирая себе рубашки, составлял ей гороскопы, читал по линиям руки, рассказывал об изумительной прическе Христа, когда тот ему явился, и рекомендовал Коко ввести ее в моду. Наконец, он смешил ее до слез, рассказывая о том, как, потакая суевериям и объясняя, какие цвета приносят счастье, был произведен в консультанты у Пуаре и одновременно в духовные наставники принцессы Гики, у которой проводил каникулы. Эта дама, крайне набожная, была не кто иная, как красавица Лиана де Пужи, ставшая принцессой благодаря замужеству.

Габриэль познакомилась с Максом Жакобом у Миси несколько лет назад. И день был особенный… Именно тогда Макс представлял свое последнее открытие, вундеркинда четырнадцати лет Рэймона Радиге. В то время, несмотря на видения, на приступы набожности, на то, что раскаявшимся полуночником он прибегал к первой мессе в Сакре-Кер, Макс

Жакоб был человеком крайне общительным, переживавшим салонный период. Однажды, когда он, парадно разодетый — фрак, шапокляк, монокль, белый шарф и трость с набалдашником, — направлялся в Оперу, чтобы аплодировать декорациям своего друга Пикассо, его сбила машина на площади Пигаль. И тогда Габриэль и Мари Лорансен бросились к нему на помощь, сменяя друг друга у его кровати.

Общие воспоминания объясняют желание Габриэль, во время ее связи с Реверди, пригласить к себе их общего друга.

Но Макса никогда у нее не видели. Макс Жакоб боялся Реверди, которого благочестие Макса выводило из себя. «Я не могу выносить презрительного отношения к подлинным ценностям и трескотню», — говорил Реверди. Макс в свою очередь бежал взора своего цензора и «его леденящих нагоняев». Даже верной супруге в ее монмартрском уединении доставалось от Макса: «Ах! До чего же они наводят на меня тоску, он и его жена! Как он себя принимает всерьез! Это грех из грехов…»

«Сцены из комедии», как признавал тридцать лет спустя один из тех, кто при них присутствовал. Но актерами, в них занятыми, были два человека, которые между 1900 и 1920 годами изменили поэтическую жизнь Франции. Свидетель добавлял: «Для меня не было ничего более трогательного, чем эти раздоры. Я прекрасно знал, что святость поэтов никогда не будет такой же, как святость святых».

То был период страстей, когда атеизм отступал под напором веры, временно для одних, навсегда для других.

Надо ли напоминать, что в тот же год, когда Реверди совершил переход от неверия к вере, подобный кризис потряс и сознание Кокто. Именно в 1925 году все смешалось в его жизни, все пересеклось — наркотики и приобщение к Богу, письма Маритена, содержавшие мощи или молитвы, и приглашения от курильщиков опиума. Это был год противоречий в его творчестве, «Легкий лужок» как ответ на «Искалеченную молитву», стихи, взлетавшие то на крыльях дыма, то на крыльях света.

Не забудем, что именно в эти годы завязалось плодотворное сотрудничество между Габриэль и Жаном Кокто, родилась их дружба.

Странные годы, чреватые новациями и взрывами. Расцвет декоративного искусства; шок от первой выставки сюрреалистов; потрясение от «Негритянского ревю» и поразительная нагота Жозефины Бейкер; «Золотая лихорадка», окончательно сблизившая французских интеллектуалов и Чаплина.

Но, казалось, никто не замечал, какую важную роль в этом театре жизни играла Габриэль, фигура мимолетная и едва

заметная.

* * *

Долгий год, напрасная борьба. Так можно кратко охарактеризовать последние месяцы единственного литературного приключения Габриэль. Шел двадцать четвертый год. Было еще несколько передышек, но совсем немного. Затем стремление Реверди к одиночеству стало настолько сильным, что в жизни поэта осталось место только для изгнания, единственного источника его вдохновения. «Поэзия в том, чего нет. В том, чего нам не хватает. В том, что мы хотим, чтобы было».

> Ткать, натянуть между собой и миром
> Сеть молчаливых слов
> Во всех углах черной комнаты.[79]

Вот к чему стремился Пьер Реверди.

Тогда Габриэль смирилась.

Притягательность черной комнаты она как раз могла понять лучше всего. Она теряла Реверди, но в определенном смысле их объединял мучительный поиск подлинной сути вещей и прочная вера в то, что тень способна выделить главное. Это двойное наследие крестьянского прошлого они использовали каждый по-своему: Шанель — сделав из черного цвета орудие успеха (1925 год станет годом женщин в черном, годом моды, которая в глазах потомков станет восприниматься не как преходящее украшение, а как выражение эпохи), Реверди — покинув Париж навсегда.

Он был отброшен в им самим выбранную смерть.

30 мая 1926 года, после того как он сжег часть рукописей в присутствии нескольких друзей, не подозревавших о причинах подобного аутодафе, Реверди удалился в Солем, поселившись в маленьком домике рядом с аббатством. Он проживет там тридцать лет вместе с женой, но при этом в одиночестве, «один, прижавшись к коже стен».

Реверди было написано на роду поступить так, а Габриэль суждено было найти силы смириться с поражением, не порвав связей между своим миром и его. Поэтому, покинув Шанель, Реверди не потерял ни ее доверия, ни восхищения. В конечном счете природа чувства, всегда привязывавшего его к ней, оказалась именно такой: бесконечная признательность. В нем жило воспоминание о влечении, которое не разрушили ни

возраст, ни время. И так было до самой смерти Реверди.

С удивлением отмечаем мы сходство между этой женщиной и этим мужчиной, обретшими величие. Она — всегда связанная с тем, что было в эпохе ничтожного и суетного, он — «на пороге забытья, как ночной путник». Придет день, когда, вспоминая о Габриэль, ее главное достоинство найдут в том, с каким мужеством она утверждала, что вечность наряда — в его строгости, в том, что, будучи требовательным колористом, она боролась против многовекового «непостижимого и живучего предрассудка… изгонявшего черное как отрицание цвета»[80].

Она переживет себя именно благодаря тому, что роднило ее с Реверди: черное как главный цвет их творчества, простота тона, «хирургическая строгость»[81], в течение долгого времени вызывавшие скандал. И потом, хотят этого или нет, всякий раз, когда зайдет речь о нем, о его поэзии, «подобной блистательной подземной кварцевой жиле»[82], будут вспоминать и ее — ее веру в него и оказанную ему материальную помощь. Трудно себе представить, с каким тактом она умела помогать поэту, тайно покупая его рукописи, лично обращаясь к его издателям, передавая им деньги, которые они отправляли ему затем от своего имени. Для тех, кто придет позже, прекрасное имя Габриэль останется навсегда связанным с именем солемского отшельника.

VII
О некоем театре и двух провокаторах

«Шанель становится гречанкой…» Такой заголовок можно было прочесть в некоторых парижских газетах в последние дни 1922 года.

Но речь шла не о новых тенденциях в моде, а о сцене.

О Шанель заговорили на страницах, посвященных театру. Она сотрудничала с артистами, которые лет через десять привлекли бы к себе всеобщее внимание, но тогда, отождествляемые с авангардом, просто вызывали беспокойство.

«Антигона» в свободном переложении Кокто, декорации Пикассо, музыка Онеггера, костюмы Шанель — вот что возвещала в декабре афиша на живописном здании, напоминавшем провинциальный Париж Утрилло, — старом театре Монмартра. Забавный эксперимент, эта «Антигона», которая, по словам некоторых, обещала быть скорее вызывающей, нежели интересной, ибо создателям спектакля не хватало ни опыта, ни зрелости. Габриэль Шанель было тридцать девять лет, и никогда прежде она не занималась созданием театральных костюмов. Пабло Пикассо был сорок один год, Жану Кокто — тридцать три года, Онеггеру — тридцать.

Сменив в тот год руководителя, театр Монмартра сменил название и судьбу. Шарль Дюллен основал там театр «Ателье». Труппа редко ела досыта… Чугунная печка в углу зала каждый вечер обогревала добрую дюжину зрителей.

Но его первый спектакль, «Сладострастие чести», открыл французам незнакомое имя — Пиранделло. Сразу же «Ателье» стал центром борьбы за расширение репертуара, за открытость европейскому театру и обновление актерской игры. У театра была *своя* публика — студенты, интеллектуалы, артисты. Превосходство Дюллена стало проявляться с декабря 1922 года, и в течение двадцати лет в маленьком здании, находившемся на равном расстоянии от куполов Сакре-Кер и пламенеющих фасадов кабаре на Пигаль, с перистилем, общественным туалетом, маленькой площадью, где несколько деревьев отбрасывали чахлую тень, играли Софоклову «Антигону» в переложении и переработке Кокто. У тех, кого можно было считать театральными завсегдатаями, спектакль имел значительный успех, хотя и был далек от общепринятых условностей. Разве кто-нибудь когда-нибудь осмеливался «освежить, побрить, причесать»[83] античную трагедию? По правде говоря, никто не пытался определить, что в

этой «судорожной гримасе» было от Кокто, а что от Софокла, и часто первому приписывали оригинальный авторский текст. Ситуация прелюбопытнейшая, и первым это признал Кокто: «Шедевр несет в себе молодость, прикрытую патиной, но никогда не увядающую. Уважают же и копируют именно патину. Я снял ее с „Антигоны“. В пьесе будто бы распознали мою руку. Для меня это большая честь».

Несколько статей в иностранной прессе, кое-какие отклики в прессе французской. «Антигона» нового розлива сбила критиков с толку, несмотря на разъяснения Кокто. «Персонажи „Антигоны“ не объясняют себя, — говорил Кокто, — они действуют. Они — пример драматургии, которая должна заменить театр, основанный на болтовне». Но нравился именно театр болтающий. И «Антигона» с ярко-синими декорациями, чтобы «обозначить хорошую погоду», с гроздьями античных масок, повешенных вокруг динамика и заменивших хор, с музыкальным сопровождением на гобое, которое Кокто считал «резким, но ненавязчивым», а слушатели нашли гнусавым, с актрисами в белом, а актерами — в красном гриме, «ибо в театре „Ателье“ нет рампы, и мне надо было найти ей замену в других формах», — словом, «Антигона» Кокто сенсации не произвела.

Академия воздержалась и устами Рене Думика предпочла порекомендовать зрителям патриотическую пьесу «Земля человеческая» Франсуа де Кюреля.

Что касается театральных журналов, то они были слишком заняты успехом Люсьена Гитри в комедии, которую написал его сын Саша, чтобы интересоваться безделицами, предназначенными для интеллектуалов.

Заметим, что наибольшую выгоду из этой авантюры извлекла Габриэль. В то время как журналисты, по признанию самого Кокто, сравнивали декорации с рождественскими яслями, а маски Пикассо — с «витринами в последний день карнавала», костюмы Габриэль все хвалили единодушно. Между тем они отличались некоторыми чертами, общими с декорациями, с аксессуарами, и точно следовали крайне ограниченной цветовой гамме, предписанной Пикассо. Основным тоном был коричневый, сочетавшийся с бледно-бежевым и оттененный несколькими красно-кирпичными нотами. Костюмы выделялись на фоне залитых солнцем далей, ибо «действие трагедии происходило в погожий день».

Кокто поднял вокруг участия Габриэль такой же шум, как и вокруг Пикассо и Онеггера. «Я попросил сделать костюмы мадемуазель Шанель, — заявил он прессе, — потому что она — самый великий модельер нашей эпохи и потому что я не

представляю себе, чтобы дочери Эдипа были плохо одеты». Кокто показал тесную связь между действием и костюмом, добавив: «Антигона решила действовать. На ней великолепный плащ. Йемена бездействует. Она одета в самое будничное платье». Таким образом, Габриэль Шанель стала объектом восхищения еще до того, как поднялся занавес.

Ее костюмы сделали остальное.

Они получились необыкновенно прочными и убедительными.

Помогал ли ей Дюллен? Есть все основания верить этому, кроме того, требовательный директор «Ателье» вместе с Кокто дал ей возможность попытать удачу. Дюллен, особенно опекавший ее, поспевал повсюду. Но он не поставил свое имя в качестве постановщика, ибо не хотел дважды и в разном качестве значиться на афише.

Превосходные исполнители скрадывали определенную бедность текста. Греческая актриса, Геника Атаназиу, была Антигоной с коротко стриженными волосами, выщипанными бровями, две мефистофельские черточки, нарисованные карандашом, перечеркивали ей лоб, глаза были сильно обведены черным и растянуты к вискам. Из грубой шерстяной, наспех сотканной накидки выступала голая шея, словно готовая к плахе. Уже сам костюм делал из нее готовую жертву… Пьяный от ярости и поглупевший от власти бывший любовник Кариатис и спутник Габриэль на скандальном спектакле «Русских балетов», Шарль Дюллен в роли Креонта создал образ тирана, надолго повлияв на традицию исполнения. Реденькая бороденка, длинный нос, лоб, стянутый золотым обручем грубой работы — без сомнения, первое украшение, созданное Шанель, — старик, кутающий свои худые плечи в хламиду землистого цвета, царь, глухой к угрозам прорицателя. Антонен Арто, любовник Геники Атаназиу, в роли Тиресия не говорил, а кричал, ошеломляя публику.

По случаю спектакля самые известные фотографы, лучшие рисовальщики осаждали кулисы «Ателье». Именно так Мэн Рей сделал удивительный портрет Геники Атаназиу, а Жорж Лепап получил заказ на серию рисунков от господина Кроуниншильда[84].

Французское издание «Вог», пользовавшееся тогда большим авторитетом в мире искусства, напечатало их в феврале 1923 года с крайне осторожным комментарием. Были упомянуты Софокл, Кокто и Дюллен. Имена Пикассо, как, впрочем, и Онеггера, а уж тем более Антонена Арто названы не были. Напротив, костюмы Шанель были описаны в самых лестных выражениях: «… шерстяные платья нейтральных тонов производят впечатление подлинных античных одеяний, найденных недавно». И вновь по

поводу костюмов: «…замечательная реконструкция архаики, сделанная умно и умело». Похвала, превосходившая все, на что Габриэль могла надеяться.

Следует отметить, что в 1922 году Габриэль приобрела мраморную древнегреческую статую редкого качества. Статуя заняла почетное место в ее гостиной. Тогда же в ее коллекции появилось несколько драпировок на античный манер, но это было явление временное, хотя и достаточно необычное, чтобы привлечь к себе внимание Кокто. Он сделал несколько прекрасных рисунков.

Шанель не колеблясь всегда переносила в профессиональную сферу находки, сделанные ею в личной жизни. Так, Древняя Греция, которую она только что для себя открыла, внезапно вошла в ее жизнь. Если бы ей не довелось пережить подобный опыт, вероятно, она была бы чуточку другой.

* * *

За «Антигоной» последовал «Голубой экспресс». Она ушла от Дюллена к Дягилеву, от Фив к Лазурному берегу, оставив кровавый мир трагедии ради мира, полного фантазий, мира оперетты, где герои назывались не Эвридиками, Исменами или Гемонами, а Перлузами и Красавчиками.

В течение четырнадцати лет, с 1923 по 1937 год, после «Голубого экспресса», «Орфея», «Царя Эдипа», «Рыцарей круглого стола» цикл произведений Кокто продолжался — он представлял своих героев в костюмах Шанель. А Габриэль? Если учесть, как уклончиво она всегда говорила о своей работе в театре с 1926 года — из нее приходилось упорно чуть ли не вытягивать названия спектаклей, в создании которых она принимала участие, — невольно возникает мысль, что Шинель довольно быстро стала ограничиваться тем, что выполняла свою работу как добросовестный ремесленник, при этом с несомненными оговорками. Казался ли ей подозрительным блеск Кокто? Что она испытывала по отношению к нему? Уже раздражение? Упрекала ли она его в том, что у него слишком много обаяния и что он — не Реверди?

«Мне очень быстро надоел его античный базар», — заявляла она многие годы спустя.

Охладеть к Кокто — значило отречься от мира превращений, пленившего ее поначалу, от мира пурпурных драпировок, крылатых персонажей, от роскошных статуй и растений, говорящих зверей и ангелов в водяных одеждах, вошедших с

Кокто во французскую драматургию. Если вспомнить о пылкой дружбе, которую он питал к ней, если подумать, сколькими знакомствами и каким опытом она была ему обязана, то подобное поведение Шанель выглядит черной неблагодарностью. Габриэль разочаровывает… У Кокто сердце было добрее. Он, судя ее, в то же время сумел едва ли не лучше Колетт описать «ее вспышки гнева, злобные выходки, баснословные украшения, ее творчество, причуды, крайности, ее милые черты — юмор и великодушие, — составлявшие уникальную личность, привлекательную, манящую, отталкивающую, несдержанную… в общем, человечную».

Были ли у Габриэль основания для столь оскорбительного по отношению к Кокто поведения? Может быть, Шанель считала, что, принимая Кокто у себя дома, часто давая ему приют с его друзьями-курильщиками и по меньшей мере дважды придя ему на помощь деньгами, когда он лечился от наркомании, она с ним расквиталась? Способность любить, которой жизнь столь щедро одарила Кокто и которая была также подлинным оружием Габриэль, это оружие, словно под воздействием роковой закостенелости, постепенно выпадало из ее рук.

Но они были еще в прекрасных отношениях, когда он получил заказ написать либретто «Голубого экспресса». Заказ исходил от Дягилева. Взяться за работу немедленно. По правде говоря, речь шла не о балете, а об «оперетте с танцами». Попытка обновления, характерная для этого «удивительного агента-провокатора»[85]. Как случилось, что Дягилев был очарован самой французской, самой популярной музыкой? Песенки Кристине и Мориса Ивена насвистывали на углу улиц простые люди, ходившие в театр только для того, чтобы отдохнуть и развлечься, то был мир, презираемый критикой. Между тем именно эти песни Дягилев и хотел перенести на сцену и восстановить в правах. Освобождая танец от рутинного очарования традиции, придавая ему актуальность, Дягилев и Кокто облагораживали театральную форму, в которой должны были соединиться танец, акробатика, пантомима, сатира, — это был пластический жанр, близкий к «музыкальной комедии» в том виде, в каком она существует и поныне в Соединенных Штатах.

Неизвестно, отдавала ли себе Габриэль отчет в том, что ей предстояло иметь дело не с *одним* провокатором, а *двумя,* с Дягилевым и Кокто, взявшимися за одно дело. Собственная характеристика, принадлежащая перу одного из них, замечательно подходит другому: «Прежде всего, я ужасный шарлатан, но делаю это с блеском; во-вторых, большой соблазнитель; в-третьих, дерзости у меня хоть отбавляй…»[86] Но дерзости и у нее хватало, поэтому она держалась твердо и

решительно, столкнувшись с бурями, закулисными драмами, интригами, разногласиями, близкими отношениями, являющимися повседневным явлением в мире танца.

Вновь блестящий состав участников спектакля объединил группу друзей. Впервые появившись на афише «Русских балетов», Габриэль оказалась в компании еще более прославленной, чем во время работы в «Ателье». У Дягилева, несомненно, были начинания более важные, но немногие из них производили такое впечатление вызова, как «Голубой экспресс». Для сочинения легкой музыки был выбран композитор, которого его провансальское и еврейское происхождение вдвойне подталкивало к вещам серьезным, — Дариюс Мийо. Он прославился кантатами на библейские темы и музыкой на стихи Поля Клоделя, у которого работал секретарем. Как он признавался впоследствии, выбор Дягилева сильно удивил его: «Мода тогда была на музыку развлекательную и приятную, весьма далекую от того, что я сочинял… и что было не во вкусе Дягилева, я это знал. Никогда я не думал писать оперетту, хотя бы и без слов. Но принял вызов». Партитура «Голубого экспресса» была начата 15 февраля 1924 года и закончена двадцать дней спустя.

Декорации — еще один вызов. Дягилев обратился к скульптору, ни разу в жизни не создавшему ни одного театрального макета, — Анри Лорансу. Он был так же «серьезен», как Реверди, другом и иллюстратором которого являлся. Этого парижанина до мозга костей Дягилев попросил воплотить атмосферу модного пляжа, сына рабочего — воссоздать беспечный мир праздной толпы. Анри Лоране тоже принял вызов и взялся за работу. В его декорациях кабинки и пляжные зонты Лазурного берега обрели странные геометрические формы. Угловатые, усеченные конструкции. Декорации выглядели как коллажи.

Третий вызов. Чтобы поставить балет Кокто и облечь хореографической плотью либретто, где сталкивались купальщики, игроки в теннис, чемпионы по гольфу и хорошенькие особы в поисках приключений, Дягилев пригласил Брониславу Нижинскую[87].

Она долго не могла покинуть Россию, была разлучена с «Русскими балетами» в течение всей войны и не говорила ни слова по-французски. Революция наложила на нее свой отпечаток, у нее не было склонности ни к роскошной жизни, ни к развлечениям, и, кроме того, она понятия не имела, что это за «Голубой экспресс», откуда он едет и куда направляется. «При создании хореографии Кокто предложил Нижинской в качестве

источника вдохновения персонажи и события светской хроники, которых Нижинская, ведшая жизнь домоседки, знать не могла…»[88]. Можно без труда догадаться, как мало названные Кокто имена могли помочь Нижинской: «В качестве модели он предложил ей танцевальную акробатическую пару, которую в тот год видели на ужинах в „Сиросе“, моментальные снимки Сюзанны Ланглен, играющей в теннис, и принца Уэльского на поле для гольфа…» Несмотря на вмешательство Дягилева, служившего переводчиком и посредником, отношения между Кокто и Нижинской с самого начала были проникнуты враждебностью. Кохно добавляет: «Атмосфера на репетициях была драматической».

Габриэль работала бескомпромиссно. Она приняла условия игры, предложенные Кокто, согласившись применить неоднократно излагавшиеся им принципы буквально: «Вместо того чтобы постараться избежать смешных сторон жизни, приукрасить их… я, напротив, подчеркиваю, усугубляю их, стараюсь, чтобы было *правдивее, чем в жизни».* Поэтому в «Голубом экспрессе» танцевали не в костюмах, где соединялось бы воображаемое с реальным. На сцене были *настоящие* спортсмены с голыми ногами, обутые то в сандалии, то в туфли для тенниса или гольфа.

Женские костюмы были скопированы с купальников тех лет: трико, выкроенные из джерси, неплотно облегали тело и открывали штанишки, доходившие до середины ляжки. Габриэль не гналась за живописностью, а старалась одеть танцоров в реально существовавшую одежду. И разумеется, костюмы получились совсем не такими, как представляла себе Нижинская туалеты молодых мужчин и женщин, страстных любителей средиземноморских удовольствий и «Голубого экспресса», о роскоши которого ей прожужжали все уши. Чего она хотела? Изящных пеньюаров? Стилизацию под одежду, бывшую когда-то в моде на берегах Черного моря? Верила ли она в возможность сходства, в то, что существовали общие черты между тем исчезнувшим миром и веселой толпой, развлекавшейся на Лазурном берегу? Не случайно ее скрыто упрекали в том, что у нее всегда все выходит «по-русски». Чем больше она страдала от проявляемой к ней сдержанности, тем с большим ожесточением отстаивала свою точку зрения.

Кокто старался объяснить участникам спектакля, что среди пассажиров «Голубого экспресса» он ограничил свой выбор субъектами весьма сомнительными и что неспроста юноши и девушки подразделяются на две группы: *жиголо* и *шлюшки.* «Шлюшки? Жиголо?» — повторяли вслед за ним в высшей

степени утонченные балерины, для которых эти слова ничего не значили. «Я произнес длинную речь, чтобы объяснить труппе, что значит слово „оперетта“… и какой, по моему мнению, должна быть пластическая задача этого балета», — писал Дягилев и добавлял: «Меня выслушали с благоговейным и проникновенным вниманием».

Каков же оказался результат?

Между автором и хореографом завязалась типичная для театра партизанская война, глухая борьба, которую трудно себе вообразить, если случайно не оказаться в ней замешанным. Кокто продолжал требовать, чтобы хореография была изменена, и это — в самый разгар репетиций, вмешиваясь в работу Нижинской. Он властно добивался, чтобы некоторые танцевальные пассажи были заменены пантомимой: «Я не прошу, чтобы в программе значилось мое имя как постановщика… но взамен я требую, чтобы меня слушали».

Он не отступал: он хотел увидеть на сцене «роскошных девиц в поту с ракеткой под мышкой», черствую молодежь, которая, говорил он, «расталкивает нас с наглым презрением… и внушает нам беспокойство». Нижинская со своей стороны защищала принцип непременной стилизации, утверждая, что это ни в коей мере не ослабит сатиры, а, напротив, придаст балету вневременную истинность, которой лишал его реализм. Она чувствовала себя особенно уверенно, ибо несколько месяцев назад победила страхи Дягилева, работая над «Ланями».

«Лани» были встречены с единодушным одобрением. Значит, Нижинская была способна перейти от изб Ларионова для «Лиса» к лукавой грации декораций Мари Лорансен, от сурового фольклора Гончаровой в «Свадьбе» к розовому и голубому миру галантных празднеств в 1923 году, где, как на некоторых картинах Ватто, можно было либо ничего не увидеть, либо представить себе худшее. Тогда Дягилев первым признал, что «все проходит гораздо лучше, чем я ожидал. Пуленк в восторге от хореографии Брони, отношения у них прекрасные. Что бы ни говорили, эта экстравагантная и глухая женщина принадлежит к семейству Нижинских, и этим многое сказано».

С «Голубым экспрессом» все происходило иначе. Хотя четыре главных исполнителя почти не доставляли хлопот, репетиции проходили в крайне взвинченной атмосфере. Все готовилось с опозданием — декорации, программа, занавес и примерки, которые делали только звездам.

Красавчик приехал из Лондона. Роль была поручена молодому англичанину, воспитанному в русской школе Астафьевой и практически неизвестному французской публике.

Антон Доулин с черными напомаженными волосами, расчесанными на прямой пробор, и бархатными глазами, в майке гимнаста был законченным образцом пляжного Дон Жуана, согласно канонам 1925 года. Это был *Шери мускулистый, Шери* в самом расцвете сил…

Очень убедительным был и *Игрок в гольф.* Его танцевал воспитанник Варшавской школы танца, Дягилев привез его из Польши в 1915 году. Парижане уже полюбили Войцеховского, блестящего танцовщика, наделенного мужественной грацией. Во время ссоры с Нижинским именно ему были поручены некоторые роли знаменитого танцовщика, и, против всех ожиданий, порою он не уступал Нижинскому. Амплуа спортсмена подходило ему великолепно, и, если бы он отправился в своем костюме на поле для гольфа, самый взыскательный арбитр не нашел бы, к чему придраться. Не фотографиям ли принца Уэльского была обязана Шанель этой удачей? Пожелания Кокто исполнились. Наследник английского трона, чей шарм и смелость в одежде без устали расхваливали хроникеры, не колеблясь принял бы в качестве партнера молодого человека со столь опрятной внешностью. На Войцеховском был белый воротничок, тугой галстук и поверх брюк-гольф вязаный полосатый свитер, сочетавшийся с носками.

Никаких проблем не доставляла и Соколова, ее настоящее имя было Хильда Маннинге. Она была первой англичанкой, ангажированной Дягилевым. В труппе, где все балерины были русские, Хильда превратилась в Лидию, сменила имя, затем язык, потом образ жизни. Проводя дни и ночи в обществе перебежчиц из Мариинского театра и Императорской школы Санкт-Петербурга, она уже ничем не отличалась от них, разве что истинно британским чувством юмора. Роль Перлузы как раз была поводом использовать его с толком.

Другая на месте Шанель все время вспоминала бы о столь блистательном периоде в своей жизни. Когда ее умоляли: «А „Голубой экспресс“? Могли бы вы нам немного рассказать о репетициях, о балеринах и всем остальном?», она отвечала: «Это был другой мир. И потом, я занималась только костюмами». Тем не менее, хотя она говорила о Соколовой лишь как об участнице «Весны священной», Шанель сохранила о балерине довольно яркие воспоминания. «Она была серьезна, как монахиня», — утверждала она. И чувствовалось, что Шанель говорит со знанием дела.

В белом с ног до головы, с ракеткой в руках, со стягивающей волосы повязкой, такой же, которую Габриэль Шанель в амазонке, к великому ужасу своего портного, сама носила тринадцать лет назад, мчась галопом по лесам Руайо, Нижинская оставила себе

главную женскую роль, роль *Теннисистки.* Она была маленькая, мускулистая, с толстыми щиколотками. У нее, как и у Нижинского, были довольно короткие ноги, и лицо ее своей монгольской приплюснутостью, раскосыми глазами, тяжелым подбородком и некрасивым ртом с мясистыми губами напоминало брата. Головная повязка, которую носили теннисистки, ей не очень-то шла. Нижинской не хватало живости, принесшей популярность Сюзанне Ланглен, которая должна была послужить ей моделью. Ланглен, чемпионка Франции в пятнадцать лет, умевшая своими экстравагантными прыжками рассмешить публику Уимблдона, безусловно, обладала большей сноровкой, но, несмотря на подобные оговорки, никто не мог отрицать, что надо было быть Брониславой Нижинской, чтобы с таким умением создать образ, привлекавший к себе внимание своей необычностью.

Во время генеральной репетиции «Голубой экспресс» едва не попал в катастрофу. Труппа, не знавшая, кого слушать — Кокто или Нижинскую, казалось, колебалась при каждом «па». Хотя Габриэль все время была на месте, дела шли из рук вон плохо — и с юбками, и с трико. Замученные бесконечными спорами, *Жиголо* и *Шлюшки* и без того хлебнули горя. А теперь им приказывали надевать костюмы даже без примерки! Жалкое зрелище, о котором вспоминает Борис Кохно: «Отопление в театре еще не было включено… Вид у дрожащих на пляже купальщиков, в костюмах не по размеру, был плачевный и шутовской. Когда занавес был поднят, удрученный Дягилев спрятался в последнем ряду балкона и, чувствуя свое бессилие и невозможность избежать провала, стал спрашивать меня, какие балеты могли бы в последнюю минуту заменить „Голубой экспресс“».

Положение было особенно тревожное, ибо премьера должна была состояться в тот же вечер.

Один из *Жиголо,* молодой дебютант замечательной красоты, только что приехавший из Киева, Сергей Лифарь, сомневался, что костюмы можно будет использовать: «Во время некоторых движений они становились то слишком длинными, то слишком короткими. Это были костюмы, не предназначенные для танца».

Все знали, что Дягилев привык к катастрофическим ситуациям, но то, что он сделал в тот день, было одновременно и безумной гонкой, и партией в покер. Ни один танцовщик, ни одна балерина, ни одна костюмерша, ни один рабочий сцены не ушли из театра. До поднятия занавеса перед публикой, обычно собиравшейся на большие премьеры, оставалось всего несколько часов… Гениальные мастера на все руки взялись за дело.

В зал стремительно влетел Пикассо. Месяц назад, среди чудовищного беспорядка в его мастерской, Дягилев застыл как вкопанный перед картиной, изображавшей двух женщин в белых туниках, которые оставляли обнаженными плечи и грудь. Распростертые руки, головы, словно цветы, пригнутые ветром. Безумие солнца, песка и моря, бег, приносящий счастье. Это была картина Пикассо периода Великанш. Дягилев стал умолять Пикассо разрешить ему использовать ее. Он хотел сделать из картины занавес для «Голубого экспресса». Пикассо колебался, но потом сдался. Сопротивляться Дягилеву было бесполезно. Поэтому Пикассо нехотя согласился, как согласился сделать для программы серию рисунков, которые затем Борис Кохно вырывал у него с таким трудом! Пикассо утверждал, что потерял рисунки. Он найдет их, непременно. Но беспорядок у него в мастерской был неописуемый. Владелец же типографии грозил все бросить… А издатель требовал, чтобы они отказались от этой затеи… Что до занавеса, то Пикассо потерял к нему всякий интерес. Дягилев поручил исполнение проекта одному из своих близких сотрудников, князю Шервашидзе, талант которого в этой области был просто чудом.

Когда Пикассо увидел свой занавес в первый раз, работа князя-ремесленника так его поразила, что, не зная, как выразить свое восхищение, он решил посвятить занавес Дягилеву и одним росчерком написал внизу: «Посвящается Дягилеву». Потом поставил свою подпись: «Пикассо. 24».

Это был единственный счастливый сюрприз в тот день. Все же остальное… Трико надо было распороть, укоротить, юбки — подогнать. А в это время Нижинская и Кокто, которым некогда было грызться, вместе проходились по хореографии спектакля. Они исправляли и сокращали.

Те, кто тридцать лет спустя видел Габриэль ночью перед показом ее коллекций, в исступлении, с ножницами в руках, с глубокой морщиной, пересекавшей лоб, — те без труда могут представить ее в тот момент на сцене театра на Елисейских полях, еще молодую и красивую, еще молчаливую, на коленях перед танцорами Дягилева, в смиренной позе ремесленника, склонившегося перед своим творением. Борьба со временем и непокорной материей еще не стала для Шанель поводом для монологов. Это произойдет позже, много позже, с возрастом. Тогда у нее появится мания сопровождать работу бесконечным бормотанием, прерываемым саркастическими замечаниями. «Во время работы она тихо приговаривает, нарочно понижая голос», — отметила Колетт в посвященном Шанель очерке. «Она говорит, она обучает и с ожесточенным терпением начинает все

сначала».

Черта, усугубившаяся с годами. Это был своего рода бред, восхищавший всех знавших ее писателей и порою ужасавший ее друзей. Ее надо было переводить, толковать, разгадывать. Хотя и непонятные, ее речи до последнего дня были столь же ценны, как и пророчества, слетавшие с уст Пифии.

Кому был адресован этот словесный поток? Полумертвая от усталости, она, всегда избегавшая вопросов, доверяла тайное из тайного тем, кто ее ни о чем не спрашивал.

«Нужно всегда убирать, удалять все лишнее. Не надо ничего прибавлять… Нет иной красоты, кроме свободы тела…» Слышать ее могли только манекенщицы, падавшие от усталости, тела которых целыми ночами мучили ее неудовлетворенные руки. «Слишком много всего, — повторяла она, — слишком много…»

Но на сцене театра на Елисейских полях все молчали. И в течение трех часов подряд там царила мертвая тишина.

Наконец-то готовая, программа в обложке Пикассо, с шестью рисунками, изображавшими балерин, которые с таким трудом выудил у художника Кохно, объявляла об открытии особо блестящего сезона, обещала декорации Брака и Хуана Гриса.

13 июня 1924 года, когда Андре Мессаже встал к пюпитру и раздались первые звуки фанфар, которые Дягилев специально заказал Жоржу Орику, чтобы воздать должное занавесу Пикассо, «Голубой экспресс» встал на рельсы. Балет был неузнаваем. Зал, где собралась самая разношерстная публика — артисты, меценаты, аристократы, крупные буржуа Франции, Италии и Англии, — устроил ему овацию. Рискованная акробатическая вариация Антона Долина стала одним из самых запоминающихся моментов вечера.

Но бесполезно было расспрашивать Габриэль, чтобы выяснить какие-нибудь подробности того вечера.

— А «Голубой экспресс»?

— Что «Голубой экспресс»?

— Публика? Люди?

Возможно, она сохранила о зале такое смутное воспоминание, потому что волнение, связанное со спектаклем, поглотило ее полностью. Если только не срабатывали защитная реакция и страх, что ее будут «использовать», хотя бы и ее близкие. Мания предосторожности теперь укоренилась в ней прочно.

Между тем ей нечего было скрывать. Собеседники продолжали настаивать: «Расскажите…» Жена Эдуара, жена Анри, жена Мориса, жена Робера, баронессы и жены всех Ротшильдов на свете, не хотела же она, чтобы мы поверили, будто… А потом,

призраки Пруста, их именами пестрели газеты, д'Аренберг, Караман-Шиме, Греффюль, Грамон и прочие «Орианы», граф де Бомон, граф Примоли и все тогдашние Шарлюсы и Норпуа, что же, она их забыла? Она делала вид, что никого не помнит, ни завсегдатаев Довиля, бывших в тот вечер на премьере, ни красавиц итальянок. Герцогиня де Камастра? Княгиня де Бассиано? Колонки светской хроники в ежедневных газетах не пропускали ни одного имени, и во время гала-спектаклей зал всегда изучался самым тщательным образом. Или она тогда не читала газет? Габриэль притворялась, что была от всего этого очень далека. Парижские американки, уцелевшие дамы из царской России, испанки из Биаррица, англичанки из Венеции, принцесса Палей, леди Канард, «полковник Бальсан и мадам», о них она тоже не помнила? Эти имена, все вместе составлявшие ее *клиентуру,* казалось, выскочили у нее из головы. Еще более глубокое молчание окутывало некоторые фигуры, напоминавшие о временах Мулена. Весельчаков, отказавшихся от девиц и красных штанов и вновь посещавших ипподромы в качестве джентльменов-владельцев, было много в тот вечер, не так ли? Все с супругами, не так ли?

Этого оказалось довольно, чтобы она тут же позабыла их имена. Всем сердцем она отвергала общество, не желавшее знать ее тогда, когда она была ничем. Наконец-то она могла позволить себе роскошь *не узнавать* их.

— Что вы делали после спектакля?

— Мы были у Миси.

— Кто это — мы?

— Почти те же, кто был на свадьбе Пикассо, художники. Но все-таки их было меньше, чем после «Бориса Годунова».

— Почему?

— Из-за музыкантов. Все они были французами: Орик, Пуленк, Мийо.

Для нее это было само собой: она была связана с артистами узами братства, а потому только они были достойны упоминания. В своей яростной пристрастности она отрицала всех остальных. Кстати, в поведении ее не было снобизма, и она не пыталась придать себе ту же значимость, что и остальным создателям спектакля.

Один журнал, который сумел убедить ее разрешить публикацию подборки заметок, которые она называла то «Максимы», то «Размышления», то «Сентенции», невольно вскрыл истинную причину того, почему она с такой уклончивостью говорила о своих театральных опытах. И вместе с тем не следует заблуждаться: этот род деятельности был одним из немногих,

принесших ей подлинное удовлетворение. Ее нежелание хвастаться сделанным ею в театре объяснялось трезвым отношением к себе. Смешение некоторых понятий было для нее непереносимо. Для нее существовало принципиальное различие: «Те, кто создает костюмы, работает с карандашом, — это искусство. Портные орудуют ножницами и булавками — это ремесло».

Столь редкое сочетание гордыни и скромности вновь заставляет нас вспомнить о поэте, страдавшем от них так же, как она, — о Реверди, гордом и скромном вне всякой меры. «Меня точила неукротимая гордыня, тем более тягостная, что она не питалась никакими притязаниями», писал он примерно в то же самое время. Общая для них обоих черта.

Викторианская иллюзия и что за ней последовало (1925–1933)

Все началось с ошибки во французском.

Луи Арагон. Одержимый Эльзой.

I
Поддельное счастье

Как и Габриэль, любовником которой он был с 1924 по 1930 годы, второй герцог Вестминстерский четверть века спустя после смерти продолжает оставаться жертвой собственной легенды. Нарисовать его подлинный портрет — значит прежде всего очистить его от наслоений, оставленных сопровождавшим герцога эскортом хроникеров. Он был самым богатым человеком в Англии, и газетчики повсюду таскались за ним. Если воспринять их писания буквально, нам придется наградить герцога Вестминстерского самыми банальными эпитетами: взбалмошный, любящий роскошь, скучающий… Он и был таким, но было в нем и еще что-то. И свести его личность только к беспорядочным любовным похождениям или удовольствиям, получаемым благодаря баснословному наследству, значило бы судить о нем неверно.

Внешне это был высокий, крепко скроенный блондин, обладавший манерами и стилем поведения, которые определяются короткой фразой Пьера Реверди: «Элегантный, то есть равнодушный».

Британское воспитание дало свои плоды, и герцога трудно было заподозрить в приступах гнева, на которые он был способен. За этим добряком-гигантом водились только некоторые слабости — страсть к игре и детским выходкам: он любил опустить в чашку кофе кусок сахара в обертке и следить по хронометру, через сколько времени тот растает, любил прятать бриллианты под подушку своим любовницам или, пока они спали, прикреплял к полям их шляп здоровенные, словно камни, дорогостоящие кулоны.

Меньше говорили о том, что он их поколачивал, когда они переставали ему нравиться.

О его вкусах было известно все, и о нем неустанно рассказывались одни и те же истории. Герцог Вестминстерский был забавен; герцог Вестминстерский был оригинал; у герцога Вестминстерского в карманах было полно самых неожиданных предметов: маленькая коробочка акварельных красок, золотая монета, в общем, игрушки. В халате, он курил сигару и пил зеленый шартрез; он требовал от лакея, чтобы шнурки его башмаков были проглажены каждое утро, но не обращал внимания на дырки в подметках. Он давал королевские чаевые, но колебался, прежде чем взять номерок в гардеробе… Было

известно, что он хороший моряк, и все радовались, что он любил не только женщин, но и спорт, дикие цветы, собак, пони и пикники. Это означало, что он воспитывался в хорошей школе — в Итоне — и служил в гвардии.

Сам Черчилль, делясь с британской прессой воспоминаниями о своем друге детства, чтобы почтить память о герцоге, начал с того, что сказал: «Он был отличным охотником, и в поведении дичи для него не было загадок». Черчиллю казалось, что подобной характеристикой он оказывает герцогу честь. Они подружились в 1900 году, во время путешествия, которое Черчилль назвал «несколько рискованным». Было ли оно рискованным, их путешествие? Трудно выразиться с большей сдержанностью. Речь шла о бурской войне. То, что герцог Вестминстерский проявил себя «на войне и в спортивных сражениях товарищем бесстрашным, веселым и обаятельным», было столь же очевидно, как и его охотничьи дарования, ибо о них Черчилль упомянул прежде, чем перешел к следующему: «Хотя он был не слишком искусен в публичных выступлениях, это был глубокий мыслитель, обладавший редкими качествами — мудростью и здравомыслием. Я всегда высоко ценил его мнение». Можно было бы удивиться, что подобные качества упомянуты в последнюю очередь, если бы в этом не выразилась самая суть британской концепции человеческой личности: не обязательно быть крупным мыслителем или блестящим оратором, будь хорошим товарищем, честным малым, обладай некоторой гибкостью — и этого вполне достаточно, чтобы числиться человеком достойнейшим. Требования, которым герцог Вестминстерский удовлетворял во всех отношениях.

Но сказать, что он был англичанином до мозга костей, было бы недостаточно, если не добавить следующее: хотя он считал себя типичным представителем своего времени, человек, вошедший в жизнь Габриэль, на самом деле настолько же принадлежал викторианской эпохе, как и первый герцог Вестминстерский, воспитавший его дед. И драма его заключалась именно в этом. Ибо не осознавая этого, герцог никак не мог объяснить себе, что же мешало ему во всем сравниться с дедом.

Дело в том, что послевоенные годы были не лучшей порой для вельможи такого размаха. Времена, когда аристократы не помнили числа своей прислуги, но знали, что в меню должно быть шестнадцать блюд, детально расписанных по-французски на карточках, украшенных гербами и выгравированными виньетками, времена больших чемоданов и шнурованных платьев, когда горничные до рассвета дожидались возвращения хозяек, ибо те не могли раздеться без посторонней помощи, времена,

когда единственным занятием жен было рожать детей и нравиться мужьям, поглощенным охотой, лошадьми и собаками, — эти времена, без сомнения, лучше подошли бы любовнику Габриэль, чем шумные дни чарльстона.

Как ни удивительно, что после Артура Кейпела, после великого князя Дмитрия рядом с Габриэль в третий раз оказался человек, на которого в детстве глубоко повлияло отсутствие отца, постараемся увидеть в этом только насмешку судьбы, как бы дающей понять, что зло повсюду одно и то же, будь ваш отец крестником королевы, как у герцога, или бродячим торговцем, как у Габриэль, короче, что отсутствие отца всеми переживается одинаково.

Любовник Габриэль родился в 1879 году. Герцогу было всего четыре года, когда умер его отец. В свое время тот нашел себе прелестную жену, девятнадцатилетнюю красавицу, хотя не был ни спортсменом, ни человеком предприимчивым, одевался неряшливо и отличался тучностью. Говорили также, что он болен эпилепсией. В своей переписке королева Виктория, его крестная, всегда называла его «бедный мальчик». Единственное воспоминание, которое он оставил сыну, было скверное здоровье.

Ребенка поручили деду. Старого джентльмена звали Хьюг Лупус. Так повелось в семье с 1066 года, эпохи, когда Вильгельм Завоеватель высадился в Англии с одним из своих внучатых племянников, неким бароном Хьюгом, отличавшимся столь свирепыми инстинктами, что получил от своих сотоварищей лестное прозвище «Хьюг-Волк»[89]. Он бросил вызов церкви и общественному мнению, превратив часовню в псарню, так велика была его любовь к охоте. Число его бастардов было несметно, законных сыновей — тоже. Все они были между собой похожи. Все страстные охотники, как и отец, у всех дородности и силы хоть отбавляй. Старшего наградили прозвищем, вполне ему соответствующим: Толстяк-охотник[90]. Прошли годы, и это имя сперва в шутку, потом по привычке осталось. Но когда в результате войн происходит языковой обмен между двумя народами, случается, что оба языка перерождаются и язык победителей часто отступает первым, платя дань языку побежденных. Таким образом, прозвище, данное потомкам Хьюга-Волка, заменилось именем *Гросвенор* и стало одним из самых знаменитых в Объединенном королевстве.

Так, для Гросвеноров «все началось с ошибки во французском», уж не говоря о гербе — «Azur a Bend’or with plain Bordure Argent», — где смешаны слова, скрепляющие между двумя языками союз столь же священный, как союз между двумя людьми, основанный на крови.

Таково было происхождение Гросвеноров, в семью которых попала Габриэль, и не через потайную дверцу, а через парадный вход в ранге полноправной фаворитки. Кому в имени Гросвенор слышалось еще неистовство молодых воителей, восемь веков назад отправившихся в путь от берегов Нормандии в шуме наспех сколачиваемых лодок? И однако, между теми воинами и любовником Габриэль дистанция была не столь велика, как могло показаться.

Ибо хотя Вендор и был так богат, что не знал точных размеров своего состояния, хотя ему целиком принадлежал один из лучших кварталов Лондона — не говоря о землях в Шотландии, об огромном, словно город, замке в Чешире, усадьбе в Уэльсе и обширных лесах за границей, — в нем оставалось что-то от их любви к приключениям, а при виде моря его охватывал тайный трепет, как при виде единственной любовницы… Нечто, что сделало из его предков, сыновей земледельцев и хлеборобов, бесстрашных мореплавателей.

Когда на борту своей яхты второй герцог Вестминстерский пересекал Ламанш — и кто знает, сколько раз за свою жизнь он совершил это путешествие, — он вел себя точно так же, как его предки. Набившись в лодки и оказавшись на другом берегу с развевающимися по ветру знаменами, они сделали из своих рабочих лошадок сначала боевых коней, а затем отправились на них на охоту. Путешествуя с конюхами и собаками, второй герцог Вестминстерский поступал точно так же, и первая мировая война — по крайней мере, поначалу — не показалась ему достаточной причиной, чтобы отказаться от псовой охоты на оленя в своих угодьях в Нормандии[91]. Герцог очень любил Францию и свой замок в Сен-Сансе, между прочим, весьма уродливый. Он не собирался лишать себя охоты из-за скверной истории с границами, где он бессилен был сделать что-либо. Что касается чиновников из французского посольства в Лондоне, получавших его просьбы о разрешении на въезд… Какого черта они важничали? Герцог рассчитывал на послушание. В Англии изо всех сил старались удовлетворить малейшие его желания. Он имел право заходить в любые порты, а однажды начальник вокзала свистком задержал экспресс, чтобы герцог мог сесть в него. Надо сказать, что компания железных дорог не жаловалась на него. Каждый год второй герцог Вестминстерский снимал специальный поезд, чтобы со своими спутниками отправиться в Ливерпуль на розыгрыш национального Гран-при. Англичане знали, что делал он это не из-за одной только страсти к скачкам или желания обратить на себя внимание. Герцог поступал так и из любви к спорту и по семейной традиции.

Дело в том, что история Гросвеноров тесно переплеталась с историей их лошадей. Не случайно на стенах Итонхолла на почетном месте висели как портреты предков, которых обессмертили Гейнсборо и Рейнольдс, так и написанные ловкими анималистами того времени портреты их лучших лошадей, по крайней мере тех, что прославились на полях сражений или ипподромах, таких, как *Копенгаген* (выращенный на конном заводе в Итоне, на нем восседал герцог Веллингтон в день битвы при Ватерлоо) и *Макарони,* о котором с таким почтением говорили за семейным столом, что юный Гросвенор — это было вскоре после смерти его отца — спросил у няни:

— А я? Я тоже происхожу от Макарони?

После смерти некоторых питомцев конных заводов герцога их драгоценные позвонки, словно редкие экземпляры слоновой кости, выстраивали в ряд под люстрами Итонхолла. Они становились главной достопримечательностью просторных галерей. Скелеты внимательно разглядывали, пытаясь разгадать секреты превосходства их обладателей. Первый герцог Вестминстерский, который занимался воспитанием внука, частенько рассказывал ему об экспонатах, медленно прогуливаясь среди скелетов.

— *Тачстоун* от *Кеймела* и *Бентер,* — объяснял дед. — В обоих текла горячая кровь Эклипса. Двадцать лет провел на заводе. От трехсот двадцати трех случек родилось триста двадцать три победителя. Он появился на свет в тот год, когда старший из Гросвеноров получил от Виктории титул маркиза Вестминстерского. Было это в 1831 году. У него было только девятнадцать ребер…

— У кого это? — спрашивал ребенок. — У маркиза?

— Да нет же. У *Тачстоуна.* Посчитай.

Вопросы ребенка становятся понятнее, если учесть, что через несколько месяцев после одной из самых крупных побед его деда на дерби мальчика прозвали Вендор, по имени лошади-победителя, знаменитого *Вендора* от *Донкастера* и *Красной розы.* Имена, полученные им при рождении — Хьюг Ричард Артур, — были так прочно забыты, что второй герцог Вестминстерский фигурировал в анналах своего времени и в сердцах своих любовниц под именем Вендор. Вендор… Удивлялась ли этому Габриэль? Ничуть. Безусловно, странности Итонхолла в свете пережитого ею в Руайо выглядели повторением пройденного, и потому чудачества Гросвеноров были для Габриэль приемлемее, чем для кого-либо другого.

— Во всяком случае, — говорила она, — люди в Англии устроены не так, как мы. Можете вы себе представить, чтобы кто-

нибудь из семьи Ноай носил лошадиное имя? Чтобы Ноай звался Епинар, Бириби, Жюжюбье или как-нибудь в этом роде? Тогда как в Англии… В общем, подобного рода вещи случаются в Англии чаще, чем во Франции, и там не обращают на это внимания.

Вендор часто рассказывал Габриэль, что, когда современники пели деду дифирамбы — будучи пажем при короновании Виктории, он из вежливости умер за тринадцать месяцев до нее; в течение пятидесяти лет, занимая место в парламенте, сумел выказать себя в достаточной степени либералом, чтобы удивить своих собратьев, но при этом вел себя с достаточным юмором, чтобы обеспечить себе их уважение; он с успехом выступал то в защиту армянского меньшинства, подвергавшегося преследованиям со стороны турок, то вносил законопроект в поддержку продавщиц магазинов, с тем чтобы они получили право пользоваться стульями и чтобы сидячее положение не воспринималось как оскорбительное покупателями, и, несмотря на ожесточенные споры, герцог выиграл дело, получив порядочное большинство, — все это на самом деле меньше послужило его славе, чем то, что, повинуясь некоему высшему инстинкту и застав врасплох мир скачек, он потратил неслыханную сумму в 14 000 гиней и купил *Донкастера,* эталон, который в конюшнях Итонхолла произвел на свет целое потомство непобедимых лошадей. Первый герцог Вестминстерский был также Главный конюший королевы Виктории, и этот титул столь же много значил в глазах общественного мнения, как и то, что носитель его друг Гладстона. Все бескорыстные поступки герцога, все больницы и церкви, построенные на его средства, были забыты, но знаменитой стала тысячекратно повторенная фраза, сказанная несравненным предком американскому миллиардеру, которому он отказался продать *Вендора:*

— Во всей Америке не хватит денег, чтобы купить такую лошадь.

Как в эпоху весьма строгого этикета первый герцог Вестминстерский сумел убедить монархов, которых он принимал у себя, согласиться на то, чтобы среди его приглашенных находилась лошадь? Вопрос, который задавал себе не только его внук. Ибо в тот день, когда дед давал прием на открытом воздухе в честь золотого юбилея королевы Виктории, самым заметным было появление не принца Уэльского, не наследного принца Пруссии, не короля Дании, не королевы Бельгии, не королевы Гаваев в забавных нарядах и даже не красавицы госпожи Альбани, знаменитой певицы, а *Ормонда,* лошади века, родившейся от *Вендора* и *Лили Агнес,* продолжавшего по отцу знаменитую линию

Донкастера, а по матери — линию *Макарони, Ормонда,* чье потомство маленький Гросвенор знал лучше, чем собственную генеалогию, и которому специальным разрешением лорда-мэра Лондона было разрешено пересечь Сент-Джеймский парк, а потом Грин-парк, дабы избавить его от неудобств транспорта. Вычищенный, выхоленный, завитой, с точеной грудью, безукоризненной линией спины, выказывая почтение коронованным особам, в меру и тактично поигрывая своими удивительно мощными ногами, *Ормонд,* не посрамив себя, прекрасно держался в центре газона и, не заставляя себя упрашивать, хрустел цветами, которые ему предлагали самые знатные дамы Англии в платьях и лентах по моде осени 1877 года.

Всякий раз, когда Вендор вспоминал о своем замечательном деде, ему казалось, что замогильный голос кричит ему: «А что сделал ты? Что ты сделаешь с нашим именем?» Ибо в момент встречи внука с Габриэль предок продолжал давить на него всем грузом своих викторианских добродетелей. И это была боль, не утихавшая со временем. Прошло четверть века с того дня, когда Вендор в Южной Африке получил известие о смерти деда и узнал о трауре в Чешире, о закрытых магазинах, о приспущенных флагах, о похоронном звоне колоколов, о речах, оплакивавших смерть самого крупного филантропа, которого когда-либо знала Англия, о двух, одновременно отслуженных панихидах — в Честере и Вестминстерском аббатстве в присутствии королевской семьи. Прошло четверть века, но ничто не изменялось для Вендора. Как будто, испустив последний вздох, герцог Вестминстерский еще сильнее заставил внука ощутить свою недостойность, и всю жизнь Вендор не мог простить себе, что не сумел стать ровней великому и доброму человеку, которого к последнему прибежищу провожало подразделение полка, с 1797 года всегда полностью состоявшего из людей Вестминстера. Провожало без Вендора… Ибо дело было еще и в этом. Шла бурская война, и Вендор находился в Африке… Он не увидел маленькую неожиданную записку, написанную рукой деда: «Никаких цветов», не увидел букет бессмертников, который по просьбе старой толстой королевы, его приятельницы, стал исключением. К цветам, лежащим на гробу, была приложена карточка: «В знак уважения и почтения от Виктории, королевы», но Вендора не было. И это тоже лежало на нем грузом… Вендора все время оттесняли в прошлое, к его первым переживаниям.

Говоря о том, что втайне терзало любовника, Габриэль Шанель употребила одну из тех формул, на которые она была мастерица:

— Надо было знать, чем был его дед, чтобы понять, чем Вендор не был.

Но сказать, что дед превосходил его во всем[92], что у него было больше почестей, больше успехов, больше богатства, больше лошадей и больше побед, чем можно себе представить, — четырежды выигранное дерби! — значило приподнять покров лишь над малой частью драмы, переживаемой внуком.

Главная беда состояла в том, что у деда было больше детей, чем у всех его современников. Пятнадцать от двух жен: первая была его кузиной, вторая, моложе на тридцать два года, — сестрой его зятя, таким образом, первый герцог Вестминстерский, в возрасте пятидесяти восьми лет, стал свояком собственной дочери… У Вендора же от двух браков было только две дочери и один наследник мужского пола, умерший в возрасте четырех лет от аппендицита. Найти женщину, которая помогла бы ему забыть эту смерть, это горе, стало одной из навязчивых идей Вендора.

Эта женщина должна была обладать одновременно качествами любовницы и жены, она должна была быть достаточно пылкой, чтобы победить его скуку, достаточно умной, чтобы прощать ему неверность, достаточно преданной и плодовитой, чтобы наградить его многочисленным потомством. Он ее так и не встретил. Существовала ли она? Те, что, казалось, подходили для этой роли больше всего, нагоняли на него смертельную тоску. Он бежал их. Те, на ком он женился — всякий раз искренне желая никогда больше не разводиться, — не дали ему детей. Поэтому он был женат четыре раза. Разочаровавшись во второй раз, он чувствовал себя уязвленным, и, говоря по правде, обкраденным. Ему предлагали только поддельное счастье. Этого оказалось достаточно, чтобы разочарованный и изумленный, как почетный гость, которому жизнь внезапно отказала в лучшем месте за столом, Вендор стал вести иной образ жизни, нежели было принято в его среде. Но если его поведение и противоречило британскому истэблишменту, то это никогда не касалось ведения дел, а только выбора друзей.

Эпизод «Шанель» располагается между второй и третьей женитьбой герцога.

Влечение, которое он испытывал к Габриэль, то, что он ее выбрал, — все это показывает реакцию человека, который был словно чужой своему времени. Он испытывал восхищение от того, что познакомился с женщиной, которой работа дала свободу и которая благодаря постоянному стремлению идти в ногу с жизнью так замечательно отождествлялась со своей эпохой.

II
После «Голубого экспресса»

На берегах Сены погасли электрические гирлянды, и выставка декоративного искусства закрыла свои двери.

«Торжественное закрытие» состоялось в вестибюле Большого дворца в присутствии президента Республики, иностранных делегатов и пяти колониальных комиссаров, персонажей самых экзотических. Хористы Оперы затянули «Марсельезу». От площади Согласия до площади Альма начали разбирать павильоны, которые посетили миллионы любопытных, французов и иностранцев. На выставке были представлены мебель, архитектура — там можно было увидеть церковь, кладбище, города-сады, фонтаны, и в большом музее жилья, на шесть месяцев лишившем парижан эспланады, обозначились контуры нового образа жизни. Там был даже дворец Элегантности…[93] Особенность мероприятия состояла в том, чтобы собрать вместе платья Жана Пату, Шанель, Жанны Ланвен, представить ткани Пуаре, шелка, осветительные приборы, мебель, хрустальные изделия Лалика, лаковые — Дюнана, драгоценности Картье, ювелирные изделия Кристофля, художественные украшения из железа, фарфор. Французские и иностранные экспонаты должны были отвечать лишь одному требованию — четкость линий и форм, строгость декоративных элементов, умеренная рельефность.

Успех выставки был неоспоримый. Никогда еще обязательные условия не были соблюдены столь строго.

Новая мебель, без резьбы, без украшений, входила в эру индустриализации, то есть массового производства и доступности.

Женская мода, безусловно, должна была сочетаться с подобным интерьером. Она упразднила локоны, шпильки, длинные волосы и ночные рубашки, которые заменила одежда, до сих пор предназначавшаяся для мужчин, — пижама. Нижнее белье было сведено к минимуму. Наконец, чтобы женщины как можно меньше отличались от мужчин, которых впредь они хотели считать товарищами по работе и с кем хотели быть на равных, мода «убрала грудь» и впервые заставила женщин носить прически, похожие на блестящую черную шевелюру Рудольфа Валентино. Это означало использование бриллиантина и стрижку «под мальчика».

От Шанель новые веяния моды не требовали никаких

изменений. Она и была новой модой, ее зачинательницей. Но если в профессиональной сфере выставка декоративного искусства ничему ее не могла научить, то социальная значимость подобного события была огромной. Она показала, что, помимо воли или желания Габриэль, ее стиль распространился за пределы того круга, к которому принадлежали ее клиентки.

Так, одновременно с платьями, изготовление которых требовало больших денег и которые предназначались для избранной публики, в силу самой их простоты появились подпольные копии, недорогие, доступные для менее состоятельных женщин. Откуда они взялись, эти платья? Надо ли было открывать на них охоту? Объявлять войну копиистам? Так решило поступить большинство модельеров. За единственным исключением — Шанель. Превратиться в жандарма? Возбуждать иски? Заранее проигранное сражение, она это знала. Но начиная с 1925 года Шанель пришла к выводу, что мода тоже вступила в эру популяризации и впредь будет больше подчиняться коммерческим требованиям, нежели капризам, поэтому от сезона к сезону следует подвергать ее *разумным* изменениям, подобно тому как кузовной мастер меняет линии автомобиля.

В 1926 году американское издание «Вог» предсказывало, что некое платье ошеломляющей простоты станет своего рода униформой, которую все станут дружно носить. Платье без воротника и манжетов, из черного крепдешина, с длинными облегающими рукавами, с напуском на бедрах, плотно обтянутых юбкой, — это было создание Шанель, прямое узкое платье. Чтобы многие женщины согласились носить одну и ту же модель? Предсказание казалось совершенно безрассудным. Тогда, чтобы доказать своим читательницам, что платье будет обязано успехом удобству и *безличной* простоте, «Вог» сравнил его с автомобилем. Разве покупатель станет колебаться при покупке машины под тем только предлогом, что она не отличается от остальных? Напротив. Подобное сходство гарантирует качество. Применив этот принцип к моде в целом и черному платью в частности, журнал заключал: «Вот „форд“, созданный Шанель».

Осень 1925 года… Реверди готовил свой отъезд в Солем, Габриэль с трудом смирялась с этим. Тогда с ней случилась обычная история: она набросилась на работу, на друзей, но к тому же упивалась развлечениями в обществе, воплощавшем все то, что человек, заставлявший ее страдать, научил ее ненавидеть.

Ее квартира на улице Фобур-Сент-Оноре никогда не пустовала. Чаще, чем прежде, там встречались танцовщики из «Русских балетов» и друзья Миси, к которым прибавлялись новые знакомые, по-прежнему из артистического мира: Колетт, Дюнуайе

де Сегонзак, Кристиан Берар, Жан Деборд. Ее клиентура тоже значительно выросла. И Габриэль стала принимать у себя и бывать у женщин, которых одевала: южноамериканки, американки с Севера, миллиардерши из Аргентины, всякие Санчез Элиа, Педро Коркуера, Мартинез де Хоз, Вандербильты. Из какой бы среды ни происходили клиентки Шанель, они принимали ее за своим столом и показывались в самых людных и шикарных местах в обществе своей портнихи.

Наконец, случалось и так, что Габриэль видели не с ее клиентками, а с их мужьями.

В специализированных изданиях львиная доля места отводилась Шанель. Страница за страницей, речь шла только о ней. «Все, кого в Париже интересует элегантность, бывают в салонах Шанель», — писали во французском издании «Вог». И там же: «…тонкость покроя, внешняя простота: усилия остаются невидимыми».

В Париже, Монте-Карло, в Биаррице, Довиле — ее видели повсюду.

На самом деле она принуждала себя. Любой ценой она должна была выстоять, выдержать. Она танцевала шимми с таким исступлением, что порвала свое сказочное ожерелье, и сто приглашенных на одном из праздников бросились на колени, чтобы собрать рассыпавшиеся жемчужины. Это свидетельство Жоржа Орика.

Осень 1925 года… Кеес Ван Донген, известный в те годы художник, готовил иллюстрированное издание «Эмансипированной», самого вульгарного романа.

Осень 1925 года… Доллар держался высоко, и Хемингуэй, Скотт Фицджеральд, Дос Пассос, Синклер Льюис, Торнтон Уайлдер, Генри Миллер жили в Париже.

Осень 1925 года… Развод герцога Вестминстерского со второй женой, Вайолет Мэри Нельсон, на которой он женился пять лет назад, произвел больше шуму, чем хотелось. Судебное решение было не в пользу герцога. Неприятный случай адюльтера — герцог был застигнут на месте преступления в гостинице в Париже.

Все это весьма противоречило правилам британского истэблишмента, и виновный был на несколько лет отлучен от двора. Но Монте-Карло было местом, где все оказывалось возможным. Именно там, на одном из вечеров, герцога Вестминстерского представили Габриэль Шанель.

* * *

Любовные письма, доставлявшиеся из Лондона в Париж курьерами Его милости, без конца сновавшими туда-сюда; цветы, срезанные то в теплицах для гардений, то в теплицах для орхидей Итонхолла; корзины фруктов, собранных самим герцогом в оранжереях, где в разгар зимы росли дыни, клубника и мандарины; шотландские лососи, только что выловленные, поручались специальным курьерам, путешествовавшим самолетом, что казалось экстравагантным, — после такой удивительной осады была завоевана Габриэль.

Однажды, не имея еще привилегии разделять с ней ложе, но желая, однако, устроить Габриэль одну из любимых своих шуток, герцог спрятал на дне ящика с овощами шкатулку. В ней находился только один камень, но огромных размеров — необработанный изумруд. У метрдотеля перехватило дух. Жозеф — а это он открывал посылки — радовался этим дарам так, словно они были адресованы ему. Свидетельство его дочери подтверждает, что все, что говорилось об этом периоде жизни Габриэль, вовсе не легенда и что Вендор действительно осыпал Габриэль бесценными подарками.

Несмотря на это, она колебалась. Когда ее спрашивали почему, она пожимала плечами. Ответ ее был в этом усталом жесте, словно говорящем: «Душа не лежит…» Следовало понимать, что душа лежала уже только к работе.

Дело в том, что в некотором смысле она уже не была одна. Вокруг нее собралась группа артистов, которыми она гордилась больше, чем любой своей победой… Это было лучше, чем удачный брак, чем знатный титул. И то, что Жозеф продолжал считать художников и музыкантов приживалами, не мешало Габриэль думать, что отчасти они стали ее *жизнью*. Бросить все это? Она говорила также: «Я не представляла себе, что́ бы я стала делать в Англии…» Ибо она знала, как хрупки подобные союзы. Включить в свой круг Вендора, вовлечь его в компанию артистов значило обречь все на распад, часовня ее обратилась бы в прах, художники бежали бы от нее, как другие когда-то бежали от Миси, когда та была замужем за Эдвардсом. Следовало ли ей ввязываться в подобную авантюру? Вендор невольно оторвал бы ее от дела, которое одно только давало ей уверенность, от друзей, единственного предмета ее гордости. Чего ей было ждать от него? Драгоценностей? Разве теперь у нее не было возможности купить их столько, сколько душе угодно? Конечно, не таких красивых и не в таком количестве, но какая разница! Так чего же ей ждать? Того, чтобы ее узнал весь цвет лондонского общества? Это был весомый аргумент, который сторонники герцога не преминули использовать.

Ибо он заручился некоторыми связями в стане Габриэль.

Одна из его приятельниц с нежно-розовым цветом кожи, отличавшаяся необычной выразительностью, так нравящейся англичанам, одна из трепетных молодых женщин, которых немало крутилось вокруг него, принадлежала к кругу близких друзей Габриэль. Ее звали Вера Бейт. Она родилась в Лондоне в 1888 году, ее настоящее имя — Сара Гертруда Аркрайт. Во время первой мировой войны она была медсестрой во Франции. В Париже встретила своего первого мужа, американского офицера Фреда Бейта, за которого вышла замуж в 1919 году и с которым разошлась в 1927, чтобы в 1929 выйти замуж за офицера-итальянца, одного из лучших наездников своего времени, Альберто Ломбарди. Родство Веры Аркрайт с королевской фамилией не вызывает никаких сомнений, хотя в свидетельстве о рождении она значится дочерью каменщика. Наиболее распространенная версия заключалась в том, что она была незаконной дочерью одного из потомков герцога Кембриджского, которому из-за морганатического брака было разрешено дать сыновьям только имя Фиц-Джордж. Этим объясняются тесные связи между Верой Бейт и принцем Уэльским. Красавица Вера… Никого в высшем лондонском обществе не любили так, как ее, и именно она, не желая ничего дурного, представила Вендора Габриэль после одной из вечеринок в Монте-Карло. Англичанка по рождению, американка по замужеству, неподражаемая смесь дерзости и красоты, Вера в то время разводилась. Она напоминала Габриэль Антуанетту своим аппетитом к жизни, Адриенну — своей элегантностью, обеих — денежными проблемами. Этим объяснялось то, что она работала у Шанель с 1925 года, хотя никто толком не знал, чем она занималась.

До сих пор не найдены слова, чтобы определить эти обязанности, не поддающиеся дефинициям, хотя они распознаваемы с первого взгляда. Зазывала? Вера отказалась от имени Сара, чтобы не отстать от моды? У Габриэль было еще полно славянок, и миссия Веры состояла в том, чтобы Дом Шанель мог воспользоваться ее связями и знакомствами. К тому же она так умела носить туалеты, что ее подругам тут же хотелось иметь точно такие же. Ее платья? Все думали, что они Верины. Неверно, это Шанель дарила их ей. Одним словом, манекенщица, щеголиха, одевавшаяся с малыми затратами, но этим не ограничивалась роль Веры Бейт. Она давала дельные советы, и Габриэль ее слушала. Добавим, что у Веры было такое количество воздыхателей, что, увидев, как все эти Арчи, Харольды, Уинстоны, Даффы искали ее общества, услышав столь великолепное оксфордское или кембриджское произношение,

Габриэль решила, что для завоевания Англии одной Веры вполне достаточно. К чему ей был нужен герцог?

Некоторые свидетели утверждают, что Габриэль довольно сурово отклонила первые авансы Вендора. Если бы она задумала хитрить, чтобы сильнее привязать его к себе, она не нашла бы ничего лучше. Визиты герцога в Париж участились, а сюрпризы и проделки следовали друг за другом в ускоренном ритме. Как-то, очень поздно вечером, Жозеф открыл дверь гиганту, которого почти не было видно за грудой цветов. «Поставьте их сюда», — сказал он, но, когда стал давать чаевые, узнал герцога Вестминстерского, явившегося лично с продукцией своих теплиц.

Через некоторое время после этого в дверь как-то позвонил неизвестный молодой человек и, зная что Габриэль страшно занята подготовкой коллекции, стал умолять, чтобы ее не тревожили. Он утверждал, что у него назначено свидание с Верой Бейт. «Ее нет», — ответил Жозеф. Посетитель, обладавший прекрасными манерами, смутился. Он во что бы то ни стало хотел дождаться ее в буфетной. Жозеф удивился, но, подумав, что гость — персона «не слишком важная», усадил его и забыл о нем. Прошло несколько часов. Наконец явилась Вера. Тогда Жозеф вспомнил о посетителе, по-прежнему не дожидавшемся. Но тот, соскучившись в буфетной, перебрался на кухню и вел с поваром оживленный разговор о том, какая нужна сноровка, чтобы удачно приготовить профитроли.

— Миссис Бейт пришла. О ком мне доложить? — спросил Жозеф.

— О принце Уэльском, — ответил неизвестный.

В то время как друзья Габриэль много хохотали в подобных случаях, ее такие мелочи повседневной жизни забавляли не слишком. Что скрывалось за ее сдержанностью? Только враждебность по отношению к тому, кто думал завоевать ее драгоценностями, лестными знакомствами и цветами. Известная песня… Ее вновь заставляли вернуться во времена, внушавшие ей отвращение. Содержатели… Как Вендор ни старался, накопившаяся у нее горечь долго была сильнее всего. И долго она старалась дарить ему столько же подарков, сколько получала от него сама.

Но вот британские хроникеры стали приписывать герцогу намерение жениться. Они были категоричны: на сей раз речь шла о француженке. Очень известный модельер… Тогда, подталкиваемая, подгоняемая иллюзией, Габриэль решила выказать больше великодушия. Однажды вечером, когда она находилась на борту «Flying Cloud», Вендор воспользовался тем, что почти все гости уехали, и отдал приказ поднять якорь. Они

оказались в море у берегов Монте-Карло, она и он, почти вдвоем… Наконец-то… Впрочем, «вдвоем», — это только так говорится. Ибо герцог похитил еще и спрятанный им на яхте оркестр.

Последняя проделка в предвкушении наслаждений, на которые он надеялся.

III
Обучение роскоши

Вновь для Габриэль настало время изумляться. Вновь она поверила, что то, что завязывалось, уже не развяжется. После того как проходило некоторое удивление, она теряла голову и начинала мечтать о замужестве. В каждом из домов, куда возил ее герцог, она видела окончательный приют: будь то Мимизан, его «хижина» в Ландах, или Сен-Санс, замок в Нормандии, или рыбачий домик в Шотландии. Где она только не побывала!

Она ездила в Англию так часто, как могла. С молниеносной быстротой она познакомилась с многочисленными владениями своего нового любовника. Прежде всего с двумя его яхтами. Одна стояла в средиземноморском порту, другая у берегов Ламанша или Атлантики. Обе дожидались, когда Его милости заблагорассудится ими воспользоваться. «Flying Cloud», четырехмачтовая шхуна, насчитывала сорок человек экипажа и была полностью обставлена мебелью эпохи королевы Анны. Кровати с балдахинами, тяжелые резные буфеты, столы из массивного дерева — словом, плавучий музей. Бывший эсминец «Cutty Sark» водоизмещением в 883 тонны был построен для торговли с Дальним Востоком майором Генри Кесвиком, самоуверенным торговцем из какой-то «Чайна трейдинг фирм». Будучи не в состоянии содержать судно, от тут же перепродал его Вендору, к вящей радости последнего. Это был корабль, способный выдержать любые бури, и на всем свете не было места, где Вендор чувствовал бы себя лучше. Едва поднявшись на борт, он с детским нетерпением поджидал штормовой погоды. Любовницы не должны были страдать от морской болезни — он отверг не одну по той простой причине, что они то ли от страха, то ли из-за недомогания боялись волнения на море. Корабль должно было качать, яростно вертеть, мебель должна была ездить по полу, угрожая пассажирам, а перепуганные дамы должны были умолять капитана как можно быстрее пристать в ближайший порт. Капитану было запрещено это делать, какова бы ни была погода. Тогда среди всеобщей паники герцог закрывался у себя в каюте и крепко засыпал. Он появлялся только после того, как буря заканчивалась. Бесстрашие, выказанное Габриэль перед лицом разбушевавшейся стихии, во многом повлияло на уважение, которое испытывал к ней ее спутник.

В хорошую погоду Вендор дожидался ночи и отдавал команду тайно сменить курс. Это резко нарушало планы приглашенных.

Утром изумленные пассажиры беспокойно спрашивали стюарда: «Что это за берега?» Где бы ни находилось судно, приказано было отвечать: «Это, должно быть, Испания».

Габриэль познакомилась также со специальными поездами, состоявшими из двух пульмановских вагонов и четырех багажных, предназначенных для перевозки чемоданов и собак. Ее фотографировали в компании Вендора во время Большого Ливерпульского приза. Хроникеры следили за ее малейшими жестами, а друзья Вендора удивлялись, что в области одежды вкусы «знаменитой модельерши» столь просты.

Наконец, она научилась разбираться в Итонхолле. Она удивлялась изысканности, связанной с блеском далеких викторианских времен, когда замок с неожиданным визитом посещали члены королевской фамилии. Тогда владелец Итонхолла, самый богатый подданный королевы, считал своей обязанностью вести себя так, чтобы жизнь его казалась постоянным праздником. Во времена Габриэль — на уик-энды в Итонхолле обычно собиралось около шестидесяти приглашенных, среди них бывали Уинстон Черчилль и его жена, близкие друзья герцога — некоторые из обычаев тех времен еще соблюдались. Бальный зал, где начиная с 1886 года танцевали все герцоги Йоркские, Кларенс и Уэльские, всегда был открыт и пол только что навощен. Достаточно было позвать местных оркестрантов в красных куртках и лакированных башмаках, как можно было танцевать. В некоторых случаях обеды проходили под музыку: либо органист при замке импровизировал на монументальном органе, либо артистов с немалыми издержками привозили из Лондона. Иногда это был чревовещатель, иногда комики, в другой раз знаменитый карманник… Габриэль худо-бедно познакомилась с целым батальоном лакеев, которым командовал метрдотель, более важный, чем генерал, освоилась с галереями и анфиладой прихожих, где она часто терялась, хотя со всей серьезностью изучила их план.

Возвести колоссальное строение, ощетинившееся башнями и башенками, решил в 1802 году один из предков Вендора после того, как снес элегантную усадьбу, построенную в XVII веке. Губительная инициатива, из поколения в поколение все более тяжким грузом давившая на финансы Гросвеноров. На огромном пространстве возвышались образчики всех архитектурных стилей, бывших в ходу между царствованиями Карла II и Георга III. Габриэль нашла себе ориентиры. Все галереи были сводчатыми. Была псевдоготическая галерея с тяжелыми мраморными пилястрами и мозаичным полом; была другая, менее суровая, с римскими бюстами, потом галерея с лошадьми, потом

библиотека, где громоздились десять тысяч томов, наконец, парадная лестница, которую можно было узнать по огромному полотну Рубенса, украшавшему стены, а также по тому, что приходилось подниматься по ступеням между двумя рядами рыцарей в доспехах — двенадцать грозных фигур стояли в карауле, опустив забрала шлемов, — и, наконец, а точнее, прежде всего, была миссис Крокет, с ключами на поясе, радушная домоправительница, всегда готовая прийти на помощь потерявшимся гостям.

Итонхолл был непоправимо безобразен. Было испробовано все, чтобы сделать его фасады менее безвкусными. С 1802 по 1882 год Вестминстеры потратили целое состояние, разрушая и возводя отдельные части Итонхолла. До Вендора его дед понапрасну потратил шестьсот тысяч ливров, чтобы увенчать зубчатые башни покатыми крышами, но это ни к чему не привело. Тогда герцог решил, что если чего и недостает замку, так это статуи. Установленная в центре главного двора, большая и видимая от въезда, она несколько оживит Итонхолл. Было заказано гигантское изображение Хьюга-Волка. Но тут первый герцог Вестминстерский сообразил, что основатель его семьи был неисправимый греховодник. Это могло шокировать пуританку, старую толстую королеву, его приятельницу. Он решил изменить свой замысел и попросил скульптора переделать заказанную статую в святого Освальда. Увы, было слишком поздно… Мастер уже посадил сокола на руку безжалостного охотника, и, поскольку, согласно историческим данным, тот отличался тучностью, скульптор взгромоздил его на першерона. Что же дальше? Движимый все тем же стремлением оживить Итонхолл, первый герцог Вестминстерский решил прибегнуть к помощи музыки. Колокола — вот что было нужно. Он заказал их в Бельгии, ибо тамошний перезвон считался значительно превосходящим английский. Органист из собора Святого Павла специально был отправлен на литейный завод в Лувене, чтобы проверить все двадцать восемь колоколов и убедиться, что среди двадцати запрограммированных мелодий не забыт «Home, sweet home». Во времена Вендора именно под звуки этой мелодии приглашенные на уик-энд около полуночи расходились по своим апартаментам.

Оставался парк. Настоящее чудо. Вендор, в отчаянии от неисправимого уродства замка, не переставал приукрашать парк. Он осуществлял перемены со всей горячностью, на какую был способен, с юношеским энтузиазмом, как подросток, которому судьба не отказала ни в чем. И природа подчинилась его капризам. Он страстно любил бассейны геометрической формы и

капризно извивающиеся ручейки. Каждый вид в парке сам по себе уже был картиной. Герцог возил Габриэль кататься на лодке по озеру и показывал ей обезьяний остров. На всю жизнь она сохранила волшебные воспоминания о мягкости английских газонов, изобилии цветов и замечательной компетентности садовников. Наряду с шотландским твидом, полосатыми жилетами, которые носили по утрам лакеи в Итонхолле, с темной формой моряков «Cutty Sark», курткой с золотыми пуговицами и беретом, надвинутым на брови, больше всего ее привлекло в Англии именно это.

И тут же новые впечатления стали доминирующими мотивами создаваемых ею моделей.

С 1926 по 1931 год мода Шанель была английской. Газеты писали, что никогда еще в ее коллекциях не видели столько курток «решительно мужского покроя», столько блуз и жилетов в широкую полоску, столько «спортивных» пальто, столько костюмов и моделей, предназначенных «для скачек». Габриэль переняла английскую привязанность к свитеру. Но она сумела пойти дальше, предложив носить с ним драгоценности, которые дамы из английского общества надели бы разве что с парадным туалетом. Так под ее влиянием Мися принимала гостей во время завтраков, одевшись в костюм из марокканского крепа и простой свитер — смесь, вызвавшая самое живое удивление у законодателей мод.

Удивление перешло в остолбенение, когда оказалось, что при этом на Мисе было «ее великолепное колье из бриллиантов в три нитки». Дело в том, что в 1926 году клиентки Шанель были охвачены стремлением к роскоши. Но к роскоши незаметной, не бросавшейся в глаза. До конца жизни Габриэль была убеждена, что единственная цель роскоши — сделать простоту примечательной.

Довольно быстро она была покорена той английской средой, в которой оказалась. Она сумела оценить то, что получала от нее, и быстро почувствовала себя в Итонхолле как дома. До такой степени, что привязалась к тому, что поначалу шокировало ее больше всего, — к архитектуре замка, напичканного средневековыми реминисценциями и отличавшегося всяким отсутствием чувства меры… Она забывала о тех деталях обстановки, которые вызывали в памяти как романы «плаща и шпаги», так и суровую поэзию драм Гюго. Поведение Габриэль вызывало иронические выпады Миси при каждом ее приезде. Мися утверждала, что в Вестминстерах есть несомненный макбетизм и что надо было быть сумасшедшим, чтобы воздвигнуть этот лес донжонов, на верхушках которых вам

постоянно мнятся сомнамбулические фигуры, готовые броситься вниз. Но, сравнивая великолепное убранство замка с обстановкой дома Сертов, Габриэль приходила к выводу, что между ними немало общего. Наконец, она полюбила Итонхолл за определенное обаяние дурного вкуса. Почему? Когда ее заставляли объясниться, она постоянно прибегала к сравнениям, свидетельствовавшим о былых ранах: одержимость чистотой, опрятностью, опасение нарушить правила простоты и естественности, иначе говоря, пристрастие ко всему тому, что отличало настоящее общество от мира куртизанок и выскочек.

— Итонхолл, — говорила она, — мог бы быть *отвратительным*… Вы понимаете, что я имею в виду? Если бы там жил Д'Аннунцио — пыльные драпировки, театральные костюмы, *нелепые* предметы, этакая дешевка в духе костюмированного бала. Напротив, чистота и английская естественность вызывали восхищение, заставляя забывать об уродстве замка. Торчащий за углом лестницы рыцарь в доспехах выглядит *мелодраматично,* но, стоит подумать, что он всегда стоял здесь… Тогда он воспринимается как нечто присущее этой земле, в особенности если оружие его начищено и содержится так, как будто им собираются воспользоваться снова. В Итонхолле был некий идальго в шлеме, на котором только перьев не хватало, он особенно притягивал взгляд. Упрятанный в свой железный каркас, он стал для меня чем-то вроде друга. Я представляла его молодым и красивым. Каждый раз, проходя мимо, я здоровалась с ним. Я говорила себе: «До чего же все-таки здорово устроена эта штука! И каким соблазнительным и могущественным, должно быть, чувствуешь себя, находясь внутри!» Когда я была уверена, что меня никто не видит, я подходила и пожимала ему руку.

Шанель открыла для себя *подлинную* обстановку, которую в уменьшенном и поддельном виде содержанки начала века пытались воспроизвести в своих жилищах. И это вдохновило ее на замечания, за которыми угадывался обвинительный акт, составленный по всем правилам. Но поскольку ей непременно надо было заниматься подтасовкой, вместо того чтобы впрямую напасть на невероятный стиль, отличавший обстановку и туалеты куртизанок, она предпочла спрятаться за подставным лицом — Д'Аннунцио. Примитивная хитрость. Навязчивый призрак Эмильенны д'Алансон бродил на задворках ее разговоров. Эмильенна ведь тоже совершила путешествие в Англию. «Ты будешь зваться графиней де Сонжон, и я познакомлю тебя с моим кузеном Эдуардом…» Именно так бельгийский король предложил ей сопровождать его. Эмильенна, Отеро, Лиана… Они носили

«гетры, охотничьи сапоги, перчатки, недоуздки из жемчугов, щиты из перьев, портупеи из атласа, бархата и драгоценных камней, кольчуги, эти *рыцари,* ощетинившиеся тюлем…»[94] Неприятие Габриэль *искусственности* во всех ее формах было неизбежно. Что же было делать? Поступать так, как поступала она, — изливать свою неприязнь, влиявшую на все ее суждения. Поэтому не будем заблуждаться относительно подлинного смысла безоговорочной и устойчивой англофилии Шанель: она зависела не столько от чувства, испытываемого к Вендору, сколько от озлобления по отношению к «воительницам любви», ибо больше всего она боялась, что ее приравняют к ним. Габриэль была постоянно охвачена злобой, служившей ей источником вдохновения. Со свойственными ей талантом, величием и глубоким разочарованием она постоянно боролась со своими воспоминаниями.

И между тем во время связи с Вендором сильна была в ней надежда, которую она вопреки всему носила в сердце: выйти замуж… Выйти замуж, как Марта Давелли, которая оставила пение и стала женой Константина Сэя, сахарозаводчика. Выйти замуж, как та, что продолжала на сцене зваться Габриэль Дорзиа, а в жизни стала графиней де Зогеб. Выйти замуж, как ее подруга Вера, наслаждавшаяся любовью красивого офицера-итальянца и ставшая Верой Ломбарди. Выйти замуж за Вендора… Габриэль пустила в ход все средства, чтобы добиться этого. Она сопровождала его повсюду. Она кружилась в вихре наслаждений, усвоив беззаботный образ вельможи, чью судьбу разделяла. Радость, которую он испытывал, постоянно меняя место жительства, была заразительной. Она путешествовала. Повсюду, где бы он ни бывал, он устанавливал суверенное право мыслить и поступать по-английски. Его рубашки, шляпы, походка, голос, шутки, рассуждения — все выдавало в нем англичанина. Даже то, как он воевал… В его устах малейший анекдот был отмечен печатью Англии. Она слушала его. Что осталось от духа новизны, кипящего и свободного, царившего в парижском доме Габриэль во время ее последних романов, что осталось от Кокто, Макса Жакоба, Реверди? Ничего. Она вела себя так, словно ничуть от этого не страдала, и с готовностью выслушивала рассказы о байронических поездках герцога Вестминстерского по пустыням Африки. Ибо если Вендор ненавидел свою эпоху, современное искусство и самолеты, то войну он любил.

В 1914 году его участие в мировом конфликте выразилось в том, что он предоставил в распоряжение английской армии свои «роллс-ройсы». Их у него было восемь. Так, после короткого пребывания в штабе сэра Джона Френча — кажется, что все

любовники-англичане Габриэль побывали там, — герцог оказался в ливийской пустыне, где с несколькими друзьями вел свою маленькую войну. У каждого члена его команды был оснащенный вооружением автомобиль, в котором были сняты сиденья, а на багажнике установлен пулемет. К «роллс-ройсам» добавились прогулочные машины, а также внушительное число грузовичков и фургонов, находившихся в гаражах герцога как во Франции, так и в Англии. Компания располагала также услугами доктора и тех членов персонала Итонхолла, которые последовали за своим хозяином. Жокеи, кучера и лакеи оделись в военную форму и занялись делами снабженческими. На их долю выпал поиск воды и горючего, уход за машинами, чистка башмаков. Тем временем Вендор и его друзья оставили на свою долю благородное дело использования пулеметов «хочкисс».

Совершив стремительный бросок, неведомо как они напали на лагерь воинов-сенусси, союзников турок и немцев, которые в изумлении сдались. Победители захватили оружие, продовольствие, боеприпасы и во время обыска обнаружили целые мешки писем на английском языке: это была корреспонденция британских пленных, которых сенусси держали в пустыне. Вендор укрепил свою колонну несколькими верблюдами, погрузил добычу и, следуя за проводником-заложником, отправился на поиски соотечественников. Он нашел их в ста пятидесяти километрах от лагеря, умирающих от жажды. Когда пленные увидели высокие капоты «роллсов», появившихся среди дюн, одни подумали, что сходят с ума, другие решили, что это мираж.

Что-то шутейное было во всем этом.

Но понятно, что герцогу приятно было вспоминать о прошлом.

Пока она жила с ним, Габриэль утверждала, что «в своем роде он был совершенством». Только покинув герцога, она признала, что его отличала некоторая интеллектуальная недостаточность.

* * *

Собирался ли Вендор жениться? До тех пор пока страсть была сильна — примерно до 1928 года, — вопрос об этом неявно, но стоял. Правда, для него речь шла не столько о браке, сколько о том, чтобы обзавестись наследником. Габриэль поняла это довольно скоро. Сразу же одной из главных ее проблем стало рождение ребенка. Дело в том, что она была уже немолода. Сорок шесть лет… Ее время было сочтено. Переходя от надежды к

разочарованию, она выходила из себя, но не отступала. Неважно, что тело ее заупрямилось. Она отнеслась к нему без всякого снисхождения, как порою относилась к тому, что ей сопротивлялось, — к своим служащим, работницам, манекенщицам, тканям. Она заставила себя пройти консультации. Она отдала себя в руки врачей, доверилась подозрительным заботам женщин, которых считала опытнее себя. В старости, когда она испытывала к кому-нибудь доверие, то давала понять, что перенесла операцию и, по совету акушерки, вынуждена была заниматься «унизительными упражнениями». На самом деле беда ее была вполне определенной — бесплодие. Озлобление, одиночество, неудача — все вытекало отсюда. Но ей еще удавалось с помощью словесных уловок или комичных намеков сваливать ответственность на других. То она разоблачала бесплодие Вендора, то намекала на его неспособность победить ее затянувшееся девичество. Кроме того, она еще говорила: «У меня всегда был *детский живот.* Со времен Боя…» И, несмотря на *пафос,* становилось ясно, что в этом и была ее драма. С Кейпелом, с Вендором. Драма, повторившаяся дважды. Так что трудно понять, почему вопреки своему предыдущему опыту она так долго сохраняла надежду. Выйти замуж за Вендора… Каждое свидетельство любви казалось ей доказательством того, что худшее не произойдет. В конце концов, так ли уж необходим ему наследник, как она вообразила? Она говорила себе: «Как знать? Может быть, он и без того женится на мне». Ибо Вендор осыпал ее подарками. Она принимала их, то невероятные, то трогательные, порой смехотворные. Они способствовали сохранению иллюзий.

В 1928 году она купила участок земли, засаженный оливковыми деревьями, на холмах Рокбрюна, с замечательно красивым видом.

Царская покупка[95]. Летний дом, расположенный по соседству с заправилами высшего лондонского общества и их женами, бывшими у всех на виду… Владение на Лазурном берегу, дом во Франции. Что больше могло соблазнить Вендора? В нескольких километрах от «Ла Пауза» его старый друг Уинстон Черчилль, отстраненный от власти, начал писать историю своей семьи. Черчилли жили то в Гольф-Жюане у Максима Эллиота, то на мысе Ай у лорда Бивербрука и лорда Ротермейера[96]. И для того, чтобы «Ла Пауза» в действительности стала местом встречи всех друзей Вендора, Габриэль подарила красавице Вере и ее мужу небольшой домик в глубине сада. Ибо близким другом всех этих знаменитостей была именно Вера, она была приятельницей Черчиллей и принца Уэльского в гораздо большей степени, нежели Габриэль.

И Вендор, казалось, был очень доволен подобным устройством дел.

Тогда, набравшись мужества, Габриэль произвела учет того, что, помимо ее неспособности дать ему потомство, могло помешать их союзу.

Если предположить, что о ее прошлом стало бы известно, не в этом была бы главная неприятность? Пение и даже кафешантан, с точки зрения англичан, не заслуживали осуждения. Лондон не Париж. Но Шанели? У нее больше не было сестер, не было матери. Торговец-отец? Скорее всего, он уже умер, давно в могиле. Не страшно. Образцовая тетка, живущая себе потихоньку, — Адриенна. На ее молчание можно было положиться. Перспектива брака сделала ее еще более осмотрительной, чем обычно. Оставались братья. Никто, кроме нее, ничего не знал о них. Ничего об Альфонсе, ничего о Люсьене. Но стоило какому-нибудь газетчику до них добраться, стоило прессе наброситься на них, как развязка была бы роковой. Да, братья. В них заключалась опасность.

Любопытно, но больше всего Габриэль боялась не Альфонса, казалось бы, внушавшего тревогу. У Альфонса, кроме нее, не было никакой поддержки и никакого ремесла. В крайнем случае, его можно было считать рантье, скромным пенсионером. Он по нескольку раз за год бывал в Париже. При каждой разбитой машине, каждом карточном долге, при каждом бурном скандале с женой, которая тут же прятала деньги и все запирала на ключ, Альфонс прибегал к помощи Габриэль, пользуясь моментом, когда она бывала одна. Обычно он садился напротив нее за стол, всякий раз стоявший на новом месте. Необычное это было зрелище, завтраки Альфонса в предместье Сент-Оноре. Чтобы представить себе, как они проходили, послушаем его дочерей. «Отец всегда привозил полно рассказов. Рассказов о том, как жила сестра, о ее доме, *похожем на индийский дворец,* о слугах, малых в ливреях и белых перчатках. Однажды он рассказал нам, как, едва сев за стол, сказал Габриэль: „Отправь на… этого холуя, что стоит рядом. Когда такой тип торчит за спиной, у меня аппетит пропадает“. И тетя Габриэль расхохоталась. Но метрдотель скорчил такую рожу! В другой раз отец признался сестре в печальном событии: „Габи, машины у меня больше нет. Она на дне оврага. Лучше ее там и оставить. В кусках…“ Вместо того чтобы рассердиться, Габриэль воскликнула: „У меня есть то, что тебе надо! Избавь меня от машины, которая стоит перед дверью, а заодно и от шофера“. И жители Вальрога увидели, как Альфонс вернулся в автомобиле типа купе неизвестной марки, а за рулем сидел здоровенный дылда в фуражке».

Габриэль обезоруживали проказы брата. Он сидел в коромандельских ширмах, одетый в черное, как севенцы, в широкополой шляпе, бывший шахтер, бывший бродячий торговец, бабник, скандалист, как и отец. Нет, Габриэль не ошибалась: ей нечего было бояться Альфонса, она была ему слишком нужна. И потом, кто откопает его в Вальроге? Севенны находились на другом краю света. Габриэль ограничилась тем, что дала ему больше денег, потребовав от Альфонса большего благоразумия. Самое главное, чтобы он не подавал дурной пример брату. У нее по горло работы, не хватало еще, чтобы он создавал ей неприятности. Альфонс пообещал. Он всегда обещал.

Люсьен, будучи независим, внушал больше беспокойства. Она платила ему содержание, это верно. Но тем не менее работать он не перестал. В рыночные дни он по-прежнему раскидывал свой лоток за собором в Клермон-Ферране и спозаранку, как и прежде, носил башмаки корзинками. Ужас был в том, что он любил это дело и неплохо зарабатывал. Уличный торговец! Брат будущей герцогини занимается уличной торговлей! Едва это станет известно, едва доверчивый Люсьен попадет в лапы журналистов, как Клермон-Ферран станет неисчерпаемым источником анекдотов для этой банды хулиганов. В Париже и в Лондоне будут без конца зубоскалить.

Разумеется, самым простым было бы поехать к Шанелям и объясниться с Люсьеном и его женой. Но у Габриэль не было ни времени, ни желания. Ехать в провинцию, где царило отчаяние? Она и думать об этом не хотела.

Люсьен получил от нее письмо. Габриэль хотела, чтобы он бросил работу. Теперь у нее были средства, и было бы естественно, чтобы братья воспользовались этим. Почему Люсьен должен по-прежнему скитаться по ярмаркам, тогда как Альфонс корчит из себя «важного господина»? Не пришел ли черед и Люсьену поступить точно так же? Он уже достаточно помучился, достаточно всего насмотрелся. Она не хотела, чтобы он больше работал. Пусть он найдет хороший дом, купит его, обоснуется там, главное, чтобы при доме был сад. Она пошлет ему нужную сумму денег. Габриэль зашла в своей хитрости еще дальше, выдвинув на первый план желание, уйдя от дел, поселиться в Оверне. Поэтому она потребовала от Люсьена выбрать такой большой дом, чтобы при необходимости там нашлось место и для нее. Умиленный, растроганный тем, что она так заботится о нем, вне себя от радости, что эта удивительная сестра собиралась жить у него, Люсьен повиновался. Между тем вся его жизнь была в ярмарках, в, криках торговцев, в ранних вставаниях. Бедный Люсьен… Пойдя против желания жены, он отказался от работы,

несмотря на доверие к нему поставщиков, несмотря на то что ему предложили постоянное место работы — он должен был заменить известных в округе фабрикантов.

Но Габриэль пообещала, что вернется…

Выше Клермон-Феррана — участок земли на склоне холма. Оттуда открывался замечательный вид. Он сказал об этом сестре и купил землю. Денег она не пожалела. Люсьен занялся строительством. У него получился миленький домик, из известняка, со стеклянным навесом над дверью, крохотным крылечком и каменными окладами на окнах. Что на это скажет Габриэль? Люсьен страшно волновался. Одобрит ли она, полюбит ли этот дом? Наконец он получил ответ: она сочла, что ему не хватило размаху, и хотела, чтобы он устроился как положено, на старый лад. Тут здравый смысл Люсьена взял верх. Сестричка переборщила! Она что же, хотела замок? Люсьен не представлял себя в доме с бесчисленными комнатами, с которыми не знаешь что делать. Как их обставить? И потом, это показалось бы подозрительным. Что подумали бы в округе о таком неожиданном богатстве? Он не собирался порывать со своими друзьями-торговцами, с обувными фабрикантами, со старыми клиентами только потому, что Габриэль хотелось, чтобы он жил в замке. Они пришли к согласию. Пусть будет домик, решила Габриэль. Она снова пообещала, что приедет.

Ни разу она туда не приехала.

Она добилась своего.

Люсьен больше не скитался по ярмаркам, и оба ее брата жили как рантье. Повода для насмешек больше не существовало.

Но в последнем письме она потребовала от Люсьена, чтобы он перестал видеться с Альфонсом, притом в выражениях весьма не любезных для последнего. Люсьен знает, писала она, что Альфонс — сорвиголова. Лучше не иметь с братом никаких дел, не так ли? Не то поневоле он попадет под дурное влияние…

И поскольку Люсьен считался с мнением сестры, такой доброй и такой великодушной, он вновь повиновался. Разлучить братьев? Помешать им видеться? Последняя хитрость Габриэль. Если бы Альфонс узнал, предметом каких щедрот стал Люсьен, он сразу же заставил бы Габриэль сделать то же самое и для него.

IV
Такие белые…

Порядок, наведенный в семье, почти сразу оказался бесполезным. Вендор обманывал ее, и Габриэль с горечью увидела, что ее ожидает то, что она однажды уже пережила с Кейпелом, став узницей отношений унизительных и лживых. На самом же деле год 1929 мог бы стать одним из самых прекрасных в ее жизни. Работы на вилле в Рокбрюне наконец-то закончились, строительство дома словно помогло Габриэль проявить себя. Стиль дома, идеи Габриэль в области интерьера служили образцом. Их перенимали, им подражали. Изобретенные ею духи «Номер 5» стали маркой, больше всего продававшейся в мире, и гармония еще царила между ней и фирмой, которой было поручено их распространение[97]. В области создания одежды все, что должно было стать модой тридцатых годов, — ткани, линии (платья до середины икры, юбки колоколом, определенный объем, пляжные пижамы), — все это родилось перед зеркалами ее знаменитого салона. Тем не менее в сердечных делах год принес ей одни разочарования. Габриэль с трудом выносила бесцеремонность своего спутника, не пытавшегося даже щадить ее чувства. Живя в «Ла Пауза», большую часть времени герцог проводил в казино Монте-Карло. Она засыпала его язвительными упреками. А он не допускал, чтобы его обвинили в чем-либо.

Порою вечерами тишина оливковых рощ виллы взрывалась ссорами, хлопали двери. Только что законченный, этот дом, задуманный для жизни прекрасной и счастливой, уже потерял свой смысл.

Странным было их путешествие на борту «Flying Cloud» вдоль далматских берегов в 1929 году. Внезапное и постоянное присутствие Миси в интимной жизни пары, находившейся на грани распада. Поражает тот факт, что, как только в сердечной жизни Габриэль возникали сложности, Мися появлялась и в конечном счете навязывала свое присутствие. Она была на борту, она путешествовала вместе с ними. Правда, у нее были свои причины быть подальше от Парижа. Хосе Мария Серт был страстно влюблен и заставлял ее выносить ежедневное присутствие своей любовницы — молодой грузинки, одержимой неодолимым влечением к самоубийству. Мися отправилась в путешествие, чтобы не переносить больше обескураживающей картины любовного треугольника: «Я вспоминаю Серта, развалившегося в кресле, в окружении двух своих жен, Миси и

Русси, распростертых у его ног»[98].

Во время стоянки в Венеции Мися отправилась на поиски Дягилева. Габриэль сопровождала ее. Венеция для нее отождествлялась с повторением: любовные разочарования и Мися, благодаря которой состоялось знакомство с Дягилевым.

Мися получила тревожную телеграмму. Дягилев находился в Лидо, больной, без должного ухода. Речь шла о неожиданном обострении болезни, которая беспокоила его близких на протяжении нескольких месяцев. В Париже его врач был категоричен: Дягилев страдал диабетом в последней стадии. Тогда, пытаясь бежать от удручавшей его правды, Дягилев отправился отдыхать сначала в Германию, потом в Австрию, где мог свободно нарушать запреты.

Как только он вернулся в Венецию, начался кризис. Болезнь походила на мозговую горячку и тиф. Это было ни то ни другое. Но местный врач, дворцовый Диафуарюс, отказавшийся подтвердить диагноз французского коллеги, терялся в «самых смутных предположениях»[99]. Ревматизм, тиф, грипп, сепсис — он колебался.

Дягилев принял Мисю и Габриэль 17 августа 1929 года в своем гостиничном номере. Он по-прежнему был в кровати, но температура спала. Последнее затишье. Он был оживлен, очарователен и строил планы путешествия. Их следующее свидание должно состояться в Палермо. А «Балеты»? Ему не хотелось об этом говорить. Внезапно любовь к музыке сменила любовь к танцу. Любовь необыкновенная, единственная.

Мися ушла от него в убеждении, что он обречен.

«Flying Cloud» вышла в море с двумя пассажирами на борту, стремившимися подавить в себе чувство скрытой озлобленности: Габриэль старалась преуменьшить для себя неверность любовника, а Вендор, хотя и строивший уже планы женитьбы, вновь находил в себе силы, чтобы обнадежить ее.

Мися осталась в Венеции.

Вечером, в гостинице, Дягилев говорил о том, как рад он был снова повидать своих друзей. Он все время повторял: «Они были такие молодые, все в белом! Они были такие белые!» И казалось, вся радость его заключалась в этом слове, в белизне, которой они были преисполнены, в этом была жизнь.

В ночь с 18 на 19 августа Мися, предупрежденная по телефону, примчалась в Лидо. У Дягилева началась агония.

Он не слышал шепота ухаживавших за ним. Он не понял, что означал сухой щелчок чемоданчика, который захлопнула, уходя, медсестра. Она сказала, что он едва протянет ночь. Он не слышал ее. Он не знал, что происходило в его комнате. И в Венеции. Кому

говорил он: «Прости…»? Священник, которого позвала Мися, не явился. Снаружи лагуна и вода смешались в предрассветных сумерках. Он не видел, как медленно занимается день. Он умер в первые утренние часы.

Те, кто присутствовал при его кончине, отметили, что в тот самый миг, когда дыхание его остановилось, в углу век появилась сверкающая точка, и из-под них выкатилась слеза. Словно вырвалось наружу изобилие образов, звуков, стран, людей, страстей, иллюзий, придуманных миров. Последний знак, поданный взором мечтателя, перед тем как его заволокло неумолимой мглой.

Как обычно, касса «Балетов» была пуста. Мися использовала наличность, которой она располагала. Надо было оплатить срочные расходы: счет за гостиницу, расплатиться с медсестрой, врачом, надо было… Но у нее тоже не хватило денег. Она отправилась к ювелиру, чтобы заложить драгоценность, стоившую очень дорого, — свое бриллиантовое колье. Делать было нечего. Как иначе организовать Дягилеву достойные похороны?

По дороге она встретила Габриэль, которая только что сошла на берег. Предчувствие. Она умолила Вендора, и тот согласился повернуть назад.

Визит к ювелиру оказался не нужен, и бриллианты остались на шее у Миси. Габриэль взяла расходы по похоронам на себя. Когда они назначены? На сегодня, на поздний вечер. Почему в такое неуместное время? Из-за постояльцев. Нельзя было… Но разразилась гроза. Гондола не смогла прибыть в Лидо за телом Дягилева. Все было отложено на завтра, на очень ранний час. Купальщики, постояльцы не должны были… Был разгар сезона.

Ранним утром от гостиницы отплыли три гондолы. В одной из них находился гроб: «Плавучая парадная кровать, венецианская похоронная процессия, уносила к траурному островку Сан-Микеле прах волшебника»[100]. Его сопровождали четверо друзей, одетых по-летнему: Кохно и Лифарь, Мися и Габриэль, обе в белом. Кроме них, на кладбище никого не было. «Несмотря на то что в Венеции очень мало деревьев, гроза усыпала дорогу зелеными ветками». Если верить рассказам Габриэль, едва гондолы пристали к берегу, Лифарь и Кохно хотели проползти до могилы на коленях. Она заставила их подняться, грубо и резко одернув: «Прекратите паясничать, прошу вас». Если верить Морану, «Лифарь бросился в могилу».

* * *

В конце того лета герцога Вестминстерского в «Ла Пауза» не видели. Габриэль проводила там время в обществе нескольких артистов и той, кого хорошо осведомленные журналисты называли «ее дорогая подруга Мися».

В Лондоне герцог Вестминстерский проявлял признаки дурного настроения. Если только это не была ревность. Ничего удивительного. Приехав в Париж, Габриэль быстро вернулась к прежним привычкам и старым друзьям. Неверный Вендор, с трудом освобождаясь от ее влияния, говорил о ней на ломаном французском, который британский акцент делал комичным: «Коко сошла с ума! Теперь она связалась с *кьюре*…»

Он принял решение: жениться. Не надеясь, что Габриэль погрузится в пучину горя, он все же хотел, чтобы о нем сожалели. Габриэль же с макиавеллиевской хитростью вела себя так, словно разрыв наконец-то освободил ее и «кюре», на которого намекал герцог Вестминстерский, был никто иной, как Пьер Реверди.

Тогда между ней и Вендором установился новый тип отношений. Разумеется, не обходилось без сучков и задоринок. В частности, Габриэль охотно обошлась бы без визитов, которые герцог Вестминстерский непременно наносил ей всякий раз, как бывал в Париже. Она предпочла бы оборвать эту проигранную партию. Но в некотором роде добродушие Вендора помогало ей «спасти репутацию». Она должна была опасаться света, подстерегавшего ее падение. Проклятого света, всегда поджидавшего разрыва, ссоры, света, от которого она зависела. Что было делать? Габриэль запретила себе думать об улетучившихся мечтах и своих обидах и продолжала поддерживать ложно-дружеские отношения, которые на самом деле были лишь судорожными проявлениями гордыни.

29 апреля 1930 года, в Париже, Адриенна наконец вышла замуж. Смерть отца позволила «обожаемому» дать свое имя той, которая ждала этого момента более тридцати лет. «Мадемуазель Габриэль Шанель, модельер, проживающая по адресу: 29, улица Фобур-Сент-Оноре», была свидетельницей невесты.

Было объявлено и о помолвке герцога Вестминстерского.

Он собирался жениться на Лоэлии Мэри Понсонби, дочери первого барона Сисонби. Верится с трудом, но первой заботой будущего супруга, поступавшего с бессознательной жестокостью тех, кому несметное богатство дает нечто вроде неограниченной власти, было представить свою невесту Габриэль. В своем благородстве он дошел до того, что спрашивал ее, хороший ли он сделал выбор.

V
Обманчивое возвращение

Починить, зашить, восстановить… На сей раз можно было бы сказать, что под влиянием своего ремесла Габриэль судила о делах сердечных терминами кройки и шитья. Заставить Реверди вернуться? Она снова принялась мечтать. Разве она не знала, что любовь нельзя залатать?

Возможно, чтобы вновь привлечь Реверди, она прибегла к предлогу более чем любопытному: предложила ему сотрудничество. Но мы не можем с уверенностью утверждать, что существовала прямая связь между ее предложением и возвращением Реверди в предместье Сент-Оноре. Когда она обратилась к нему? До его возвращения или сразу после? Был ли ее шаг предлогом или следствием? Этого мы никогда не узнаем. Из их корреспонденции сохранилось лишь несколько ответов Реверди, на которых не стоят даты. Как бы там ни было, этой переписки достаточно, чтобы доказать, что предложение сделано было примерно в 30-е годы, когда Реверди затеял писать заметки, которые составили потом «Мою бортовую книгу».

Чего она хотела? Чтобы они писали вместе. Речь шла только об афоризмах, предназначаемых ею для различных журналов. Но она считала, что все написанное ею не годится для печати, если Реверди не внесет свои поправки. На самом деле речь шла о том, чтобы дополнить несколько высказанных ею немногочисленных соображений, относившихся только к ее профессии, размышлениями более общего порядка — о любви, о способности очаровывать. Было ясно, что ей нужна помощь.

Кто лучше Реверди мог бы справиться с подобной задачей? После публикации ее заметок в 1927 году сомневаться не приходилось: в них был весь Реверди, с почти невыносимой лаконичностью оценивавший реальность.

Она должна была иметь над ним настоящую власть, иначе как бы он согласился на подобное сотрудничество? А он пошел на него охотно. Войдя в азарт, он покопался в своих запасах — «… это последнее, что я нашел, то, что было под рукой», — предоставил в ее распоряжение часть того, что собрал, — «…это только самые несерьезные шутки; остальные, те, что я даже не хотел бы видеть опубликованными при моей жизни, имеют смысл только в своей целостности» — и со всей деликатностью говорил о том, что он лишь *истолковывает,* а не *правит* написанное ею. Наконец, в каждом из его писем мы находим блестящий анализ

технических приемов творчества.

> «Разумеется, дорогая Коко, то, что я говорю о моих заметках, относится к ним в целом и связано только со мной… Кстати, поскольку они — отходы моей внутренней работы, я не знаю, когда они перестанут скапливаться… Я выбрал только несколько из старой рукописи, те, что отличаются определенным изяществом. Я пишу их, даже когда бываю пьян. А сколько их я сжег!
>
> Вот как я истолковал написанное вами: **можно ли осмелиться доверить груз оправдания в своей правоте тому, кто не может даже дождаться ответа?**
>
> А вот изречение, которое я нашел, открыв случайно и наудачу Лабрюйера, оно замечательно подходит к некоторым дружеским отношениям, оправдать которые нельзя ничем и которые я сам поддерживал. Это история моих пьяниц. Любопытно, не правда ли?.. **„Ничто так не похоже на крепкую дружбу, как отношения, которые мы поддерживаем в интересах нашей любви…“**
>
> Надо иметь нахальство писать в подобном жанре, после того как вы прочли таких типов, как Лабрюйер. Купите его „Характеры“: у вас в библиотеке есть „Максимы“ Ларошфуко и Шамфора. Возьмите и почитывайте их время от времени по вечерам. Это так же хорошо, как калгалеты[101], но в другом роде.
>
> …Секрет и подводные камни данного жанра состоят в том, что он требует лаконичности, значимости и глубины, точности и легкости… Дело проиграно, если выражение заслоняет мысль, то же самое — если мысль не получает нужного выражения.
>
> И чтобы все-таки закончить сегодня вечером, вот вам одно изречение: **мысль есть самый благородный и верный путь к сердцу**».

Прошло пять лет с тех пор, как Реверди порвал с Парижем, он по-прежнему жил в Солеме. Но счастье, испытанное им вначале, покой, им обретенный, когда он стал жить одной жизнью с монахами: подъем на заре, месса в семь часов, работа по утрам, возвращение в аббатство на торжественную мессу, наконец, вечерни — со всем этим было покончено. Реверди столкнулся с жестокой дилеммой: признать, что он потерял веру, и покинуть Солем, что было равнозначно смирению — понятие для него неприемлемое, — или не уступать и остаться в Солеме.

Он склонился к последнему решению. Следствием его стало то, что он писал все меньше и меньше, печатал и того меньше —

библиография его произведений напоминает нам об этом, названия и даты, следующие друг за другом почти без перерыва, вдруг образуют пустоту между 1930 и 1937 годами — и часто покидал свое убежище ради длительных отлучек в Париж.

Эти побеги, отнюдь не успокаивая его, оставляли у него впечатление двойной неудачи. В Солеме Бог покинул его, но он под влиянием озарения, пережитого шесть лет назад, привязан к мысли, что в этом его судьба. В Париже культ лицемерия, одобрение всевозможных мистификаций удручали его. Внезапно он чувствовал себя выключенным из парижской жизни и бывал вынужден покинуть Париж, как несколькими днями назад был принужден бежать солемской пустыни.

В 1931 году, внезапно смирившись с поражением, Реверди решил лечиться крайностями. «Он показался мне человеком, порвавшим с чем-то», — замечает один из его тогдашних друзей.

Небо опустело, пусть так. Ему оставалось только дать себе волю. Тем более что Габриэль не щадила себя. Она старалась пробудить в нем совершенно иную веру: веру в его талант, в будущее, в наслаждение. У этой честолюбицы желание вернуть Реверди усиливалось уверенностью в том, что она столкнулась с полной своей противоположностью. Победить эту противоположность? Пари было как раз для нее. Мы увидим, как позже Габриэль вновь воспламенится при мысли, что сможет выиграть там, где другие потерпели неудачу. Тогда она сознательно ввяжется в авантюру совсем другого рода и самую безумную, какую можно себе представить.

Итак, Реверди снова увидели в обществе Габриэль. Кто из них больше страдал? Реверди от собственных уверток или Габриэль от взлетов и падений своего поэта? Однажды он захотел поселиться отдельно, и она поддержала его в этом желании, для него с большим трудом нашли и сняли мастерскую в квартале Мадлен. Поиски были поручены Вере. Она сама купила все необходимое — мебель, постельное белье. Но при одной только мысли, что ему придется обосноваться в Париже, Реверди охватил страх, и он вернулся в Солем, где оставался взаперти в течение нескольких недель. Оттуда он написал Габриэль одно из тех писем, на которые был мастер, послание должно было ее успокоить, но в нем сквозило невероятное смятение. Тем не менее он постарался, чтобы там были обещания, которых она была вправе ожидать от него: «Как только я приеду в Париж, сразу примчусь расцеловать вас — это я уже мысленно сделал здесь тысячу раз». Или же: «Разумеется, покидая Париж, я рассчитывал вернуться, только не думал, что это произойдет так скоро — ваш зов нарушает мои планы, но в сущности только прерывает их. Я не могу устоять

перед радостью опять увидеть вас…»

И действительно, он появлялся снова.

Он устраивался на террасе «Дом», внешне совершенно спокойный, отзывчивый, радушный, речистый, немножко циничный, порою фривольный. Его давние друзья, времен Бато-Лавуара и «Нор-Сюд», встретили его с распростертыми объятьями, Браки, Макс Жакоб, Лорансы, Фернан Леже, Дерены, Брассай, Сандрар, Кокто, Териад. Они ложились поздно, встречались с большим количеством народу, часто завтракали и обедали в гостях. Где еще можно было встретить этого волка, порвавшего с одиночеством, на кого он намекал в письме Габриэль, когда говорил о «пьяницах» и «дружеских отношениях, оправдать которые нельзя ничем»? Обратимся к свидетельству его современников: долгие дни и вечера, заполненные бесконечной выпивкой. Из того же источника: «Он увлекал меня за собой в бары или рестораны, которые любил, иногда к друзьям-англичанам или американцам. В то время он с ними встречался часто. Я так и вижу его в безукоризненном двубортном костюме из серой фланели, со стаканом виски в руке, с непокорной прядью и блестящим взором, бесконечно рассуждающим обо всем и ни о чем». Это было время, когда Дерен, встретив его утром неподалеку от «Клозри де Лила» и приписав его скверный вид монашеской жизни, сказал ему:

— Ты похудел. По крайней мере они не заставляют тебя поститься, твои кюре?

И Реверди возразил:

— Это не пост, это джаз.

Ибо было еще и это: ночные кабаре. Его видели с Габриэль в «Джимми» и во многих других местах, где веселился тогдашний Монпарнас, где, слоняясь туда-сюда, бывали туристы со всего света.

Наконец, была прелесть долгих каникул.

В 1931 году Реверди провел в «Ла Пауза» часть лета. Это было время, когда папки Габриэль обогатились новыми *мыслями,* через несколько лет появившимися за ее подписью.

Следовало бы попытаться сопоставить эти тексты с некоторыми из заметок Реверди, взятых как из «Волосяной рукавицы», так и из «Моей бортовой книги». Тогда можно обнаружить смущающее сходство. Случайно ли совпадение в выборе тем: благотворное влияние случая, недоверие к *вкусу,* отвращение к *украшательству* и небрежности, боязнь, что исправление рискует все испортить, если только оно не сделано мастерски? Надо добавить склонность к каламбуру и хлестким словечкам, а также бесспорное сходство в отборе слов.

Очевидность делает доказательства ненужными. Достаточно процитировать некоторые из мыслей Шанель, дабы убедиться, что автором их больше, нежели она, является именно Реверди. После чтения исчезают малейшие сомнения.

> «Есть момент, когда нельзя больше прикасаться к творению: когда оно в худшем своем состоянии».
>
> «Хороший вкус разрушает некоторые подлинные духовные ценности, например просто вкус».
>
> «Отвращение часто наступает после удовольствия, но часто и предшествует ему».
>
> «В любви можно дойти до того, что начать обманывать из чрезмерной деликатности».
>
> «Для женщины предать — значит руководствоваться чувствами».
>
> «Если вы родились без крыльев, не мешайте им расти».
>
> «Слабым духом свойственно похваляться преимуществами, которые может дать нам только случай».

Женские журналы, предупрежденные о литературных притязаниях Габриэль, поспешили ознакомиться с ее писаниями. Разочарование было велико. Все ждали, что ее высказывания будут касаться моды. Один американский журнал отправил к ней свою самую квалифицированную представительницу — Мари-Луизу Буске. Она представляла в Париже «Харперз базар». Речь шла о том, чтобы добиться от Шанель «чего-нибудь, больше относящегося к моде».

— Подите к черту с вашими идеями. Всякий наряд всегда есть только отражение души, — возразила Габриэль.

И поскольку журналистка настаивала, она добавила:

— Вы меня за… с вашей модой.

За год до войны разочарование уступило место смирению, и женская пресса решилась опубликовать размышления Шанель, сколь бы «интеллектуальными» они ни казались. Хвалебное вступление подготавливало женщин-читательниц к новым свершениям знаменитого модельера, которая решительно «ни на кого не была похожа».

* * *

В конце 1931 года попытка начать все сначала окончательно провалилась, и место любовника было снова свободно. Заплата

продержалась только год. Реверди остался наедине со своими муками, таков был его удел. Но не удел Габриэль, которая, устав от безнадежного повторения, отступилась раз и навсегда. Несчастье можно легко подхватить, она это знала. Она отказалась от Реверди из-за вкуса к жизни и боязни заразиться.

Остается узнать, сколько скандалов, бурь, неистовых ссор, примирений, перемежавшихся нелепыми размолвками, пережили они, прежде чем прекратилась их беспощадная борьба. Можно не сомневаться, что сказано было немало безумных слов. В какой именно момент их взаимного охлаждения он послал ей следующее письмо? «Я бы не простил себе, если б задержался хоть на мгновение с ответом на вашу записку, которую только что прочел. Ничто не могло взволновать меня сильнее. Вы прекрасно знаете, что бы ни случилось — и, видит Бог, сколько всего уже случилось, — вы всегда будете мне бесконечно дороги. Любить кого-то — значит знать его так, что ничто не в состоянии затронуть или разрушить эту любовь. Уметь видеть душу другого, как он сам ее не видит и не знает. Во всяком случае, если бы в моей власти было сделаться злым, это зло никогда не обратилось бы против вас. Просто я считаю, что, учитывая наши характеры, было бы бесконечно разумнее больше нам не видеться и воспротивиться тому, чтобы необузданность страстей все смела на своем пути».

Очевидно одно. Если бы между суетностью Парижа и покоем Солема метался кто-нибудь иной, не Реверди, то в конце концов такое поведение могло бы напомнить перипетии скверной комедии. В данном же случае речь шла о жестоких страданиях, перипетии были только неизбежными остановками на пути к голгофе. Следующее письмо, где встречается слово «война», позволяет абсолютно точно установить, когда Реверди вернулся в свою темницу;

> «Мне пришлось оглянуться на себя, отступить медленно и далеко. Короче, я много размышлял и, все передумав и взвесив, пришел к выводу, что мне надо снова поселиться здесь и жить, как прежде, в одиночестве. Во-первых, из-за моего нервного и душевного состояния, требующего, чтобы я относился к себе как к больному. Во-вторых, потому, что пришло время переменить образ жизни, которому я трусливо предавался в течение **десяти лет,** если я не хочу полностью презирать самого себя. В настоящее время подобное существование стало для меня невыносимым, ибо его больше не извиняют **нежные узы и глубокие**

чувства. Слишком часто во мне преобладала погоня за наслаждением, при полном пренебрежении ко всему остальному. Это все равно что гнаться за ветром — вы начинаете задыхаться, и у вас остается ощущение мучительной горечи. По природе своей я склонен к тому, чтобы докапываться до глубинных корней вещей, и слишком неповоротлив, слишком серьезен, чтобы позволить сквознякам увлекать меня, словно перо, не рискуя при этом удариться больно. Чужая суетность и маета, как бы они ни освежали, впоследствии бессильны уменьшить боль от синяков.

Я хотел бы вновь обрести веру, которая у меня была, и уйти в монастырь. Хотя в таком выборе тоже есть нечто отталкивающее, Но об этом не может быть и речи. Надо оставаться отшельником, одиночкой, мирянином и неверующим. Это еще труднее и героичнее.

Если быть скромнее, то речь идет о том, чтобы сохранить минимум равновесия и самообладания, которые мне удается обрести только в одиночестве, ведя жизнь почти аскетическую в своей простоте, заведя несколько здоровых и успокаивающих привычек. Наконец, война поставила меня в опасное финансовое положение, и я должен во что бы то ни стало прекратить безумства, если не хочу, в добавление ко всему прочему, потерять и ту малую, относительную свободу, которую, возможно, мне помогут сохранить оставшиеся у меня гроши.

Целую вас. П.»

Следует ли считать его абсолютно искренним? Или в письме Реверди набросал портрет одиночки, каким решил предстать в книге, находившейся у него в работе? «Я на пороге забытья, как ночной путник», — читаем мы в «Моей бортовой книге». Действительно, когда на эту тему заводили разговор с Габриэль, она, всегда запрещавшая себе малейшие замечания в его адрес, говорила:

— Когда в письмах он утверждал, что очень несчастен, я понимала, что он снова погрузился в работу. Он как бы объявлял мне: «Я спасен».

Вместе с тем в период своего второго разрыва с Габриэль он только что сделал свой выбор и не успел еще полностью плениться своим несчастьем. Во время его разговора со Станисласом Фюме перед нами предстает человек с обнаженными нервами, еще пытающийся отрицать и свое неверие, и свою

потерянность.

— Уверяю вас, я очень-очень счастлив, — утверждал он.

Едва произнеся эти слова, Реверди разрыдался.

Сцена происходила в 1937 году, на улице Сент-Андре-дез-Ар. Это было через шесть лет после второго разрыва с Габриэль.

* * *

Летом 1932 года Реверди не приехал в «Ла Пауза». В правом крыле виллы апартаменты рядом с Габриэль заняла Мися, по-прежнему она, Мися, которая всегда была рядом, когда нужно, Мися, заполнявшая пустоты и белые пятна в любовной жизни Габриэль, Мися и артисты, следовавшие за ней, куда бы она ни ехала, Мися и ее пианино… Англичан было мало, за исключением Веры. Впрочем, по мужу Вера теперь стала итальянкой. Значит, никаких англичан. Никаких лордов. Страница была перевернута. И больше никаких поэтов. В то лето у Габриэль каждый вечер звучала музыка.

Когда приходило какое-нибудь приглашение, Мися и Габриэль отправлялись туда вместе. Газеты сообщали об их присутствии в Монте-Карло в обществе вновь обретенных Мисиных друзей: Филиппа Вертело, Этьена де Бомона и других — и хвалили элегантность подруг. Мися в «Шанель», в «креп-жоржетовом зеленом платье и боа из перьев в тон».

Фактически после разрыва с герцогом Вестминстерским Мися все время была с Габриэль. Поэтому она присутствовала при памятном событии — встрече в Монте-Карло Габриэль и Сэмюеля Голдвина.

Великий князь Дмитрий был посредником. Любовник 20-х годов встретил в расцвете славы ту, что помогла ему в испытаниях, и в свою очередь оказал ей услугу. Потомок Романовых представил ей царя Голливуда.

И вот вновь в судьбе Габриэль совершился удивительный поворот, который не значится ни в одной книге, ибо в Истории остаются лишь те моменты, когда в движение приходят огромные человеческие массы, в ней остаются эпидемии чумы, войны, завоевания, сожженные города, но мало внимания уделяется неожиданным встречам людей. Словно История не является *одновременно* терпеливым сложением образов эпохи, в каждом из которых содержится своя доля истины, каждый из которых открывает нам что-то, иногда всего лишь пылинку давно ушедшего времени! В конце концов, *это* — тоже История.

Так, во время потрясений, охвативших Америку в 30-е годы, в

период экономического кризиса, углублявшегося с каждым месяцем и готовившего, хотя пока этого никто не подозревал, приход к власти Франклина Д. Рузвельта, в этот ненадежный момент американской истории сын польского эмигранта, ставший преданным гражданином континента, позволившего ему выковать себе судьбу по мерке, Сэмюель Голдфиш, ставший одновременно Голдвином и пионером американского кино, вел с Габриэль трудные переговоры, чтобы убедить ее отправиться в Голливуд.

Эти переговоры были столкновением между сыном и дочерью уличных торговцев, поднаторевших в умении болтать, столь необходимом в их ремесле. На улицах своей новой родины Голдфиш-сын сумел выкрутиться, продавая перчатки. Он был коммивояжером. В мрачные дни своего детства Шанель-дочь в сутолоке ярмарок помогала матери устанавливать семейный лоток. Свидетелем же их разговора был один из последних уцелевших представителей царского режима. Констатировав этот факт, невольно задаешься вопросом, а оказались бы в Соединенных Штатах Голдфиши, не будь на российском троне царей, из века в век заставлявших евреев претерпевать немыслимые страдания, и особенно предков маленького Сэмюеля, которые в русской Польше знали только нескончаемую вереницу погромов? И пусть мне поверят, когда я говорю, что История — это мальчик, издавна знавший, что означал казачий галоп в польском гетто, мальчик, спасавшийся от казаков бегством и тринадцатилетним эмигрантом голодавший на набережных Нью-Йорка в 1890 году. Вполне возможно, что Сэмюель Голдвин не уговаривал бы с такой настойчивостью Габриэль, не сохрани он в глубине души воспоминания об этом голодном времени.

Может быть, его обращение к Габриэль диктовалось неким смутным предвидением? В марте 1932 года четырнадцать миллионов американцев были без работы. Надо было, подобно Сэмюелю Голдвину, испытать гнет нищеты, чтобы понять, что когда она берет за горло, то между куском хлеба и билетом на спектакль выбирают обычно хлеб. Сэм Голдвин сразу понял, что, если придать продукции его фабрики грез дополнительную изысканность, это отчасти поможет ему перенести надвигавшиеся трудности. Было не время осторожничать. Надо было дерзать, щеголять знаменитыми именами и покупать престиж. Так, не имея возможности привлечь широкую публику, можно было обеспечить приток состоятельной клиентуры в городской среде. Его план состоял в том, чтобы дать женщинам повод пойти в кино. Они пойдут, «primo, чтобы увидеть его фильмы и его звезд, secundo, чтобы увидеть последний крик моды».

Ему нужна была Шанель.

Контракт гарантировал Габриэль баснословную сумму в миллион долларов. Сэм Голдвин претендовал на то, чтобы она дважды в год приезжала в Голливуд. Решение знаменитого продюсера было безапелляционно: впредь его звезд будет одевать исключительно Габриэль, как на сцене, так и в жизни. В этом была главная новизна: речь шла не только о том, чтобы «одевать» фильмы, но и о том, чтобы реформировать вкусы звезд экрана в области моды. Как они отреагируют на указ? В Голливуде определилось два течения общественного мнения. Одно — представленное редакторшами журналов мод, называвших себя оптимистками: «Звезды согласятся, потому что это Шанель», и второе — хроникерами, которые, зная, с кем Габриэль придется иметь дело, выражали сомнения: «Шанель и только Шанель?» На съемках еще куда ни шло. Но в повседневной жизни? У каждой звезды были свои вкусы, свой характер и даже дурной характер и дурной вкус.

Голдвин твердо стоял на своем: ему нужна была Шанель.

Тем не менее он был удивлен поведением Шанель. Когда семь лет назад он предложил сотрудничество Эрте[102], тот принял его с восторгом и без колебаний переехал в Голливуд на год. Предложение же, сделанное Габриэль, было гораздо лестнее. Почему же оно ее не соблазняло? Одевать звезд экрана, порождавших мечту и желание, — это было куда престижнее того, что он предложил Эрте! Иметь возможность использовать в личных целях экраны всего мира? Сделать из Мэри Пикфорд или Глории Свенсон «модели Шанель», и это не производило на нее никакого впечатления? Никогда еще подобного предложения не делали француженке. Соглашается она или нет? После многочисленных колебаний Шанель уступила. Она решила поехать в Голливуд.

Но об этом чудесном путешествии — которым любая другая на ее месте похвалялась бы — Габриэль не говорила ни слова. Удивительным в этой болтунье было то, что она никогда не рассказывала о себе.

Между тем скрывать было нечего, напротив, рассказы ее могли бы пойти ей на пользу, возвеличить ее. Тогда почему же она молчала? Молчание стало ее второй натурой. Ей казалось одинаково опасным рассказывать как о главных, так и о второстепенных эпизодах своей жизни. Каждый из них был звеном одной цепи, каждый мог стать золотой жилой для тех, кто захотел бы раскрыть то, что она тщательно скрывала: возраст, убогое начало карьеры, первых любовников.

Попробуйте догадайтесь… Слово — серебро, молчание — золото. Когда ее заставляли, вынуждали поделиться

воспоминаниями, она отделывалась шутками. Голливуд? «Это была гора Сен-Мишель задниц и грудей». Почему у нее не осталось более ярких воспоминаний? «А это словно вечер в „Фоли Бержер“. Стоит сказать, что девицы были красивые и было много перьев, как добавить больше нечего». Но все-таки?.. «Никакого „но все-таки“. Вы прекрасно знаете, что все, что „сверх“, между собой похоже. Сверхсекс, сверхдорогой фильм… В один прекрасный день все это должно было рухнуть. Телевидение все расставило по своим местам. И потом, я люблю только детективные фильмы». А атмосфера Голливуда? «Детский сад… Мися переносила ее хуже, чем я. Меня она смешила. Однажды нас пригласил в гости знаменитый актер, который, чтобы оказать нам честь, выкрасил все деревья в своем саду в голубой цвет. Я нашла, что это мило, но *глуповато…»* А звезды? «О, в ту поездку я встретила только одну звезду, ради которой стоило тронуться с места». Кого же это? «Эриха фон Штрогейма». Почему? «Потому что у него крайности были оправданны». То есть? «Он утолял жажду личной мести. Это был пруссак, изводивший подчиненных-евреев. Ведь Голливуд был в основном еврейским… Евреи из Центральной Европы обрели в лице Штрогейма знакомый кошмар. По крайней мере здесь не было никакого притворства! Вместе они проживали старую историю, все перипетии которой они знали заранее и к которой в конечном счете были привязаны».

Визит Шанель состоялся в апреле 1931 года. Мися сопровождала ее. Их совместное появление в Голливуде было триумфальным. Сэм Голдвин не посчитался с расходами. Несмотря на кризис, Голливуд продолжал оставаться самым безумным местом в мире. Это была столица излишеств, где снимались фильмы с 3000 статистов, где находились гигантские студии, где звезды пользовались абсолютной властью. На встречу с гостями устремились все звезды. От Гарбо до Штрогейма, от Марлен до Кьюкора, от Клодетты Кольбер до Фредерика Марча, каждый считал для себя большой честью побеседовать с той, кого называли «самым великим умом, который когда-либо знала мода».

Когда Габриэль вернулась во Францию, она могла сказать, что не просто *посмотрела* Голливуд. Не забудем, что она отправилась туда с профессиональными целями. Подобно тому как семь лет назад она узнала, что такое балетные костюмы, работая для Дягилева, что такое костюмы театральные, работая для Кокто и Пикассо, так теперь, при общении с самыми знаменитыми специалистами того времени, она узнала, каковы были требования кино. Она увидела, как снимаются фильмы,

встретилась с лучшими специалистами в области декораций и костюмов, с Митчеллом Лейзеном[103], Адрианом[104], Сесилем Б. Де Миллем.

Теперь она знала их, и они узнали ее. В глазах современников она приобрела новый авторитет: она совершила «путешествие в Америку»; она «подписала контракт»; ее творческие способности сделали из нее европейскую величину, к которой обратился Голливуд. Барышня из Мулена, франтиха из Виши, модистка на дому мчалась вперед на всех парах. Какой пройден путь! По сравнению с конкурентами она получила значительное преимущество — то, которое в любой профессии дается международной известностью. Наконец — и это, может быть, было самым главным, — она узнала, и из первых рук, что означает слово *фотогеничность*. Это понятие она, сознательно или нет, будет учитывать во многих своих моделях.

Но этим дело и ограничилось, и после первого фильма Габриэль[105] звезды заартачились. Они не соглашались, чтобы им, фильм за фильмом, навязывали модели одного и того же мастера, будь им сама Шанель.

Габриэль не пришлось отправиться во второе путешествие, а Голдвин остался на бобах. Но в том, что касается рекламы, все оказались в выигрыше. Все ежедневные газеты посвятили фильму «Сегодня вечером или никогда» длинные статьи. «Нью-Йорк геральд трибюн» приветствовала «бесспорный талант мисс Свенсон и изумительную естественность, которую она внесла в исполнение роли в легкой комедии». Газета замечала также, что последний фильм более выгодно подчеркивает дарование молодой актрисы, нежели ее предыдущие роли, оказавшиеся не слишком удачными. «Верайети» радовалась, что актриса отказалась от отрицательных ролей, которые решительно ей не подходили: «В этом фильме она сыграла блестяще». Слова «хороший вкус» и «здравый смысл» повторялись многими критиками. Наконец, в «Нью-йоркере» можно было прочесть комментарий, где с юмором объяснялись причины разрыва Габриэль с Голливудом. Статья была своеобразной данью уважения Шанель: «Фильм дал Глории Свенсон — возможность блеснуть большим количеством роскошных туалетов. Их создатель — Шанель, знаменитая парижанка, недавний визит которой в Голливуд наделал столько шуму. Но кажется, она не готова в ближайшее время вернуться в наш город просвещенности и знаний. Ибо ей дали понять, что ее моделям не хватает „сенсационности“. Дело в том, что она старается, чтобы дама выглядела действительно как дама. Она и представить себе не могла, что творцы Голливуда, показывая на экране *одну* даму,

стараются прежде всего, чтобы она выглядела так, словно их две». Болтовня кумушек сработала великолепно, и всем стало известно, чем был краткий союз между создателем Голливуда и великой Шанель.

Меньше было известно то, что в Париже, в тени коромандельских ширм, уже проявлялось влияние, без которого Габриэль никогда не приняла бы приглашения Сэмюеля Голдвина.

Кое-что о балах (1933–1940)

Когда, любимая, ты гневно так плясала?
Когда, под чьим ножом так ослабела ты?

Артюр Рембо. Париж заселяется вновь

I
Встреча с демоном

> «Мой милый, стоит чудесная погода. Как рассказать тебе? Надо бы передать это в музыке. Столько свежести, тепла, запахов — кто мог бы их описать… Полная луна над морем такая, что хочется сказать: „Если это для меня, сделайте не так ярко“. Все остальное — это море, купанье, цветы, одинокие прогулки и твое отсутствие. Буйство розовых лилий: двадцать девять с одной стороны, двадцать — с другой зацвели разом. Великолепно. У ажурной кирпичной стены — помнишь, у той, к которой пристроен сарайчик? — еще один поток розовых лилий, смешавшихся с каскадом бледно-голубого ломоноса и ручейками ярко-синих вьюнков. А тебя здесь нет!»

Колетт, ее цветы, ее животные, ее сад: это одно из писем, адресованных ею летом 1933 года Морису Гудекету (она вышла за него замуж в 1935 году). Неподвижный, маленький средиземноморский порт доживал последние годы своей подлинной славы. Чтобы передать свое восхищение тому, кто любил ее, Колетт живописала то, что на Юге еще очаровывало: ленивое море, лодки со сложенными парусами, «Мускатную шпалеру», утопавшую в цветах. Это письма наблюдателя, не только отличавшегося нежностью, юмором или весельем, но и взиравшего на род человеческий с абсолютной объективностью. Разоблачить безжалостный механизм завоевания? Показать Сен-Тропез, постепенно разъедаемый «бодрой парижской глупостью»? Ухватить подлинную сущность людей? Все это Колетт превосходно делала в своих письмах. Как и в приводимом ниже отрывке, своеобразной серии моментальных снимков, где она выводит на сцену актеров и актрис сен-тропезской комедии в то время, когда та только начиналась.

Ее текст великолепно характеризует опасную личность, внезапно появившуюся рядом с Габриэль.

> «Вчера в конце дня я была в городе с Мун[106] и Кесселем[107], чтобы в половине седьмого забрать письма и зайти в магазинчик[108] повидаться с Жанной Марнак[109], которая должна была делать там маникюр. Когда я покупала что-то у Вашона, две руки закрыли мне глаза, и я спиной ощутила вес приятного тела… Это

была ласковая Мися. Излияния чувств, нежности.

— Как, ты здесь?

— Ну да, я здесь.

Но ей надо было сказать мне что-то срочное:

— Ты знаешь, она выходит за него замуж!

— За кого?

— За Ириба. Моя дорогая, моя дорогая, это потрясающая история: Коко любит впервые в жизни!

Комментарии и т. п.

— Ах, уверяю тебя, этот свое дело знает.

Я не успела спросить, какое дело.

— Тебя ищут, за тобой послали, мы хотим увезти тебя обедать в Сан-Рафаэль, в Канн, в…

Я отказываюсь, снова падаю в ее объятия, выхожу с Мун, и мы забираем Кесселя, покупавшего невесть что. Делаем три шага, меня обхватывают чьи-то руки, это Антуанетта Бернстайн[110] и ее дочь.

Излияния чувств и т. п.

— Вас ищут, мы увезем вас обедать к Роберу де Ротшильду в Валескюр… и т. д.

Она уже знала, что я буду вести критику в „Журналь“[111].

Излияния чувств, поцелуи. Мы с Мун трогаемся в путь, делаем три шага, меня вновь обнимают чьи-то руки, это Вал[112].

— Я только что от вас, я ищу вас, идемте обедать в „Эскаль“ с… и т. д. и т. п.

Я отказываюсь — надо заметить, сразу же… Мы с Мун делаем три шага, очень тонкие и холодные руки ложатся мне на глаза: это Коко Шанель. Излияния чувств… более сдержанные:

— Пойдемте обедать в „Эскаль“ с… и т. д. и т. п.

Я отказываюсь все решительнее и решительнее и в сторонке замечаю Ириба, посылающего мне **потшелуи.** Потом он обнимает меня раньше, чем я успеваю прошептать необходимые заклинания, нежно зажимает мою руку между своей щекой и плечом:

— Как вы были злы ко мне… Вы обозвали меня демоном!

— Да этого еще мало! — говорю я. Он переполнен радостью и нежностью. Ему одновременно шестьдесят лет и двадцать весен. Он строен, морщинист, сед и смеется вовсю своими новыми зубами. Он воркует как голубь, что, кстати, любопытно, ибо ты найдешь в

древних текстах упоминание о том, что демон заимствует голос и силу птицы Венеры…»

Почему Колетт боялась Ириба вплоть до того, что совершала заклинания при его приближении? Ясно, что новый «жених» Габриэль внушал ей живейшие подозрения. Нечто вроде звериной недоверчивости по отношению к чему-то поддельному? Она не была бы Колетт, не обладай она этим темным инстинктом.

Ириб был псевдоним, который взял себе Поль Ирибарнегаре, когда дебютировал как художник-сатирик в 1900-е годы. Почти ровесник Габриэль, он родился в 1883 году в Ангулеме в семье басков. И хотя приобретенный светский лоск, а также определенный космополитизм уничтожили всякую печать местного колорита, у него сохранился едва уловимый акцент, отсюда появившиеся под пером Колетт *потшелуи,* намек на выговор Ириба, на шепелявость, которую не сумели стереть тридцать лет парижской жизни.

Начало его карьеры напоминает Кокто: он так же был покорен тогдашними знаменитостями и глубоко поражен «красно-золотой болезнью», то есть безумной любовью к театру. Впрочем, к театру особому, которым тогда упивался Париж, — к водевилю. Но начинал Ириб тяжелее, чем Кокто. Его отец, журналист, противился призванию сына. Поль же мечтал только о рисовании. В шестнадцать лет его устроили в типографию «Тан». Через два года он бросил работу и записался на архитектурные курсы в Школу изящных искусств. Ирибу было всего семнадцать лет, когда «Ассьетт о бер»[113] напечатал его первые рисунки, и двадцать три, когда он основал собственную газету, «Темуен»[114]. Никто не умел лучше него одним штрихом, одной линией ухватить *событие,* и неважно, каким оно было, — серьезным, пустячным или несуществующим. Линия сделала его известным. «Темуен» публиковала также рисунки одного начинающего художника, который не уступал Ирибу. Он подписывался Жим. Два денди встретились. Жим был не кто иной, как Кокто. Иллюстрации обоих отличали решительность и резкость, предвещавшие холодную эстетическую дерзость середины двадцатых годов. Можно догадаться, чтó они давали друг другу. Старший, Ириб, мог обворожить Жима своей ненасытностью. Он был охоч до всего: до денег, почестей, женщин. Тогда как Ириба Жим привлекал тем, что был буржуа с прочными устоями и «трудился как бы ради удовольствия» (слова Колетт). Кокто поражал Ириба. Будь у него та же непринужденность! Как не повезло ему, что у него такое невозможное имя! Ах! Если б он мог провозглашать, как Кокто: «Я родился парижанином, я говорю по-

парижски, у меня парижское произношение!»

Ириб отдал бы все, лишь бы раз и навсегда забыли, что он зовется Ирибарнегаре.

«Темуен», «редактируемый с большим остроумием и в новом духе», обеспечил Ирибу приглашение к Пуаре, это был первый этап столь желанного «опариживания». История известная, тот, кого звали Пуаре Великолепный, в деталях рассказал ее в своих воспоминаниях.

Но, возможно, на портрет Ириба, служащий преамбулой к тексту, не обратили должного внимания. Он интересен тем, что в большой степени подтверждает впечатления о нем Колетт. «Это был чрезвычайно любопытный молодой человек, баск, пухлый, словно каплун, похожий одновременно на семинариста и на старшего мастера из типографии. В XVII веке он был бы придворным аббатом: он носил золотые очки и широко распахнутые пристежные воротнички со слабо завязанным галстуком… Говорил он очень тихим, как бы таинственным, голосом и выделял некоторые слова, отчеканивая их по слогам, например: „Это ве-ли-ко-леп-но!“»

Ириб, стало быть, говорил, подражая элите, людям с достатком и хорошими манерами, которым он завидовал.

И вот знаменитый модельер объявил о своем намерении поручить Ирибу сделать рисунки по моделям его коллекции. Задание было невероятно престижно, ибо альбом предназначался в качестве дара «знатным дамам со всего света». Ириб попросил показать ему платья и тут же «едва не лишился чувств», воскликнув: «Это вели-ко-леп-но! Я хочу взяться за работу не-мед-лен-но». После чего объявил, что приведет к модельеру одну из своих приятельниц, «женщину у-ди-ви-тель-ну-ю», некую госпожу Д., которая в его платьях будет выглядеть «бо-жест-вен-но».

Полвека спустя поражает то, что, несмотря на две войны и несколько революций, язык, на котором изъяснялись в определенных кругах, так мало изменился. Значит ли это, что он неразрывно связан с определенным образом жизни и передается по наследству точно так же, как имущество и амбиции? Чтобы его услышать, достаточно заставить заговорить нынешних щеголей, — не надо менять ни одного слова, ни единой интонации. Любопытно, что Ириб, так мечтавший стать горожанином, по духу своему был перекати-поле. Поэтому операция по «опариживанию» не сразу дала свои плоды. Именно об этом и пишет Пуаре: «Надо же было такому случиться, что Ирибу понадобились деньги. Я заплатил ему некую сумму за первые рисунки, и он исчез. Мне показалось, что он не возвращался довольно долго. Я забыл спросить у него его адрес.

Когда он принес мне кроки, я был в восторге от того, как он понял и интерпретировал мои модели, и попросил его побыстрее закончить работу… И прежде всего, сказал я ему, дайте мне ваш адрес, чтобы я мог писать вам. Он ответил мне, что у *него нет постоянного адреса* в Париже, но что он каждое утро завтракает у госпожи Л. Получив новый аванс, он снова удрал. На сей раз мне удалось с большим трудом отыскать его и добиться от него окончания работы. Помнится, мне даже пришлось прибегнуть к серьезным угрозам… Наконец он прислал мне последние оригиналы, и работу можно было сдавать в типографию». Нам известен этот труд, находящийся сегодня в библиотеках артистов и любителей искусства. Он называется «Платья Поля Пуаре, глазами Поля Ириба» (1908 год). Каждой государыне Европы был адресован один экземпляр. Все положительно отнеслись к великолепному подарку, за исключением английской королевы, которая вернула его отправителю с письмом своей статс-дамы, где модельера просили впредь воздерживаться от подобных посылок…

Ириб без гроша в кармане, Ириб без постоянного места жительства, ожидающий авансов, чтобы отправиться в богатые кварталы, где им восхищалась и где его кормила госпожа Д., — все в этом описании вызывает противоречивые чувства. Кто он на самом деле, соблазнитель или жиголо?

Только оформив свое сотрудничество с Кокто как ассоциацию, Ириб окончательно приобрел прочное положение в Париже. В 1914 году они вместе создали «Мо», отойдя таким образом от обычной журналистики, чтобы испробовать новую, пока еще мало изведанную форму «шикарной» журналистики, где главное место отводилось рисунку. Два года ученичества, проведенные среди типографских рабочих, принесли свои плоды: Ириб был несравненным специалистом. Оформление «Мо» явилось событием. Помешала война. Она лишила «Мо» всякой надежды на выживание. Год спустя газета перестала выходить. Но для Ириба наступил поворот в карьере. Роскошь во всех ее проявлениях становилась единственной его заботой, и это несмотря на то, что наступивший мир не только не стал новым золотым веком, но и явился его отрицанием. Европа удовольствий была мертва? Париж такой, каким он представал на страницах «Мо», не существовал? Неважно! Единственный в своем роде, Ириб, любивший только богатство, искал спасения в отрицании реалий времени. Это не помешало ему числиться среди лучших творцов форм и материй тех лет. Ибо ему удалось сделать невозможное: он создавал мебель, ткани, ковры, украшения, категорически отказываясь приносить жертвы

принципу геометрического упрощения, столь привлекавшего его современников[115]. Он не мог смириться с тем, что искусство *посредством* и *ради* роскоши потеряло свою привлекательность. Что касается изменений, происшедших с Парижем, потери Францией «морального контроля над миром»[116], он не хотел их признавать. Ириб тосковал по «французскому величию», даже если внешне оно принимало формы самые ничтожные. Роскошь была для него национальным достоянием, которым ни в коем случае нельзя было делиться, и он находил символическую ценность в любом творении ремесленника. Одежда, украшения, прически, вышивки, всякого рода аксессуары — неважно что, главное, чтобы в них была прелесть, — являлись частью национального престижа, и он был их воинствующим хранителем. Отсюда — до того, чтобы считать элегантность символом определенного образа мыслей (разумеется, высших классов) и врожденным качеством (подразумевалось, что она недоступна людям скромного положения, могущим претендовать только на шик), оставался всего один шаг. Этот шаг был с легкостью сделан как в раз в то время, когда начиналась его идиллия с Габриэль.

Самое удивительное в их отношениях было то, что, выбрав Ириба, Габриэль, казалось, захотела передать ему часть своих полномочий. Не это ли заставило Мисю говорить, что Габриэль любит впервые в жизни? Нельзя было не видеть, что определенным образом Ириб удовлетворял одновременно всем ее пожеланиям. Наконец, рядом с ней был человек, для которого вопросы социального происхождения не имели значения, в отличие от того, что ей пришлось перенести с Боем; человек, которого не подавляло его семейное прошлое, короче, противоположность Дмитрия и Вендора; человек творческий, достаточно близкий к миру искусств, чтобы она чувствовала себя в согласии с ним, но вместе с тем свободный от проклятия, обычно тяготеющего над артистом и поэтом. В общем, это ей и было надо, чтобы забыть Реверди. Наконец-то Габриэль вырывалась из-под ига гениев.

Если рассуждения Габриэль были примерно таковы, можно предположить, что она испытывала также некоторое злорадство от того, что за ней ухаживает человек, который двадцать пять лет назад воспевал ее старого недруга Пуаре. Ибо в конечном счете Ириб не ограничился тем, что «рассказал о платьях Пуаре». Он был также автором ярлыка, который красовался на всех туалетах, выходивших из ателье на улице Антен. Его графическая новизна и роза, сопровождавшая магическую надпись «Поль Пуаре, Париж», в свое время произвели сенсацию. Побьемся об заклад, что в завоевании Ириба для Габриэль было и удовлетворение

профессионального честолюбия. Наконец, Габриэль, ревновавшая к женщинам и не терпевшая, чтобы кто-то одерживал больше побед, чем она — тем самым она бессознательно пыталась взвалить на них ответственность за собственные несчастья, — была довольна тем, что, заведя связь с Ирибом, сыграла со своими соперницами злую шутку, перехватив у них известного соблазнителя.

Ибо мало сказать, что он вел бурную жизнь. Ириб оценивал себя в зависимости от своих успехов у женщин. Каждая его связь, выставлявшаяся на всеобщее обозрение, становилась еще одним шагом на пути к известности. В период нужды ничто не могло его остановить. Предположим, у одной из его подружек было редкое жемчужное ожерелье, тогда, ссылаясь на то, что это отдавало «нуворишеством», Ириб советовал ей заменить несколько жемчужин шариками из оникса. В конце их романа одна нитка целиком становилась ониксовой.

Для начала он соблазнил, едва не женившись на ней, очаровательную актрису, преподнесшую ему в дар свое сердце и свою жизнь, — Джейн Дирис, звезду водевиля и немого кино.

Она прославилась в роли Мари Бонер, героини «Команды»[117], экранизированного романа Франсиса Карко. История маленькой работницы, сначала жиголетты, потом цветка предместий, влюбленной в хулигана, отправившегося в Африку и зачисленного в колониальные войска… Настоящий Карко. Фильм заканчивался тем, что Мари Бонер становится гетерой высокого полета, но сильнее, чем прежде, любит «своего парня». Пресса писала, что Джейн Дирис показала свою героиню жертвой судьбы и что роль подходила ей как нельзя лучше. Она играла Мари Бонер и в личной жизни.

Когда у Ириба бывали финансовые неприятности, Джейн позировала фотографам под именем Жанны Ириб. И когда «Комедиа» печатала портрет Джейн, «в элегантной горностаевой накидке», это была реклама мехов «Ревийон». А когда ее показывали в окне шикарного автомобиля, одолженного ради такого случая, с чужим шофером за рулем — «Госпожа Жанна Ириб в своем авто, оснащенном *стеклами „Триплекс“*», — тогда все это вместе: горностай, гордая посадка шофера, красота молодой женщины, высокая подножка автомобиля, служившая подставкой для великолепных аксессуаров — черной лакированной коробки для инструментов, запасного колеса белого цвета, укрепленного словно спасательный круг на борту траурного корабля, — все это своей роскошью служило рекламой Ирибу.

К сожалению, слишком быстро забывают, что середина 20-х

годов тайно связана с черным цветом. Бархат диванов… Полутьма первых кабаре… Серебро постепенно заменяло позолоту в отделке интерьеров, а в жизни Ириба оникс занимал место жемчуга… Несчастная Жанна за опущенным стеклом гигантского, подобного танку автомобиля улыбалась отсутствующему Ирибу.

Если женщина хотела счастья, то делала неверный выбор, выходя за него замуж. Из-за чего Колетт называла его демоном? Из-за легкомыслия, с которым он мучил своих любовниц, и его упорного стремления доставить *себе* удовольствие? Будучи подругой Джейн Дирис и зная, что та тяжело больна, Колетт еще во время первых проявлений болезни, сведшей Джейн в могилу, предупреждала Франсиса Карко в следующих выражениях: «Джейн Дирис очень больна… Я с горечью чувствую свою бесполезность, глядя на это красивое тело, одержимое чем-то невидимым, активным и своенравным».

Джейн Дирис умерла в 1922 году, в то время как Ириба занимали другие увлечения: доллар и красивые американки. Одна из них, Мейбел Хоган, соблазнила его кругленьким состоянием. Он женился на ней в Сан-Франциско в 1919 году. Прибыв в Нью-Йорк, Ириб сделал ошеломляющее заявление, из которого следовало, что в небоскребах было что-то «вол-шеб-но-е» и что на сверкающих магистралях Бродвея он научился большему, нежели среди особняков на Вандомской площади. Затем последовало признание:

— Если быть откровенным, худший враг Соединенных Штатов — дурной вкус.

Репортер, приведший высказывания Ириба, уточнял, что они принадлежат самому известному иностранному рисовальщику. Он употребил слова иностранный карикатурист. Тогда, отбросив всякий стыд, Ириб счел момент подходящим, чтобы извлечь пользу из того, что до сих пор он считал нужным скрывать. Разве он не был теперь достаточно знаменит, чтобы покичиться своим происхождением? Он утверждал, что все самые могущественные страны в определенный момент их истории были обязаны своей известностью баскам. Начиная с Соединенных Штатов… Разве Христофор Колумб не был баском? А Ной? В общем, Ириб проповедовал истины, восходившие еще к временам потопа.

Журналист добросовестно изложил эту новую и оригинальную точку зрения. Но позволил себе несколько оговорок относительно склонностей этого *за-все-берущегося-в-искусстве,* упрекнув Ириба в том, что тот ограничивает свое творчество областью роскоши. Критика, которую Ириб отвел одним движением руки.

— Вкус всегда идет сверху, — заявил он, — никогда снизу.

Лакированный комод изготовить труднее, чем сделать кухонный стол.

После чего он устроился в очаровательном коттедже с молодой женой, усиленно посещал Голливуд и, как все, увлекся кино. Это означало погружение в волшебную сказку. Он познакомился с Сесилем Б. Де Миллем. Стиль Ириба, его компетентность во многих областях — рисунке, архитектуре, истории костюма, мебели — не могли не очаровать Де Милля. Привлекательны были даже недостатки Ириба… Такие же, как у Де Милля.

Он начал с того, что поручил молодому французу подготовительную работу к разным фильмам, и в частности декорации и костюмы к «Man Slaughter», постановщиком которого он был. Литрис Джой[118] в костюмах Ириба произвела такую сенсацию, что он сразу же был произведен в художественного директора, и под его властью оказались художники и декораторы, причем некоторые из них работали с Де Миллем с 1919 года. Ириб в отличие от Де Милля не обладал талантом быть невыносимым, но при этом не терять преданности сотрудников.

Де Милля обожали. Тогда как Ириба… Его перебранки с Митчеллом Лейзеном, крики, обиды и ссоры вошли в легенду.

В 1923 году Ириб — художник костюмов и декораций в «Десяти заповедях», где снова главную роль играла Литрис Джой. Но Митчелл Лейзен, чтобы избежать подчинения Ирибу, отказался сотрудничать в гигантском фильме.

Египет Ириба был Египтом 20-х годов, лакированным, сверкающим золотом, со сфинксом более внушительным, чем в Гизе, и с огромными святилищами, где были собраны все боги — сидящие, стоящие, с головой собаки или барана… Бесчисленные божества, толпы статистов — все это свидетельствовало о невероятном богатстве фантазии.

В 1924 году последовало новое продвижение, когда внезапно, с благословения Де Милля, Ириб поставил «Changing husbands». Только Литрис Джой избежала ударов критики. «Нью-Йорк таймс» назвала фильм абсурдным.

Тогда Де Милль сразу же предпринял попытку вернуть Митчелла Лейзена.

Режиссер использовал всевозможные аргументы: он только что расстался с «Парамаунт»; не время отказывать ему в помощи, тем более что на сей раз постановщиком будет он сам, а не Ириб. К тому же гвоздем фильма должна быть железнодорожная катастрофа. Поезд должен был развалиться за несколько секунд («The Road to yesterday»). Кто, кроме Лейзена, способен сделать подобное?

Лейзен позволил разжалобить себя. Но катастрофа едва не переросла размеры экрана, когда разразился бой между ним и Ирибом. В конце съемок они перестали разговаривать друг с другом.

Когда Сесиль Б. Де Милль начинал работу над «Царем царей», его команда оставалась неизменной: Лейзен по-прежнему был художником по костюмам, Ириб по-прежнему художественным директором. Это было сделано не по недомыслию. Яростные противоречия среди членов съемочной группы в чем-то забавляли Де Милля.

В остальном он предпринял все меры предосторожности, чтобы ничто не бросало тень на репутацию его звезд. Христос по контракту обязывался нигде не показываться с сигаретой. Он также дал слово не посещать ночные кабаре и, самое главное, ни под каким предлогом не должен был разводиться до выхода фильма на экраны. Только тогда публика могла бы поверить в созданный им образ.

Драма разразилась у подножия Голгофы, в тот самый момент, когда Де Милль увидел, что Ириб забыл приготовить грозу и что сцена распятия пущена на самотек. Как Гарри Уорнер будет держаться на кресте? Будут ли у него кровоточить руки? Ничего не было предусмотрено.

Приказом Де Милля экзекуция Ириба последовала незамедлительно. Лейзен согласился заменить соперника при одном условии: никогда больше не слышать его имени.

В эпоху, когда «Царь царей», чтобы выйти на экран, должен был получить одобрение религиозного трибунала, состоявшего из католического священника, раввина, представителя православной церкви и буддистского монаха, Поль Ириб покинул Голливуд без сожалений. Он возвратился в Париж, где Мейбел подарила ему на улице Фобур-Сент-Оноре магазин, на фасаде которого имя ее мужа сверкало золотыми буквами на лакированном фоне. Ириб вернулся к своей первой любви — декоративному искусству.

К созданию мебели, тканей, ковров, драгоценностей добавилось теперь украшение интерьера. Он соглашался работать только для личностей известных. Так, Спинелли, гостиную и прихожую которой оформило ателье «Мартина»[119], пригласила его отделать спальню. Быть декоратором той, кого Колетт и широкая публика называли фамильярно «Спи»! Можно ли было представить себе клиентку, способную лучше понять его? «Авантюрность, склонность к риску, когда декоратор сталкивает между собой два-три тона, смешение которых сперва поражает, потом пленяет, аристократическая свобода выбора… встретили в Спинелли идеальную сообщницу. Там, где я судила лишь как

любитель цвета и арабески, она видела цель и пользу украшения, *бесспорную необходимость роскоши*»[120].

Ириб нашел в Спинелли клиентку, о которой можно было только мечтать. Несомненно, что в ее комнате он занимался не только убранством интерьера. Ибо, едва спальня была закончена и «испробована», он получил новый заказ — на оформление столовой. Дело в том, что Спи, певица, прошедшая суровую школу кафешантана, Спи, «с прелестными ножками и плечами», Спи «в своей несравненной спинеллиевской форме»[121], да что там! — Спи не отличалась добродетелью.

Она обладала редкой привилегией: едва увидев ее, простой люд, будь то на галерке в «Казино де Монмартр» или в проходе в «Эропеен», присваивал себе право тайком говорить ей «ты». Между Спинелли и ее зрителями возникала немедленная близость. Одновременно она довольно открыто пренебрегала приличиями, так что определенная пресса с удовольствием смаковала ее похождения. Стоило после ее встречи с одним аргентинцем родиться в Басконии очаровательному младенцу — «Три па танго, опаснейшего танца!» — заявила она испанской ежедневной газете, — как тут же набежали хроникеры. В каждом интервью было тщательно описано то, что она называла своим домом: «Это похоже одновременно на индусский храм, греческий дворец, персидский альков и ложу в кабаре. После того как вы пересекли прихожую, охраняемую гигантским Буддой из зеленой бронзы, вы попадаете в атриум с золотым мозаичным полом; где в круглом бассейне плавают две золотые рыбки, привезенные из Китая. Затем три мраморные ступени ведут в салон с хрустальным потолком… Там, сидя в кресле из лакированного дерева, поддерживаемого двумя драконами, изрыгающими пламя, Спинелли расскажет нам о своих впечатлениях молодой мамы…»[122] Комната, отделанная Ирибом, была под стать всей остальной квартире. Он нарисовал для нее медную кровать, ножки которой образовывали как бы золотой росчерк. Стены бледно-зеленого цвета, низкий столик китайского лака — все это была бесспорная удача. Но главное было в том, что гигантская кровать с тонким японским матрасом, а также ступень, на которую она была поставлена, вызывали пересуды.

Собирался ли Ириб довольствоваться своими успехами на декоративном поприще? Разумеется, нет. Он стал фотографом, испытывал новые методы рекламы, работал на стыке типографии и фотографии, делал превосходные фотомонтажи и в Нью-Йорке, в 1931 году, занял второе место на конкурсе по рекламе, собравшем пятьдесят европейских фотографов восьми национальностей. Ириб обошел на несколько голов Хойнингена-

Юина, оставив далеко позади себя лучших в Европе профессионалов. Барон Мейер и Мэн Рей удостоились лишь похвальных отзывов.

То он зарабатывал огромные суммы денег и покупал себе «вуазен» с серебряными фонарями и белыми подушками, потом парусник «Майская красавица», потом дом в Сен-Тропезе. Через некоторое время наступало безденежье, и он продавал авто, яхту, а потом и дом. Тогда Мейбел становилась его агентом и добывала для него контракты. Так она получила один заказ на драгоценности у Картье, а другой… у Шанель.

Мейбел смирилась с шалостями Ириба, смирилась с ожиданием. Ей было довольно телеграммы: «Я не могу вернуться, но я люблю тебя», чтобы не замечать его отсутствия. В чьих объятиях он спал? Мейбел считала, что это было типично французское поведение.

Но она смирялась все с большим трудом и однажды бросила его.

Это случилось за несколько месяцев до июля 1933 года, когда Колетт сравнила Ириба с демоном.

Лучше узнав его жизнь, легче понять это сравнение.

Дело в том, что Колетт с трудом прощала ему отсутствие качеств, свойственных Габриэль. И, в частности, одно из них: «К счастью, к ней не пристали заразительный блеск золота, то нескромное сияние, которое источают существа слабые и осыпанные благами», — читаем мы в великолепном очерке, посвященном Шанель.

Ириб не устоял перед заразительным блеском, и антипатия Колетт не имела других причин. Пренебрегающий богатствами, ведущий жизнь неустроенную, он бы ее позабавил. Подпав под власть денег, он стал для нее демоном.

II
Конец предместья

Что случилось? На первом этаже особняка Пийе-Виллей появились странные восковые фигуры. Отысканные на задах парижских магазинов, где они дремали с начала века, они были необычны, и возникал вопрос, какого черта Габриэль собиралась с ними делать. Это были не одежные манекены. Только бюсты, какие раньше можно было видеть в витринах парикмахерских. Но без шиньонов… Восковые бюсты, с глазами в ресницах, идеально накрашенные, с короткой прической, и хотя у них не было рук, они казались живыми. Если бы не выщипанные по моде тридцатых годов брови, короткие волосы и ярко накрашенные губы, то по их выражению можно было подумать, что время вернулось на пятьдесят лет назад. Забавно все это… Подобным предметам нечего было делать на улице Камбон, где мода всегда отрицала всякого рода фантазии.

Платья Шанель более строгих, более четких, чем когда-либо, линий представляли молодые женщины-манекенщицы с бесстрастными лицами. Идея, преобразившая их облик в прошлом сезоне, продолжала подчинять себе силуэт — подкладные плечи. Вот уже почти два года, как самые влиятельные хроникеры повторяли, что *широкие плечи* отличают элегантную женщину. «Если у вас соответствующий тип, не колеблясь берите новый стиль на вооружение и в обычное время носите платья по-военному строгого покроя…» — писал «Вог» в октябре 1931 года.

Тогда что же означало появление манекенов с любезными улыбками, гибкими шеями, склоненными к плечу подбородками? И почему этих змеевидных девиц поставили по-старинному на подставки? Но в конце концов, Габриэль была у себя дома и могла делать, что хотела.

Жозеф получил приказ держать двери во двор закрытыми и никого не впускать. Тем не менее по кварталу пронесся ветерок любопытства, когда стало известно, что Габриэль приняла у себя главного комиссара полиции, что они вместе обследовали запоры в доме и что была установлена система сигнализации, целая сеть звонков, так что первый этаж особняка Пийе-Виллей был напрямую связан с полицейским участком квартала. Как же можно было не предупредить об этом? Однажды ночью, когда какой-то гость нечаянно наступил на одну из ловушек, во двор высыпал целый фургон полицейских, сильно переполошив консьержку. В верхних этажах погашенные было огни зажглись

снова. В окнах появились раздраженные лица. Вся эта затея крайне не нравилась. Что еще придумала эта чертова портниха? Нельзя было спать спокойно.

7 ноября 1932 года была открыта выставка, которую никогда еще не видели в частном доме. Представлены были одни только драгоценности, из которых ни одна не продавалась. Все они были созданы Шанель. Было странно, что женщина, не будучи ювелиром, вздумала обновить искусство украшений и что именно к ней, такой поборнице бижутерии, которую она продавала с большим размахом, обратилась Международная ювелирная лига. Наконец, множество раз утверждая, что, за исключением жемчуга, носить можно только цветные украшения, Габриэль тем не менее согласилась использовать белизну одних лишь бриллиантов. Она и бриллианты? Можно понять удивление ее сотрудников. Любая женщина, какое бы положение она ни занимала, знала, что искусственный жемчуг — последний крик моды. Его носили все, вплоть до содержанок, вплоть до Симоны из «Орельена» в оранжево-синем цвете «Люлли»… *Есть ли у меня перловка? Еще бы! В этом сезоне это самый шик… Даже те, у кого есть настоящие жемчуга, заменили их метровыми нитками… да!* А та, что заставила всех носить драгоценности поддельные, теперь занялась настоящими? И что это она затеяла, требуя, чтобы за вход к ней платили? Правда, все средства, вырученные от входных билетов, должны были пойти благотворительному *Обществу вскармливания материнской грудью* под председательством принцессы де Пуа и *Обществу помощи среднему классу,* возглавлявшемуся Морисом Донне, членом Французской академии. Шанель, дама-просительница, Шанель, дама-благотворительница… И какая благотворительность! Умереть со смеха. Идея благотворительности до сих пор была ей чужда. И вот она встала в ряды милосердствующих представителей правящего класса. Что случилось? Ни у кого не возникло сомнений. Атмосфера изменилась, в жизни Шанель появилось что-то новое.

Украшенные бриллиантами бюсты бесконечно множились в ширмах зеркал. Очень низко установленный свет бросал на камни странные блики. Обновление форм было бесспорным. Браслеты походили на широкие манжеты. Их можно было видоизменять, делить и в любой момент из одной драгоценности сделать четыре. Колье больше не облегали шею, они рассыпались на плечах звездным дождем. Тиар не было, тонкие полумесяцы на невидимых обручах крепились в волосах. Броши тоже отсутствовали, на длинных цепочках, словно камешки на веревке, были подвешены белые солнца. Наконец, было украшение и в

барочном стиле, своеобразная фероньерка, ею любовались, ни минуты не думая, что ее можно носить. Нечто вроде фараоновой челки — челки, которая через десять лет получит название «челки Шанель», — только сделана она была не из волос, а из бриллиантов одинаковой величины, сияющей занавесочкой спускавшихся до самых бровей.

Можно было бы многое сказать о смысле этой драгоценности, уже не имевшей ничего общего с модой. Что делало здесь это химерическое украшение? Родилось ли оно из парадоксального желания вернуть длинным волосам ценность в эпоху, когда их только обрезали, приглаживали, сводили на нет, чтобы получилась, по словам Колетт, «головка круглая, коротко стриженная, гладкая, словно эбеновое яблоко…»? Фероньерка была словно признание, словно сожаление, что Шанель, лишив женщину волос, лишила ее пола. Ведь *волосы — это сама женщина в ее основополагающем различии,* не правда ли? Но могло быть и так, что эта драгоценность была всего лишь своеобразным скальпом, брошенным к ногам победителя — Ириба, человека-бриллианта.

Как бы там ни было, украшение, одиноко красовавшееся в витрине под защитой охранников, выставлявших напоказ револьверы, стало гвоздем выставки.

Выставка привлекла толпы французских и иностранных ювелиров. Открыта она была только для профессионалов. Но каково бы ни было положение друзей или непрофессиональных посетителей, для которых Габриэль сделала исключение, будь то Этьенн де Бомон или Фулько делла Вердура (один — французский граф, другой — итальянский герцог, рисовавшие для Шанель бижутерию)[123], будь то законодатель вкусов Шарль де Ноай или продавщицы из модных магазинов, будь то верный Жозеф или его дочь, которой было тогда двадцать лет, все свидетели сохранили о выставке впечатления смешанные. Конечно, это было красиво и порою фантасмагорично, тем не менее, по необъяснимым причинам, что-то в обстановке шокировало. Была в ней какая-то голливудская нотка. И это *«слишком»* шло от Ириба.

До сих пор их связь, длившаяся больше года, не наделала шума. О ней едва ли догадывались. В силу тысячи причин — главная состояла в том, что его жена ничего не знала, — Ириб держался скромно. Все поняли только Колетт и Морис Гудекет. И то… По необходимости. Убежище, где тайно встречались любовники, Габриэль купила именно у них. Усадьба, находившаяся на высотах Монфора, была окружена деревьями, на которых было полно гнезд. Колетт развесила их повсюду, и этим

сразу воспользовались птицы. Их было множество. «Жербьер» — так назывался дом, который Морис Гудекет, «задушенный кризисом», вынужден был продать. Последствия депрессии начинали проявляться и во Франции. Но они, казалось, не затронули Габриэль, которая зимой 1931 года одна приехала в Монфор-л'Амори, чтобы купить «Жербьер». Было холодно. Колетт осталась у огня, и дело решилось между Гудекетом и Габриэль во время прогулки по саду. Колетт не знала мотивов этих переговоров. И когда Габриэль вернулась, она посторонилась, чтобы пропустить гостью.

— Не надо, — сказала Габриэль. — Это я должна уступить вам дорогу… ибо теперь я у себя дома.

Так она сообщила Колетт, что «Жербьер» той больше не принадлежит.

Габриэль менялась. Это было замечено неоднократно. Например, когда она делала прессе заявления, звучавшие в необычном ура-патриотическом тоне… Так, если ей верить, единственной целью выставки драгоценностей было познакомить публику с французскими мастерами-ремесленниками, которых она считала «лучшими в мире». Никоим образом она не хотела составить конкуренцию ювелирам, упаси Бог! Ее интересовали только ремесленники, которых «безработица делает свободными, лишая их радости», и только ювелирное искусство, «искусство очень французское». В самом деле, роскошь умирала, безработица наступала. Что же противопоставить этому, как не бриллианты?

Она пользовалась любым предлогом, чтобы приписать роскоши спасительную роль. Было ясно, что она заговорила языком Ириба.

В период, когда состоялась выставка, ее связь стала носить официальный характер. Он переселился к ней в Предместье. Его открытое присутствие рядом с ней стирало из ее памяти следы прошлых увлечений, следы прежних связей, которые приходилось скрывать.

* * *

В 1933 году, после двадцати трех лет отсутствия, в парижских киосках появился призрак — «Темуен». Поль Ириб был одновременно его директором, автором передовиц и главным иллюстратором. Его рисунки нисколько не потеряли в силе. Их отличали все та же язвительность, безжалостное использование черного на обширном пространстве, черный цвет, порождавший силу, красоту, выразительный черный, обреченный на постоянное

crescendo. Никаких элементов «декоративного», почти никаких уступок «элегантности», хотя в плане графическом «Темуен» не привнес ничего нового. Но потом все начинало портиться, даже мощь штриха, когда Ириб вводил в свои рисунки два цвета, всегда одинаковых. Выделяясь на белом фоне, они неизбежно привносили патриотическую нотку. Это были красный и синий цвета флага…

В статьях слово «Франция» повторялось в каждой строке. Это была неизменная тема, главный тезис, единственный лозунг, восторженный до абсурда. Чтобы завоевать подписчиков, использовалась только одна формула: «„Темуен“ говорит по-французски. Подписывайтесь». В каждом номере на целую страницу был напечатан сине-бело-красный цветок со следующей подписью: «Нет промышленности, производящей предметы роскоши, есть только французская промышленность». Рекламное объявление? Это были потерянные деньги. Сознавала ли это Габриэль? Она одна финансировала эту публикацию, и «Темуен» издавался одной из фирм Шанель.

Идея сама по себе была соблазнительна. Габриэль считала, что составляет счастье Ириба и одновременно заручается содействием артиста, который, сумев соединить интерес к политике с коммерческой жилкой, составил эпоху в истории рекламы. Шанель и как влюбленная женщина, и как глава фирмы могла найти выгоду в подобной сделке.

Но если несколькими годами раньше Ириб сумел проявить новаторский подход, согласившись поставить свой талант на службу крупной фирме, торговавшей винами[124], с «Темуеном» дело обстояло иначе. Шутки уступили место самому зловещему шовинизму. Ириб был одновременно националистом и реакционером, выступал против парламента. Он был вроде перевозбужденных буржуа того времени. Но отчего же статьи его были так дурны? Казалось, его художественные взгляды диктуются смутьянами, ратовавшими во Франции за возвращение к *здоровым формам искусства* и отличавшимися шовинистической самовлюбленностью, которая сделала бы честь фашистской Италии и нацистской Германии. Ириб стал разоблачать связь искусства и «куба» — под этим он понимал современное искусство — и выразил пожелание, чтобы человека оторвали от «машины», ненавистного объекта, повинного во всех бедах человечества. «Неужели мы принесем цветок в жертву кубу и машине?» или «Царство машин — это атака европейского мировосприятия на французское, то есть атака жесткого, холодного, гигиенического на грацию, женственность, роскошь». Эти цитаты дают достаточное представление о его стиле. Если к

этому добавить еще одну фразу: «В то время, когда все флаги пытаются быть одноцветными, а мнения — единодушными, хорошо любить три цвета», то можно понять меру его ксенофобии. К внутренним врагам — они звались по необходимости «Самюэль» или «Леви», к иностранцам, Леону Блюму и его «жидо-масонской мафии», к «шпиону Торезу и его красному сброду» — прибавились враги внешние: СССР и его варварские орды, коварный Альбион и непонятно почему Америка. Если он и разоблачал Гитлера, если и сожалел о захвате Австрии Германией, то все же слишком восхищался порядком и силой, чтобы впрямую нападать на рейх.

Хотя и великолепно иллюстрированный, «Темуен» был всего лишь бесполезным отражением прессы тех лет, по крайней мере так называемой патриотической прессы, которая поощряла действия бывших фронтовиков и молодых сторонников Лиги, франциστов Марселя Бюкара, «огненных крестов» полковника де Ла Рока и штурмовиков-кагуляров. «Франция французам!» Лозунг Ириба, лишенный своего рекламного содержания и использованный для других целей, был из тех, что послужили предлогом кровавых беспорядков 6 февраля.

Конечно, «Темуен» распространялся в довольно узком кругу, и не следует преувеличивать его значение. Мы бы и не стали на нем останавливаться, если бы он не знаменовал в жизни Габриэль переход от политического безразличия к взглядам, возникшим под влиянием Ириба. И это было бы еще ничего, если бы он не замкнул ее в этот образ. Республика? Это была Габриэль. Чтобы символизировать страдания Франции, это ее Ириб изображал в облике распятой Марианны в неизменном фригийском колпаке, испускающей дух. Она была и трупом с обнаженной грудью, несчастной жертвой, которую закапывал могильщик Даладье. Наконец, она была невинной Францией, представшей перед зубоскалящим трибуналом. Кто же были ее судьи? Рузвельт, Чемберлен, Гитлер, Муссолини. И смотрите-ка! Все объединились, ополчившись на *величие* обездоленной Франции, и все были в ответе за угрожавшие ей *беспорядки.*

С политической точки зрения рисунки Ириба не имели никакого смысла. Исторически они являются отражением определенного мировоззрения. Мировоззрения того класса, который, испытывая угрозу своему праву распоряжаться собственным имуществом, отождествлял свое возможное исчезновение с исчезновением господства Франции. Выставленное в киосках, разложенное на столах, прекрасно узнаваемое, лицо Габриэль призвано было прославлять ценности, которым угрожала опасность. Гордилась ли она тем, что он

выбрал именно ее? Была ли она этим тронута? Из двух гипотез последняя более вероятна. Ни один мужчина до Ириба не *афишировал* ее так подчеркнуто.

Поэтому она постаралась сделать для него то, что не делала ни для кого другого: она решила привлечь его к своей профессиональной деятельности, разделить с ним власть, к которой до сих пор относилась так ревниво. В общем, она была счастлива, что больше ей ничего не приходится скрывать.

В то время как начались ее распри с фирмой «Духи Шанель» и любой предлог был для нее хорош, чтобы возбуждать против своих компаньонов процесс за процессом, именно Ириба она послала председательствовать вместо себя на генеральной ассамблее, хотя он не имел на это никакого права. Она чувствовала себя потерпевшей стороной. Ириб становился ее доверенным лицом, рыцарем, которому было поручено защитить ее.

Это было что-то совершенно новое.

Все заметили, что она полагалась на мужчину.

Это подтверждало ходившие слухи. И Колетт, все в том же 1933 году, вновь откликнулась на новость: «…мне только что рассказали, что Ириб женится на Шанель. Тебе не страшно — за Шанель? Этот человек настоящий демон».

* * *

Беспорядки докатились до порога дома Габриэль. 6 февраля на площадь Согласия выплеснулось 40 тысяч демонстрантов. Лучший вид на происходящее открывался как раз с того места, где пала первая жертва — Корантина Гурлан, тридцати трех лет, горничная в гостинице «Крийон». С балкона этого красивого здания, под прикрытием колоннады Габриэля, можно было наблюдать за атаками конных гвардейцев, преграждавших то проход к Бурбонскому дворцу, то к предместью Сент-Оноре, видны были вооруженные люди, которые, забравшись на деревья, защищали демонстрантов. Бывшие фронтовики с высот террас Тюильри забрасывали булыжниками силы порядка, в то время как другие пытались поджечь министерство морского флота. У подножья обелиска был виден горящий автобус, конные полицейские наносили сабельные удары по молодым людям в сапогах и беретах, а издали, с Елисейских полей, спускались господа, на груди которых позвякивали медали, они распевали «Марсельезу» и поигрывали тростями. Это были не прогулочные трости. Бритвенное лезвие, закрепленное на их конце, позволяло

подрезать лошадям суставы.

Когда завязалась всеобщая перестрелка, беспорядки докатились и до Предместья.

У Франции был плаксивый президент, которого защищали решительно настроенные жандармы. Господа с бренчащей грудью добрались тем не менее до ближайших подступов к его дворцу. На булыжных мостовых Предместья они оставили около пятидесяти тяжелораненых, не сумев прорвать заграждение. Елисейский дворец устоял.

Незадолго до полуночи один жандармский офицер, посланный на место, хотя в тот вечер был свободен от службы, решил взять на себя инициативу. С остатками конной гвардии он попытался расчистить площадь и дал приказ к атаке. Это он, полковник Симон, разбил мятежников.

В два часа утра молодые люди в сапогах отказались от попытки разогнать депутатов, и господа с режущими тростями не достигли своей цели. Взятие Бурбонского дворца, провозглашение временного правительства, изгнание президента из Елисейского дворца провалились.

Но со времен сражений Коммуны Париж не переживал подобных ночей.

Как повлияли эти события на решение, принятое Габриэль? Весной 1934 года она объявила верному Жозефу, что увольняет его. Она не продлила аренду особняка и покидала Предместье. Последствия депрессии не переставали ощущаться. Производство во Франции падало, нищета росла. Собиралось ли правительство проводить девальвацию? Габриэль хотела сократить расходы. За исключением горничной, она уволила всю прислугу и со своей обстановкой обосновалась в гостинице «Ритц», которая до самой смерти будет ее единственной парижской резиденцией.

Габриэль Шанель и Жозеф Леклер расстались, «рассорившись».

Никогда он не рассказывал о том, что произошло во время их последнего разговора. Он пережил драму Кейпела, принимал великого князя Дмитрия, встречал Реверди, служил герцогу Вестминстерскому и стольким другим… Он знал всю подноготную ее жизни… Любопытные, конечно, расспрашивали его, но он не заговорил.

Каждый год во время показа коллекций Жозеф с несколько большим вниманием читал газеты. Но никогда он больше не встречался с Шанель и никогда не писал ей.

Несомненно, он говорил себе, что случившееся с ним — естественный удел прислуги. Габриэль собиралась замуж за Ириба. Она не хотела воспоминаний, не хотела свидетелей. На

пороге новой жизни она считала необходимым уволить всех слуг. Женщины всегда так поступали. Поменять мужа значило обязательно поменять метрдотеля. Когда Мися Эдвардс стала Мисей Серт, что она сделала? Рассталась с Жозефом.

Жозеф Леклер избегал выказывать малейшее чувство горечи по отношению к той, что так внезапно, после шестнадцати лет верной службы, устранила его. Но все время, пока он был жив, Жозеф продолжал служить ей… своим молчанием.

Он умер в июльский день 1957 года. Это случилось уже после «возвращения» Габриэль. Уже три года, как она вернулась на улицу Камбон, 31. Жозеф Леклер, должно быть, внимательно следил за всеми перипетиями ее жизни, ибо, когда он умирал, его близкие услышали, как он пробормотал: «Сегодня показ коллекции…»

* * *

Бесспорно, Габриэль выгнал из Предместья дух кочевья. Свои заботы она перенесла на «Ла Пауза». Именно там будет впредь ее *дом.* Разрыв с Габриэль лишил герцога Вестминстерского возможности увидеть работы в саду завершенными, а гостиные в их окончательном виде. Что касается «Ритца», она сняла там апартаменты, развернула коромандельские ширмы, обстановка была столь же роскошной, как и в Предместье. Но самое приятное было в том, что здесь она еще никогда не жила. Опять она получила то, что хотела, — новую жизнь. Когда же свадьба, в которой больше никто не сомневался?

Когда Ириб приехал в «Ла Пауза», он только что развелся с Мейбел. Он подчинял себе Габриэль, охотно уступавшую ему прерогативы хозяина дома. Она любила собственную слабость, значит, она была влюблена.

Тем летом она решила жить в бесконечном празднике. К черту пессимистов! К черту события зимние, к черту события весенние! Она хотела, чтобы они не затронули этот кусочек побережья, где она наслаждалась передышкой. Перед домом, за домом — волны оливковых деревьев, которые ласкал морской ветер. Каникулы… «Ла Пауза» стоила того, чтобы забыть все остальное.

В январе Саар единодушно высказался за присоединение к Германии, это право никто не собирался у него оспаривать. Но по ту сторону Рейна событие вызвало взрыв воинствующей радости, сопровождавшейся песнями, митингами, поднятыми руками и дождем цветов, которыми осыпали коричневорубашечников.

Удивляться было нечему. После такой победы… Было от чего опьяниться и самым трезвым головам[125]. А потом, эти молодые люди выглядели вполне импозантно. Согласитесь, что манеры у них были получше, чем у «Красных соколов» и прочих возбужденных банд того же сорта. В марте Гитлер восстановил воинскую повинность и объявил, что у Германии наконец-то будет армия, которой она сможет гордиться. Счастливые немцы! И все-таки, разве можно до такой степени попирать положения договора? Какого договора? Какие положения? Версальского и его ограничительные условия… Ну вот, все снова здорово! Еще немного, и можно испортить себе все лето, оплакивая превращенный в кусок бумаги договор. В конце концов, это возмутительно. Невозможно отдохнуть спокойно. Не одно, так другое. Прошлым летом… Прошлым летом провал конференции по разоружению вызвал целую бурю. Потому что. Рокбрюн был в некотором роде британским анклавом. Так англичане с побережья, знатные соседи Габриэль, раздули из этого целую историю. Говорят, Уинстон бушевал. Он считал, что в вооружении надо было перегнать немцев. Куда он лез? Он был не у дел. Социальные беспорядки, война… Так эти слова и не будут сходить с языка? Говорить о чем угодно, о любых пустяках, только не о том, что происходило. Габриэль старалась вовсю. О том, что ее пляжные пижамы носили повсюду и копировали, словно заученный наизусть урок, что с брюками клеш покончено и, чтобы выглядеть модно, надо носить такие брюки, как у Габриэль, не шире и не уже, чем мужские, — вот о чем говорили в «Ла Пауза», об этом, о балах нового сезона и вечерних платьях с такими забавными пенистыми рукавами, которые ничем не прикреплялись к корсажу, а походили на браслеты из тюля с воланами, надетыми на руку возле локтя. Идея Габриэль… И что еще она придумает, чтобы положить на обе лопатки соперницу, эту Скьяпарелли[126], чертову итальянку, начинавшую слишком досаждать ей. Приходилось относиться к сопернице со всей серьезностью. Она существовала. Она переманивала у Габриэль клиенток. То, что женщины соглашались носить клоунские шляпы и куртки как у наездниц, выводило Шанель из себя. Впервые за пятнадцать лет Габриэль приходилось считаться с конкуренцией. Но эти проблемы она будет решать после каникул… Просто тогда придется потрудиться вдвойне.

Летом 1935 года Ириб упал на теннисном корте в тот самый миг, когда к нему присоединилась Габриэль. Он едва успел остановить на ней взгляд. Когда его подняли, он не подавал признаков жизни. Он умер в клинике Ментоны, так и не придя в сознание.

Лазурный берег во всем своем летнем великолепии и, как и во времена смерти Боя, потрясение, пережитое во второй раз.

Габриэль страдала невыносимо.

Но почти не жаловалась.

Вновь примчалась Мися. Тонкая натура, она отнеслась к молчанию Габриэль с трезвым, критическим вниманием. Она умела правильно понимать, что в этом молчании кричало о несчастье, а что его скрывало. Она поняла его, как и следовало понять: как страшный крик. Какую только помощь не получила Габриэль от подруги, с которой больше не расставалась.

Проходили недели.

Под сияющим солнцем римского августа молодцы в черных рубашках орали: «Мы хотим места под солнцем» и обливались потом. Из-за жары… Муссолини обещал им африканские приключения. Ошеломляющие заявления, сделанные им представителю британской прессы, немедленно отразились на англичанах с Лазурного берега. Вокруг Габриэль царило всеобщее смятение. Все считали, что Муссолини блефует, и с некоторой торжественностью комментировали «Дейли мейл».

29 августа раздался голос того, с кем были связаны надежды левых и ненависть правых: «…Пусть наши услужливые коллеги и правительство зарубят себе на носу простую истину: если в Эфиопии начнется война, никто, как бы хитер он ни был, будет не в состоянии измерить или ограничить ее последствия»[127]. Но «Попюлер»… Кто в этих кругах читал «Попюлер»?

Начался новый сезон.

Октябрь приготовил бомбу: итальянская агрессия в Эфиопии. Решительно, сезон начинался скверно.

Габриэль вернулась в Париж. Она снова была одна, снова ей приходилось в одиночку выбирать, решать, придумывать. Она строила планы. Она согласилась выслушать Кокто, говорившего ей о пьесе, которую он собирался написать, — «Царь Эдип». Он хотел, чтобы Габриэль сделала для нее костюмы. У Жана Ренуара в голове был замысел фильма «Правила игры». Он тоже хотел ее участия. «Красивый фильм, знаешь, со звездами… Полетта Дюбост, Мила Парели». Он настаивал, чтобы она согласилась.

Так каждый старался вылечить Габриэль работой. Но для тех, кто ее хорошо знал, сомнений не было: она уже не та, что прежде. Счастье, навсегда ставшее несбыточной мечтой, — в этом и была перемена, этим и будет объясняться все остальное.

III
Незабываемая радость

Необычный наступал год — насилие, безумства, ясная апрельская погода и звуки аккордеона.

Но начнем все по порядку. Разгул фанатизма достиг во Франции небывалых размеров. Словно на страну напало безумие… Был Блюм, которого 13 февраля вытащила из автомобиля группа молодых «патриотов» и избила. Рабочие с соседней стройки едва спасли его и отвезли в больницу. Таково было положение дел во Франции в 1936 году. Были вещи и пострашнее, когда приходилось читать: «Блюм — не англичанин, не немец, не француз: он иностранец. Его судьба быть Разрушителем… Это человек, чьи подошвы оставляют на нашей земле жирные следы гетто, из которых он вышел».

Потом в рейнской зоне немецкой армией был нанесен удар крупными силами, и, чтобы как-то ответить на откровенный вызов, состоялись деликатные переговоры правительственных чиновников. «Символическая оккупация», — заявил барон Константин фон Нейрат[128] послам Франции и Англии, и, скорее всего, этот человек, принадлежавший к другой эпохе, верил в то, что говорил. Были слова, звучавшие по-новому, слова угрожающие, но не нарушавшие прежние привычки. Таким было, например, слово «Schulung», которое кричали в военные телефоны, «Schulung» — и молниеносная операция, первая в долгой череде других, началась. «Schulung! Schulung!» — и рейхсвер вошел в Рейнскую область, это было в субботу 7 марта, когда члены британского кабинета соблюдали традицию уик-эндов.

Дипломаты с мест, знавшие все, информировали столичных дипломатов, которые ничего не желали знать. В депешах французского консула в Кельне содержались сообщения о том, что немецкие казармы растут, расширяются аэродромы и что, прикрываясь гражданскими обязанностями, массированно прибывают военные. Настойчивость его осталась безрезультатной. На набережной Орсэ методичные чиновники получали его депеши, прочитывали их, затем подшивали в папки, но в расчет не принимали.

Необычный год когда даже погода была не по сезону. 26 апреля 1936 году над Францией шел дождь. Лил как из ведра. Некоторые политики надеялись, что потоп помешает французам прийти на выборы. Но 85 процентов избирателей приняли

участие в голосовании. Это была победа Народного фронта.

В богатых кварталах выжидали. За закрытыми ставнями опасались разгула народных страстей, до которого, впрочем, не дошло. Одна агрессивная дама из хорошего общества поджидала Блюма, чтобы «плюнуть ему в физиономию». А другая, настроенная менее воинственно, писала подруге в Рим: «Моя дорогая, в Париже творятся ужасные вещи. Мой парикмахер заставил меня ждать: *Принцесса,* сказал он мне, *люди моего положения тоже имеют кое-какие права…* Вот до чего дошло!»

Враждебность состоятельных кругов была всеобщей, но выражалась она по-разному: по свирепости узнавали тех, чьи капиталы были уже за границей, по панике — тех, кого события застали врасплох. Все покупали золото. Таковы были в 1936 году настроения социального слоя, поставлявшего Габриэль основную клиентуру. Но она ни одного дня не оставалась за закрытыми ставнями, и Дом Шанель, распахнув двери, продолжал ждать затаившихся заказчиц.

Биржа рухнула.

Это положение, определявшееся деловыми людьми как катастрофическое, было столь же неблагоприятно для тех, кто хотел навязать стране новую социальную политику. Новые правители не хотели, чтобы судьба Франции решалась в финансовой сфере. Они не прибегали к замысловатым, полупонятным *фразочкам,* которые используют гадалки на кофейной гуще. Нет. Это была весна простых слов, их можно было слушать и понимать, не имея образования: сорокачасовая неделя, коллективные договоры, оплачиваемые отпуска, амнистия — это было понятно всем. Понятно французам, понятно иностранцам, так понятно, что слова эти докатились даже до каторги в Кайенне, до тюрем Магриба и Левана: «политики» договорились объявить об освобождении заключенных.

Но это было только начало.

Затем пришел черед других реформ: национализация военной промышленности, реформа Банка Франции, продление школьного обучения и т. д. Ради этих целей впервые в истории страны к власти пришел социалист и к тому же еврей.

И когда обрушилась майская волна, когда рабочие стали все чаще занимать заводы, угрожая жизни страны, тогда была произнесена фраза, тоже простая и тоже понятная: *«Нужно уметь не только начать забастовку, но и закончить ее»*[129]. Сказано без двусмысленностей. Работа возобновилась, экономика снова пришла в действие, и страна отпраздновала 14 июля.

В тот день парижский народ охватила всеобщая радость.

Как же короток оказался праздник… Но несмотря на

поражения и иллюзии — через три дня начнется война в Испании, несчастья последуют одно за другим, и Бог свидетель, сколько их будет, а затем наступит 1939 год, когда каждый, будь то рабочий или буржуа, окажется в одной и той же форме и в одной и той же роли: приговоренного к поражению и униженного, — несмотря на это и многое другое, все же в тот июльский день законные притязания самых скромных слоев населения были удовлетворены.

Какой был праздник! От площади Согласия до Бастилии — четыреста тысяч человек, народу немало. На перекрестках друг у друга вырывали кокарды, флажки, и продавщицы кричали, как на рынке: «Покупайте фригийские колпаки!» Это было словно нежданный импровизированный бал.

Одолеваемые сомнениями, прячась от шествия, мелкие буржуа, мелкие вкладчики задавались вопросом: «И это все? И только-то?» Они видели тех, кого называли *«свиньи-забастовщики», «предатели», «зачинщики беспорядков»,* они видели их и не могли прийти в себя от изумления. Прятаться целую неделю из страха попасть революционерам под нож, а вместо этого увидеть весельчаков, которые носили кокарды, как добрые новобранцы, и вальсировали. Кто бы поверил?.. Душегубы танцевали под звуки аккордеона.

* * *

А как же Габриэль в этой майской волне, Габриэль, одна во главе четырех тысяч служащих? Как же она негодовала!

То, что бастуют мужчины, — куда ни шло. Хотя и это было весьма неприлично. Но в конце концов, это их дело. Вначале она сохраняла хладнокровие. На автомобильных заводах «Хочкисс», «Розенгарт», «Паккард и Левассор», «Испано-Сюиза», на железных дорогах, на почте, в металлургии, строительстве, на бензозаправках, в такси, кафе, ресторанах — повсюду бастовали, но то были мужские дела. Она думала, что этим дело и ограничится. А хлеб? Забастовка булочников? Булочники были мужчинами.

Волна, захватившая и текстильную промышленность, ошеломила ее. Ткани, джерси, кружева, даже если их производством руководили мужчины, продолжали оставаться товарами, предназначенными для женского потребления. Забастовка в текстильной промышленности касалась Габриэль напрямую. Шанель восприняла ее как личное оскорбление. Устроить ей такое! Могла ли она понять, могла ли просто

предположить, что понимание власти и образ мышления, свойственные промышленникам в XIX веке и разделявшиеся ею, как раз и были поставлены под сомнение? Могла ли она поверить, что хозяин волей Божией должен был стать первой жертвой событий и что 1936 год в истории означал его смертный приговор? Согласиться на диалог, давать отчет рабочим — только этого не хватало! Мужчины посходили с ума, повторяла она себе. Она, женщина, сохраняла решимость ни в чем не менять свои методы управления.

И действительно, она их ни в чем не изменила. Она только стала уделять больше внимания тому, чтобы ее работницы были пунктуальны и трудились быстрее, чем обычно.

Когда она узнала, что хозяева текстильной промышленности, как настоящие командиры сражения, восстали против Матиньонских договоренностей и отказались повышать заработную плату, тогда в ее глазах они вернули себе утраченное было уважение. Она их поддержала. Ну-ка! Мужчины вновь становились хозяевами положения… Это был добрый знак, и их примеру, она не сомневалась, последуют другие. Но забастовка, почти сразу же распространившись на универсальные магазины, затронула женский персонал и повергла Габриэль в ужас. Бастующие женщины! Можно ли было представить себе нечто подобное? Продавщицы, танцующие вокруг прилавков, устраивающие пикники на лестницах, за закрытыми дверями, под стеклянными куполами позолоченных храмов торговли, таких, как «Прентан» и «Галери Лафайет». Да, действительно, это была революция.

Двадцать лет спустя Габриэль была уверена, что Франция обязана своими несчастьями этой забастовке. Очевидно, что в барышнях из магазина она видела *своих* продавщиц, в служащих, остававшихся на ночь на рабочем месте, — захватчиков *своих* ателье, в балах под звуки фанфар и «мисс», поющей серенады забастовщикам, — возможную вакханалию среди зеркал *своего* салона. Она утверждала даже, будто самое шокирующее было в том, что эти люди бастовали, «веселясь», и в данном случае она разделяла мнение газет: «Эко де Пари» писала, что «хорошее настроение забастовщиков было одним из самых зловещих предзнаменований».

Убедить ее в том, что нищеты французских рабочих достаточно, чтобы объяснить забастовки 1936 года и их стихийный характер, было невозможно. «Что вы такое несете?» — она делала вид, будто ничего не понимает.

Но она не сердилась, во всяком случае, до поры до времени: это были мужские дела.

Она и слышать не хотела о том, что забастовки были способом отметить победу, отпраздновать завоеванное право объединяться в профсоюзы, что было разрешено в США и Германии, но запрещено до 1936 года во Франции.

— В США? Оставьте меня в покое с вашими США! Не им учить нас чему бы то ни было, во всяком случае, в области элегантности. Ну и ну! С такими идеями вы далеко не уйдете, мой миленький, это я вам говорю…

Для нее все упиралось в одежду, и казалось, что ее устами говорит Ириб.

Стоило заикнуться о заработной плате, как она взрывалась:

— Перестаньте забивать мне голову всяким вздором!

То, что с помощью забастовки женщины пытались утвердиться в стране, где их заработная плата была постыдно низка, выводило ее из себя. Она заявляла, что в 1936 году — в фирме «Шанель» — заработки были «самые что ни на есть приличные» и что она единственная посылала «своих самых слабых здоровьем учениц-швей» подышать воздухом в Мимизан.

В этом месте разговор из диалога превращался в монолог, и остановить ее было уже невозможно.

Кровь бросалась ей в лицо.

Она кричала: «Вы что же, считаете, что все упирается в заработную плату? Так вот, я, я утверждаю обратное… Люди подхватили это как испанку, как бараны подхватывают вертячку. Дошло и до крестьян… Да, до крестьян. Для них-то и речи не может идти о зарплате, не так ли? Потому что земля-то ведь не платит им зарплату, насколько мне известно! Однако это не помешало тому, что землю тоже заняли, заняли, как заводы, как все остальное. Подумать только! На Юго-Западе крестьяне захватили виноградники. Слышите меня? Виноградники! Вы же не станете отрицать, что эти люди больны? Говорю вам, 1936 год — это вертячка. Занять виноградники! Лицемерие, имеющее такой же смысл, как если бы мои работницы устроили сидячую забастовку, уселись на *мои* платья. Прелестно, не правда ли? Это забавно и соблазнительно — представить женщину в такой позиции. Так вот, идея пришла из ваших США! Sit-down — это и есть забастовка на рабочем месте. Хорошенькое дело! Нет, но эти девицы! А вы их еще защищаете… Дойти до такого! Чтоб мои работницы бастовали…»

Это было уже чересчур, поступок возмутительный: Дом моделей Шанель объявил забастовку. Как только событие свершилось, Габриэль больше не проронила ни слова. Она забаррикадировалась в своем осуждении, как ее работницы — в ателье на улице Камбон в тот июньский день. Бесполезно было

задавать ей вопросы. «Подите к черту. И замолчите… Вы сошли с ума. Сошли с ума!»

Но свидетели вспоминали.

Забастовочный пикет в двух шагах от «Ритца» — такое не забывается.

Утром, в час открытия ателье, девчушка в рабочем халате наклеила на дверь наспех написанное объявление: «Занято». Габриэль тут же была предупреждена. Это сделала та, кого звали «госпожа Ренар», тихая особа, которой было поручено проверять личные счета Мадемуазель, чем она и занималась на улице Камбон, — договоренность, существовавшая при герцоге, пережиток времен Предместья, жизни на всю катушку. Так вот, «госпоже Ренар», не входившей в состав персонала, был запрещен вход в Дом моделей. Вообразите ее замешательство. Одним махом она оказалась в «Ритце». Она говорила только об опасностях, подстерегавших Мадемуазель. Париж скоро очутится в руках шпаны. Разъяренным работницам достаточно только пересечь улицу. Мадемуазель должна решиться как можно быстрее покинуть город. У нее есть готовое убежище — «Ла Пауза». Со своей стороны «госпожа Ренар» просила позволения затаиться у себя дома. Перед этим тщательно наполнив ванну водой. И она советовала Мадемуазель сделать то же самое. За неимением лучшего под рукой всегда будет хотя бы это: вода в ванне.

Ужас, испытываемый госпожой Ренар, переживали многие парижские буржуазки, и по мере возможного все ванны, находившиеся в их распоряжении, были заполнены водой.

Утром «делегатки от ателье» потребовали, чтобы их приняли. Это означало, что они явились в «Ритц», предстали перед портье в позументах и, хотя от волнения у них перехватывало горло, заставили его предупредить *хозяйку*. Поступки, немыслимые еще две недели назад.

Мадемуазель велела ответить, что ей неизвестно, что такое «делегатка от ателье», и, следовательно, она никого не примет. Как можно принять то, чего не существует? К тому же она еще в постели. Но как только она будет готова, то, как обычно, отправится на улицу Камбон, и, если они хотят поговорить с ней, она выслушает *своих* работниц в *свое* время.

Мнение портье: «Нет уверенности, что Вам позволят войти».

Ответ Габриэль: «Это мы еще увидим».

Она оделась. Отказалась от рабочего костюма — то, что она называла номер 2, — выбрала номер 1, нечто более подходящее к случаю — строгий темно-синий костюм и к нему немало украшений. Тут вмешалась верная Эжени: «Мадемуазель не

наденет *настоящие*!»

А почему бы и нет? «Мадемуазель знает, что сейчас такое время, когда готовы разорвать любой пустяк. Мадемуазель хочет неприятностей?.. Мадемуазель ведет себя неразумно». Вовсе нет… Она хотела жемчуга. «Но по крайней мере мадемуазель не наденет большое жемчужное ожерелье?» Именно это она и собиралась сделать.

Над «Ритцем» пронесся ветер волнений. Примут *они* ее или не примут?

Они ее не приняли.

Она вела переговоры долго, не роняя себя. Ответом было «нет». И твердость этого «нет» была для нее таким унижением, что потребовалось почти двадцать лет, чтобы стерлись его следы, если они вообще стерлись. Вход в *ее* Дом был ей запрещен. Она оказалась *за дверью.* Подобная ситуация для нее была непереносима.

Переговоры между Габриэль и ее персоналом проходили в крайне напряженной обстановке. Она начала с того, что отказалась принять самые скромные требования: еженедельная зарплата, оплачиваемые отпуска, контроль за рабочим временем, трудовые договоры. На это Габриэль ответила увольнением трехсот человек… не подумавших тронуться с места. Дело затягивалось. Габриэль прибегла к последнему маневру. Она предложила фирму в дар работницам при условии, что за ней останется руководство. Это был отравленный подарок, от которого делегатки отказались. Приближалось лето. Советники Габриэль заметили, что, если до конца июня не будет заключено соглашение, придется оставить всякую надежду представить осеннюю коллекцию. Тогда Габриэль уступила.

Без сомнения, это был единственный случай в ее долгой карьере, когда Габриэль не удалось скрыть свою растерянность. *Ее* Дом — это было все, что у нее осталось. И теперь он вырывался из-под ее власти. Можно ли представить себе большую несправедливость? Чего хотели эти девицы? Без Габриэль, без ее платьев они бы не выжили.

Разумеется, абстрактно Габриэль знала, что у девушек в рабочих халатах, на которых она никогда не смотрела, у девчушек, шивших днями напролет, были тела, головы, что они не всегда ели досыта, но охотно пели во время работы, что славные их глазенки выглядывали порой из-за платья, которое они с невероятной осторожностью несли на вытянутых руках, и тогда ученицы бывали так горды, словно им доверили сокровище. И что у них были желания, у этих малышек, и что в их возрасте они были нетерпеливы, — разумеется, абстрактно Габриэль это

знала. И знала особенно хорошо, ибо те же желания и нетерпение она когда-то испытала сама. Когда-то она была одной из девушек, склонявшихся над работой до тех пор, пока не темнело в глазах. Ей тоже были известны высокомерие клиенток и тревога — «Ах, черт, у меня бейка съехала!», — и никак не поддающееся закругление, и кривая пола. То время, когда она ходила по домам в районе Виши и дамы де Бурбон-Бюссе и прочие владелицы замков были ее клиентками — в ее памяти это было вчера. Ей тоже было двадцать лет, и она училась ремеслу… Ее работницы ничему не могли ее научить. Поэтому «нет», брошенное ей в лицо, Габриэль восприняла так, словно ее отвергла ее собственная юность. Вот тень ее поднялась с пола и стала угрожать ей. Все в ее доме потеряло прежний смысл и вид. По своему характеру она не могла поступить иначе. Народ? Ах, пусть ее оставят в покое с подобными рассуждениями… Все равно что пытаться объяснить ей, что такое ее собственная семья. Народ? Как она могла ответить, что она сама из народа, ибо в этом и состояла ее тайна? И она не пыталась больше представить себе, что творилось в головах ее работниц, ибо, чтобы выкарабкаться, чтобы, как говорится, *выйти из народа,* ей пришлось принудить себя к упорному, тяжелому труду. Иного пути, кроме работы, не было. Она глубоко в это верила.

Поэтому особенно ее шокировала не забастовка сама по себе, а то, что работницы *разрушали дело,* попирали *ее* работу, ее творение, все, что воплощало для нее с таким трудом завоеванную респектабельность.

Как же ей было понять их? Все этому противилось. Могла ли она, например, понять, что в процессе шитья платье и работница вступают в определенные отношения и в какой-то момент становится невозможно разделить их? У Шанель в особенности было трудно избежать этой путаницы. Возможно, зеркала способствовали отождествлению работницы с платьем во время примерок, множа до бесконечности образ «работница + платье». И парадная лестница, оттого что не было другой, служила и работницам, и клиенткам.

Если из салона требовали: «Примерка госпожи Х…», то переданный приказ превращался в: «Манон, *твое* платье». Это означало: «Манон, ты не осмеливаешься высунуть и кончик носа и прячешь под халатом донельзя заношенную юбку, но теперь выйди из комнаты под крышей, покинь кулисы и иди в зеркальное королевство, где богатейшая госпожа Х… ждет платье, которое она будет носить, а ты — никогда, но тем не менее это *твое* платье и оно останется таким, ибо вышло из-под твоих рук, это твое творение, твой шедевр». *Твое* платье! Как она устойчива,

эта иллюзия! *Твое* платье! Необязательно носить его. Пусть только за ним признают определенную роль, и его успех будет успехом создавших его рук.

И что могла поделать Габриэль, спрашиваю я вас, что она могла поделать, если, несмотря на ее известность, на скандальные любовные истории и богатство, у нее остались некоторые прежние навязчивые идеи? От той девчушки, сироты, воспитанницы Обазина она унаследовала любовь к порядку, страх перед мотовством, как навсегда заученный урок. Своим характером мы обязаны не только себе. Себе и всем остальным. В то лето 1936 года наследие Мулена, Виши, тети Жюлии и Ириба тяготело над Габриэль. Могла ли она запретить себе думать об этом? Что бы сказал Ириб о подобном безобразии? Ах, нет! Довольно! *Мои* платья! Они саботировали ее платья, и это оставляло у Габриэль чувство непереносимой горечи.

Долго она была зла на своих работниц, сожалея, что не может сделать то, что ей безумно хотелось: выставить их всех за дверь и опустить железный занавес. Увы, невозможно… Скьяпарелли шла за ней по пятам. Если бы только Габриэль позволила себе малейшую передышку, если бы только ее Дом моделей закрылся, как та, другая, воспользовалась бы этим. Оставить сцену «Скьяп»… Габриэль не хотела уступать.

И потом, Выставка. Ибо была еще и Выставка, сильно пахнувшая войной, с павильоном Германии, установленным, словно в оскорбление, рядом с павильоном Франции. Советский павильон на выставке… Выставка, открывшаяся с опозданием, 24 мая, а не в день праздника Труда. Было поражение Народного фронта, забастовки и еще забастовки, над которыми потешались правые. Выставка, ее фонтаны и грусть от предстоящего конца света, Выставка заката, ее развлечения, демонстрации мод, шеф-повара в колпаках, специалисты по винам в черных фартуках, рестораны через каждые сто метров… Выставка Искусства и Техники, Париж, 1937 год. На ее успех надеялись, чтобы ускорить подъем экономики.

Габриэль без конца приглашали на всевозможные мероприятия, праздники, торжественные открытия… Надо было показываться, как показывались в свое время в Довиле Адриенна и малышка Антуанетта, когда там открылся первый магазин. Где они? Порой ей их ужасно не хватало. Они втроем… Они бы показали, что почем, этой «Скьяп»! Но теперь Габриэль была одна. Значит, показываться? На этом поприще она всегда выигрывала.

Выставка дала Габриэль возможность окружить себя целой свитой фотографов и журналистов. Нет, она не позволит свалить себя… В самом деле, давно Габриэль не была так хороша, как

однажды вечером на Выставке, под руку с Кристианом Бераром. Ее платье было таким воздушным, что все спрашивали, что это за бледная пена, что за цветочное облако, обернувшее бедра Габриэль. Легкость была одним из ее секретов. Габриэль выставляла ее напоказ, словно вызов той, другой, итальянке, словно колдовство, секрет которого был ведом ей одной. Нет, она не позволит свалить себя, и она прогуливалась по улицам Выставки в дымке органди, с диадемой из цветов, как Диана с полумесяцем, охваченная желанием победить. Если бы не контраст между веселым взглядом и подобием улыбки, которая выдавала такую горечь, что хотелось плакать, можно было бы подумать, что Габриэль излечилась. Но до этого было так далеко…

Она скрывала свои чувства. Ее видели у графа Этьенна де Бомона, на весеннем балу. В то лето в «Ла Пауза» видели, как она в серых фланелевых брюках лазает по деревьям, гибкая, словно кошка. В следующем году вместе с Мисей, Дали и Ориком она праздновала возрождение «Русских балетов» с несравненной Даниловой. Это было в Монте-Карло[130]. Видели, как она входила в «Отель де Пари» под руку с великим князем Дмитрием Павловичем. В Париже, по-прежнему вместе с Мисей, они присутствовали на открытии «Атенея», и Жуве встретил их с распростертыми объятьями, а Стравинский, с которым было проведено не одно лето в «Бель Респиро», сидел рядом с Габриэль с растроганным видом.

Это было краткое возвращение к «славянским годам», просто так, из грусти… Но шляпа, которую она носила, была некрасива. И Габриэль улыбалась и улыбалась своим друзьям и фотографам, словно обеими руками прижимая маску к лицу.

Какая тоска! Вдохновение покинуло ее. Удача, быть может, тоже. Она пошла к гадалке. Та посоветовала ей «работать». В этом для нее не было ничего нового. Но поскольку она легко пленялась мужской красотой, то когда один неизвестный молодой актер попросил ее сделать костюмы для пьесы, о которой Кокто… Вы помните, «Царь Эдип»… Она согласилась. Правда, кажется почти невероятным, что костюмы сделаны ею, так уродливы ленты, делавшие из актеров, в зависимости от того, были они высокими и белокожими или розовощекими и круглыми, то тяжелораненых, то спеленутых младенцев. Надо было быть красивым, словно молодой бог, чтобы носить такой костюм, надо было быть Жаном Марэ. Но кроме него… Фригийские колпаки походили на носки, на леди Эбди вместо ожерелий висели в два ряда катушки с нитками, все это было настолько удручающе… Пресса, как и публика, не преминула высказать свое мнение.

21 сентября 1938 года западные державы бросили Чехословакию на произвол судьбы. В Праге, во дворце Градчаны, Бенеша разбудили в два часа утра. Правительства Лондона и Парижа информировали его о своем предательстве, и преемник Масарика не удержался от рыданий. Чехи остались одни. В тихом квартале Бубенеч генерал Фоше, глава французской военной миссии, разорвал свой французский паспорт и вступил в чешскую армию. В Лондоне утренние газеты опубликовали заявление, сделанное Черчиллем накануне, в полночь: «Раздел Чехословакии под давлением Англии и Франции равнозначен полной капитуляции западных демократий перед нацистской силой. Подобное отступление не принесет мира и безопасности ни Англии, ни Франции». «Смотри-ка! Опять старик Уинстон!» — как сказала бы Шанель. Она говорила также: «Он похож на пузатых кукол-неваляшек. Чем больше их стараются повалить, тем быстрее они вскакивают». И поскольку она тоже была способна на удивительные приливы энергии, несмотря на все то, что копилось в ней, Габриэль еще сумела блеснуть мастерством. В частности, длинные платья принесли ей огромный успех. Летние платья 1939 года, в цыганском стиле. Самое любопытное было в том, что платье, вызвавшее наибольшее восхищение, отличалось совсем иной, нежели у цыганок, цветовой гаммой. Какое-то воспоминание? Это была ее тайна… Но вне всякого сомнения, эти платья были трехцветными. Всего несколько мазков, чуточку синего в юбке, красного в корсаже, словно незаметный намек на дорогие Ирибу цвета и на такие близкие времена, когда Габриэль позировала для «Темуена».

Таковы были платья в ту последнюю весну, когда еще танцевали.

Еще несколько недель грубых отказов, снесенных оскорблений, криков, истерических речей, брани, и внезапно, в одно сентябрьское воскресенье, началась война. «Странная война», пусть, но никто больше не мог сомневаться в том, что это была война.

В обстановке смятения и изумления, в то время как миллионы французов подчинялись приказу о всеобщей мобилизации, решение, принятое Габриэль, вызвало осуждение со стороны ее коллег, порицание ей вынесли без обиняков. Шанель объявила о закрытии Дома моделей. Она уволила без предупреждения всех работниц. Только магазин оставался открытым. В этом усмотрели месть, которую она вынашивала с 1936 года.

IV
Притвориться мертвой

Поведение Шанель в кругах моды, где всегда выражаются с преувеличением, назвали предательством, дезертирством. Так ли это? Посмотрим… Прежде надо задаться вопросом, могла ли она считать себя связанной обязательствами по отношению к работницам, которые всего три года назад… Пренебречь этой обязанностью и значило дезертировать? А хоть бы и дезертировать… почему бы нет, в конце концов? Все и вся бросили ее. Теперь пришел ее черед уйти. И если это называется дезертирством, что ж, пусть! Ей от этого ни горячо, ни холодно.

Ее позорили, смешивали с грязью. Профсоюзная палата предприняла демарш. Участники переговоров получили приказ растрогать ее: пусть она откажется от закрытия Дома, они ее умоляют. Если она не хочет пойти навстречу работницам, пусть подумает о своей клиентуре. Клиентура времен войны? Однажды она уже прошла через это и не хочет начинать сначала. Для ее отказа была причина: тогда у нее был Бой, теперь она осталась одна, но этого она не могла им объяснить. Все, что она нашла им сказать, было «пф», произнесенное с бесконечным презрением. Они настаивали. Но эта клиентура была ей больше не нужна. Тогда переговоры пошли по другому пути. Быть может, если ей польстить…

Ее стали убеждать, что она должна остаться ради престижа Парижа. Будут торжественные вечера, показы мод, будет организовано столько всяких мероприятий в пользу сражающихся. Какой же смысл будут иметь вечера без Шанель? Она ответила, что уже участвовала в подобных увеселениях в Довиле, двадцать пять лет назад, и такими трюками ее больше не заманишь. Она не ограничилась этим и с ледяной иронией добавила, что на сей раз *что-то* говорит ей, что они поставят себя в нелепое положение. «Парижская мода на службе у солдатиков? Спасибо, без меня». Озадаченные, ее собеседники попытались соблазнить Шанель работой. Заказы? Они у нее наверняка будут, сказали ей. Например, одежда для боевой тревоги… Она уже занималась этим в 1916 году. Если женщинам нужно, пусть обратятся к своим матерям. «Мамаши наверняка вспомнят! И потом, для этого не нужна Шанель». Тогда ей привели в пример Пуаре: поступить так, как он во время той войны, пожертвовать собой, создать новую форму для офицеров и медсестер. Ничего хуже и придумать было нельзя. «Мне! — воскликнула она. — Вы

шутите! Мне! Одевать этих женщин! Ну уж, спасибо. Уже в 1914 году мне от них было тошно. Совершенные неумехи… Я уверена, что из-за них умерло немало парнишек, которые без их ухода были бы сегодня живы и счастливы». Пусть ее оставят в покое. Война — дело мужское. Подобные предложения были хороши для такого пузана, как Пуаре, Такое дело как раз для него. «Он ведь не умер, насколько мне известно?» Чудно. Так пусть ему позвонят! Такому мегаломану, как он, только и заниматься тем, что заново экипировать французскую армию с головы до ног. Что до нее, решение ее окончательное, она все бросает и закрывает, что бы ни случилось. Она повторила: *«Что бы ни случилось»*, к тому же никто не заставит ее работать против ее желания, нет, никто.

Кабатчик из Нарбонны, не так ли? У него оказались последователи. Ибо то, что руководило Габриэль, пришло из далекого прошлого: это было севеннское упрямство, и вдруг предупреждавшее ее *«что-то»* отзывалось крестьянской магией, заставлявшей хлебороба поднять нос к небу раньше, чем упадет первая капля дождя.

Габриэль же была уверена: в ближайшем будущем места платьям не будет.

* * *

Тем не менее был человек, одобрявший ее поведение.

Когда Габриэль говорила: «Это время не для платьев», Реверди разделял ее мнение. Конечно, к одинаковому выводу они пришли по совершенно разным соображениям, но что за беда… По мере того как она чувствовала нараставшую вокруг себя враждебность, ее все-таки утешало то, что в своем солемском уединении Реверди думал, как она. Он тоже говорил, что единственное, что нужно делать в подобных обстоятельствах, — это забиться в нору.

Кстати, год спустя, когда немцы захватили Францию и проходили через Солем, некоторые из них оказались в садике Реверди, в его саду кюре, и украли там помидоры, а потом вошли и в его дом. Что он тогда сделал? Он решил, что ему больше невозможно жить в этом доме. Как поступить? Больше не видеть немцев, никогда их не видеть, а значит, не видеть того, что увидели они. Место, где он работал? Его дом? Он поспешно все продал и устроился в амбаре, велев замуровать окна, выходившие на улицу. А сад? Там он рисковал их увидеть. Тогда он решил поднять стены повыше. Время было такое, что нельзя было ни

видеть, ни быть увиденным.

Когда вспоминали этот эпизод из жизни Реверди, Габриэль коротко говорила: «Мы похожи». В каком-то смысле это было верно.

Когда Реверди приехал в Париж в первые месяцы оккупации, встретив Жоржа Эрмана, он воскликнул: «Как? Немцы здесь, и вы можете писать?»

Дом Шанель был закрыт, и Габриэль стала невидима.

Где она была? Где скрывалась? Она жила в гостинице «Паломник», в маленькой деревушке в Нижних Пиренеях. В Корбере… Туда бежала семья ее племянника.

Реверди долго не придется ее увидеть.

* * *

Габриэль шла все дальше в своем желании разорвать все узы. Иногда в моменты слабости тоска берет верх над разумом. Известен случай львицы из Чада, которая, едва попав в неволю, принялась пожирать собственные лапы. Почти то же самое сделала и Габриэль, разорвав последние родственные узы. Судьба распорядилась так, что жизнь ее стала пустыней, что человек, которого она любила, был вырван у нее смертью? Что ж, посмотрим! Пустыня так пустыня, она не останется у судьбы в долгу. У нее не было больше любовника, две сестры ее умерли, ей оставался только сын Жюлии. Это был вежливый юноша, его не стыдно было показать, она следила еще со времен Боя за его образованием. Его она не бросит. Что касается братьев, она порвет с ними по собственной воле.

Резкое письмо, написанное Люсьену, может объясняться только желанием больше не быть никем ни для кого. Причем в данном случае вновь ее происхождение сыграло свою роль: хотя она была колоссально богата, ее охватил «страх нехватки», извечное опасение, старое, как крестьянство. Порвать с братьями — это был верный способ «сэкономить».

Из письма, полученного Люсьеном в октябре 1939 года, можно было предположить все, что угодно: крах, полное разорение…

> «Мне очень неприятно сообщать тебе эту весьма грустную новость. Но мой Дом моделей закрыт, и я сама почти в нищете… Ты не можешь больше рассчитывать на меня до тех пор, пока обстоятельства не переменятся».

На письме стоит адрес: 160, бульвар Мальзерба. Это была

квартира, уступленная ей Бальсаном, ее первое ателье, которое она сохранила за собой. Именно этот адрес указан на переводах, посылавшихся ей братьям. Итак, она перестала посылать ему денежное содержание. Люсьена это глубоко опечалило. Теперь поздно было сожалеть о брошенной торговле, о покинутых ярмарках, об отказе встать во главе торгового дела, и все ради того, чтобы подчиниться Габриэль. Да, поздно. Бедный Люсьен! Ему лучше было бы послушаться жены и продолжать работать, нравилось это Габриэль или нет.

А теперь она в нищете… Все, что оставалось Люсьену, — это жить на сбережения… Вместо этого он написал Габриэль и предоставил свои деньги в ее распоряжение. Теперь была его очередь посылать ей переводы. Что она подумала? Была ли тронута? Она никогда больше не видела Люсьена. Он умер в марте 1941 года.

Зато Адриенна была рядом, по соседству с Клермоном, по-прежнему такая же «семейная», хотя и стала владелицей замка, и такая же добрая. Разве не приютила она несчастную балерину из театра «Монне», подружку красавца д'Эспу, ставшую вдовой до того, как он успел жениться на ней? Адриенна сделала ее своей компаньонкой. Она-то нисколько не стыдилась своего происхождения, мягкая и нежная Адриенна…

Замок, в котором она жила, стал местом, где проводили каникулы некоторые из ее родственников, и среди них Люсьен. Несомненно, Адриенна сказала ему, хотя бы для того, чтобы успокоить его страхи, что Габриэль не так уж разорена, как утверждает.

Альфонс в своей деревушке Вальрог тоже получил от Габриэль послание. Конец машинам, конец пенсии, конец путешествиям в Париж… У Габриэль не было больше ни гроша. Кстати, после отъезда из Предместья и разрыва с герцогом Вестминстерским ее свидания с Альфонсом стали реже. Но на сей раз речь шла о другом. Габриэль переставала быть для него последним прибежищем. Однако у Альфонса была иная натура, чем у Люсьена. «Габи, вот ты и на мели. Это должно было случиться», — написал ей он. Она вела слишком шикарный образ жизни. Альфонс располагал скромными средствами, но не станет же он из-за этого шибко волноваться. Он довольствовался тем, что управлял своим кафе. Он умер в феврале 1953 года, тоже так и не увидев больше сестру.

Десять, пятнадцать лет спустя в Вальроге случились несчастья, о которых известили Габриэль. Когда Иван, старший сын Альфонса, умер от легочной болезни, оставив нескольких сирот, Габриэль не отозвалась. Были свадьбы, рождения,

счастливые события, все это много времени спустя после «возвращения» Габриэль. Но она по-прежнему не подавала признаков жизни.

Однажды дочери Альфонса, Габриэль и Антуанетта, приютившие детей Ивана, приехали в Париж. Они явились на улицу Камбон в тот день, когда в салоне было полно людей. Они ничего не просили. Они хотели только поздороваться с теткой и, может быть, посмотреть платья… Да, платья тети Габриэль…

Им ответили, что их тети нет, а что касается платьев, так на это нужно разрешение. Шанели из Вальрога приняли сказанное к сведению. Из вежливости они еще раз спросили, в какой день и час их тетя будет в Париже, и повторили, что им ничего от нее не нужно. Вернется ли она? Никто ничего не знал.

Униженные, они вернулись в Вальрог и решили никогда больше не приезжать к ней.

Итак, в конце 1939 года Габриэль решила для себя, что у нее больше нет родственников ни в Севеннах, ни в Оверни. Больше никого!

Немецкие годы (1940–1945)

Пространство и время по-разному влияют на слово ***измена****.*

Юрий Тынянов. Смерть Вазир-Мухтара

I
Фон Д.

Мужскую красоту можно понимать по-разному. Если судить по тому, что о нем говорят, красота, по всей видимости, имела в жизни фон Д. особое значение. Это признают те, кто его не любил или разлюбил, те, кто его боялся или презирал. Пусть читатель не подумает, что автор хоть в какой-то мере разделяет это презрение. Отметим только, что презирали фон Д. главным образом любовницы, которых он бросил. Было бы грешно сердиться на него за это, ибо такова сущность всех соблазнителей. Справедливо или нет, но их всегда кто-то презирает.

То, что внешность его была незаурядна, этого тоже никто не отрицает. Фон Д. остался в памяти человеком высокого роста, изящным и стройным. Здесь все свидетельства сходятся: он был высокий, очень высокий. Добавим — и легкий. Иначе как объяснить полученное им прозвище Шпатц, то есть «воробей»? Любопытно, что такой кличкой наградили верзилу, который к моменту нашего повествования был уже далеко не юношей. Другие добавляли: несерьезный, и читатель бы удивился, если бы узнал, от каких высокопоставленных лиц Германии исходит это весомое свидетельство. Но поскольку эти лица выразили желание, чтобы имена их не упоминались, мы вынуждены просто констатировать: фон Д. был не только легким, но и несерьезным человеком. Эти качества часто сопутствуют друг другу и ничуть не мешают успеху у женщин. Нам известна не одна, потратившая свою жизнь на ожидание фон Д.

Семья фон Д. была хорошего дворянского происхождения, но не более того. Мелкопоместные дворяне из Ганновера. Его отец женился на англичанке, более богатой и лучшего происхождения, чем он сам. Этот брак объясняет то, что Шпатц охотно кичился британскими предками, которым он был обязан некоторым космополитизмом, прекрасно ему подходившим. Не мог он пожаловаться и на отсутствие определенного образования. Он говорил на английском, французском и свободно писал на этих языках, если судить по нескольким образчикам его любовной переписки, когда он переходил с английского на французский и наоборот, в зависимости от того, какой язык лучше подходил для выражения его чувств: «Целую тебя как всегда и навсегда. Love. Твой Шпатц».

У фон Д. была масса возможностей применять это выражение.

Дело в том, что он нравился. Нравился безумно, и в победах у него недостатка не было.

Боевое крещение он получил в 1914 году, на русском фронте, когда служил в королевском уланском полку. Вильгельм II был командиром этого полка, где было много выходцев из Ганновера и где служил также фон Д.-отец. В этом не было ничего удивительного. Мелкопоместным дворянам случалось воевать семьями, ибо полки, набирая офицеров, соблюдали старые многовековые традиции, которые трудно было изменить. Считалось очевидным, что истинное братство по оружию возможно только между земляками. Это было справедливо и в отношении браков. Можно было только порадоваться выбору, который Шпатц сделал примерно на двадцать пятом году жизни, женившись на Максимилиане, девице хорошего происхождения и отменного здоровья. Все было весьма пристойно. Только позже стало известно, что, к великому прискорбию, у упомянутой Максимилианы, помимо состояния и редких качеств, было еще и немного еврейской крови. На подобный недостаток нельзя было закрывать глаза. Поэтому бесполезно спрашивать, отчего брак их продлился недолго. Шпатц развелся в 1935 году. Не то чтобы он не испытывал к Максимилиане дружеских чувств, напротив. Но для того, кто обладал хоть какими-то амбициями, наконец, для того, кто хоть немного был немцем, было совершенно неудобно иметь супругу, которая, пусть чуточку, была еврейкой. И потом, даже если у него в стране и нашлись люди, посчитавшие этот развод редчайшей трусостью, можно также сказать, что, кем бы ни была Максимилиана, ей, бедняжке, приходилось несладко… Ибо по части супружеской неверности Шпатц был мастак.

Беда состояла в том, что наш молодой человек выказывал к работе гораздо меньше склонности, нежели к развлечениям. Кроме того, он имел обыкновение тратить много и порою больше, чем у него было. Важная деталь. Ибо все зло пошло отсюда. Но в то время в его кругу подобный образ жизни никого не шокировал. К бездеятельности и даже некоторому безразличию относились с большей терпимостью, чем теперь.

Первые поездки Шпатца во Францию приходятся на 1928 год. Фон Д.-турист часто пользовался «Голубым экспрессом». В таинственных купе, отделанных красным деревом, между маркетри Рене Пру и изделиями Лалика, он воспламенил не одно женское сердце. Правда, он был лестным спутником, и уж в способностях ему было не отказать!.. Его легко можно было представить среди пассажиров другого «Голубого экспресса», балета, поставленного Дягилевым несколько лет назад. Ибо Шпатц, немецкая версия *Красавчика,* со светлыми

напомаженными волосами и прозрачными глазами, был, подобно пляжному Дон Жуану, так замечательно воплощенному Антоном Доулином, превосходным спортсменом.

В октябре 1933 года в Париж прибыл фон Д.-чиновник. Он поселился в квартире на Марсовом поле и занялся деятельностью, оставлявшей ему много свободного времени. Брак с Максимилианой еще не был расторгнут. Шпатц рекомендовался как атташе немецкого посольства, что ни у кого не вызывало сомнений. В глазах окружающих представительная аккуратная внешность, супруга хорошего происхождения, пост атташе, кабинет в посольстве — все это было чертами настоящего дипломата. И поскольку фон Д. не отрицал этого, ему устроили замечательный прием в приличном обществе. Можно было бы попытаться заметить, что год, когда в Германии к власти пришли нацисты, год, когда горел рейхстаг, а «Horst Wessel Lied» понемногу заменяла «Deutchland über Alles», был, возможно, не самым подходящим, чтобы открывать двери своего дома первому попавшемуся немцу. Но люди, более широко мыслящие, могут судить по-другому и скажут, что в подобных обстоятельствах нельзя предусмотреть все… А Шпатц так изумительно танцевал. Он был нарасхват.

Это, однако, не помешало тому, что нашлись другие люди, в других сферах, которые заинтересовались не столько тем, что делало его неотразимым, сколько истинными причинами его пребывания во Франции. Шпатц, едва обосновавшись в Париже, привлек внимание служб французской контрразведки. Это доказывает, что либо он был опасно неосторожен, либо замечательно неловок — качества, в его профессии равно чреватые неприятными последствиями.

До какой степени французские службы были информированы о характере подрывной деятельности Шпатца в Париже? Этого мы никогда не узнаем. Напротив, некоторые архивы Федеральной республики дают представление если не о размахе его миссии, то по крайней мере о ее инициаторе. *Ганс Гюнтер фон Д., родившийся в Ганновере 15 декабря 1896 года, получил задание от министерства пропаганды рейха под прикрытием должности пресс-атташе. Его деятельность в Париже явилась предметом годового частного служебного контракта, который вступил в силу 17 октября 1933 года.* Один из ближайших помощников Гитлера, создатель хроники третьего рейха, специалист по оболваниванию масс и устройству парадов с изобилием знамен, был хозяином Шпатца. Маленькому зловещему человечку понадобилось меньше десяти месяцев, чтобы запустить в действие машину нацистской пропаганды. Шпатц находился в подчинении у доктора Геббельса.

Призванный в Германию по истечении срока контракта, Шпатц почти сразу же вернулся обратно. Нет никаких доказательств, что его контракт был продлен. Напротив, все свидетельствует об обратном. Начиная с 1934 года фон Д. покончил с пропагандой. Он выбрал деятельность, в глазах латинских народов считающуюся недостойной, а в странах англосаксонских пользующуюся определенным уважением даже в высшем обществе, деятельность, в Лондоне называющуюся «Интеллидженс», а в Париже — шпионажем.

Начиная с этого времени тайна сгущается вокруг личности фон Д., который не фигурирует ни в одном из досье, где упоминания о нем рассчитывали найти специалисты, искушенные в современных методах архивных розысков, — известно, с какой холодной страстью немцы относятся к задачам подобного рода. Профессора, старавшиеся оказать нам помощь и пролить свет на то, что в нашей книге касалось Германии, вынуждены были констатировать, что дальнейшая карьера фон Д., по их собственному выражению, «молчание, стыд для историка и загадка»[131], что в военных архивах невозможно найти следы его пребывания в армии, словно не существовало ни лейтенанта, ни улана под командованием покойного кайзера, что политические архивы обходят молчанием его деятельность во Франции, тогда как он должен был бы фигурировать там на почетном месте. Ибо не вызывает сомнений, что начиная с 1937 года, в добавление к другим легальным или подпольным обязанностям, фон Д. был в Париже тем, чем принц Макс-Эгон де Гогенлоэ Ланденбург — в Мадриде, а барон де Тюркхайм — в Лондоне, то есть одним из преданных деятелей национал-социализма. Наконец, «бывшие члены абвера», образующие тесную и дружную компанию и издающие свой бюллетень, где отмечены как самые незначительные их операции, так и выдающиеся подвиги, так вот, это почтенное общество клянется всеми святыми, что никогда упомянутый фон Д. не состоял в его членах, и у нас нет никаких оснований подвергать данное утверждение сомнению. Все это убедительно доказывает, каким отличным шпионом был наш герой. Ибо если он не оставил никаких следов своей деятельности ни в письменных источниках, ни в памяти немцев, это еще не является достаточным основанием для того, чтобы заключить, будто расследование французской контрразведки — сплошные выдумки. Если фон Д., как утверждают некоторые, находился в подчинении у некоего полковника Ваага, если сразу после окончания войны было принято постановление о его высылке (мера, не отмененная до сих пор), безусловно, это связано с тем, что в течение многих лет, прожитых во Франции, он не

ограничивался тем, что изображал воробышка, поклевывая по зернышку в дамских сердцах.

Когда мы знаем, какой армией шпионов, осведомителей, двойных или тройных агентов, подручных, более или менее связанных присягой, располагало Главное имперское управление безопасности, когда известно, какая безжалостная борьба велась среди его руководителей начиная с 1942 года, тогда понятно, что никто, кроме самого фон Д., не сможет сказать, каким именно колесиком огромного механизма он был.

* * *

26 августа 1939 года, в девятнадцать часов, посол Франции в Берлине сделал последнюю попытку отговорить Гитлера от военных действий в Данциге. Несомненным фактом является то, что представителю Франции удалось вызвать у Гитлера несвойственные тому угрызения совести. «Ах, женщины и дети… Я часто думал о них», — прошептал он. Это поразительно отличалось от обычных сцен ярости, которыми до сих пор фюрер жаловал своих собеседников. Но колебался ли он? Во всяком случае, Гитлер тут же взял себя в руки.

Иоахим фон Риббентроп во время разговора неизменно сохранял «каменное выражение лица».

Пять дней спустя угрызения совести фюрера, если он вообще когда-нибудь их испытывал, превратились в одно из тех кратких мгновений истории, суть которых толковые послы умеют изложить в нескольких строках. «Возможно, я растрогал Гитлера. Но я не заставил его изменить мнение», — телеграфировал господин Кулондр.

В самом деле, его беседа с Гитлером была последним дипломатическим контактом между Францией и Германией.

31 августа была введена в действие *директива № 1 о ведении войны.* День наступления был намечен на 1 сентября 1939 года, на 4 часа 45 минут, все *сверхсекретно,* подписано — Адольф Гитлер.

И фон Д. получил от человека с «каменным лицом» приказ покинуть Париж.

Он отправился предупредить свою любовницу. Что касается личности женщины, занимавшей тогда определенное место в его жизни, мы вынуждены ограничиться одним только именем, слегка переделав его: Елена. Это опрометчивое создание, происходившее из очень древнего рода, — кстати, красавица — из-за слишком, быть может, утопических взглядов на любовь

навлекло на себя массу неприятностей.

Прощаясь с нею, фон Д. заявил, что не согласится быть замешанным в кровавые события. Он был пацифистом? Поразительно, но можно ли было в этом усомниться? В этой войне, повторял Шпатц, он участия не примет. Та, которой он делал признания, и не подозревала о том, что для разведслужб было секретом Полишинеля. Она предложила ему свою помощь. Он хотел добраться до Швейцарии и остаться там. Не могла ли она направить его к надежным друзьям, которые согласились бы принять его? Она сделала то, о чем он ее просил, и фон Д. покинул Францию и отправился в страну, с которой у нас сохранились нормальные отношения.

Он оказался в нейтральной стране, имея в своем распоряжении почтовый ящик и адрес, куда без всякого труда доходила почта из Франции. Влюбленная женщина воспользовалась этой возможностью и злоупотребила ею. Все обошлось бы без последствий, если бы фон Д. не был предметом тщательного наблюдения. Прекрасная корреспондентка успела отправить и получить всего около десятка писем, как была арестована по обвинению в сношениях с врагом. Дело получило огласку. Оно посеяло смятение в окружении обвиняемой, связь которой сделалась всеобщим достоянием. Вмешались военные. В чтении чужих писем и интерпретации их смысла им не было равных. Что касается понимания, дело обстояло иначе. Как ни старались друзья помочь Елене, свидетельствуя о ее честности, пытаясь доказать, что то, что в этой переписке казалось темными местами, было всего лишь стыдливостью, а то, что казалось двусмысленностью, было изысканностью стиля, ничто не помогло. В каждом любовном слове обвинители находили тайный смысл, а в каждой помарке или ошибке, в волнении допускавшихся влюбленными, — очевидные доказательства предательства.

Мы не станем описывать тревогу и тоску этой женщины. Достаточно сказать, что она рисковала своей жизнью из любви к лжецу. Восемь месяцев спустя, после быстро выигранной войны, он вернулся победителем, несмотря на бдительность, проявленную нашими скрупулезными исследователями переписки.

Напротив, характер фон Д. прекрасно дополняет поступок, совершенный им, когда он узнал, что Елена содержится в заключении в свободной зоне. Он явился в замок, где жила мать его жертвы. Та не знала любовника дочери, не имела ни малейшего намерения знакомиться с ним и старалась держаться подальше от того, что принесло ей стыд и горе. Посетитель

представился любезно, но не без высокомерия. Вдруг она поняла, с кем имеет дело. Он сразу же дал ей понять, что в состоянии освободить ее дочь, если… В общем, если дама ее положения согласится предоставить себя в его распоряжение, то он сможет привести это в качестве довода своим начальникам. Если она не откажется принимать их, устраивать представляющие для них интерес встречи, тогда, на этих условиях… В общем, что говорить, тогда ее дочь освободят гораздо быстрее. Мать ответила, что даже если на карту будет поставлена свобода дочери, даже если Елена должна погибнуть, не может быть и речи о том, чтобы удовлетворить желания посетителя. Ей нечего было больше добавить, и она не видела причин задерживать его долее.

Не вынося никакой оценки поступку фон Д. — вероятно, не он один явился его инициатором, вероятно, это был приказ сверху, — можно тем не менее заключить, что этого шпиона, как сказала бы маркиза де Севинье, «видно было за версту».

Свободная зона, как известно, была обманом, который продлился недолго. Как только иллюзии развеялись, Елена была выпущена на свободу. Свободна, она была свободна! Но Шпатц свободен не был. Он встретил Габриэль.

* * *

Во время идиллии с фон Д. Габриэль было пятьдесят шесть лет. Она была к тому же на тринадцать лет его старше, что, при всем ее очаровании, оставляло в ее красивых ручках не так много козырей. Но к чему говорить о возрасте? Никто не может быть судьей в любовных делах, и у Габриэль не было возраста, ибо что бы ни говорили, а Шпатц ее любил.

Попытаемся представить это удивительное любовное приключение в обстановке тогдашнего Парижа.

Габриэль недолго задержалась в Корбере. После нескольких недель, проведенных там, и короткой остановки в Виши она вернулась в Париж в последние дни августа 1940 года. Не в ее духе было долго изображать из себя беглянку, кроме того, арестовали сына Жюлии. На сей раз слабое здоровье юноши могло представить для него некоторую выгоду. Она хотела предпринять кое-какие шаги, чтобы добиться его освобождения.

Другая на ее месте, обнаружив немцев в «Ритце», решила бы переехать. Габриэль не сделала ничего подобного и потребовала от директора, чтобы он ее выслушал. Он ее «выставил»? Она соглашалась сменить комнату, но не адрес. Ибо прекрасные апартаменты, окна которых выходили на Вандомскую площадь,

просторная комната, где она восстановила убранство Предместья времен ее связи с Ирибом, — все это было занято в первые же часы после реквизиции. Куда пойти? Сменить квартал значило удалиться от магазина, потерять контроль над своим заработком, она не могла на это решиться. Да, другая бы на ее месте почувствовала себя безумно униженной как директором гостиницы, так и немцами, проще говоря, почувствовала бы себя изгнанной. Такого рода соображения Габриэль не принимала в расчет. В чем была ее сила? Позаботиться о том, что могло ей пригодиться. А ей нужно было так немного. Ни крыша, ни стены, никакое убранство никогда не казались ей окончательными, и главный страх буржуазии, что «посягнут на ее мебель», был ей чужд. Лишь бы ничто не угрожало ее деньгам, ее кубышке. Она опасалась только одного — остаться на мели. А все остальное? Пустяки! Ее вещи перенесли в другое место? Замечательно… Наконец-то коромандельские ширмы найдут себе настоящее применение. Ведь они были задуманы как раз для того, чтобы их без конца складывали и раскрывали. Она развернет их в нескольких шагах от «Ритца», прямо над своим магазином, как раскидывают палатку, и там устроит гостиную по своему вкусу. Такое поведение диктовали ей ее детство и годы, прожитые в постоянном кочевье. «Ритц» предложил ей маленькую комнатушку, выходящую на улицу Камбон? Она знавала и худшее, большего ей не надо. Этого было достаточно, чтобы выспаться в тепле. Могла ли она догадываться, что этого окажется достаточно и чтобы умереть? Ибо именно в этой скромной комнате она закончит свою долгую жизнь.

Как бы там ни было, у нее не было выбора.

Тому, кто советовал ей поселиться в другом месте, и в частности Мисе, удивлявшейся, что она довольствуется такой заурядной обстановкой, Габриэль возражала: «К чему переезжать? Рано или поздно все гостиницы будут заняты. Уж лучше остаться здесь. Комната маленькая? Она будет мне дешевле стоить…» Все то же стремление сэкономить и старинная способность жить просто, которую она обрела вновь без всякого труда. Когда один друг, встреченный ею в Виши, спросил, почему она так торопится скорее вернуться в Париж, она сослалась на цену горючего: «Ждать? Чтобы обратный путь обошелся безумно дорого? Да вы что! Если так пойдет и дальше, горючее будет так же драгоценно, как духи…» «Шанель № 5»! Ее единственная мерка, ее золотой эталон. Тем не менее она была богата. Но для нее не существовало ни глупых предосторожностей, ни мелких прибылей, и потому все у нее шло в ход, как у крестьянок, которые во времена поражений или нашествий ничего не

выбрасывали, копили, хранили хлеб и старые кости из месяца в месяц. Габриэль решительно была из этой же породы и, осмелимся сказать, отличалась скупостью.

* * *

Шпатц и Габриэль… Узнать бы, когда, где и как они познакомились… Надо ли ей верить, когда она утверждала, что они были «старые друзья»? Тем самым она давала понять, что они встретились еще до войны… Здесь это случилось или там, в том году или другом, позволит ли это нам лучше понять тайную историю их любви, ее особый свет, ее сладость, ее неистовство, ее правду и ее ложь? Знала ли она его до поражения или, напротив, впервые увидела в тот день, когда пришла просить за сына Жюлии, — что это меняет?

Фон Д. был теперь в достаточной мере лишен амбиций, чтобы заставить своих шефов позабыть о себе, но достаточно полезен, чтобы его присутствие в Париже не ставилось под сомнение. Тонкая игра, хитроумные маневры, целью которых было остаться во Франции, — других забот у него не было. Он опасался только одного: как бы его не почтили какой-нибудь специальной миссией, из тех, что потребовала бы его присутствия в берлинском осином гнезде со всем сопутствующим этому риском. Хуже всего было попасть в лапы тамошней камарилье, и сделать было ничего нельзя. Так можно было оказаться завербованным друзьями Канариса против Гейдриха, получить задание, якобы согласованное с Гитлером, а затем обнаружить, что вы действуете против него или устраиваете подвох, чтобы расстроить планы генерального штаба вермахта, тогда как вы считали, что подчиняетесь ему. Словом, вы становились пленником противоречий, ненависти, махинаций, звериной ревности, а затем и жертвой тайных хозяев третьего рейха. Этого фон Д. боялся больше всего на свете, этого он хотел избежать. Потому он шел даже на то, чтобы близкие товарищи обвиняли его в безразличии и апатии, и те не упускали случая намекнуть на это. В тех же грехах станет упрекать его и Габриэль. Но не сразу. Ибо поначалу ей безумно нравился фон Д., такой сдержанный, всегда в гражданском и охотно говорящий по-английски.

Желание жить, скрываясь, деля на двоих счастье и физическое удовлетворение, о котором фон Д. говорил так часто, что это признают даже самые ревнивые из его прежних любовниц, объясняет господствовавшую вокруг любовников атмосферу таинственности. Шпатц и Габриэль были невидимы, потому что

счастливы, счастливы в течение трех лет, в мире, где накапливались ужасы, счастливы, тогда как Мися медленно слепла, делая вид, что ничего не происходит. («У меня дома она угадывает дверные ручки, — замечала Колетт. — Ее благородное кокетство трогает нас больше, чем жалоба…») Счастливы в то время, как в Давосе, в 1942 году, умирал в одиночестве от туберкулеза спутник «Бель Респиро» и солнечных дней в Аркашоне великий князь Дмитрий Павлович, счастливы в то время, как в Сен-Бенуа-сюр-Луар начиналось мученичество Макса Жакоба — как его забыть? Они были счастливы, эти двое, счастливы, и надо ли порицать их за это?

Бедный, бедный Макс, пытавшийся за шутками скрыть свои муки. Макс, которого заставили носить желтую звезду, и он носил ее на своем поношенном пальто и так, заклейменный позором, каждое утро пересекал деревню, направляясь в базилику, чтобы отслужить первую мессу. Бедный, бедный Макс…

Все это происходило в то время, пока двое других в своем безумии… Их одиночество не прерывалось ничем, они никуда не ходили, каждодневные свидания в одной и той же, поспешно восстановленной обстановке. Габриэль захотелось иметь пианино, на котором она могла бы упражняться. Теперь у нее было время. А Шпатц любил музыку. В его профессии это производило впечатление. Ни для кого не было секретом, что поначалу Гейдрих сделал карьеру благодаря своим способностям скрипача. Он наигрывал Канарису его любимые квартеты, и между ними установилось определенное доверие. До тех пор, пока соперничество не стало сильнее, чем их любовь к Моцарту или Гайдну. Но тем не менее вначале… Удар смычка, право слово, мастерский. И Габриэль снова занялась музыкой. Она вспомнила, чему ее научили дамы-канонессы, все это вперемешку с репертуаром «Муленской лиры», когда-то подслушанным тайком. Вспомнила и несколько советов тапера из «Альказара», вспомнила, наконец, и концерты, услышанные на террасе Большого казино в Виши. Все те же «Госпожа эрцгерцогиня» и «Фингалова пещера»… Габриэль с непринужденностью вернулась к репертуару оперетты и оперы.

Иногда она пела, и фон Д. слушал. Любовь этой женщины превратила его в восточного мужчину, который больше не выходил из дома и нигде не показывался, ни в роскошных ресторанах, где благодаря взносу в «Национальную помощь» можно было съесть все, что угодно, ни в «Каррере», модном ночном кабаре, ни в бистро, будь то «Серебряный овен» или «Золотой телец». Шпатц не участвовал и в потрясающих проказах, в которых проявлялась «очень полезная легкость национального

характера», его не трогали великая грусть и уныние униженного народа. Его не было видно нигде и никогда.

Габриэль и Шпатц жили над магазином, где теснились толпы покупателей в военной форме. Когда «Шанель № 5» не хватало, эти странные туристы довольствовались тем, что крали с витрин поддельные флаконы, помеченные двумя переплетенными буквами «С». Что-нибудь увезти с собой. Память об оккупации, товар из Парижа, как говорится.

II
Черный запах авантюры

Что думать о жизни, в которой все расписано заранее? Габриэль не могла удовлетвориться одной только музыкой и серыми буднями любовной связи, скованной запретами военного времени. Фон Д., напротив, очутившись благодаря ей в атмосфере, где все приобретало колдовской характер, наслаждался. Он был лишен воображения.

То, что инициатива перемен исходила от Габриэль, более чем вероятно. Она всегда испытывала потребность *что-то делать.* Испытать судьбу? Это было для нее удовольствием.

В течение некоторого времени она была поглощена распрями с фирмой «Духи Шанель». *Ее* духи… Уже пятнадцать лет, как она уступила братьям Вертаймер право производить и продавать их, так и не смирившись с мыслью о том, что этот контракт был окончательным. Самые знаменитые адвокаты напрасно представляли ей доказательства лояльности ее компаньонов, они могли делать и говорить что угодно, — оставшись наедине с собой, она вновь возвращалась к своим сомнениям. Дело было ясное! Ее надули! Это стало ее навязчивой идеей.

Когда оккупационные законы предоставили ей возможность разорвать это сотрудничество, она решила, что такой великолепный случай упускать нельзя. Отнять свои духи у братьев Вертаймер? Одно из постановлений оккупантов гласило, что на фирмы, чьи управляющие вынуждены были покинуть страну, назначалось новое руководство. Габриэль решила, что здесь-то и был ее шанс. Попытать счастья, хотя бы и совершив подлый поступок. Теперь пришел ее черед, и она покажет клану Вертаймеров, которые ее эксплуатировали и обирали, где раки зимуют. Она была арийкой, она, а не они. Она находилась во Франции, они — в Соединенных Штатах. Эмигранты… Евреи. В общем, в глазах оккупационных властей существовала только она.

Она мечтала навязать им управляющего по своему выбору. Против представителей еврейской фирмы выступала женщина, готовая на все и заручившаяся поддержкой немцев. В той Франции казалось невозможным, чтобы она проиграла. Смешно сказать, но именно это и произошло. В лагере ее противников были тонкие игроки. Шанель полагала, что она одна может рассчитывать на определенную поддержку. Какая наивность! Разве она не знала, что в Париже есть французы, готовые выступить посредниками, чтобы сохранить собственность евреев,

и что есть, как и повсюду, немцы, готовые продаться? В тогдашней смутной обстановке достаточно было действовать быстро и не ошибаться.

Прежде всего нужен был ариец.

Надо было найти такого, кому можно было бы продать фирму почти за гроши. Его нашли в лице промышленника, занимавшегося строительством самолетов: Амьо.

Затем потребовался немец.

Он должен был засвидетельствовать законность предыдущей операции. Подложный перевод фирмы на другое имя, документы, помеченные более ранним числом, — всю эту махинацию надо было сделать правдоподобной и безупречной. Немец? Вопрос упирался только в деньги. Немца тоже нашли… Заплатив, правда, дорого. Таким образом, фирма «Духи Шанель» смогла доказать, что она уже не принадлежала братьям Вертаймер. Что тут скажешь. Дело было сделано.

Но это было еще не все. Предстояло провести в правление представителя нового владельца, человека, способного дать отпор возможному кандидату Габриэль.

Его, по некоей утонченной жестокости, нашли в кругу, который Габриэль знала прекрасно. Она проиграла своим постоянным противникам, и вдобавок ко всему под ироническим взором человека, призванного изобличить ее, светского человека, принадлежащего к тому миру, о котором она никогда не могла вспоминать без горечи. Он был из муленской «банды». Она столкнулась со свидетелем своего прошлого: председатель, которого ей навязали, был братом «обожаемого» Адриенны. Что можно было ответить? Она проиграла. Но это ни в коей мере не означало, что она отступилась.

Тем не менее, приехав после войны во Францию — отметим этот факт, чтобы больше к нему не возвращаться, — и вернув себе контроль над своим имуществом, Пьер Вертаймер решил, что великодушие — единственно возможный для него реванш. Но не будем делать из него святого. Где в делах кончается великодушие, где начинается цинизм? Пьер Вертаймер мог бы обвинить, обличить Шанель, преимущество было бы на его стороне. Но он от этого воздержался. При живой Габриэль чем была бы фирма «Шанель» *без* нее? Если бы Габриэль была замарана и опозорена, чем стала бы фирма «Шанель» с ней? Он, несомненно, рассуждал подобным образом.

Как бы там ни было, связи между ними завязались вновь, и война вспыхнула с новой силой. Но лучше, в тысячу раз лучше, чем ничего. Ибо для людей их сорта военные действия, противоречивые заявления, законники, занятые бесконечными

нападками на противника, придавали жизни смысл. Это была роскошь, которую они себе позволяли.

Они устраивали друг другу гадости. Ловушки, засады, хитрости, всевозможные махинации — список велик. Новые духи, тайком пущенные Шанель в продажу и тут же, по его распоряжению, изъятые с рынка… Образцы, секретно ввезенные в Соединенные Штаты, и наложение на них ареста на таможне по приказу Вертаймера… Ее угроза выпустить улучшенный вариант «Шанель № 5», чтобы дискредитировать прежнюю марку, успех которой принес ему состояние… Подобный макиавеллизм, пускавшийся в ход с обеих сторон, изумлял самих сражающихся. Больше всех был удивлен Вертаймер. После стольких лет увидеть Габриэль, эту тигрицу, своего заклятого врага, по-прежнему во всеоружии… Только она осмеливалась бросить ему вызов. Такое упорство стоило того, чтобы он нанял лучших адвокатов.

В том, что привязывало господина Вертаймера к Габриэль, помимо соблазна наживы, было и восхищение, в котором он не признавался.

И сожаление: о том, что между ними не было никаких отношений, только противоположность интересов. Никогда речь не заходила ни о чем другом. А он так бы хотел добиться того, что она ему не давала: поддержки, одобрения… Какие бы успехи он ни одерживал, никогда ни слова с ее стороны. Даже в тот день, когда лошадь из конюшни Вертаймеров выиграла дерби в Эпсоме. Слово, одно только слово сделало бы его таким счастливым! Если признаться, он любил ее. То есть почти… Ибо никому, кроме Габриэль, не удавалось так оживить в его памяти воспоминания о прошлом. Никому. Дело в том, что Пьер Вертаймер был из породы таких *содержателей,* каких больше не существовало. Отсюда очарование, которым Габриэль обладала в его глазах. Мог ли он относиться к ней иначе, чем как к *незаконной?*

Наконец наступил день, когда, добившись некоторых гарантий, Габриэль приняла предложение о перемирии. Это было в 1947 году. В рядах ее противников попытались еще похитрить. Но просто так… По привычке… В конце концов Пьер Вертаймер капитулировал. Он согласился, помимо всего остального, выплачивать Габриэль два процента с продаж ее духов во всем мире, то есть около миллиона долларов в год. Тогда она уступила.

Ей исполнилось шестьдесят пять лет.

Пришло время сложить оружие.

Но поскольку ее старый враг был на несколько лет моложе — что она считала недопустимым, — в тот момент, когда составлялись контракты, Габриэль сумела фальсифицировать

потребованное у нее свидетельство о рождении.

Она стала женщиной с колоссальными доходами. И к тому же «помолодела» на десять лет.

* * *

Но вернемся во времена оккупации и к делу с духами, когда противникам Габриэль удалось расширить круг союзников и заполучить в свои ряды одного из красавцев муленской «банды», которых она хотела бы никогда больше не видеть.

Поражение ожесточило ее. Это был непереносимый груз. Можно ли представить, чтобы Габриэль смирилась с неудачей? Как только оказалось невозможным забрать в свои руки духи, ею овладело другое неистовое желание. Чем оно диктовалось? Амбициями? Самомнением? Может, ее действиям больше подходит другое объяснение: жажда завоеваний, желание заставить признать себя, стремление поразить… Ее друзья-немцы усматривали в ее поведении полное бескорыстие и самопожертвование. Были даже те, кто заявлял, что в «ее венах есть капля крови Жанны д'Арк!» (письмо Теодора Момма автору). Жанна или нет… Во всяком случае, безумный проект привел Габриэль в круги куда более компрометирующие, чем ее предыдущая авантюра, и куда более опасные: в официальный или полуофициальный мир разведки и войны.

После Конференции в Касабланке в январе 1943 года сомнений больше не оставалось. Рузвельт и Черчилль огласили свое решение. От Германии будут требовать безоговорочной капитуляции, и мир может быть достигнут только на этих условиях. Сколько волнений вызвало это заявление… Удовлетворение тех, кто на оккупированных территориях, в подполье, продолжал борьбу и не мыслил себе устройства будущего и достойного завершения войны в каких-либо иных формах. Жестокое разочарование других. Ибо раздались и иные голоса, к чему отрицать? Раздались голоса, отвергавшие такой исход, твердившие, что и так уже пролилось достаточно крови. Были такие люди во Франции, были они и в Англии, правда, там они не пользовались влиянием… Политики из окружения лорда Рансимана, но от них нельзя было ждать другого. Были аристократы, хотевшие переговоров, чтобы положить конец бомбардировкам, и среди них герцог Вестминстерский, чьи аргументы злили его старого друга Черчилля, были те, кто хотел уберечь Германию, — несомненно, именно так и думал на далеких островах, в своего рода ссылке, герцог Виндзорский,

хотя, когда его спрашивали об этом после войны, он все отрицал.

И так, многие английские друзья Габриэль, многие поклонники красавицы Веры, посетители, которым Жозеф когда-то широко открывал двери Предместья, примкнули теперь к тем, кто мечтал о мире и кого заявление Черчилля внезапно вернуло с небес на землю.

Что сказать о Германии?

Там существовали пацифисты совсем другого рода, устраивавшие заговоры против режима, отличавшиеся отвагой и героической самоотверженностью. Известно, что с ними стало… Требования Черчилля не облегчали им задачу, но, не охлаждая их пыл, скорее, подбадривали. Не отступать, свергнуть режим; переговоры потом и, возможно, в лучших условиях — это была их единственная цель.

Были и люди расчетливые.

Их было множество, тех, чьи надежды разбил британский премьер-министр. Эти стремились только к одному: разбить Красную Армию, — заключение же сепаратного мира, которого они добивались, дало бы им возможность, с Англией или без нее, продолжать войну против Советского Союза. Но хотя сторонники компромиссного мира имели различные, а порой коренным образом противоположные цели, их объединяло одно: постоянное стремление войти в контакт с английским руководством и намерение не упустить ради этого ни малейшего шанса.

Если судить вне этого контекста о предприятии, затеянном Габриэль, оно может показаться жестом мифоманки или женщины, страдающей манией величия. Напротив, вписанный в атмосферу неуверенности, характерной для тех лет, этот эпизод воспринимается как почти неизбежный результат такой судьбы, как ее. Судьбы женщины без положения, неустроенной, озлобленной, вырвавшейся из своей среды только ценою рискованных поступков. В сущности, то, что она решила сделать, было еще одной попыткой испытать судьбу. И предпринимая эту безумную инициативу, чего она искала, как не возможности утвердиться, «выиграв»? Разве можно остановить игрока…

* * *

Странно сложилась ее судьба! Очутиться в побежденной стране, общаться с победителями, близко зная того, от кого в большой мере будет зависеть исход войны. Какую же шутку сыграла с ней жизнь! Черчилль… Возможно, достаточно одной короткой встречи, чтобы дать почувствовать этому безжалостному

старику, что, продолжая свою смертельную игру, он готовит смерть Европы, *его* Европы, доброй старой Европы привилегий и традиций. Надо остановить эту войну, говорила себе Габриэль. Остановить любой ценой.

Добьется ли она успеха там, где потерпели поражение другие?

Убедить Черчилля? Захочет ли он ее выслушать? Она решила попытаться во что бы то ни стало… Разве Черчиллю не покажется *естественным,* если она навестит его, как во времена отдыха в «Ла Пауза», когда герцог Вестминстерский являлся к нему без предупреждения, а она сопровождала Вендора?

Конечно, она мечтала, и это неудивительно. Жить в воображении, ничем другим она и не занималась. Ее жизнь была длинной вереницей мечтаний, внезапно приводивших к действию. Очевидно и то, что к этой мечте примешалась безуминка. Можно ли отрицать, что подобный проект казался неосуществимым? Но и опять-таки, как этому удивляться? Все ею предпринимавшееся поначалу было отмечено печатью категорически невозможного. Добиться успеха *вопреки*? Габриэль к этому привыкла. Поэтому она не отступала.

Удивительным было не то, что она поверила в эту мечту, а то, что она сумела заставить своих собеседников разделить ее вместе с нею. Правда, это были немцы.

Примерно полгода спустя после того, как немцы вошли в Париж, фон Д. представил Габриэль друга юности. Как и следовало ожидать, демарши, предпринятые, чтобы репатриировать сына Жюлии, пока ни к чему не привели. Он был так легкомыслен, этот Шпатц… Но ему пришла счастливая мысль поручить дело человеку влиятельному. Друг юности занимал высокий, ответственный пост, был офицером — тогда как Шпатц все время ходил в штатском, — наконец, человеком трудолюбивым, опытным. В самом деле, зная его, можно представить, что он внушил доверие Габриэль. Ротмистр Момм был из тех немцев, в существовании которых тогдашние события заставляли усомниться.

А когда, впервые попав к Габриэль, он сказал, что его семья — «текстильцы» на протяжении пяти поколений, — какое отличное вступление! И как мило он употреблял это изобретенное им словечко «текстильцы», произнося его со свойственным немцам гортанным выговором. Габриэль повторяла: «Текстильцы! Ах, в самом деле…» После чего он сообщил ей, что родился и вырос в Бельгии, где отец руководил красильной фабрикой. Его поставщиками были промышленники из Манчестера. В 1914 году его семья вернулась в Германию, а

как же иначе? Конечно, конечно, все из-за войны. С фон Д. он познакомился в 1915 году. Где же? В 13-м, ну да, в 13-м уланском. Как тесен мир! Кроме того, он заявил, что самый грозный из участников конных состязаний, знаменитый Момм, который в 1936–1938 годах выиграл невесть сколько кубков мира, что этот чемпион из чемпионов — его близкий родственник. Кузен!

Кто бы мог подумать! Когда-то Габриэль им восторгалась, рукоплескала ему… Новость произвела самый выгодный эффект. Верховая езда — в этой теме ей не было равных, и потом, наездники всегда договорятся между собой. Наконец, самое главное, в немецкой администрации в Париже Момм отвечал за французскую текстильную промышленность. Было ясно, что это значило.

Он занялся судьбой сына Жюлии, решив, что надо срочно возобновить деятельность маленькой текстильной фабрики рядом с Сен-Кантеном, и засвидетельствовал, что Габриэль была ее владелицей. В этих условиях немецкие власти должны были вернуть свободу пленнику, который, учитывая все обстоятельства, как нельзя лучше подходил для руководства предприятием. Ребенок, за воспитанием которого следил Бой Кейпел, племянник Габриэль наконец-то вернулся на родину. Майор сотворил чудо, и она продолжала питать к нему дружеские чувства. Любой на ее месте поступил бы так же. Особенно в ее положении…

Когда навязчивая идея встретиться с Черчиллем окончательно лишила ее покоя, она открылась именно Момму[132]. Тот факт, что ее выбор пал на него, а не на фон Д., указывает, что любовник уже не обладал всеми нужными качествами. Майора ее признание несколько удивило. Странная женщина, не скрывавшая, что сердце ее отдано одному, а доверие — другому. Что же произошло между ней и Шпатцем? Оправившись от удивления и все взвесив, Момм решил, что сумеет сохранить в тайне сделанное ему важное признание лучше, чем кто-либо другой.

Убедить Черчилля согласиться на англо-немецкие переговоры, которые были бы строжайшим образом засекречены, — в этом состоял ее план. Она начала с того, что как следует отчитала своего собеседника, заявив ему, что немцы вообще «не умеют обращаться с англичанами», что они допускают оплошность за оплошностью, ибо, чтобы добиться успеха, надо прежде всего знать британцев, знать их как следует, чем, к счастью, она может похвалиться. Она изложила майору аргументы, с помощью которых надеялась преодолеть колебания премьер-министра, и, перейдя к существу дела, изобразила в

лицах их предстоящий разговор. Шагая взад и вперед по узкой гостиной на улице Камбон, увлекшись, она обращалась к немецкому офицеру, словно он был Черчилль собственной персоной. Она упрекала его: «Ты предрек кровь и слезы, и твое предсказание уже сбылось. Но этим ты не войдешь в историю, Уинстон». И голосом, не терпящим никаких возражений, она добавляла: «Теперь ты должен сберечь человеческие жизни и закончить войну. Протянув руку миру, ты покажешь свою силу. В этом твоя миссия». И немец, которого эта сцена погрузила в состояние полуоцепенения, вдруг услышал ответ Черчилля. Следовало спросить себя, не бредил ли он? Как устоять перед этой женщиной… Он увидел, как премьер-министр Соединенного Королевства серьезно пожевал сигару и покачал головой. Он услышал, как тот соглашается в таких странных выражениях:

— Ты права, Коко, — повторял он, — ты права.

«Влияние уникальной личности», — признавал Теодор Момм, когда тридцать лет спустя слегка запинающимся голосом пытался восстановить памятный разговор. «То, что началось тогда в обстановке секретности, могло бы стать предметом увлекательнейшего рассказа», — уточнял он. Но он признавался, что колебался. «О да! Чертовски колебался».

Стать посредником Габриэль? Дело было рискованное. Какие гарантии она предлагала? Никаких. Совсем никаких. И что подумают в Берлине? Разрешат ли ей покинуть Францию? Разрешение на въезд-выезд, выдаваемое МБФ (Военное командование во Франции), — вот что она просила. Ибо ей придется поехать в Испанию. Она лично знала сэра Сэмюела Хоуара. Именно там, в Мадриде, во время встречи с послом Великобритании решится успех или провал ее миссии. А… А если она не вернется?

Майор Момм отправился в Берлин, не слишком хорошо представляя, в какую дверь постучаться. Вначале он обратился в министерство иностранных дел. Этот выбор объяснялся осторожностью. Предупредить дипломатические службы значило столкнуться с наименьшим риском. Барон Штеенграхт фон Мойланд, госсекретарь, согласился принять его. Чиновник, отличавшийся большой изысканностью, но малым опытом. Он только что занял свою должность. Тревожные новости доставляли ему немало забот. К тому же тогдашнее министерство иностранных дел не отличалось особым блеском. Здесь, как и повсюду, господство нацистов произвело опустошение, и чиновники были всего лишь пассивными исполнителями. Что вполне устраивало их министра. Весьма посредственный Иоахим фон Риббентроп не хотел мыслящих офицеров в своем

окружении, и собеседник майора не составлял исключения.

Руководящие сферы Берлина переживали времена террора. И «салонные посетители» внушали самое сильное подозрение. Гестапо подстраивало ловушки. «Чайному делу госпожи Сольф»[133] было всего два месяца, и видным дипломатам угрожала смертная казнь. Поэтому можно без труда понять, чем объяснялась крайняя осмотрительность барона Штеенграхта. Зачем эта парижская модельерша собиралась в Испанию? Кажется, чтобы добиться успеха, она рассчитывала только на свои связи… Трудно себе представить, куда это все может завести. Доверять никому нельзя… Он любезно выпроводил своего посетителя, уведомив его, что не даст хода подобному проекту.

Демарш такого свойства, добавил он, не может быть принят во внимание.

* * *

Скверное начало. У человека, избравшего своей миссией защиту планов Габриэль, не было больше выбора. Разведывательные службы армии? Они были вне игры. Только люди наивные или безрассудные могли не знать, что Гитлер считал абвер виновным во всех заговорах. Дни адмирала Канариса были сочтены, его организация находилась под угрозой, ему оставалось жить полгода до того момента, когда Шелленберг лично явится его арестовывать, и уж туда, конечно, обращаться не стоило.

Оставались службы Гиммлера, одни только пользовавшиеся доверием фюрера. Рейхсфюрер СС царил над миром непонятным, полным тайн. Никто особенно не горел желанием соваться в этот лабиринт… Тем не менее именно в Главное имперское управление безопасности обратился скрепя сердце майор Момм. «Мир, где были возможны вещи самые невероятные, где поведение без задних мыслей, откровенность воспринимались как странности, где всех судили не по внешности, а по тому, что эта внешность могла скрывать»[134].

Участь того, кто проникал в лабиринт, зависела от всевозможных трудноучитываемых факторов. К кому и куда направят его? Первый контакт был определяющим, ибо посетитель, если информация, которой он располагал, представляла некоторый интерес, не имел права сменить собеседника: ему приходилось иметь дело с тем, кто выслушал его первым. Надо заметить, что лучше было вызвать интерес АМТ VI, который контролировал разведслужбы за границей, чем АМТ

IV, отвечавшего за контрразведку в Германии и в оккупированных странах и являвшегося не чем иным, как гестапо. К тому же различные сектора службы были строго изолированы друг от друга. Они были в полном неведении о деятельности ближайших соседей.

Когда Теодор Момм понял, с кем имеет дело, ему оставалось только поздравить себя. Ответственный работник AMT VI согласился выслушать его. Майору пришлось изложить цель своего визита самому молодому из шефов СС и, мы бы добавили, штатному соблазнителю немецкой разведки.

Несмотря на молодость, внешность киногероя и благовоспитанную манеру выражаться, Вальтер Шелленберг не был ни новичком, ни любителем. Он отчасти случайно попал в СС, что правда, то правда… Он этого не отрицал. Парнишка, выросший в оккупированном Сааре и видевший нищету. Семь старших братьев и сестер. Возвращение в Германию, где экономический кризис разорил отца. Занятия в Боннском университете, где студент проявил себя исключительно одаренным, — это было весной 1933 года. Ему было двадцать три года, и денег у него было очень мало. Потом вдруг судья, у которого он проходил стажировку, уверил Шелленберга, что у него будет больше возможностей преуспеть, если он вступит в нацистскую партию. Что было делать? Его это не очень-то привлекало. Он не представлял себя в коричневой рубашке, среди крикунов в пивных. Форма СС все-таки выглядела лучше… Костюм и определил его выбор.

Он начал, как и все, разыгрывая из себя матерого волка. Его направили в гвардию. В двадцать четыре года он оказался среди молодых людей, которым была поручена безопасность высших сановников нацизма, собравшихся в гостинице «Дреезен» в Бад-Годесберге. Стоя под проливным дождем и глядя через высокие окна, он узнал Геббельса, Геринга и видел, как на них остановился вопрошающий взгляд Гитлера. Чистка, которая будет стоить жизни Рему и основателям национал-социалистского движения, была предрешена. Последовавшая кровавая резня заставит содрогнуться от ужаса даже самых закаленных ветеранов. Но именно с той ночи началось абсолютное господство элитного корпуса, в котором решил служить Шелленберг.

Он начал с рядового. Выйдя в офицеры, он показал, на что способен. Его первое дело, наделавшее много шуму, состояло в том, что он обманом проник в тюрьму Нюрнберга, где содержались два эсэсовца, убившие еврея ударами молотка и осужденные за это на десять лет. Дело в том, что в 1934 году в некоторых городах губернаторы еще не были нацистами.

Шелленбергу удалось отпереть дверь камеры, где содержался один из двух заключенных, который всего лишь одолжил молоток… Он освободил его и получил горячее одобрение начальства.

Но от него потребовали, чтобы он проявил себя и в сферах более абстрактных. Умеет ли он выступать на публике? В качестве студента-юриста ему поручили цикл лекций на антирелигиозные темы. Между тем он был воспитан в католической вере. Неважно…

Он агитировал с такой легкостью и таким талантом! Легко было представить, каким он мог бы стать адвокатом. Тогда два незаметных наблюдателя, подсаженные, чтобы слушать его, тут же завербовали столь ценный кадр и направили в «строго секретную», отрасль деятельности. Так, не покидая СС, Шелленберг стал шпионом.

Юноша был образованным, ему поручали только тонкие дела.

Его первая миссия за рубежом состояла в том, что он отправился в Сорбонну. Там преподавал один профессор, внушавший особенно сильное беспокойство. Потребовался месяц, чтобы довести до конца деликатное расследование, закончившееся успешно. Но прежде, чем составить о Шелленберге окончательное мнение, решили отправить его в страны более далекие. Ему был дан приказ со всех сторон сфотографировать дакарский порт. Новый успех. Сразу же его подвергли еще одному испытанию. Умеет ли он жить? Светскость не была сильной стороной первых призывников. Шелленбергу поручили создать в Берлине дом терпимости для высокопоставленных чиновников, высших офицеров, министров и иностранных гостей. Там все было безупречно. Вышколенная прислуга, изысканная обстановка, высококвалифицированный женский персонал. Никто не мог подозревать, что пол, стены, потолки и даже кровати напичканы микрофонами. Что касается набора на службу, Шелленберг зацапал все лучшее, что было в европейских столицах. Только отменного качества. Успех был такой, что предложения о сотрудничестве сыпались со всех сторон, и он не знал, куда от них деваться. Юные волонтерки отличного происхождения во множестве предлагали послужить родине «таким способом». «Салон Китти», помимо выгодного заработка, предлагал первоклассный винный погреб и лучшую в Берлине кухню.

После чего начальники Шелленберга решили, что продлевать испытания больше не стоит, и его молниеносная карьера началась. Он был участником всех великих событий нацизма, присутствовал при всех въездах Гитлера в покоренные города, будь то Прага или Вена, отвечая за безопасность фюрера.

И повсюду он отличался инициативностью, захватывая секретные документы, попадавшиеся ему под руку, как это было в Градчанском дворце, обезвреживая бомбы, угрожавшие Гитлеру на его триумфальном пути, как это случилось в Вене, сжигая три миллиона рублей, выплаченных СССР в обмен на документы, которые повлекли за собой смерть маршала Тухачевского. В Праге, после убийства Гейдриха, в тот час, когда эсэсовцы окружили церковь Святого Карла, кто вел расследование? Шелленберг. Он не трусил! Шпион большого размаха. Как только работа требовала не просто умения, а гениальности, обращались к нему. Проложить телефонный кабель через линию Мажино, заручиться «пониманием» со стороны высокопоставленных лиц у Шнейдера, Крезо, составить список леди, писателей, ученых, бойскаутов и их шефов, которые должны были быть арестованы сразу после захвата Англии, — сколько миссий поручали Шелленбергу, ему, всегда ему… У него была своя специальность: похищения. Самое сенсационное из них — захват двух агентов «Интеллидженс сервис» под градом пуль на голландской территории. Самый крупный провал — сорвавшееся похищение герцога и герцогини Виндзорских во время их пребывания в Лиссабоне. Но можно ли было ожидать того, что старый друг герцога приедет специально из Англии, чтобы заставить Их Светлостей поспешно покинуть город и отбыть на Багамские острова, куда, казалось, им так не хотелось ехать? Одна из редких неудач в его карьере. Ему это быстро простили, и в то время, когда молодой обергруппенфюрер Шелленберг принимал майора Момма — в силу того, что он не только руководил AMT VI, но и исполнял ответственные функции, которых лишился адмирал Канарис, — он являлся шефом всех немецких шпионов за границей.

Ему было тридцать три года.

* * *

Против ожидания Шелленберг счел предложение Теодора Момма крайне интересным. Хотя его ближайшие сотрудники этого не подозревали, Шелленберг активно старался завязать контакты с западным лагерем. Он был из тех, кто видел в сепаратном мире последний шанс для рейха продолжить войну на Востоке.

Но мы бы ошиблись, предполагая, что Шелленберг действовал без ведома Гиммлера. Напротив. Он пользовался если не его одобрением, то по крайней мере благожелательным

нейтралитетом. Ибо однажды, хитростью, он сумел увлечь рейхсфюрера СС своими пацифистскими настроениями.

— Рейхсфюрер, — вдруг напрямик спросил он, — скажите мне, в каком секретном ящике вы прячете *ваш* альтернативный план окончания войны?

Гиммлер взглянул на него в изумлении. Иметь альтернативный план значило иметь его *без ведома* Гитлера. Пойти на сговор с союзниками, не проинформировав фюрера? Предать его? «Вы сошли с ума?» — воскликнул Гиммлер. Никто, никогда не осмеливался в его присутствии говорить подобные вещи. Шелленберг настаивал. Разве последствия подобных маневров не очевидны? В случае успеха союзники откажутся иметь дело с Гитлером, и только он, Гиммлер, главный полицейский третьего рейха, окажется единственным человеком, способным взять в свои руки судьбу Германии. Он, преемник Гитлера! Соблазненный, но не желающий в этом признаться, Гиммлер ограничился тем, что предоставил Шелленбергу исключительную свободу действий.

Доверенное лицо Габриэль получило уверение, что парижскому подразделению Главного имперского управления безопасности будет разрешено выдать ей необходимое командировочное удостоверение. Операция должна проходить под строжайшим секретом. Габриэль будет путешествовать инкогнито. Они договорились о коде. Путешествие Габриэль могло обозначаться только словом «Modellhut». Решение об операции «Шляпа» было принято.

Шелленберг не принял во внимание колебания, которые вызывало у его посетителя всякое отсутствие гарантий и доказательств того, что дружеские связи, которыми Габриэль похвалялась, действительно существовали. Такое поведение ясно доказывало, что Шелленбергу нечего было опасаться. «Мадрид был одним из наиболее хорошо организованных и развитых плацдармов немецкого шпионажа». Шелленберг, часто бывавший там и чувствовавший себя там так же непринужденно, как в Берлине, располагал в Испании ударной группой великолепно натренированных головорезов. К тому же среди его подручных одним из самых активных был князь Гогенлоэ, близкий друг Шелленберга, проживавший как раз в Мадриде. Это был первосортный авантюрист, благородный служитель национал-социалистского государства. Шелленберг не раз поручал ему сверхсекретные миссии. В январе 1943 года именно Макс Эгон Гогенлоэ вошел в контакт с «мистером Буллем» (псевдоним Аллена Даллеса. Он руководил в Швейцарии ОСС — Управлением американских стратегических служб). В подобных

обстоятельствах ему нечего было опасаться Габриэль. На случай какой-нибудь выходки она не смогла бы ускользнуть от людей Шелленберга. Отсюда проявленная им решимость. Как бы скептически он ни был настроен относительно результатов операции «Шляпа», лучше было рискнуть, чем потом жалеть о чрезмерной осторожности.

* * *

По возвращении в Париж майора ожидало жестокое разочарование. Он надеялся, что отъезд Габриэль произойдет без всяких задержек, она же заявила ему, что не может отправиться в путь без компаньонки. Ее «Жанна» оказалась чересчур боязливой… Габриэль повторяла ему, что никогда в жизни не путешествовала одна. Впрочем, она не давала никаких других объяснений. Он должен понять, не правда ли? Ей кто-то нужен. Майор, возможно, ожидал, что она назовет фон Д. Она же потребовала присутствия Веры Бейт, создав тем самым нетерпимую ситуацию. Вера Бейт! Англичанка замужем за итальянцем! Габриэль сошла с ума? И она хочет, чтобы он вернулся в Берлин с подобным поручением? Какова будет реакция Шелленберга на подобную прихоть? Да за кого она его принимает? Разве она не знает, что он поручился за серьезность ее миссии? Она заранее выставляла его на посмешище. Из-за своего любительства она навлечет на него подозрения. Подобные вещи в такие времена не делаются.

Но ни один из аргументов Момма не убедил Габриэль: она поедет в Мадрид с Верой или не поедет вообще. Могла ли она открыть ему правду? Признаться, что без Веры у ее миссии не было никакого шанса на успех? Только одна Вера была так связана с Черчиллем, так любима им, что радость от встречи с ней могла оказаться сильнее сиюминутных трудностей. И потом, все остальное… Если умело использовать родственные связи Веры с английской королевской семьей… Рассказать все Момму значило потерять всякий престиж в его глазах, отдать Вере первую роль. Об этом не могло быть и речи. В случае успеха Габриэль не собиралась делиться.

Тогда, в ноябре 1943 года, смирившись и как бы подчинившись, майор вернулся в Берлин. Сказала ли ему Габриэль о том, что уже было предпринято, — о вмешательстве фон Д. и напрасных попытках уговорить Веру? Если бы Момм мог представить себе, что она скрывала от него, поехал бы он?

Но конфидент Габриэль во второй раз попросил приема у

Шелленберга, находясь в полном неведении относительно того, что произошло в Риме при попытке заручиться согласием Веры.

III
Почему розы?

Двумя неделями раньше, 29 октября 1943 года, в тихом квартале Рима появился очень высокий немецкий офицер с огромным букетом красных роз… Появление посетителя в доме номер 31 по улице Барнаба Ориани было весьма неожиданным. Офицер явился в дом полковника Ломбарди. Сюрприз малоприятный, ибо полковник уехал из Рима 11 октября. Он жил, скрываясь, на холмах Фраскати, и был в таком положении не один. Многие итальянские офицеры поступили точно так же.

К ярости фюрера, король, наследный принц, маршал Бадольо и правительство бежали из Рима. Тем не менее он приказал попытаться совершить невозможное. Захватить их силой. «Прежде всего мне нужен наследный принц» — таков был приказ Гитлера, и фельдмаршал Кейтель добавил, имея в виду принца Пьемонтского: «Он важнее, чем старик». Генерал авиации, которому было поручено исполнение приказа, заверил фюрера, что он, разумеется, не позволит «bambino» скрыться. Тем временем всем членам королевской семьи удалось добраться до Юга, и генерал Боденшатц, которому его шутка встала поперек горла, чувствовал себя прескверно. «Bambino», выиграв, вышел из игры, а маршал Бадольо подписал перемирие. Это, безусловно, объясняло случившееся с офицерами. Некоторых из них охотно вернули бы в строй, чтобы зачислить в ряды республиканской армии, однако они были неуловимы. Все это было так безнадежно, так нелегко…

Тогда как в Риме и без короля ничего не изменилось.

Вечный город был оккупирован, как и прежде, и две трети Италии продолжали оставаться под немецким владычеством. Поэтому, когда Вера, красавица Вера увидела перед собой немецкого офицера, она прежде всего подумала, что ищут ее мужа. Но тогда почему розы?

Розы были от Габриэль.

У посетителя (некоторые утверждают, что это был фон Д., но тому нет никаких доказательств) было только одно поручение — передать ей в руки письмо из Парижа, датированное 17 октября и написанное на фирменной бумаге Шанель. Скоро уже четыре года, как Вера не получала известий от Габриэль. Но внезапно та вспомнила о своей подруге. «Дорогая, мне стало грустно, оттого что я не знаю, что с Вами», — писала Шанель. Она говорила, что больше не в состоянии переносить мысль о том, что Вера

вынуждена расписывать ширмы, чтобы заработать на жизнь. Поэтому она просила ее приехать как можно скорее. Она собиралась якобы вновь открыть Дом моделей. «Я собираюсь снова взяться за работу, — говорилось в письме, — и хочу, чтобы Вы приехали помочь мне. Сделайте в точности то, что скажет Вам податель этого письма. Приезжайте как можно быстрее, не забывайте, что я жду Вас с радостью и нетерпением». Заключительная фраза была на английском: *«All my love»* — «Со всей любовью».

Могла ли Вера догадаться об истинных мотивах письма? Она приняла его за чистую монету, но ни одной минуты не думала ответить на него положительно. «Податель» настаивал. Она не оставила ему никакой надежды. Ее ответом было «нет», категорическое «нет».

Отвечал за эту операцию по обольщению фон Д.

Что точно произошло в тот момент, когда розы не возымели должного эффекта? Эмиссары фон Д. только исполняли его приказы или же превысили свои полномочия? Стала ли Вера жертвой тупого усердия одного из подчиненных или же фон Д. выбрал силовое решение?

11 ноября 1943 года, рано утром, Вера была арестована и препровождена в женскую тюрьму. Там, в Мантеллате, при всех ее связях с английской королевской семьей, при том, что она была очень близким другом Уинстона Черчилля, ее оставили в обществе проституток и уголовниц поразмыслить над тем, стоит ли отказываться от подобных предложений, даже если они сформулированы на языке цветов.

Арестовать Веру? Оплошность была велика. Можно себе представить, какой это вызвало шум. Фон Д. наделал массу ошибок, и Габриэль, конечно, упрекала себя за то, что поручила ему столь важное дело. Она тут же перестала обращаться к нему за помощью. Именно в это время, не предупредив Шпатца, она прибегла к услугам Теодора Момма.

Поджидавшим Момма неожиданностям не было конца. Вернувшись в Берлин и второй раз переговорив с Шелленбергом об операции «Шляпа», он не удивился, что тот с крайним раздражением воспринял привезенные новости. Операция «Шляпа» приобретала оборот неприятный и почти недостойный человека его масштаба. Представления обергруппенфюрера о шпионаже не позволяли ему заниматься делами второстепенными. У него были контакты на самом высоком уровне. Он поддерживал отношения напрямую с главой швейцарской разведки генералом Массоном, а также с британским консулом в Цюрихе, который по крайней мере — и он

мог это доказать — был постоянно связан с Черчиллем. Последний даже разрешил консулу продолжить «изыскания» в кругах немецких разведслужб. Шелленберга заверили в этом лично. К чему было терять время со «Шляпой»? И зачем майор явился специально из Парижа предупредить его, что операция не может начаться, если его подопечной не будут обеспечены услуги горничной? Это в высшей степени смехотворно. У Шелленберга были куда более серьезные заботы.

Операция «Цицерон» была в полном разгаре, секретные службы были начеку, угрозы против жизни фюрера множились, внутренние распри, к тому же усугубленные неуклюжестью и чванством Риббентропа, по своей ожесточенности превосходили все, что можно было представить, — Гиммлер против Канариса, Кальтенбруннер против Шелленберга, — наконец, перед лицом все более явной угрозы разгрома медленно нарастало безумие. Ибо речь шла именно об этом: форме коллективного сумасшествия. То Гитлер, совершенно серьезно, собирался депортировать папу в Авиньон, и Гиммлер в течение целого дня убеждал его ничего не предпринимать. То какое-то время спустя Риббентроп вызвал Шелленберга и объявил ему, что принял важное решение: он намеревался просить аудиенции у Сталина и во время разговора выстрелить в него в упор. Согласится ли Шелленберг сопровождать его в этой самоубийственной миссии? Так что, так что… В конце концов, «Шляпа»… Так ли уж безрассудна была эта операция, как казалось?

Вальтер Шелленберг спросил, как зовут вероятную кандидатку на роль горничной. Момм, ничего не знавший ни о происках Шпатца в Риме, ни об участи, уготованной Вере, сообщил ее имя, адрес и кое-какие детали ее семейного положения. Обергруппенфюрер дал приказ провести следствие, и его римские службы почти тотчас же сообщили ему о результатах. Ответ прозвучал как гром среди ясного неба: дама в течение двух недель находилась в тюрьме. «По чьему приказу?» — вскричал Шелленберг. По приказу агентов, не работающих в AMT VI. Эта информация была недостаточной, и Шелленберг повторил, что должен немедленно узнать, кто ответствен за это дело. Тогда виновники происшедшего, все из гестапо, весьма обеспокоенные тем, что запрос поступил от столь высоких лиц, признались, что Вера была арестована по их приказу, и уверяли, что их действия совершенно оправданны. Они сослались на шпионаж. Вера Бейт — английская шпионка! Майор, которого это разоблачение поразило, отметил в подготовленном им отчете: «Было поразительно видеть, как Шелленберг проглотил пилюлю, особенно для него горькую».

Но так ли уж она была горька? А если и была, то зачем он ее проглотил?

Вера, заключенная в тюрьму за шпионаж, — с точки зрения Шелленберга, это было отличное дельце. Наконец-то операция «Шляпа» начинала на что-то походить. Порочившая ее печать любительства была снята. И потом, Вера, родственница Виндзоров, хотя и незаконная, была лакомой добычей. Из вражеского агента, извлеченного из тюрьмы и с толком использованного, почти всегда удается сделать заложника. Начиная с этого момента операция «Шляпа» стала проводиться быстро и энергично.

Агенты, которые должны были 29 ноября освободить Веру из тюрьмы, были тщательно отобраны самим Шелленбергом. Он связался с шефом СС в Риме и приказал тому лично проследить за освобождением заключенной из-под ареста. С Верой следовало обойтись со всем почтением, которого заслуживала дама из высшего общества. В ход были пущены все средства, чтобы загладить скверное впечатление, которое, безусловно, произвели на нее арест и условия тюремного заключения.

Полковник СС выполнил возложенное на него поручение и вновь передал Вере приказ отправиться в Париж, где ее подруга Габриэль Шанель с нетерпением ждала ее приезда. Он представил в самом выгодном свете ожидавшие Веру исключительные знаки внимания и меры, принятые для того, чтобы сделать ее путешествие как можно более приятным. Он не повез ее домой, где ничто не было приготовлено к ее возвращению, а доставил в лучшую гостиницу Рима, где ее ждали прекрасные апартаменты. Княгиня Виндишгретц, жившая там, была предупреждена о ее приезде. Обе дамы были очень дружны. Их комнаты будут рядом. На следующий день Веру отвезут на улицу Барнаба Ориани, чтобы она взяла с собой необходимые ей вещи. После чего два офицера проводят ее в автомобиле до Милана, и, чтобы рассеять последние опасения Веры относительно цели поездки, ее будет сопровождать один из довоенных друзей, Друг, живший в Риме уже много лет (никто не понимал, как ему удалось избежать мобилизации), был немецким аристократом, большим знатоком искусства, человеком утонченным, холеной внешности, напускавшим на себя понимающий вид всякий раз, когда сообщал о том или ином творении мастера, от которого одна из его знакомых пыталась избавиться, бедняжка… В общем, немного антиквар, не лишенный шарма, который и муху бы не обидел: князь фон Бисмарк, а точнее, Эдди, как звали князя его молодые приятели и римские красавицы. Ибо во дворцах по нему сходили с ума, по этому Эдди, который и станет спутником Веры.

По-прежнему исполненный предупредительности, шеф СС известил Веру, что она не должна удивляться тому, что князь фон Бисмарк будет одет в эсэсовскую форму. Чистая формальность… В противном случае ему бы не разрешили отправиться вместе с ней. Приказы были категоричны. Князь выказал полное понимание ситуации.

Но все эти объяснения ни в малейшей степени не поколебали решимости Веры.

Убежденная, что в этом приглашении кроется угроза, она дала второму эмиссару Габриэль ответ, ничем не отличавшийся от предыдущего. Она ответила «нет». Она повторила, что отказывается под каким бы то ни было предлогом покинуть Рим и отправиться куда бы то ни было.

Полковник связался с Берлином.

Шелленберг дал понять, что ему жаль доставлять даме неприятности, но либо она едет в Париж, либо немедленно возвращается в тюрьму.

Вера попросила ночь на размышления. Что означал этот спектакль? Неужели весь этот шум был поднят с единственной целью доставить Габриэль помощницу, которая требовалась ей, чтобы снова открыть Дом моделей? В это невозможно было поверить, и Вера не решалась уехать. Куда ее хотели завлечь? Париж — это была ссылка. И когда она увидит Берто, своего мужа? Если этот отъезд, как она думала, всего лишь замаскированная депортация, не лучше ли было вернуться в тюрьму? В Мантеллате грязь, условия гигиены и теснота были ужасающими, но по крайней мере она была в Риме. А союзники уже в Салерно, и освобождение не за горами. Если англичане войдут в Рим, ее брат Джордж Фицджордж, офицер разведки, очень быстро узнает о ее печальном положении. А муж, о котором она никому не могла сказать? Ее муж… Он сумел спрятаться у Альдобрандини. Иными словами, на папской территории. А Берто, она в этом не сомневалась, как только Рим будет освобожден, Берто поможет ей выпутаться. Тогда как в Германии… В Германии…

Какой совет дали ей в ту последнюю ночь, что она провела в Риме? На следующий день Вера передумала. Она согласилась. Она поедет работать во Францию. Но поскольку из этого насильственного отъезда пытались сделать увеселительную прогулку, она потребовала, чтобы ей разрешили взять с собой Тиджа. И тем хуже, если это кому-то не нравится. Кто, в отсутствие мужа, лучше, чем она, позаботится о нем? Бедный Тидж… Он будет жить в Париже вместе с ней. У нее будет компания.

На высоченных лапах, размером с молодого теленка, Тидж был очень древней породы, но известной только в Италии. Нечто вроде дога, калабрийского происхождения. С жесткой короткой шерстью, оскаленными зубищами, Тидж был отнюдь не любезен. Эсэсовцы весьма холодно восприняли новость, что дама собирается взять с собой огромного пса. Но они не осмелились снова надоедать Шелленбергу. Согласился бы он или нет, чтобы дама путешествовала с собакой? По правде говоря, она поступала, как ей заблагорассудится! И вот… Эсэсовцы, англичанка и пес — такого на дорогах Италии еще не видывали. Она злоупотребляла их добротой. За кого она себя принимала? Несмотря на почтение, с которым к ней относились, она отказалась завернуться в шинель, как ей предложил князь фон Бисмарк, и не упускала возможности одергивать военных.

Но как бы ни удивлялись сопровождавшие Веру эсэсовцы, еще сильнее был поражен Теодор Момм, встречавший Веру в Милане. С компаньонкой прибыла еще и собака… А почему не лошадь? И что теперь делать с этим Тиджем? Вблизи он наводил ужас. А сколько места занимал! Как убедить Веру расстаться с ним и с какой стороны подступиться к делу? Тогда-то майор и заметил, что у Габриэль странные знакомые.

Наступила ночь, надо было отдохнуть. Остановка была предусмотрена во владении одного миланского вельможи. Его жилище было королевских размеров. Аркоре… Самый красивый замок в окрестностях. Все старались по мере сил развеселить Веру. Напрасно. Хозяин просто разрывался на части. Пытался шутить. Черт возьми, чего она боялась? Если этой поездке придали такой блеск, очевидно, что она не жертва похищения. Возможно, ей пришлось пережить неприятные минуты, конечно, он понимает ее беспокойство, но все же ей не приходится жаловаться. Ее эскорт был ее достоин. В машине — князь фон Бисмарк и двое великолепных молодых людей; в Риме — общество княгини Виндишгратц; в Милане — графа Борромео; что ей еще нужно? Она ответила, что не может смириться с тем, что ей пришлось покинуть Рим. Она говорила «Рим», потому что невозможно было сказать «Берто». Чтобы у него тоже не начались неприятности…

На следующий день, на заре, раздражение и ожесточение стали нарастать. Веру привезли на аэродром, где ее поджидал маленький самолет, в котором места были только для нее, пилота и Момма. Она снова, с большой твердостью, высказала все, что думала, о недостойных методах, когда людей увозят против их воли. В довершение всего ее разлучили с Тиджем, и она не смогла этому воспротивиться. Тогда князь фон Бисмарк, чувствовавший

себя неловко в заемной форме, несмотря на то что ему не доставляло ни малейшего удовольствия заниматься псом — было ясно, что он предпочел бы вернуться в Рим в компании двух красавцев водителей, с которыми он мог бы разговаривать об искусстве с намеками на римские древности, — в общем, Эдди, добрый малый, торжественно пообещал заботиться о Тидже до окончания военных действий.

Потом был взлет, неспокойный перелет, во время которого, несмотря на все старания Момма, Вера не проронила ни слова. Мрачна как туча… Можно было подумать, что от разговоров у нее сводит рот. Самое скверное случилось, когда они находились над Ульмом. Из-за сильного обледенения несущих поверхностей пилот вынужден был срочно садиться. Париж был слишком далеко. Долететь туда невозможно. Вера решила, что это всего лишь хитрость. Куда они направлялись? В Мюнхен. Она пришла к логическому заключению, что ей солгали. Она уже видела себя мертвой. Майор сделал невозможное, чтобы ее успокоить. Едва они приземлились, как он уже нашел машину. Куда они едут? Он повез ее на вокзал. Мрачная поездка по городу рядом с женщиной более угрюмой, чем всегда. Поезд и то, что оба они сели в вагон с табличкой «Париж», ничего не изменили. В купе Вера, отказывавшаяся говорить на любом языке, кроме английского, отклонила любезное приглашение в вагон-ресторан. Она была убеждена, что ей хотят зла… Майор старался напрасно, от поведения Веры у него было тошно на сердце.

Наконец появились слова: Северный вокзал.

И тут они сошлись хотя бы на одном: они были во Франции. Но Вера стала сама собой только в «Ритце». Габриэль ждала ее. И там Вера узнала единственную приятную новость, уготованную ей этой поездкой: они должны были вместе взяться за работу не в Париже, а в Мадриде. План Габриэль состоял в том, чтобы возродить «Шанель» в Испании.

IV
Испанская путаница, или Неделя в Кастилии

Габриэль до самого конца скрывала от подруги свои истинные намерения. Она говорила с ней только о моде. Так что, избавившись от сомнений, одолевавших ее всю дорогу, Вера испытала прилив нежности к вновь обретенной подруге. Они были сестрами в работе, в конце концов, сестрами в трудностях. Их союз был союзом старых друзей, и он выдержал немало испытаний. После Первой мировой войны, после скитаний, когда брак Веры кончился неудачей, когда она, беззащитная иностранка, оказалась в Париже и искала работу, где она нашла ее, как не у Шанель? Такие вещи люди не забывают. Габриэль… Теперь пришла очередь Вере прийти ей на помощь. Вера была убеждена, что Габриэль ощутила такую настоятельную потребность в ее присутствии, потому что у нее не лежало сердце к работе, и «открыть» Дом она была вынуждена против своей воли. Поэтому за несколько дней до решающего момента Шанель и объявила об отъезде в Испанию. Вере было ясно, что неприятелю не удалось справиться с Габриэль, ясно, что это неожиданное решение — всего лишь предлог, чтобы выпутаться из затруднительного положения, ясно, что они вдвоем отправятся в страну, где немцев нет.

И Верка постаралась изгладить из души чувство горечи и забыть обо всем, что ей пришлось пережить в Риме. Не правда ли, странное зрелище — две женщины, ни союзницы, ни враги, играющие вслепую партию, где карты были подтасованы? Ибо если Габриэль запрещала себе говорить Вере, что едет в Испанию потому, что была уверена, что ее примет посол Англии, то и Вера со своей стороны не признавалась ей, что едва они окажутся в Мадриде, как она немедленно обратится к тому же послу. У Веры был свой план: во что бы то ни стало добраться до той части Италии, где у англичан были прочные позиции. А потом? Связаться с Берто. Оказавшись в Италии, Вера соединится наконец-то с мужем. Простое послание: «Я в Салерно». А он-то думает, что она в Париже! В Салерно! Он, разумеется, спросит себя, какого черта она там делает. Но тут же бросится к ней, она была уверена, и, конечно, вместе с Тиджем… Вера представляла их — Берто на коне, галопом несущегося по откосам, а следом, высунув язык, мчится во весь опор пес…

Пребывание в Париже было коротким. Они жили бы в добром

согласии и почти без всяких осложнений, если бы не часто возникавшее у Веры впечатление, что всякие внешние контакты были ей запрещены. У Габриэль всегда находились аргументы. Мися? Мися больна, Миси не было, и, кстати, пользоваться телефоном рискованно, лучше ничего не предпринимать. Не подавая виду, Шанель следила за тем, чтобы Вера общалась только с ней. Единственное свидание, назначенное без ведома Габриэль, обернулось драмой. Давняя подруга, Сабина Шарль-Ру, с которой Вере удалось войти в контакт, была глубоко поражена, когда, словно фурия, ворвалась Габриэль и, довольно грубо обратившись к Вере, потребовала «больше так не поступать».

Действительно, опасность была велика: кто-то мог бы удивиться, в первый раз услышав о предстоящем возобновлении работы, а уж тем паче о путешествии в Испанию. Ибо в дни долгих испытаний никому дела не было до туризма и поездки в Испанию были такой же редкостью, как и хлеб.

* * *

Жить в Мадриде значило опять остановиться в «Ритце». Элегантная публика, там разместившаяся, с восторгом слушала, как портье громким голосом выкликает имена самых что ни на есть настоящих аристократов. В обстановке довоенного комфорта в гостинице наблюдалось постоянное движение господ в штатском, и, хотя они были немцами, они говорили по-испански, ездили в тяжелых американских автомобилях и жили в страхе, что положение резко изменится. Они видели, как быстро растет число их противников: других господ в штатском, ездивших в машинах тех же марок, тоже говоривших по-испански и находившихся здесь, чтобы следить за ними. Это были англичане или американцы. В этом противостоянии было что-то шутовское, ибо обе стороны старались, чтобы соотношение сил не менялось. Как только в английском лагере появлялся новый агент, немцы тут же получали от испанского правительства разрешение обзавестись дополнительным шпионом. Вместе с тем безоговорочной поддержкой испанской полиции пользовались только секретные службы рейха, ибо у генерала Франко было совершенно особое представление о нейтралитете.

Если нам практически ничего не известно о путешествии из Парижа в Мадрид — кроме того, что Вера и Габриэль ехали с немецкими пропусками, — если совершенно не доказано, что фон Д. сопровождал их — он это утверждал, но его друзья опровергали этот факт, — то существует немало свидетелей

пребывания подруг в испанской столице.

Едва приехав, они тут же взялись за дело.

Габриэль под ложным предлогом, что ей надо сделать покупки, отправилась в посольство Англии. И Вера, которую эти спасительные покупки освободили, Вера, сама того не зная, отправилась следом за подругой. Прозвеневший звонок, сразу же появившийся английский чиновник стали для Веры минутами огромного волнения: наконец-то она на дружеской земле.

Некоторое время спустя произошло непоправимое: обе дамы столкнулись лицом к лицу в тот самый момент, когда выходили из посольства.

Обе были растерянны, смущены и, почти дрожа, подыскивали слова.

Кажется, Габриэль первой обрела хладнокровие. Она сказала:

— Вот это мило! Не будем же мы стоять здесь, злобно уставившись друг на друга.

И они покинули посольство.

Тогда Габриэль призналась Вере в том, что привело ее в Испанию. Она ничего от нее не скрыла. Она подробно рассказала ей о Шелленберге и о том, какое участие он принял во всем деле. Габриэль только что принял сэр Сэмюел Хоуар, и послание, адресованное ей Уинстону Черчиллю, будет доставлено по назначению, по крайней мере так она утверждала. И хотя в британских архивах не осталось никаких следов этой памятной встречи, представляются вполне вероятными и аудиенция, и согласие передать послание, содержание которого можно проверить на досуге.

Но поскольку Габриэль глубоко верила только в силу секрета, она пошла на непростительный риск, и это навсегда сделало ее миссию подозрительной в глазах британского посольства в Испании.

Может быть, так произошло бы в любом случае, но ее недомолвки сыграли решающую роль. Ибо, решив держать Веру в резерве, как последнее прибежище на тот случай, если Черчилль проявит колебания по отношению к ней самой, Габриэль не проронила ни единого слова о присутствии Веры в Мадриде. Могла ли она ожидать, что та в то же самое время вступит в контакт с офицером из «Интеллидженс сервис»? Вера же не умолчала ни о чем. Она рассказала обо всем, о Риме, об ужасных днях, проведенных в тюрьме, о том, каким образом она покинула Италию, о своем пребывании в Париже, о немецких пропусках… Тут же возник вопрос, почему две женщины противоречат друг другу. Одна сказала все, другая почти ничего. Одна утверждала, что Черчилль может принять ее, другая просилась в зону

английской армии в Италии. Как же получилось, что они путешествовали вместе, с немецкими пропусками, выданными в одно и то же время и теми же властями?

Их случай показался сомнительным.

Тем не менее не все в этой загадке было подозрительно. Одна из этих женщин сделала свое имя знаменитым, другая имела родственные связи среди высшей знати. Не рискуя делать какие-либо шаги, британские агенты решили, что дело ни в коем случае не может быть похоронено. Они запросили инструкций в Лондоне. Но проблема, созданная инициативой Габриэль, была всего лишь одной из множества мелких проблем, тонущих в море серьезных и важных событий. В Лондоне считали, что торопиться не следует. В Мадриде же дамы стали проявлять признаки нетерпения. И посол решил установить с ними постоянную связь, считая, что они все-таки заслуживают того, чтобы к ним отнеслись с вниманием. Тот, кому была поручена эта связь, был молодой человек, англичанин, хотя он и представился подругам под именем Рамон[135]. Габриэль так и не разгадала секрет этого псевдонима, непреодолимо вызывавшего в памяти помаду для волос и танго, хотя он находился в категорическом противоречии с изысканным блондином, его носившим.

Последующие дни оказались решающими. «Рамон» проявил большее доверие по отношению к Вере, нежели к Габриэль, что Шанель сразу заметила. *Что-то* создало у нее ощущение, что «Рамон» не сделает ничего, чтобы поторопить события и довести ее миссию до успешного конца.

И ей казалось, что и Вера не использовала все свои возможности, чтобы помочь ей.

«Рамон» был к этому причастен.

Он ясно дал понять Вере, что в ее интересах не показываться в обществе Шанель. Наконец, чтобы она смогла вернуться в Италию на условиях, которые были для нее желательны, Вера должна покинуть «Ритц» и поселиться в другом месте. На какие деньги? — спросила она себя. Надо было найти помощь. Вера стала завязывать знакомства повсюду и наудачу. Тогда Габриэль убедилась, что с ней даже не советуются по поводу того, с кем можно видеться, а кого следует избегать, — деталь, которая на первый взгляд могла показаться второстепенной, а на самом деле была далеко не лишена значения.

Так, Вера пригласила одного итальянского дипломата, маркиза Сан Феличе, который, отказавшись примкнуть к «республиканскому фашистскому правительству» Муссолини, вынужден был покинуть свой пост. Он и его жена были презираемы теми, кто еще несколько недель назад встречал их с

распростертыми объятиями, — подобное подлое поведение было свойственно, к сожалению, многим.

Их появление в салонах «Ритца» неизбежно вызвало некоторую суматоху. Габриэль посчитала, что Вера издевается над ней, пренебрегая ее гостеприимством. Чтобы продемонстрировать подруге свое недовольство, как-то, протягивая Вере чашку чая, Шанель бросила мимоходом:

— Английским заключенным всегда предлагают чай.

Что можно было перевести следующим образом: «Не забывайте, что вы у меня в руках». Эти странные слова задели Веру за живое. Заключенная, она? Это мы посмотрим… Инцидент, хотя и короткий, укрепил ее в решимости положить конец их сожительству, которое несло с собой одни только неприятности. Она дала себе два дня, и не больше… События опередили ее, ускорив развязку.

Совершенно неожиданно в Мадриде распространилась новость, что Черчилль заболел. В Лондоне, 16 декабря 1943 года. Этли известил об этом парламент. Был распространен поспешно составленный бюллетень о состоянии здоровья премьера. Так англичане узнали, что *премьер-министр провел хорошую ночь и что в его состоянии наблюдается некоторое улучшение,* хотя прежде не были извещены о его болезни.

«Рамон», отвечая на многочисленные вопросы, признал, что по возвращении из Тегерана Черчилль *простудился.* Это была официальная версия, больше ничего не было известно, кроме того что последствия простуды заставили премьер-министра временно отойти от дел. Сколько должен был продлиться его отдых, сказать было невозможно. Все встречи Черчилля, несмотря на срочность и огромную важность, были отменены. Тем самым Габриэль официально дали понять, что ей следует отказаться от намерения добиться от премьер-министра аудиенции, которую он, по предписанию врачей, не мог дать даже членам своего кабинета и представителям генерального штаба.

Так же как и Вера, Габриэль не усомнилась в искренности своих собеседников.

Удалось бы ей войти в контакт с премьер-министром, будь он в добром здравии? В этом не было никакой уверенности. Но в том, что Черчилль серьезно болен, она была убеждена. Старина Уинстон… «Он действительно болен, — заверила она Веру, и в голосе ее звучала тревога. — Может быть, он даже в опасности…»

Чувствовалось, что она потрясена.

По ту сторону Средиземного моря на грани смерти находился тот, от кого зависела судьба Англии. «Он на пределе, — отметил 10 декабря 1943 года его личный врач. — Нет сомнений, что он

идет к полному упадку сил». На следующий день: «В то время как премьер-министр медленно шел к самолету, я заметил, что лицо его стало серого цвета, мне это не понравилось». Черчилль направлялся в Тунис, где его ждал генерал Эйзенхауэр. «Когда он прибыл наконец в этот дом, то буквально рухнул в первое попавшееся кресло», — снова записывает врач. И позже: «Он ничего не делал в течение дня, кажется, у него даже нет сил, чтобы прочесть обычные телеграммы. Я очень обеспокоен». Потрясение… Вдруг там, в Карфагене, возникла угроза воспаления легких, надвинулась ночь. И страх близких, и специалист, прибывший из Лондона, и вопрос, который никто не осмеливался задать: «Черчилль умрет?»

Вдруг старый боец, так долго смирявший яростные волны войны, а затем внезапно остановленный и сокрушенный злой судьбой, вновь поднялся на ноги. Как только он оказался в состоянии путешествовать, премьер-министр отправился набираться сил туда, где существовала удивительная поэма вершин, солнца, песка и пальм, — в Марракеш.

Габриэль ждала в Мадриде. Напрасно. У нее больше не оставалось иллюзий: она не увидит Уинстона, операция «Шляпа» провалилась.

Тогда она объявила Вере, что возвращается в Париж.

Может ли она рассчитывать на подругу?

Та сообщила ей, что остается в Испании. Габриэль решила, что, не имея денег, Вера одумается и на следующий день появится на вокзале. Но Вера в тот же вечер покинула гостиницу, и Габриэль больше не слышала о ней. Вера нашла пристанище у маркиза Сан Феличе. После чего гостеприимство ей предложил таинственный «Рамон». Вера начала зарабатывать на жизнь, расписывая сценами с наездниками журнальные столики и ширмы. Но вызванные ею подозрения оказались стойкими. Из Лондона через несколько месяцев пришло наконец сообщение, что ей разрешено будет вернуться в Италию только после освобождения Рима. Союзники вошли туда в июле 1944 года, и Вере пришлось ждать репатриации до января 1945 года. Но испанская путаница превзошла все, что можно было вообразить: королева Испании, находившаяся в изгнании и хотевшая помочь «незаконной» родственнице, переправляла через Швейцарию в Италию письма, которые Вера писала своему мужу из Мадрида.

Совершить это путешествие только для того, чтобы потерять Веру. Как горько! Габриэль не находила больше ни малейшего смысла в затеянном ею предприятии.

В Париже майор Момм, которого затянувшееся пребывание Габриэль за границей начало невыносимо беспокоить, испытал

живейшее облегчение, увидев, что она вернулась. Вера предала ее?

Что ж, это можно было предвидеть. Было достаточно, что вернулась хотя бы одна из них. На большее и не рассчитывали.

* * *

У Габриэль была странная особенность верить в непредсказуемое завтра. Кто мог бы сказать, что ее тогда воодушевляло?

Несмотря на новые поражения, которые на всех фронтах разом терпели армии третьего рейха, несмотря на печальные вести о городах, по всей Германии стертых в пыль, о судьбе женщин и детей, тяжким грузом давившей на моральное состояние сражающихся, о тысячах бездомных, похожих на призраки, днем и ночью бродящих по улицам и не находящих убежища, — в это время и в этом мире, разрушавшемся целыми городами, Габриэль хладнокровно сводила счеты.

Сперва с Верой, влюбленной женщиной, из которой надо было сделать виновную. Первой заботой Габриэль было написать ей. И в каком тоне… Будь прокляты эти мужья! Все было точно так же, как с Адриенной в Довиле. И в каждой фразе Габриэль чувствуется ожесточение вечно разочарованной любовницы перед лицом лжеподруги, признававшейся, что она только ждала часа, чтобы с безумной поспешностью соединиться с любимым.

Итак, в последние дни 1943 года Вера получила от Габриэль письмо, переданное неизвестно кем, четыре страницы, написанные карандашом, торопливо, но твердой рукой — ошибки неважны — и без помарок. Почерк по виду несколько надменный, но в нем проступают уроки муленских канонесс начала века. Это каллиграфически выписанные, гордо изогнутые буквы, которым учили, чтобы показать, до какой степени пишущая — «настоящая дама». Дама, говорящая сухо и приказывающая властно:

> «Дорогая Вера, не смотря (sic) на границы, вести доходят быстро! Мне известно о Вашем предательстве! Оно ничему для Вас не послужит, кроме того, что ранит меня глубоко.
>
> Я сделала все возможное, чтобы Ваше прибывание (sic) здесь было менее тяжелым. Терпение, деньги и т. д. Но я не могла в разговорах на итальянскую тему изображать из себя идиотку, как не могла в разговорах на тему немецкую выслушивать или сама говорить

недостойные вещи, которые я оставляю для простаков. Презирать своего врага — значит принижать самое себя[136].

Мои английские друзья ни в коем случае не могут осуждать меня или обвинять в чем-либо.

Этого мне довольно.

Я видела М.[137] Я не сказала ему ничего, что могло бы затруднить Ваше положение. Если Вы хотите вернуться в Рим, через 48 часов после Вашего приезда в Париж Вы будете там рядом с Вашими настоящими друзьями!..

Ваше безразличие к моим делам в Испании избавляет меня от необходимости говорить с Вами на эту тему! Но у меня есть добрые новости, и я надеюсь добиться успеха.

Я храню очень теплое воспоминание о Вашем друге „Рамоне“, хотя его помощь в делах кажется мне несерьезной.

Знайте также, что я покинула Испанию ни (sic) по приказу — я их много отдавала в жизни, но пока не получила ни (sic) одного. Моя виза закончилась. Ш.[138] боялся, что у меня будут неприятности.

От всего сердца желаю, чтобы Вы вновь обрели счастье.

Но удивляюсь, что с годами Вы не стали более доверчивой и менее неблагодарной.

Столь жестокая и печальная эпоха, как наша, должна была бы совершать подобные чудеса».

Письмо было подписано: *Коко.*

* * *

В любых суждениях о Шанель всегда будут неточности. Зная ее, разве могли мы представить, что она сочтет необходимым отправиться в Берлин, чтобы дать отчет о своей неудавшейся миссии? Разумеется, нет. Между тем именно так она и поступила.

Кто из ее подруг, служащих или клиенток, видевших, как она трудится над одним из своих творений, привнося в работу маниакальную аккуратность, придирчивость и порой раздражающую тщательность — Габриэль, определявшая, не тянут, не жмут ли рукава, отмечавшая длину юбки, энергично обнаруживавшая тот или иной недостаток, который она

атаковала с ножницами в руках, — кто из них мог бы представить, что та же самая Габриэль смело пошла навстречу опасности, не побоялась пересечь Европу и побывать в немецких городах — ей пришлось пережить долгую воздушную тревогу той ночью, что она провела в Берлине, — полностью отдавшись идее оправдать доверие, которое ей оказал Шелленберг? Ради него, этого незнакомца, этого немца, она хотела стать воплощением женской храбрости? Или оттого, что в том году ей исполнилось шестьдесят и она боялась, что возраст любви прошел, она с такой жадностью нуждалась в чьем-то доверии? Чего она так боялась, что пошла на такой риск? Вообразить, что она не представляла себе возможных последствий ее инициативы, значило бы выдать ее за дурочку… Кто в это поверит?

Поездка Габриэль в Берлин была поступком, совершенным от тоски и, в сущности, окрашенным бесконечным разочарованием, в которое она погружалась. К какому свету повернуться, когда вас охватывает подобный холод? А Шпатц? Значит, его присутствия было недостаточно? Ах! Оставьте меня в покое с вашим Шпатцем, и что он такое, спрашиваю я вас. Между комфортом, окружавшим ее в военном и нищем Париже, между жизнью взаперти и безумием ее последней попытки *существовать иначе,* чем на страницах журналов, есть место только для тайной правды о Габриэль, сотканной из меланхолии и мрачного отчаяния.

Вот она в Берлине, в последние дни 1943 года, в обществе Шелленберга, достигшего звездного часа своей славы. Где он ее принял? В кабинете-крепости, который он занимал в то время в качестве главы всех тайных агентов Германии, в кабинете, описанном им с гордостью — хочется даже сказать «весело»? «Там повсюду были микрофоны, в стенах, под письменным столом, в каждой лампе, с тем чтобы записывался каждый разговор до мельчайшего звука… Мой рабочий стол был похож на небольшой блиндаж. В него было вмонтировано автоматическое оружие, которое в одно мгновение могло заполнить комнату плотным огнем. В случае опасности мне было достаточно нажать на кнопку, и два ручных пулемета одновременно вступали в дело. Другая кнопка включала систему тревоги, приказывавшей охранникам немедленно окружить здание и блокировать все выходы». Сколько времени Шелленберг уделил своей знаменитой посетительнице? И если верно, что «Франция прежде всего страна опасных сорокалетних женщин»[139], удалось ли шестидесятилетней Шанель отодвинуть эту границу, побить рекорд? Удалось ли ей взволновать красавца хозяина этого черного дворца? Что подумал о ней человек, который в силу своей профессии, сохраняя при этом полное бесстрастие, видел,

как одна за другой возникали угрозы, как совершались худшие жестокости, как, наконец, родилось бесчестье, которого никогда не знал западный мир? Соблазнительный хищник? Бессмысленно было бы это отрицать.

Отменно вежливый, высокомерно-сдержанный. Отмеченный небольшим шрамом подбородок. Рот с пухлыми губами, чуждый оскорблений или ухмылок, казалось, был создан для смеха и любви. *Безукоризненный* нос был, как и полагается, без малейшей горбинки и как бы слепленный для того, чтобы удостоверить, что его хозяин образцовый ариец. Наконец, глаза… Только глаза пугали своей неподвижностью, и было бы бессмысленно пытаться вообразить, какие ужасы видели эти глаза.

По случаю визита Габриэль щегольнул ли Шелленберг той или иной особенностью своей профессии, которой так гордился? В самом Голливуде от актеров не потребовали бы большего. Он равнодушно рассказывал о пустом зубе, который вставлял себе в челюсть, отправляясь на задание. Чтобы использовать его в случае провала. «Он содержал дозу яда, достаточную, чтобы убить меня меньше чем за тридцать секунд». Но для большей безопасности он носил также необычное кольцо, украшенное кабошоном изумительного голубого цвета. Под драгоценным камнем была спрятана капсула, содержавшая приличную дозу цианистого калия.

Нам неизвестно, кто из собеседников — Габриэль или Шелленберг, этот слуга нацистской Германии, — выслушивал другого с большим возбуждением. Мы просто знаем, что происшедшее в этом кабинете не было банальной встречей и что это событие в долгой жизни Шанель нельзя замолчать. Ибо в день возмездия, когда наступили сумерки лжепророков, именно к Габриэль обратился Шелленберг, и она помогла ему, помогла в тот период истории, когда никто не осмелился бы этого сделать.

Тот, кто хочет быть трезвым свидетелем, внимательно исследующим все этапы жизни этой женщины, кто разрывается между уважением и непреодолимым отвращением, желанием оправдать и возмущением, этот свидетель может только замолчать и с болью задуматься о непостижимой трагедии, разыгрывавшейся тогда в человеческих сердцах. О трагедии, навязанной всем и превзошедшей и само сражение, и то, что противопоставляло нации и народы, задуматься о судьбах, отмеченных страданиями, родившимися из войны, из войны и крови.

V
Иногда поэтов убивают

Габриэль вернулась из Германии. Прошло еще несколько месяцев, и в разгаре лета у парижан появились причины для того, чтобы взяться за оружие. Парижане… Сколько им ни повторяли, что еще рано и что предосторожность… Предосторожность? Что это значит, предосторожность? Разве они столько ждали для того, чтобы выслушивать подобные аргументы? И они, словно к азам, вернулись к постройке баррикад. И вновь был один из ужасных парижских праздников. Праздник гнева.

Но с января того года все изменилось.

В магазине Шанель резко поубавилось покупателей в военной форме, и на флаконы с двумя переплетенными «С» уже не набрасывались, как прежде. Развязывались языки. Чувствовалось, что конец близок. По почте приходили анонимные угрозы, люди отворачивались, и на улицах, площадях и даже в самых тихих кварталах царило такое же настроение, как на вокзале после мертвого сезона, в ту минуту, когда объявляют о прибытии первых поездов. Когда, когда же высадка?

Да, все изменилось, только не для Габриэль, которая после своего мимолетного заговора обрела тяжелый покой и продолжала жить жизнью, странные последствия которой она оценивала каждое мгновение. Вечная *незаконная*… Перевернув последнюю страницу, она более чем когда-либо оставалась в стороне, за бортом.

Вокруг нее было очень мало друзей: Мися, которая все знала, но делала вид, что ничего не знает, верный Лифарь, который ни во что не был посвящен. Что касается других, друзей великой эпохи «Русских балетов», они молчали и избегали ее.

Показательно то, что ни один из них не обратился к ней тогда, когда они ходатайствовали перед немецкими властями за Макса Жакоба. В маленькой группке его защитников среди прочих друзей Шанель были Жан Кокто и Анри Соге. Без них Макс был бы совершенно предоставлен своей несчастной судьбе.

Ибо 23 февраля 1944 года, в то время как монахи Сен-Бенуа-сюр-Луар пели утреннюю службу, началась голгофа Макса.

Человек, которого, несмотря на крики и зов на помощь госпожи Персийар, его мужественной хозяйки, пришли забирать, не имел ничего общего с денди с моноклем, чьи шутки двадцать пять лет назад доставляли наслаждение Габриэль и Мари, той Мари, что любила Аполлинера, а также Лиане, ставшей

принцессой Гика.

Теперь это был маленький, бедно одетый старик, в широком черном берете, в сабо из рафии, «на подкладке из настоящего кролика», с одеялом в левой руке, со старым чемоданом в правой. И монахи, удрученные своим очевидным бессилием, смотрели, как он покидает их. Макс пожимал протягивавшиеся к нему руки, Макс, очень спокойный, был арестован гестапо.

Из орлеанской тюрьмы два письма, нацарапанные тайком, были отправлены «благодаря любезности окружающих нас жандармов». Два письма «жертвы кораблекрушения», извещавшие, что скоро за ним захлопнутся ворота Дранси. В письме кюре Сен-Бенуа он писал: «Я верю в Бога и моих друзей. Я благодарю Его за начавшееся мученичество». Но он не писал о том, что разделил с другими заключенными скудную провизию и белье, которое поспешно дал ему в дорогу славный человек, господин Флеро, кюре Сен-Бенуа-сюр-Луар.

В письме, Жану Кокто Макс напоминал об обещании Гитри: «Когда с ним говорили о моей сестре[140], Саша сказал: „Если бы это был он, я бы мог что-нибудь сделать“. Так вот, это я!»

Заключение Макса в сырой клоаке продлилось пять дней. С помощью двух стаканов он ставил банки старой женщине, умиравшей от воспаления легких, потом делал перевязки бывшему легионеру, которому только что прооперировали язву.

Поскольку у него оставалось немножко сил, Макс старался развеселить своих товарищей. Он проникся симпатией к некоему Жерамеку, с которым его объединяла любовь к оперетте и комической опере, вдвоем они во все горло орали «Маленького Фауста» и арии Оффенбаха.

Между двумя ариями Макс открывал свой молитвенник и предлагал заключенным поразмыслить над ним. И когда один из них жаловался на голод — пища состояла из тарелки супа в полдень и нескольких крошек сыра вечером, — Макс, вызывая смех или слезы своих товарищей, живописал сцены из своей нищей жизни во времена Бато-Лавуара или наугад цитировал по памяти фрагменты того, что он тогда писал. *«Спускаясь по улице Ренн, я откусил кусок хлеба с таким волнением, что мне казалось, будто я разрываю себе сердце…»* Он рассказывал им также о потерянных друзьях, о художниках, поэтах, которых любил и которым помогал.

Тех, кто осмелился, было немного.

Кокто, самый мужественный, самый решительный из них, составил обращение, под которым хотелось бы видеть подпись Габриэль. Согласилась бы она? Они ее остерегались. Ее ни о чем не попросили. Возможно ли, чтобы наступил день, когда друзья

Макса бросили его? Мися, что делала Мися? Как случилось, что ее имени нет среди подписавшихся? Еще хуже было молчание Пикассо. Что он сделал для Макса? Макс был единственным, кто *признал* Пикассо сразу по приезде из Испании, единственным, кто провозгласил его гением, искал для него клиентов, предложил ему свою комнату, свой жалкий заработок, единственным, кто ввел его в круг своих друзей и знакомых. Больно признать, что Пикассо забыл его[141].

Поэтому обращение составил Кокто, и оно было вручено чиновнику немецкого посольства. Чтобы преследователи Макса Жакоба могли понять, с кем они имеют дело, Кокто избрал нелегкий путь. Он обрисовал Макса и во времена активной деятельности, и в его уединении. Надо было представить Макса как личность замечательную и уникальную. Кокто рискнул:

> …Вместе с Аполлинером он изобрел язык, господствующий в нашем языке и выражающий его глубину.
>
> Он был трубадуром необыкновенного турнира, где сошлись, столкнувшись, Пикассо, Матисс, Брак, Дерен, Кирико, каждый выставив свой разноцветный герб.
>
> Давно уже он отказался от мира и прячется в тени церкви. Он ведет там образцовую жизнь крестьянина и монаха.
>
> Французская молодежь любит его, говорит ему «ты», уважает его и смотрит на его жизнь как на образец. Что касается меня, я приветствую его благородство, его мудрость, его неподражаемое изящество, его тайный авторитет, его «камерную музыку», если позаимствовать выражение Ницше.
>
> Да поможет ему Бог.
>
> *Жан Кокто.*
>
> P. S. Добавлю, что в течение двадцати лет Макс Жакоб является католиком.
>
> Нижеподписавшиеся позволяют себе обратить внимание компетентных властей на совершенно особый случай Макса Жакоба.
>
> Его контакты с внешним миром ограничены многочисленными дружескими связями с молодыми поэтами и крупными фигурами французской литературы. Его возраст и поведение, столь благородное и столь достойное, заставляют нас, повинуясь сердцу и разуму, предпринять этот последний демарш, чтобы

вернуть ему свободу и сохранить его здоровье, которым мы дорожим.

Просьба была передана.

Было ясно, что мучители остались к ней глухи, и жребий был брошен.

В Дранси прошло десять дней.

Поэт, которому вручили зловещую зеленую этикетку, означавшую немедленную депортацию, лежал на полу с температурой сорок, в комнате, куда набилось восемьдесят заключенных.

Его перенесли в медицинскую часть. Там у него начался бред. Приподнявшись на локте, Макс кричал: «Мне вонзили сюда кинжал». Потом он умолял, чтобы сказали, что он не может прийти на обед к принцессе Гика (Лиане де Пужи), или бросал обрывки фраз, в которых часто повторялось имя почтарки из Сен-Бенуа-сюр-Луар.

На двенадцатый день у него наступило некоторое просветление. Вокруг него раздавались навязчивые крики и жалобы, произносившиеся умирающими на всех языках. Поэту тем не менее удалось последний раз обратиться к своим друзьям: *«Пусть Салмон, Пикассо, Морикан что-нибудь сделают для меня!»*

16 марта 1944 года посольство Германии дало знать, что просьба защитников Макса Жакоба удовлетворена. Неоднократно писали о том, что все в посольстве знали, каково было положение дел, когда гестапо отдало приказ освободить поэта. Они освобождали мертвеца.

Макс Жакоб угас накануне. Врачу, который лечил его, он пробормотал: «У вас лицо ангела».

Это были его последние слова. *«Я с болью думаю, что иногда поэтов убивают, чтоб их цитировать потом…»*[142]

* * *

По сравнению с тем, что пришлось вынести женщинам, одобрившим политику коллаборационизма, или тем, кто из-за шашней с немцами в глазах народа заслуживал публичного наказания, пережитый Габриэль кошмар был недолог.

Примерно две недели спустя после того, как генерал де Голль спустился по Елисейским полям под приветственные крики толпы, состоявшей из представителей всех классов общества, что вызвало негодование со стороны тех, кто сожалел о немецком порядке, и всех тех, кто, столкнувшись с этим разгулом страстей,

почувствовал себя лишенным *чего-то,* они не знали точно, чего именно — разве де Голль-эмигрант, де Голль-диссидент не доведет их до беспредельного страха, позвав в правительство Мориса Тореза, коммуниста, о ужас, коммуниста, нет, вы можете себе представить? — Габриэль Шанель была задержана.

Ее охватывала настоящая ярость, когда она вспоминала тот день, когда двое молодых людей осмелились проникнуть к ней в «Ритц» в восемь часов утра. Они явились прямо к ней в комнату и там, без всяких деликатностей, потребовали, чтобы она следовала за ними по приказу Комитета. Простите, какого Комитета? По чистке.

Можно понять, почему впоследствии она с таким остервенением проклинала этих «фифишек», этих «участников Сопротивления», когда послушаешь, как редкие свидетели этой сцены описывали, как Шанель, на глазах персонала, в полной растерянности, но пересилив страх, вышла из гостиницы под конвоем двух молодых людей в *рубашечках,* одетых в уродливейшие сандалии, двух головорезов с револьверами за поясом, в общем, двух животных, двух приспешников революции.

Самое ужасное было в том, что они тыкали швейцару.

Через несколько часов Габриэль вернулась и сказала тем из окружающих, кого незваные гости оскорбили своим чудовищным поведением, что ее арестовали по ошибке и что следует остерегаться подобных людей и не доверять им. Хороша же эта народная армия! Франция оказалась в руках безумцев, больных. Впрочем, она собиралась покинуть родину. Уехать? С нее были сняты все подозрения. Кто ее спас? Кому, чему она была обязана безнаказанностью?

Если Комитет по чистке задержал ее так ненадолго, значит, Габриэль имела при себе (в ожидании того, что непременно должно с ней случиться) нечто, обезоружившее ее судей. Ибо сразу после Освобождения было невозможно ни хитрить, ни дурачить следователей всякими байками. Только очень высокое покровительство вернуло Габриэль свободу, которую другие потеряли, запятнав себя меньше, чем она.

Ясно, что ее спас приказ, не подлежавший обсуждению.

Чей приказ? Никаких следов, ничего, что позволило бы хоть с минимальной уверенностью ответить на этот вопрос.

Вскоре после этого события, в то время как другие солдаты, на сей раз «джи-ай», толпились в магазине Шанель, чтобы раздобыть «№ 5», качество которых несколько месяцев назад испробовали немцы, Габриэль, обладая свободой передвижения и, насколько известно, без всяких трудностей, быстро добралась до Швейцарии. Меньше чем два года спустя она с не менее

поразительной легкостью получила разрешение поехать в США, где провела короткое время. Все визовые запросы на въезд в Соединенные Штаты подвергались строгому контролю еще в течение пяти лет после окончания боевых действий. Но тогда как других подолгу допрашивали и они вынуждены были ждать и доказывать свою лояльность, для Габриэль пересечь американскую границу в 1947 году было так же легко, как уехать в Швейцарию в то время, как европейские нации медленно возвращались к мирной жизни. Приходится констатировать тот факт, что в обстановке только что обретенного мира правосудие уже не было одинаковым для всех.

VI
Об истине, подмеченной в сумятице встреч

Истина трудна, порою она приводит в отчаяние. Она всегда находится не там, где ее ищут. Люди, единодушно считающиеся информированными, вспоминая, сообщают только никому не нужные анекдоты. И загадка остается полной, и то, что вы ищете, не дается вам в руки. Истина — это черная яма, в которую вы проваливаетесь, каракули, которым на первый взгляд придаете не больше внимания, чем простой оплошности пера, оплошности письма или рассказа, скобке, которую ваша, часто назойливая, собеседница вдруг открывает в тот момент, когда вы ее уже больше не слушаете.

Порою вы верите, что успех вам принесет работа историка, аналитика, хроникера; вы анализируете, классифицируете, разбираете невидимые колесики, испытывая безумную надежду, что из пыли досье возникнет то, что утекает у вас между пальцев. Богатыми на сведения оказываются архивы, казавшиеся вам прискорбно бедными, и делаете вы это открытие в тот самый момент, когда возникает уверенность, что в них нет того, что вы надеялись там найти. Ибо верно, что богатство — слово, не для всех имеющее одинаковый смысл, и тем лучше, если одни могут кричать: «Какие сокровища!», тогда как другие думают: «Какая чепуха!»

Что такого сказала госпожа Дени, вдова садовника[143], в маленькой гостиной домика на улице Альфонса де Невиля в Гарше, что такого она сказала, отчего незначительность ее сразу исчезла?

По видимости, ее свидетельство имело ценность совершенно ничтожную, и его несерьезность прекрасно передавала атмосферу «Бель Респиро», дома с черными ставнями, где жила Габриэль. И вот, не сумев рассказать ни о расположении комнат в доме, ни об обстановке, ни о многоликом саде, вдруг эта свидетельница двадцатых годов начала излагать факты, находившиеся, скорее, в области предположений, стала говорить о вещах, слышать о которых не хотелось, потому что, по размышлении, нескромность часто бывает неприличной, и вы сердитесь на того, кто посвятил вас в чужую тайну. В театре — совсем другое дело, и иные запутанные истории, разъясняющиеся поздно ночью, в тени деревьев, могут и растрогать… Но для этого нужна «Женитьба», нужен Моцарт, не все рассказчики — аббаты Да Понте, точно так же, как Анри Бернстайн не был Керубино, словом, с трудом

можно себе представить, чтобы вдова садовника принялась петь: «Ratto, ratto il birbone e fuggito», она, англичанка, да и голоса у нее для этого не было.

Она дала понять, что Габриэль и Анри Бернстайн, сады которых, как помнит читатель, прилегали друг к другу, якобы каждый вечер встречались, пользуясь тайной тропинкой, которую ее муж-садовник сразу же окрестил «тропинкой влюбленных». Подобные рассказы как раз и составляют тот тип анекдотов, на которые, с вашего позволения, нам на… Ибо, с одной стороны, рассказ о любовных похождениях Анри Бернстайна — столь же утомительное занятие, как подробное изучение телефонной книги, а с другой — непонятно, почему эти двое, коль скоро им пришла в голову фантазия стать любовниками, должны были встречаться под открытым небом, и, наконец, самое главное — Габриэль никогда не сказала о Бернстайне худого слова, что заставляет предположить, что она никогда не была его любовницей. Ибо она испытывала смертельную ненависть к своим случайным любовникам, мужчинам, которым она некогда уступила, уступила, чтобы забыться, чтобы прогнать воспоминание о Бое, уступила тогда, когда бросилась в любовь, как другие бросаются в реку.

Но вот, как бы это сказать, вот в рассказе вдовы садовника освещение вдруг так внезапно изменилось, что можно было подумать, будто случилась поломка или рабочий сцены ошибся. Ибо из рассказа исчезли черные ставни и даже сама Габриэль. А Стравинский, куда девался Стравинский? И почему фортепьяно внезапно замолчало? Тем не менее было слышно, как играли арии Перголезе и «Весну», черт побери, и «Весну»! Но больше ни звука, и что же такое она рассказывала, эта женщина? Она говорила: «Прошли десятки лет». Внезапно какая-то трагедия заставила умолкнуть милую, грустную, фривольную музыку, звучавшую здесь. О чем шла речь? О прибытии штаба. В Гарш? Да, в Гарш. Ничего удивительного. Немцы стояли там четыре года, но на сей раз это были британцы. Какая сумятица! Обладатели богатых коттеджей и красивых вилл едва успели осознать, что с ними случилось, как одна реквизиция сменила другую. И в Гарше заговорили только по-английски.

Как это происходит в армиях всего мира, красивые комнаты с выступающими окнами, со стенами, затянутыми тканями в крупные цветочные букеты, были распределены между высокими чинами, тогда как службы… Что же делать, офицеры, занимающиеся расквартированием, будь они немцы или англичане, — одинаковы. Поэтому кашевары, шоферы, секретари, телефонисты поделили между собой то, что осталось. Домиков и

особнячков с садом в Гарше хватало. Там, где когда-то жила прислуга Габриэль, разместились службы британского штаба. Они устроились прекрасно. Но из-за этого в квартале произошла большая суматоха. Вернется ли когда-нибудь к улицам Гарша изысканность начала века? Что же поделать? Уже давным-давно там не встречались открытые спортивные автомобили или кабриолеты с откидным верхом, ни «изотты фраскини», ни «делоне-бельвили» на улицах Эдуара Детая и Альфонса де Невиля, и молодой человек, поселившийся неподалеку от вдовы садовника, хоть и был шофером штаба, ездил, как и все, на джипе.

Он был слишком занят, чтобы интересоваться красивым предместьем, где стоял на постое, но все же он был счастлив, что его соседкой оказалась англичанка, с которой можно было поболтать.

И вот однажды он услышал, как она рассказывала что-то об одной модельерше, знаменитой женщине, которая долго жила в последнем доме слева, когда спускаешься, в доме с черными ставнями и большим кедром… И солдат спросил — возможно, из вежливости, потому что, в сущности, ему было на это наплевать, — чем была знаменита дама и как ее звали. «Как вы сказали?» Он заставил ее повторить имя дважды, ибо странно, но оно что-то ему говорило.

Он услышал это имя накануне, сначала от своего капитана, потом от полковника. Наконец, в тот день об этом же в полном смятении говорили в штабной офицерской столовой. Имя застряло у него в памяти: ША-НЕЛЬ, ША-НЕЛЬ. Одному офицеру было поручено искать ее повсюду, эту Шанель, даже немножко жалко, что она больше не жила на улице Альфонса де Невиля. Было бы гораздо легче ее найти. Вот закавыка… Невозможно ее отыскать. В ее торговом доме служащие вели себя так, словно она исчезла навсегда. В гостинице напротив — та же картина. В конце концов ее откопали в какой-то гостинице в окрестностях Парижа, потому что, если верить парням из службы связи, в Лондоне начали чертовски терять терпение. Как это в Лондоне, спросила вдова садовника. Молодой человек подтвердил, что о Шанель беспокоились именно в Лондоне и что, чутье подсказывает ему, звонил, должно быть, один из секретарей *Old Man,* да, мадам, один из секретарей самого Старика!

Надо признать, что пенсионерка из Гарша довольно плохо поняла объяснения своего молодого соотечественника, ибо созналась, что не знает, кого он называет Стариком. Кто это? Шофер воскликнул, что никогда в жизни еще не слыхал столь комичного вопроса. И тут же от души расхохотался, потому что

Старик, Боже правый, как вы думаете, кто это? Да Черчилль, черт побери!

Так, вопреки всякой вероятности, благодаря болтливости или случайности, если хотите, в ночи слов появилась крупица истины, касающаяся личности того, кто, возможно, спас Габриэль после Освобождения. Но утверждать не беремся, ибо было бы безумием принимать все это за достоверный факт.

Первый эпилог (1945–1952)

Такова мирная Франция, и она истребит всякого, кто придет нарушить покой ее портных, ее философов и ее кухонь.

Жироду. Зигфрид и Лимузен

I
Вне бытия

Мне скажут, что Швейцария никогда не считалась ссылкой, тем более что в Лозанне говорили по-французски. Тем не менее в эпоху, о которой идет речь, именно так и было.

Жить в роскошных гостиницах в Уши или Женеве, переезжать с одного зимнего курорта на другой, скитаться из гостиницы в гостиницу… Габриэль жила как эмигрантка, и ее короткие наезды во Францию, свобода, которой она пользовалась, чтобы провести летом несколько недель в «Ла Пауза», ничего не меняли.

Осторожность заставила ее уехать. Она поступила как крестьянка, знающая, что такое «зарыться». Она оставила родину, работу, ее прошлое было далеко, далеко позади, и кто скажет, что это не ссылка? Разве не ссылка постоянные страдания и совершенно невыносимая праздность? О царивших смятении и беспорядке свидетельствует и такой факт: кого только не принимала Швейцария в эти печальные годы, став прибежищем для толпы беженцев, к которым относились с таким уважением во времена их могущества, — крупных нацистских, фашистских, петеновских чиновников, объявленных нежелательными персонами в своих странах, подвергавшихся постоянным административным придиркам — хорошо еще, если их не просили убраться, потому что о гельветском гостеприимстве можно было много чего сказать. И мне снова повторят, что это тесное соседство виновных мужчин и женщин, преступников в глазах остальной Европы, эти приводящие в отчаяние встречи не были ссылкой?

По правде говоря, Габриэль не только укрылась в безопасном месте, но прежде всего отправилась к фон Д. Не исключено, что в этом была главная причина ее отъезда, кто знает? Возможно, она решила жить в Швейцарии в основном ради того, чтобы быть с ним. Ибо ее любовник покинул Францию. Он пересек границу, сменив одну страну на другую с такой же легкостью, как меняют рубашки, причем сделал это заранее, чтобы ничем не рисковать. И хотя трудно удержаться, чтобы не найти такое поведение странным, на самом деле вопрос о том, чтобы поступить иначе, даже и не стоял. Состояние Габриэль находилось в Швейцарии. Именно там в течение всей войны собиралась прибыль от продажи ее духов за границей. Можно ли себе представить, чтобы Шпатц отправился не туда, где были деньги?

Его и Габриэль постоянно видели вместе, и часто их считали

мужем и женой. Он еще прекрасно сохранился, тогда как она… Любопытно, но в то время — ей было тогда шестьдесят четыре года — она выглядела старше, чем десять лет спустя. Быть может, праздность подтачивала ее. И потом, по некоторым признакам можно было заключить, что не все между ними шло гладко. Одни утверждают, что он поколачивал ее, другие — что *она* его, третьи — что они дрались между собой. А когда знаешь, на какое буйство он был способен… Одному приятелю фон Д. дал понять, что она думала только о том, как женить его на себе. Видите, каким он был джентльменом. Но это не мешало тому, что вообще-то они были пленниками друг друга. Она его держала деньгами, он ее — молчанием. Как бы он разбогател, если бы позволил себе заговорить?..

Тем не менее точно так же, как с высоко поднятой головой она последовала за «ужасным хулиганьем» из Комитета по чистке, так и теперь, несмотря на общее смятение и не удовлетворявшие ее любовные отношения, Габриэль продолжала шагать, не сгибаясь.

Правда, ее занимала борьба, начатая в 1945 году против «Духов Шанель» и Пьера Вертаймера. Победа, одержанная ею, как мы помним, в 1947 году, оставила ее трагически бездеятельной. Она была богата, у нее были миллионы, но душа…

Кроме того, к неотвратимой угрозе, висевшей над ней, добавилась страшная череда печальных событий.

После окончательного падения и безоговорочной капитуляции немецких армий следовало признать очевидную истину; Шелленберг так просто не даст забыть о себе. Габриэль продолжала жить под постоянной угрозой, что об операции «Шляпа» станет известно.

Приближался окончательный крах, и обергруппенфюрер из AMT VI вел последние переговоры в Швеции с графом Бернадоттом. Именно там к нему пришло известие о капитуляции. Оценил ли он свою удачу? В то время как в Германии его шеф Гиммлер (с которым он расстался пять дней назад) покончил с собой, он, Шелленберг, принял покровительство графа Бернадотта и, по совету последнего, воспользовался предоставленной ему короткой передышкой, чтобы составить меморандум, где он перечислял по пунктам демарши и попытки, предпринятые им, чтобы путем переговоров добиться от союзников мира.

В июне 1945 года потребовали его выдачи, и Шелленберг должен был очутиться на скамье подсудимых вместе с близкими соратниками Гитлера, объявленными военными преступниками, перед военным трибуналом в Нюрнберге. Но его оставили гнить в

тюрьме, и было невозможно сказать, когда начнется его процесс.

Так прошло три года, в течение которых Габриэль едва ли могла обрести покой.

В 1947 году, словно беды не хотели дать возможность Габриэль перевести дыхание, умер Хосе Мария Серт. Когда-то он взял ее за руку, вырвал из мрака ночи и, как потерявшегося ребенка, привез в Венецию. В своей профессии он был всего лишь пережитком. Не унаследовав в отличие от герцога Вестминстерского колоссальных дворцов, он неустанно мечтал о них, изображал их на потолках, которые расписывал, а большие занавесы театров, где он работал, открывались на бесконечные перспективы, на мир роскошных сновидений и беспорядочных миражей. Он был своего рода монстром, к тому же фатоватым, что раздражало, но разве запрещено любить монстров? Разведясь с Мисей, он снова на ней женился. Габриэль знала, что смерть Серта сломит Мисю, и предчувствовала, что уже ничто не удержит подругу от смертельного упоения опиумом.

Но это было не все… Умерла Вера.

Почему, спрашивала себя Габриэль, 1947 год стал таким? В Риме, в Париже только и делали, что разрывали ее сердце. Вера, красавица Вера двадцатых годов, едва вернувшись из Мадрида и наконец снова став римлянкой, умерла. Даже если предположить, что, как только Габриэль узнала эту новость, она подумала: «Одним свидетелем меньше!», вполне вероятно, что она испытала печальный зов того, чему помешать невозможно: воспоминание, как повторяющийся и бесконечно придумываемый сон, воспоминание, как представление без прикрас о существе, которое перестал любить.

12 февраля 1947 года в Париже, под гром аплодисментов, родился *новый облик*. Появился новый тип женщины, в платье, доходившем до щиколоток, а на небо моды взошла новая звезда — Кристиан Диор. За дебютантом, осмелившимся бросить вызов Соединенным Штатам и запустить модели, которые невозможно было скопировать индустриальным методом — такого умения требовал крой, — стоял финансировавший его промышленник, большой умница, «текстилец», как сказал бы майор Момм, — Марсель Буссак. Он предоставил в распоряжение дебютанта, в которого верил он один, капитал в семьсот миллионов, и это было только начало.

Американская пресса вынуждена была признать, что уже давно не видела такой красоты.

Намерение американцев, неоднократно выражавшееся ими с цинизмом и отсутствием элементарных приличий, подчинить своей власти западную промышленность, наводнив Европу

платьями, изготовленными в Соединенных Штатах, превратилось в мечту, от которой теперь пришлось отказаться. Нарушив все прогнозы, поступив вопреки здравому смыслу, выбрав решение *противоположное* тому, которое можно ждать от страны побежденной, измученной годами лишений, Кристиан Диор вернул Франции *лидерство,* потерянное как в области моды, так и текстиля.

Ответный удар американцев не заставил себя ждать. Если бы рассказать, что замышлялось уже тогда… Если бы рассказать о том, как похищали идеи, организовывали почти неприкрытую торговлю моделями, как крали эскизы и фотографии, якобы предназначавшиеся для рекламы и репортажей на актуальные темы, если рассказать о промышленном шпионаже, осуществлявшемся во всех формах… Ах, если бы рассказать! Но здесь этому не место, и мы только хотели показать, что слава Шанель постепенно начала тускнеть. Ибо по мере того, как изменялась индустрия моды и известность Диора приобретала международный характер, все больше забывалось, чем было царствование Габриэль Шанель. Что она могла с этим поделать? Парижская мода, во главе которой до сих пор стояли женщины (Жанна Ланвен, Скьяпарелли, Мадлена Вьонне), внезапно перешла в руки мужчин (Баленсьяга, Пиге, Фат, Роша). Конец был неотвратим, и Габриэль видела, что вокруг нее неумолимо образуется мертвое пространство.

Но в то же время, может быть, просто по привычке, в ней крепла уверенность, что то, что создавало престиж и привлекательность нового избранника, было на самом деле только возвращением вспять и что модницы, которых одевал Диор, вскоре почувствуют яростное желание забросить подальше корсеты, открытые лифчики, тяжелые юбки на чехлах, ленты и кружева. К чему вмешиваться в рискованное предприятие, которое ее не касалось да и не могло касаться? Ее роль была не в том, чтобы снова вернуть женщинам корсет, который она отняла у них тридцать лет назад, а в том, чтобы одевать их в соответствии со временем.

Она сгорала от нетерпения сказать это, повторить. Но даже если бы она сделала подобную попытку, ее тогдашнее положение помешало бы этому. Лучше было молчать.

Ее молчание, ее отсутствие, ее пребывание *вне профессии,* начавшись в 1939 году, будет длиться еще около десяти лет.

* * *

Нет ничего более изматывающего, чем угроза со стороны призраков. Появятся? Не появятся? Примерно так ждала Габриэль процесса над Шелленбергом. Она, конечно, хотела его оправдания из симпатии к нему, но главным образом из-за тех последствий, которые подобное решение имело бы для нее. Если бы Шелленберга оправдали в Нюрнберге, разве могла бы Габриэль оказаться виновной?

Среди двадцати одного обвиняемого на Нюрнбергском процессе семь военных преступников отделались тюремным заключением (пожизненное заключение для Гесса, Редера и Функа, двадцать лет — для Шпеера и Шираха, пятнадцать — для Нейрата, десять — для адмирала Деница), остальные были приговорены к смертной казни. За исключением Геринга, которому удалось достать ампулу с ядом, Франк, Фрик, Йодль, Кейтель, Кальтенбруннер, Розенберг, Штрейхер, Зейсс-Инкварт и Заукель взошли на эшафот, когда Шелленберг предстал перед судом. Его процесс длился пятнадцать месяцев. Приговор был вынесен в апреле 1949 года, и Шелленбергу было определено самое легкое наказание — шесть лет тюрьмы.

Начиная с этого времени ему было разрешено получать письма и посылки от друзей. Первым дал о себе знать Теодор Момм. Он прислал Шелленбергу книгу Альфреда Фабра-Люса «Век принимает форму», а также книгу, которую граф Бернадотт посвятил перипетиям прекращения военных действий, и можно себе представить, с каким интересом заключенный прочел ее. Без советов и покровительства Бернадотта как бы Шелленберг спасся? Но по всей очевидности, в посылке конфидента Габриэль было что-то такое, к чему Шелленберг оказался еще более чувствителен.

11 апреля 1950 года Момм получил из медицинской части нюрнбергской тюрьмы благодарственное письмо Шелленберга, отправленное тюремной медсестрой Хильдой Пухта. Вот что говорилось в письме:

> Сударь, от всего сердца благодарю Вас за добрые поздравления к Рождеству, и прежде всего спасибо за то, что Вы передали мне поздравления от «Шляпы». Будьте любезны передать ей мою особую благодарность. Передайте ей в надлежащих выражениях, с каким удовольствием я бы принял участие в этом небольшом праздновании! Поздравления Габриэль, по всей видимости, тронули его больше всего. Намек на встречу главных участников операции «Шляпа» с целью отпраздновать ее годовщину еще больше заставил его

почувствовать убогость его положения. Но хуже всего было то, что он был страшно болен. «Меня прооперировали здесь, 7 апреля 1949 года. В ноябре я несколько раз соборовался, а мою жену вызвали телеграммой. Теперь мне опять немного лучше. В зависимости от обстоятельств меня собираются оперировать еще раз. Будем надеяться, что я выкарабкаюсь!»

* * *

И потом одиночество. Что длится дольше, а рассказывается быстрее? Быть одной… Жизнь Габриэль начала строиться вокруг этого слова. Но прекращалось ли оно когда-нибудь, одиночество?

Живя в том же городе, что и фон Д., Габриэль не стала от этого менее одинокой. Их союз был всего лишь сомнительной формой сосуществования. Надо было положить ему конец.

Начиная с 1950 года ее меньше видели в Швейцарии и больше во Франции, особенно в «Ла Пауза». 1950… Этот год был одним из самых горьких в ее жизни: год смерти Миси. Габриэль представляла себе все, только не это. Мися была ее единственной собеседницей, единственной женщиной, которую Габриэль любила. Она все разбила в своей жизни, все отринула и всегда лгала, но только не Мисе. Если она жила, стирая следы своих шагов, жила без писем, без фотографий, без воспоминаний, это потому, что Мися была ее памятью и благодаря ей все обретало реальность. Без Миси Габриэль оказалась отрезанной от собственного прошлого, лишилась корней и словно стала загадкой для самой себя.

Никогда ничья смерть так не выбивала ее из колеи.

Поспешно вернувшись в Париж, она сделала для Миси то, что никогда прежде не делала ни для одного мужчины, ни для одной женщины и что никогда больше не сделает ни для кого. Она вошла в комнату, где лежала покойница. Оказавшись там, она смиренно проделала привычные профессиональные обязанности: одевала, наряжала, прихорашивала. Это же и было ее делом, не правда ли, этому она была обязана своим существованием, только этому? Она одела Мисю, причесала ее, нарядила, чтобы придать ей тот облик, который Мисе был бы приятен. Габриэль долго разглаживала отворот простыни тем машинальным жестом, что остался у нее после долгих лет работы, когда она, бывало, убирала дефекты ткани, разглаживала их умелой рукой. Ничто в этом обряде ее не пугало. Поправить край подушки, взбить валик,

придать мягкость складкам покрывала? Профессиональные движения… Ужас состоял в том, что она делала для Миси мертвой то, что столько раз делала для Миси живой. Ужас состоял в том, что она больше не одевала Мисю, а принаряжала смерть.

Когда все было проверено до мельчайших деталей, когда она решила, что не может больше сделать ничего, чтобы что-то от прошлого, что-то от той неистовой и прекрасной женщины, какой была Мися, сохранилось, тогда Габриэль встала у кровати своей подруги, как стоят на краю ночи.

* * *

В июне 1951 года Шелленберг был освобожден. Скромно одетый, по-прежнему вежливый, но похудевший и похожий больше на молодого адвоката без практики, чем на веселого и «самого молодого из шефов» СС, которым он некогда был, Шелленберг искал убежища в Швейцарии с поддельным паспортом и, оказавшись там, сразу же известил Габриэль. Он был без средств, она ему помогла. Это было опрометчиво, но еще опрометчивее было бы ничего не сделать: Шелленберг был исполнен решимости написать мемуары. Едва он приехал в Швейцарию, первой его заботой стали контакты с различными литературными агентами, которые могли бы найти ему издателя.

В то время нарасхват шли дневники, посмертные исповеди, переписка, малейшие записи соратников Гитлера или свидетелей его падения. Были они мертвы, живы, в тюрьме или в бегах — неважно, главное, чтобы их свидетельства существовали. Поэтому в любителях, явившихся к Шелленбергу, недостатка не было. Он принял их, не делая больше никакой тайны, не скрывая ни своей подлинной личности, ни дружбы, которую выказывала по отношению к нему Габриэль. Так, он принял всех, кто интересовался его проектом, давая, быть может, больше обещаний, чем следовало бы, и даже намекнув агенту, который показал себя наиболее предприимчивым, что готов уступить ему часть своих прав.

Но прежде, чем он успел подписать контракт, швейцарская полиция попросила его немедленно покинуть страну. Серьезная неприятность. Шелленберг перенес ее лучше, чем можно было ожидать. Еще больше, чем у Шанель, *вне бытие* приняло у него характер навязчивой идеи. Он, вне игры? Раз его изгоняют, значит, он существует, не так ли? Значит, его боятся. Тогда как в Италии… Он нашел приют в Палленце, на берегу Лаго-Маджоре,

в доме, все расходы по которому несла Габриэль[144]. И там Шелленберг познал худшее для шпиона унижение: за ним перестали следить. Он, глава немецкой разведки, он, молодой и красивый Шелленберг, ставший эсэсовцем из любви к форме, больше никого не интересовал, даже местную полицию. Он погрузился в меланхолию. Здоровье его ухудшалось. Виза в Мадрид, полученная без малейших трудностей, лишила поездку всей прелести. И тем не менее с каким сладострастием он думал о тысяче предполагаемых трудностей, которые могли бы возникнуть и помешать ему поехать туда, чтобы заключить мир с его старым врагом, Отто Скорцени[145]. Примирение произошло спокойно. Казалось, что все относились к Шелленбергу только как к мирному туристу. Какая насмешка…

В это время в Швейцарии Габриэль переживала из-за него неприятные сюрпризы. Агент, которому Шелленберг подал самые большие надежды, оказался мошенником. Он довольно быстро установил, что между Шелленбергом и Габриэль Шанель существовала *связь*. Он использовал свое открытие, чтобы «позорно шантажировать» ее, и потребовал в обмен за свое молчание «крупную сумму денег» (из письма Ирен Шелленберг Т. Момму). Сумма была ему выплачена. По-прежнему ей надо было кому-то платить, чье-то молчание покупать. Неужели до конца жизни ей придется избегать ловушек?

31 марта 1952 года в одной из туринских клиник умер Шелленберг. Ему было сорок два года. Исчез главный свидетель операции «Шляпа». Что это значило для Габриэль? Мрак наконец окутал самый компрометирующий эпизод ее жизни. Веры не было в живых, Шелленберга тоже. Она знала, что ей нечего бояться со стороны Вериного мужа, тому было известно все, но он никогда не опустился бы до того, чтобы проронить хоть слово.

Оставался Теодор Момм. Само собой, в том, что касалось Момма, она знала, что беспокоиться нечего. Он был нем как могила. Он скорее бы умер, чем дал бы повод для самого невинного вопроса.

У Габриэль не раз был случай порадоваться этому.

В 1952 году Момм охладил пыл даже госпожи Шелленберг, к которой между тем хорошо относился, отсоветовав ей поддерживать с Габриэль переписку:

> «В том, что касается Вашего вопроса относительно мадемуазель Ш., мне кажется, она уехала в США на какое-то время… Учитывая обстоятельства, я бы советовал Вам не писать мадемуазель Ш…»

Можно ли более ясно дать понять женщине, только что

потерявшей мужа, что она навязчива? Годы спустя храбрая женщина, которой по-прежнему приходилось сражаться, напрасно добивалась свидетельства Габриэль в долгом процессе, возбужденном ею против различных швейцарских мошенников, утверждавших, что они являются единственными владельцами «авторского права» ее мужа. Она покинула берега Лаго-Маджоре и вернулась с детьми в Дюссельдорф. Почему Габриэль не отвечала ей? Госпожа Шелленберг не могла объяснить себе это недружественное молчание.

> «Я прекрасно понимаю, почему она не ответила Вам, — писал ей Теодор Момм. — При нынешнем положении вещей Вам не следует сердиться на эту женщину, великодушную и любезную. Она знает, что более других подвергается опасности, и не хочет возвращаться ни к событиям войны, ни к первым послевоенным годам».
>
> *(письмо Т. Момма госпоже Шелленберг от 13 марта 1958 года)*

Он всегда находил извинения для Габриэль. Он всегда готов был выпрямиться во весь свой высокий рост и заслонить ее от угрожавшей ей опасности.

Но несмотря на привязанность к Габриэль, ему всегда казался странным демарш, предпринятый без его ведома

12 декабря 1952 года, то есть всего девять месяцев спустя после смерти обергруппенфюрера. Будучи проездом в Дюссельдорфе, фон Д. явился в дом Шелленбергов и под предлогом того, что должен был отвезти Габриэль два *предмета*[146], которые госпожа Шелленберг желала ей передать, потребовал справки о смерти обергруппенфюрера, но написанной не вдовой — этого ему было бы недостаточно, — а официального свидетельства. В какой игре участвовал Шпатц? И что ему было за дело? За этим снова крылся какой-то шантаж. Возможно, какой-нибудь прохвост продолжал преследовать Габриэль, и им, Шпатцу и ей, потребовалось это свидетельство, чтобы окончательно заставить замолчать тех, кто пытался сделать из операции «Шляпа» предлог для шантажа.

Но это всего лишь гипотеза.

Единственное, в чем ее можно упрекнуть, — это в излишней поспешности. Но ведь наступает момент, когда атмосфера обмана и сообщничества, которую несет с собой долгий кошмар, вызывает желание крикнуть: «Довольно!»

Второй эпилог (1953–1971)

Шить, в сущности, означает заново создавать мир без шрамов…

Ролан Барт. Сад II

I
Дань уважения

В семьдесят лет Габриэль вернулась в Париж. Годы, которые ей осталось прожить, — это повторение пройденного пути.

У нее больше не было никакой поддержки.

Из того далека, каким стала теперь Англия, в 1953 году до нее дошла весть о смерти герцога Вестминстерского, спутника смешливого и гневливого, рядом с которым она провела несколько чудесных лет, под дождями и ветрами Шотландии, в солнце и синеве путешествий по морю, отражавшему беззаботные лица. Разве могла она ничего не почувствовать? Ведь можно было не сомневаться, что Вендор вместе с Черчиллем участвовал в ее спасении. Но надо ли стараться определить, что она испытывала, — это был скорее страх, нежели настоящее сожаление. Ушел человек, который, незаметно, не переставал желать ей добра.

В том же, 1953 году она продала «Ла Пауза». Что ей было делать с домом, предназначенным для отдыха, когда она больше не хотела отдыхать? Восемь лет ссылки, пятнадцать лет бездеятельности навсегда лишили ее вкуса к праздности. Она скрывала в себе столько тайн, и ей требовалось столько сил, чтобы убедить себя, что ничто из того, что она замкнула в молчание, не вырвется наружу. Скоро вот уже семь лет, как она подкарауливала любую тень, пытавшуюся возникнуть из мрака лет, и была готова убить ее, вот уже семь лет, как она старалась убедить себя, что в памяти человеческой потемки наступают быстро и то, в чем не признаешься, никогда не становится реальностью. Ей это удалось. Но ценою какого труда и какой усталости. Поэтому у нее было только одно желание: освободиться от бесполезного груза, от ненужных домов и садов, куда она больше не пойдет, от комнат, в которых жило эхо потерянной любви. Уйти, продать, свести смысл жизни к комнате в гостинице и месту, где можно было бы работать.

Ибо именно это было у нее на уме, и только это: снова открыть единственный дом, который ей еще хотелось иметь, ее Дом моделей. Открыть с размахом, снова запустить ателье, набрать полный штат работниц. В семьдесят лет Габриэль Шанель вернулась к началу.

Любопытно, что эта женщина, которая через десять лет благодаря работе и в работе обретет былую горячность и силу очарования, вернулась после вынужденных каникул измученная,

как бы закиснувшая. Больше всего ее истощили постоянные, ежедневные усилия по утаиванию прошлого. Любопытно и другое: в ее внешности не было ничего причудливого, легкомысленного. Она выглядела очень строго. Позже, когда триумфальное возвращение будет обеспечено, только тогда она снова наденет свои золотые колье, позволит себе легкость муслина и с прежним удовольствием прикрепит к лацкану цветок… Но, повторяю, в месяцы, предшествовавшие ее возрождению, — фотография, сделанная Робером Дуано, может послужить доказательством — она была заурядна и представала перед любопытными репортерами сухонькой, в шерстяной юбке и маленькой черной кофте, такой скромной, что можно было подумать, что она швейцарского производства. В 1953 году в Габриэль Шанель, которая хотела возродить моду, было что-то непоправимо провинциальное. Она казалась почти устаревшей.

Ибо в одежде глаз привык к роскоши одних модельеров, к романтизму других. Впрочем, новая мода была весьма привлекательна, к чему отрицать? Мы бы отняли у Габриэль победу, если бы стали утверждать, что в ее отсутствие в Париже никто не умел одевать женщин. Кого можно заставить поверить, что Баленсьяга, Диор, Живанши, Фат, Ланвен и многие другие не заслуживали внимания? Напротив, они находились в зените славы, и предположение, что женщина в семьдесят лет сможет осуществить изменения в сфере, где они царили с таким блеском, казалось совершенно безрассудным.

Удивительно, с каким умом Габриэль выбрала подходящий момент, чтобы доказать, что мода так, как ее понимали в Париже, больше не соответствует женщинам, которым она предназначалась. Ибо сколь бы красива ни была одежда, предлагавшаяся парижанкам, она была вне времени. Действительно, ее новизна была всего лишь реминисценцией. Поэтому, чтобы добиться успеха, не следовало пытаться соперничать в воображении с нынешними кумирами, а постараться, не пренебрегая виртуозной техникой шитья, поставить на службу жизни новую строгость линий.

Магическую сторону успеха Габриэль полностью резюмируют следующие строки:

> «Одежда, изъятая из текучести настоящего и рассмотренная сама по себе, как форма, в ее чудовищном существовании на человеке, предстает как нелепый чехол, как странная растительность, сравнимая с украшением в носу или кольцом, продетым сквозь губу. Но она становится пленительной, если рассматривать ее

в совокупности качеств, которые она придает своему владельцу. И тогда мы наблюдаем явление столь же поразительное, как когда из переплетения чернильных знаков на листе бумаги возникает смысл великого слова… Хорошо скроенная одежда каждый день демонстрирует нам свою способность быть невидимой».

(Робер Мюзий)

«Странной растительности», которой она собиралась дать бой, Габриэль с блистательным успехом противопоставит одежду, замечательную своей *невидимой* строгостью.

II
Непримиримая

Какая атмосфера царила в Доме Шанель 5 февраля 1954 года? Как на заседании суда присяжных за несколько минут до вынесения приговора. Журналистки, приехавшие из Англии и Америки, разместились в первом ряду рядом с французскими хроникершами, и все вместе эти дамы, сидевшие на маленьких золоченых стульчиках, образовывали своеобразный трибунал. В их ожидании, в котором сквозили то плохо скрытое возбуждение, то явная злоба, то насмешливая несерьезность, было что-то неприятное. И что-то коробило в их внешности. Возможно, виною всему была их неряшливость. У ног рассыпалось содержимое плохо закрытых сумок, похожих на котомки. Там же, на полу, валялись пальто и блокноты. С сигаретой в одной руке, карандашом — в другой, пресса была готова судить.

Но где же была обвиняемая?

Многие женщины, которые пришли, чтобы «увидеть ее», напрасно искали Габриэль. Она была невидима, спрятавшись на верху лестницы, между зеркал, на своем излюбленном месте.

Среди собравшихся было мало молодежи. Клиентки Шанель все были женщины в возрасте. Что касается тогдашних богатых красавиц, они одевались у Диора или в копии Диора и не знали даже имени Шанель.

То, что она выбрала пятое число, свою цифру-фетиш, ничего не изменило в приговоре. А приговорили ее к смертной казни. «Французская пресса была чудовищна в своей вульгарности, глупости, злобе. Журналисты насмехались над ее возрастом, уверяли, что она ничему не научилась за пятнадцать лет отсутствия… Манекенщицы дефилировали в гробовом молчании. На выходе было даже сказано вслух несколько непристойностей».

Заголовки и статьи, посвященные этому событию парижскими газетами, достаточно красноречивы. «Печальная ретроспектива», — читаем в «Орор». «Призраки платьев тридцатых годов» — такова была точка зрения «Комба». Ее заголовок был еще хуже: «У Шанель, у черта на рогах».

Добавим, что против нее выступила не только французская пресса. Лондонские газеты проявили не меньшую жестокость. «Фиаско», — писала «Дейли мейл». Но если что и ранило Габриэль, можно не сомневаться, это было внезапное презрение со стороны ее английских друзей. На остальное ей было наплевать, и к французской прессе она относилась без малейшего

уважения.

Ее поведение в часы, последовавшие за громким провалом, из всех тяжелых моментов долгой жизни Габриэль более всего вызывает уважение. Дело в том, что девчушка в черном, ребенок из Обазина, Вечная сирота, видала и не такое. Почему они изо всех сил хотели утопить ее? Она слушала комплименты друзей, похожие на соболезнования. Она слушала их, и ей безумно хотелось рассмеяться. Они что, считали ее дурочкой? Они говорили ей, что она победила. Да разве это было похоже на правду?

Она слушала их с той безжалостной трезвостью, от которой ничто ее не излечило. Можно ли убедить фермера, что его урожай хорош, если это не так? А сыновья кабатчика из Понтея? Скажи им, что каштановая роща не так уж и больна, разве они поверили бы?

В ту же ночь она призналась одной из своих бывших первых мастериц, присутствовавших на открытии, что в бездействии «она потеряла сноровку». Она признавала это. Между ремесленниками друг другу не рассказывают историй. Так что же? У нее была только одна забота — вновь приняться за дело. И напрасно было бы искать на ее лице, в ее жестах и словах малейшие признаки отчаяния.

На следующий день, надо было признать очевидное, книга заказов была пуста, Дом — тоже. Габриэль дала знать работницам, что случай слишком хорош, чтобы им не воспользоваться: вместо того чтобы готовить коллекцию под крышей, в тесноте, она будет делать примерки в салонах. «Там по крайней мере будет удобно. Хоть в этом будет толк». Коллекция? Какая коллекция? Едва одну закончили. Но, дергая свои висевшие на шнурке ножницы, Габриэль упрямо твердила только одно: «Новая коллекция».

Надо признать, доверия она не внушала, и ценность Шанель резко упала.

В фирме «Духи Шанель» стали задаваться вопросами. Было ли разумно продолжать финансировать деятельность женщины, которая, по всей видимости, больше *никого не интересует?* Ее провал, если он повторится, будет для ее духов худшей рекламой. Новости, получаемые с улицы Камбон, только подтверждали сомнения. Габриэль, с напряженным лицом, жила в атмосфере поддельного доверия. Можно было подумать, что она пыталась взбодрить себя словами. Она проводила примерки, стоя на коленях на полу, в состоянии крайнего возбуждения.

Пьер Вертаймер счел необходимым пойти и посмотреть, что происходит у его воинственной компаньонки. Как она там, его

храбрая, его «незаконная», его упрямица? Между ними больше не было соперничества, не было перебранок, их ссоры угасли.

Он застал Габриэль в разгаре работы, в ее глазах читались разочарование и тревога. Ее усталость чувствовалась в том, что она ходила не как обычно, а опустив голову. Она призналась: «Я больше не могу». И у ее старого поклонника сжалось сердце. Как бы он хотел ей помочь… Конечно, она не раз его предавала и не раз подозревала несправедливо. Но он восхищался ею, и особенно в тот день. Какая бы у нее была легкая жизнь, если бы… Ведь он всегда был готов. Почему ей так нужен был этот реванш? Но что он мог поделать? И как устоять перед этой женщиной…

Поэтому, когда Габриэль, которую он не спеша провожал домой, проворчала: «Знаете, я буду продолжать… Продолжать и побеждать», ах, не было нужды говорить ей, что административный совет сомневается в ней, потому что он-то решил поддержать ее.

— Вы правы, — сказал он… — Вы правы, что не сдаетесь.

На следующий день он объявил одному из своих близких сотрудников, что, несмотря ни на что, он верит Габриэль: «Я знаю, что она права».

* * *

Ей потребовался год, чтобы обрести свое прежнее могущество, и признание пришло к Габриэль сначала в Соединенных Штатах. Против всякого ожидания ее первые модели, те, что были показаны на открытии Дома, — маленькие платья, которые сочли столь жалкими, что изготовители кусали себе руки от того, что поверили в ее марку, не разобравшись толком, в чем дело, — так вот, эти раскритикованные платья продавались лучше, чем можно было представить. Необъяснимый выбор, загадочное проявление женского чутья…

Сразу же оповещенные, нью-йоркские предприниматели, специалисты с 7-й авеню, насторожились. Что происходит? Во время «новой коллекции» они заметили, что Америка не хочет ничего другого, как вновь открыть для себя ту, кого знатоки уже фамильярно называли «Коко».

Американская пресса сделала все остальное.

После третьей коллекции Шанель «Лайф», самый читаемый в Соединенных Штатах журнал, признавал, что знаменитая модельерша вернулась чересчур поспешно, но прибавлял: «Она уже влияет на все. В семьдесят один год Габриэль Шанель несет с собой не просто моду, но революцию». И во всех своих изданиях

«Лайф» посвящал четыре страницы *образам Шанель*.

Когда ее спрашивали, чему она обязана своей победой, она прибегала к понятиям очень простым. У одежды есть своя логика, она только уважала ее. Экстравагантность, измышления «этих господ» — она имела в виду модельеров-мужчин, о которых она судила, это было ясно, как о несколько выродившейся породе, — шли против логики, и сила американцев была в том, что они не позволили «водить себя за нос».

Габриэль с беспощадным вдохновением уничтожала любую одежду, которая, как ей казалось, подчиняется отжившим эстетическим принципам. Стоило одному из ее конкурентов прибегнуть к китовым пластинкам, как она яростно нападала на него. «Этот человек сошел с ума! Что будут делать его клиентки, когда им понадобится *нагнуться*? А другой, со своим *стилем под Веласкеса*! Вам нравятся эти дамы в парче, которым стоит сесть, как они становятся похожими на старые кресла?» Ах нет, решительно, мужчины не созданы для того, чтобы одевать женщин. Но она определила им решающее место — в публике. Надо было им нравиться, в этом главное. Своей победой, говорила Габриэль, она полностью была обязана одобрению со стороны мужчин, и особенно со стороны улицы. Ее признание пришло оттуда.

Все было трудно, рискованно, и она слишком много трудилась, это верно. Но дело было сделано: во второй раз она изменила женскую моду и навязала улице свой стиль — стиль неумолимой строгости.

— Улица интересует меня больше, чем гостиные, — утверждала она.

Она говорила также:

— Я люблю, когда мода выходит на улицу, но не допускаю, чтобы она приходила оттуда.

Возможно, она слишком быстро забыла, чем была обязана своим первым источникам вдохновения. Но грех нам было бы заставлять ее вспоминать об этом. Конечно, она нашла элементы своей моды в рабочей и домашней одежде, в военной форме, в том, что носили моряки, конюхи и жокеи. Но это было так давно. К тому же, чтобы использовать в женской моде мужскую одежду, ее надо было придумать заново.

III
Посвящения

Она будет царить в одиночестве в течение семнадцати лет, пощаженная временем и все еще красивая. Работа облагородила ее, стерев даже морщины изгнания. Она всегда боялась вульгарности и отказывалась называть *прогрессом* изменения, без конца угрожавшие ее хрупкому и совершенному миру.

Было непонятно, откуда у нее берутся силы. Могло даже показаться, что она только отражение самой себя, некое привидение, которое за полночь оставляют за работой, то бессильное, то доведенное до бешенства, одержимое лязганьем ножниц, занятое только своим творением, обретающим форму.

Она бывала глуха к протестам, глуха ко всему, что не являлось этой новой, медленно вырисовывавшейся формой, над которой она работала столь уверенной рукой, что, казалось, она *не может* ошибиться.

Некоторые из нас считали ее непогрешимой. Ее пальцы смыкались над тканью словно клещи, ее кулаки обрушивались словно удары молота, она копала, она разминала. Дефект должен был отступить, сопротивление ткани должно было быть сломлено. Движением художника перед мольбертом она отстранялась, чтобы лучше видеть, и тихо бормотала что-то бессвязное. «Так, так… Что ж, неплохо…» Ибо было ясно, что к словам она относилась с меньшей тщательностью, чем к работе. Связывать слова? К чему? Слова… С возрастом они стали всего лишь компенсацией за ее одиночество. Она не говорила. Слова сами взрывались у нее на устах, и только по вечерам. Яростный поток слов… Помрачение… Она пользовалась словами, как будто мстила, презирая и обманывая того, кто ее слушал. Слова? Они годились только на то, чтобы осуждать, исключать. По образу и подобию ее жизни, они были жестоки и несправедливы. Но какая разница… Она главенствовала не с помощью слов, а ценою упорной работы и долгого терпения.

Она была драматически одинока. Часть окружавших ее людей использовала ее, и она об этом знала. Но она предпочитала это своему ужасающему одиночеству. «Есть те, — говорила она, — кто приходит послушать меня с мыслью сделать потом из моих рассказов статью. Есть те, кто скучает, слушая меня, но здесь они едят лучше, чем дома. И наконец, есть те, которым надо что-то попросить у меня. Они приходят постоянно. Денег… Им всегда нужно денег».

Иногда до ее закрытого королевства доходило слабое, далекое эхо. Ее прошлое… Одного слова порою хватало, чтобы оно возникло вновь. Но ненадолго. Начиная с определенного момента старости вспоминать — значит тратить силы, а измерять истекшее время — значит смотреть на собственное умирание. Тем не менее ей случалось оглянуться назад, но без радости и всегда неожиданно.

В ее памяти одно имя сохранило свою власть: имя Реверди. Оно одно не вставало у нее поперек горла.

И дело не в том, что влечение, которое она испытывала когда-то к нему, было прочнее других и лучше устояло перед временем. В сущности, это была просто лишь признательность. Ибо у нее был только один повод для любви или ненависти: знать, простили ее или осудили. Ее поведение во время оккупации… Шпатц… Это были ее вечные муки, ее ад. Все, что она говорила, было только защитой, обвинением, бунтом или безнадежной попыткой оправдаться.

А Реверди ей простил.

И это кажется почти невероятным, если вспомнить, как яростно во время войны он ненавидел немцев, как презирал коллаборационизм и все, что с ним связано: Виши, адмиралы у власти, правительство Лаваля. И тем не менее поэт, с безумной радостью отпраздновавший Освобождение, художник честный и строгий настолько, что малейшее отступничество казалось ему святотатством, этот Реверди, из-за пустяков порывавший с лучшими друзьями, не порвал с Габриэль. Почему?

Быть может, объяснение кроется в ответе, данном им однажды беседовавшему с ним журналисту.

— Кто ваш любимый святой?

— Святой Петр.

— Почему?

— Потому что он предал.

В его глазах Габриэль предала.

Он больше не виделся с ней, или так редко, что это было все равно что не видеть ее. Но издалека, понимая лучше, чем кто бы то ни было, смысл слов *«угрызения совести», «тоска», «одиночество»,* зная также поразительную силу нежности, он звонил ей. В 1949 году она получила от него экземпляр «Рабочей силы» со стихотворным посвящением.

В 1951 году он подарил ей книгу «Пьер Реверди» в издании «Поэты сегодня», и снова стихотворение, и снова посвящение, на сей раз последнее.

«Он прислал мне книгу без предупреждения, — говорила она, — словно подсунул письмо под дверь». До какой степени она

была ему благодарна!

Пьер Реверди умер в Солеме 17 июня 1960 года. Он строго наказал жене и монахам аббатства: «Никого не предупреждать, не превращать все в анекдот». Когда новость о его смерти дошла до Парижа, его уже похоронили. Жена и два монаха проводили его в последний путь.

Вместе с его друзьями — Браком, Пикассо, Терьядом — Габриэль узнала обо всем из газет.

Когда о нем заходила речь, Габриэль говорила, что из всех молчаний тяжелее всего было перенести молчание Реверди. И она добавляла: «Кстати, он не умер. Вы знаете, поэты — не то что мы: они вовсе не умирают».

IV
Было воскресенье…

Она держалась. Держалась в течение семнадцати лет, переходя из ателье к себе в комнату. Надо было пересечь улицу, и все. Она держалась — с одной-двумя прогулками в неделю и небольшим отдыхом раз в год, предпочтительно в Швейцарии.

Работа вошла в ее жизнь настолько, что ночи стали для нее иллюзией дней.

У нее бывали приступы сомнамбулизма.

Ее заставали спящей стоя, иногда обнаженной. Голая, она разговаривала. Что означала эта беседа с невидимым?

С ножницами в руках она вслепую делала платье для несуществующей женщины. Распоротая с необъяснимой аккуратностью, ее ночная рубашка превращалась в груду материи, устилавшей кровать. Иногда это была пижама… Единственное, что она умела теперь делать, — распарывать, сшивать, отпарывать, зашивать, и она одна была тремя Парками сразу. Одной ночью она была пряхой, следующей — становилась непреклонной, иногда в приступе ярости она впадала в неистовство, искала то, чего ей не хватало, шаря ощупью в темноте. Но что? Что она искала? Свою смерть, быть может. В эти ночи она становилась вещей.

Однажды рано утром увидели, как с потерянным видом она движется по узкому коридору гостиницы, одетая во все белое, очень чистенькая, но в ночной рубашке. Куда она бежала? По всей видимости, она спала. Господин Фитц, проходивший мимо, сумел проводить Габриэль до двери ее комнаты, не разбудив. Это была история, которую он совсем не любил рассказывать. Он не знал, служил ли этот эпизод к ее пользе или, напротив, очернял память женщины, которой он необыкновенно восхищался. С этого дня ее горничная дожидалась, пока она заснет, а потом запирала ее.

Иногда кошмар приобретал другую форму. Кто-то приказывал ей: «Вымойся, Габриэль». Навязчивая идея… Она становилась добычей прежних наваждений, мечты о чистоте и белизне. Быть чистой… Быть чистой… Но соприкосновение с водой будило ее, и она оказывалась в ванной с узлом мокрого белья в руках. Все-таки она ложилась снова. Ах, никому ничего не говорить. Не надо, чтобы об этом знали.

Когда утром она приходила на работу, нельзя было предположить, что… Расскажи она о том, как провела ночь, ее выслушали бы с недоверием. В ее поведении было столько

логики, казалось, она так владела собой.

Она держалась. И каждый сезон ее Дом выпускал одно и то же количество моделей. Ей было восемьдесят лет, когда рана убитого президента оставила кровавый след на юбке, сделанной в ее ателье. Но больше ничто не могло ее удивить. В тот же день другой президент Соединенных Штатов поспешно дал присягу рядом с молодой вдовой с потерянным взглядом красивых глаз, одетой в тот же костюм. Что говорила об этом Габриэль? «Да, Жакки Кеннеди в Далласе была в костюме „Шанель“». Что еще она говорила? Ничего. Больше ничего. Она была в том возрасте, когда волноваться значило тоже терять силы. В мире всегда было много несчастий, а ей надо было держаться.

Она держалась. Ее глазам и рукам было восемьдесят два, три, четыре года, но она по-прежнему держалась. Она по-своему вершила историю, одевая улицу, звезд и королев.

В восемьдесят восемь лет это должно было с ней случиться. Но в единственный возможный день — в воскресенье. Потому что всю остальную неделю она работала, и умереть за работой, в бесконечном отражении зеркал, было бы слишком театрально. И безвкусно. Не надо было превращать это в анекдот, как сказал бы Реверди.

Она сделала все с максимальной деликатностью.

Вернувшись с прогулки в то январское воскресенье в свою комнату в «Ритце», она никого не потревожила. Она прилегла, не раздеваясь, на медную кровать с четырьмя большими золочеными шарами. Узкую кровать. Кровать, чтобы спать одной — или чтобы умереть как Шанель… Опять-таки трудно себе представить, что могло бы быть по-другому. Горничной, которой она призналась, что чувствует себя ужасно усталой, не удалось убедить ее снять туфли. Она разденется позже, после обеда. Хорошо.

Селина — которую она звала Жанна, ибо она была еще из тех всемогущих хозяев, что меняли имена своим слугам, если они им не нравились, — итак, Жанна оставила ее отдыхать, но из комнаты не вышла. Обычно Габриэль вновь обретала силы в воскресенье вечером. И в понедельник вставала и отправлялась на работу.

На белом деревянном ночном столике два предмета: грошовый сувенир, маленькая позолоченная фигурка Святого Антония Падуанского, стоящего на подставке-алтаре, воспоминание о первом путешествии в Венецию с Мисей. Излечиться… Излечиться в Венеции. И еще икона, с которой она никогда не расставалась. Подарок Стравинского в 1925 году, после его долгого пребывания в «Бель Респиро». Стены в комнате были белыми, лакированными, как в больнице. Габриэль

говорила, что любила эту комнату за ее простоту: «Настоящая спальня». На стенах ничего не было, ни картин, ни рисунков. В соседней комнате была развернута маленькая, самая обычная ширма, которую она называла: «Мои путешествия». Она прикалывала на нее почтовые открытки, которые друзья присылали ей. Были и другие, развешанные вокруг зеркала туалетного столика, под сильной лампой. «Ах нет! Никакого кривлянья. Это не парадное зеркало. Это зеркало посылает вам ваше истинное отражение».

Таким было убранство комнаты, когда в воскресенье 10 января 1971 года Габриэль лежала, вытянувшись, на кровати, а из соседней комнаты за ней наблюдала неподвижная фигура. Стало быть, одна, одна и рядом женщина, чтобы помочь ей принять последнюю гостью. Она будет умирать одна. Но что это меняло? Человек всегда один, когда умирает, когда пишет…

Вдруг Габриэль закричала: «Я задыхаюсь… Жанна!» Селина-Жанна подошла к ней. Габриэль схватила шприц, который у нее всегда был под рукой. Но у нее уже недоставало сил… И ампула никак не разбивалась. У нее хватило еще времени сказать: «Ах! Они меня убивают… Они меня убьют». Но кто? Кто убивал ее? Платья? Женщины? Все вместе они становились преступницами. А ее работницы? Разве они тоже не убивали ее?

Габриэль напрасно попыталась сопротивляться этому последнему мятежу. Чего они от нее хотели? Эти тени надо было распустить. Их надо было распороть. Но у Габриэль больше не было сил.

— Вот так и умирают, — сказала она.

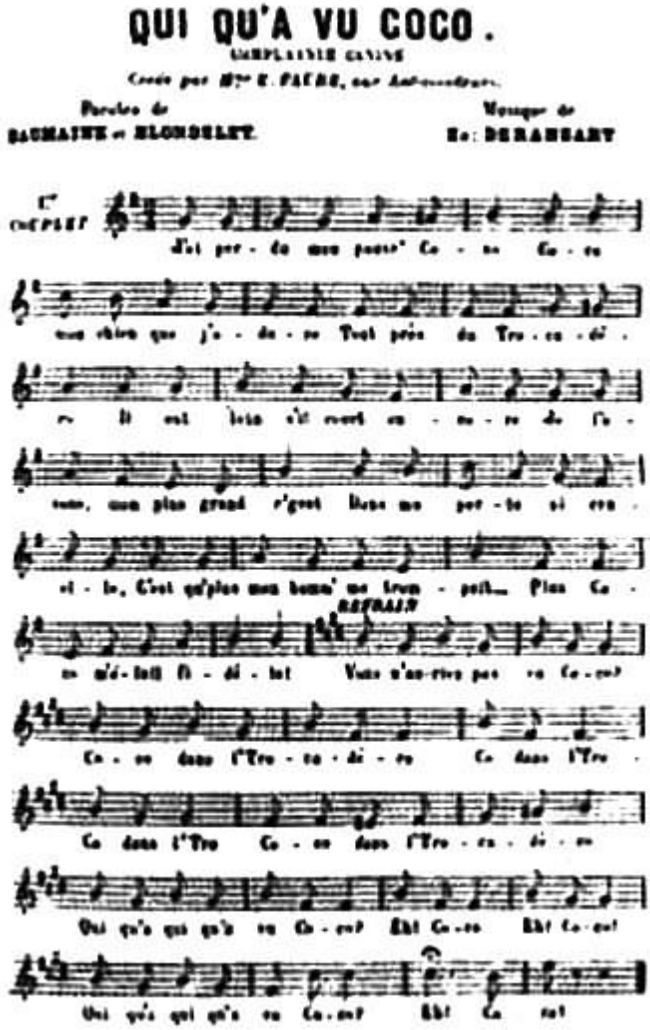
Селина-Жанна была рядом. Она закрыла ей глаза.

Панареа, 1972 — Марсель, 1974

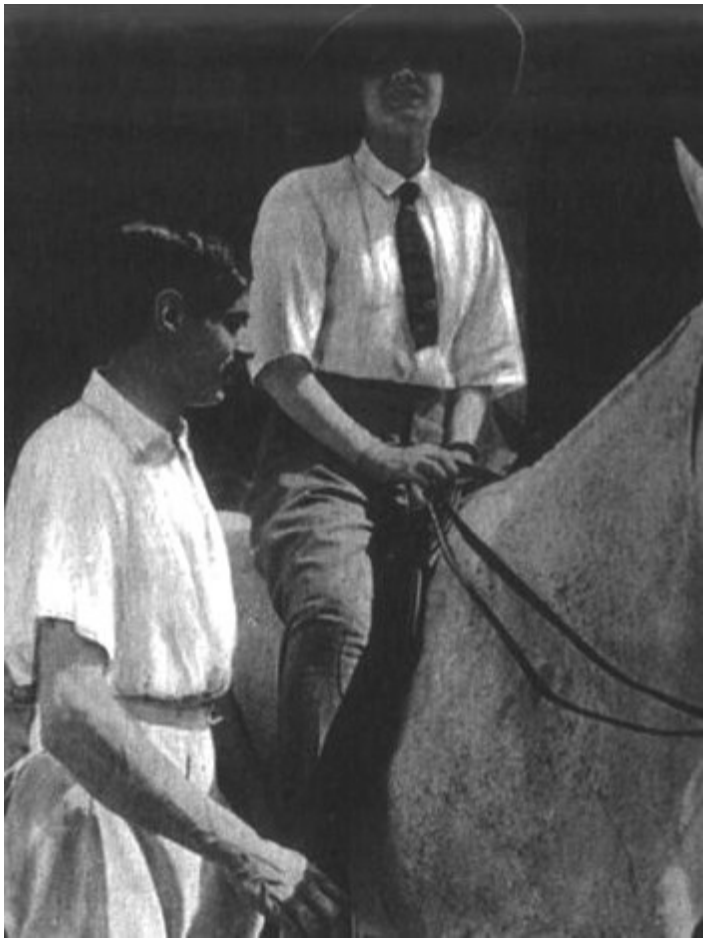
Иллюстрации

Засохший плющ…
Родное гнездо в запустении.

Убранство крестьянского дома.
В такой обстановке прошли детские годы.

Габриэль Шанель в 1903 году с одним из поклонников.

Ноты песенки Элизы Фор о петушке («Коко»), которую исполняла Шанель.

На рисунке Домье запечатлено типичное кабаре того времени.



Шанель вместе с Боем Кейпелом.
На ней впервые — брюки галифе.

На скачках в Довиле. 1907 г.

Шанель в 1909 году, в скромном наряде и блузе воспитанницы монастыря.

Шанель перед витриной своего первого магазина вместе с «живой рекламой» своих моделей — Адриенной.

Портрет Пьера Реверди с дарственной надписью Пикассо.

Габриэль Шанель в Биарице. 1920 г.

Портрет Миси работы Вюйара. 1896–97 гг.

Великий князь Дмитрий. 1914 г.

В 1916 г. в «Харперс базар» появилась первая модель Габриэль Шанель.

Модель из коллекции Габриэль Шанель.

Этот флакон духов, впервые появившийся в 1920 г., покорил мир.

Габриэль Шанель в «английский» период.

Портрет Шанель работы Кокто. 1932 г.

Шанель и Люсьен Делон в Венеции. 1931 г.

Забастовка в Доме моды Шанель.

После спектакля.
Слева направо: Александра Данилова, Сальвадор Дали,

Габриэль Шанель и Жорж Орик.

Ужин после генеральной репетиции «Корсара».

Слева направо: Мари-Лор де Ноай, Игорь Стравинский, Вера де Бюссе Судейкин и Габриэль Шанель.

Портрет Шанель работы Жоржес Хойнинген-Хёне. 1935 г.

Показ мод.
Последний штрих перед выходом на сцену.

Внутреннее убранство дома Шанель.
Фото 1954 г.

notes

Примечания

1

Граф д'Ор (1799–1863) и Боше (1796–1873) — знаменитые наездники, их методы основывались на противоположных принципах. Французские кавалеристы разделились на два враждующих лагеря. Ористы и бошеристы в течение полувека с неслыханной яростью спорили о соответствующих достоинствах обеих методик.

2

Часто забывают, что ученик кавалерийской школы Шарль де Фуко сперва отличился длиной своих сигар и склонностью к кутежам. Будучи направлен для прохождения службы в Сетиф, он выставил напоказ свою любовную связь. Порицание со стороны начальства побудило его покинуть армию. Продолжение известно. Распутник сделался миссионером и скончался в ореоле святости, убитый туарегами.

3

Шанель всегда охотно подтасовывала дату своего рождения и говорила, что она на шесть лет моложе Жюлии. Таково было одно из правил игры.

4

Луиза де Вильморен. Незаконченные воспоминания Габриэль Шанель (не опубликовано).

5

Шарль Эврар, маркиз де Дре-Брезе (1762–1829). Монсеньор де Дре-Брезе, родившийся в 1811 году, был его последним, третьим сыном. Епископ Мулена с 1850 до 1893 г.

6

Спинелли была брюнеточкой. Слава пришла к ней в 1901 году. Как и Морис Шевалье, совсем девочкой она дебютировала в «Казино де Монмартр» перед публикой, состоявшей из рабочих и коммивояжеров. Впоследствии стала одной из самых искрометных актрис парижского мюзик-холла.

7

Иветта Гильбер, великая Иветта, каждый вечер с неописуемым триумфом выступала с репертуаром, основными авторами которого были Ксанроф и Аристид Брюан.

8

Полер, ее эксцентричные песенки и вызывающее нижнее белье, талия в 42 сантиметра производили сенсацию в мюзик-холле. Ее имя связано с пьесой Вилли и Люве «Клодина в школе», которую поставил в 1906 году Люнье-По. Полер дебютировала в ней на сцене. «„Клодина“ была модным товаром», — пишет Полер в своих воспоминаниях. В каждом ночном кабаре, в каждом доме свиданий были свои Клодины.

9

По-французски «кукареку» произносится как «кокорико». — *Прим. перев.* Этими деталями мы обязаны ценному свидетельству Карло Колькомбе. В 1911 году он служил в Сент-Этьенне, в 14-м драгунском полку. Ему часто случалось сопровождать в Мулен своего капитана, который пятью годами раньше стоял там гарнизоном. Капитан — завсегдатай «Ротонды» — рассказывал о некоей Коко, о которой у него сохранились неизгладимые воспоминания. Они оба затем встретили Габриэль на скачках в Виши в обществе Адриенны, у которой она жила. Колькомбе, сделавший карьеру в текстильной промышленности, на всю жизнь остался верным другом Шанель.

10

Слова Ги де Мопассана, процитированные Полем Мораном в его книге «Жизнь де Мопассана».

11

Кочевое алжирское племя, снабжавшее мавританские кафе Алжира танцовщицами с голубыми татуировками, увешанными тяжелыми драгоценностями, а бордели Касбаха — проститутками.

12

В 1973 году в Сувиньи еще жил булочник на пенсии, который помнил Мод. В ту пору молодой подмастерье, он каждое утро доставлял ей большое количество хлеба и круассаны.

13

Они появились в Париже в декабре 1905 года, в момент проведения пятого Автомобильного салона.

14

Распродажа, организованная 29 мая 1902 года, после смерти принца и принцессы Мюрат (Национальные архивы).

15

М. Пруст. Под сенью девушек в цвету.

16

В первый раз он приехал в Париж в 1906 году с выставкой русского искусства на Осенний салон. В 1907 году он снова в Париже с Глазуновым, Римским-Корсаковым и Рахманиновым, которые дирижировали своими произведениями в «Опере». В 1908 году он представил парижской публике певца Шаляпина в изумительной постановке «Бориса Годунова». Первый сезон «Русских балетов» состоялся только в 1909 году в театре «Шатле».

17

Возможно, эта антипатия объясняется прежде всего тем, что Сара Бернар обессмертила белый мундир, плотно облегающие штаны и фрак с манишкой герцога Рейхштадтского — костюм, созданный молодым Пуаре.

18

Мися Софья Ольга Зинаида Годебская, родилась в Санкт-Петербурге 30 марта 1872 года, умерла в Париже в 1950 году.

19

«Толстой в зените славы… его переводчик граф Прозов — совершенный парижанин. Его доктрины овладели умами. „Ревю бланш“ пишет о нем как о Мессии» (Поль, Моран, Париж, 1900).

20

Письмо Колетт Андре Сальо директору «Ви паризьен», Сен-Тропез, 1908 (Национальные архивы).

21

Впоследствии, примерно в 1912 году, Люсьенна поступила к Каролине Ребу по просьбе трех первых мастериц, которым знаменитая модистка уступила свою мастерскую. Там царила редкая для того времени социальная атмосфера. Служащие дома Ребу были заинтересованы в прибылях! Верно то, что королева шляп была подругой не только Рейнальдо Хана, Жана Кокто и Филиппа Вертело, но и Леона Блюма. Люсьенна проработает здесь сорок четыре года, став директрисой этого дома. Она по праву будет считаться лучшей модисткой Парижа бурных времен.

22

Настоящее имя — Бонавентура Виго. Современник Шанель. Родился в Безье в 1883 году. Под именем Альмерейда стал главным редактором анархистской газеты «Бонне руж». Арестованный в 1917 году, он умер в тюрьме Френ, несомненно убитый по приказу трех тогдашних министров, финансировавших его деятельность. Загадка этой смерти, случившейся в самый разгар войны, так никогда и не была прояснена.

23

Родилась в 1880 году, на парижской сцене с 1908 года. Появившись в театре Сары Бернар еще при жизни последней, она играла Поля Бурже с Люсьеном Гитри, Мольера и Жироду — с Жуве, в пьесах Кокто — под руководством автора. Между 1922 и 1962 годами Дорзиа снялась в шестидесяти фильмах.

24

Великий князь Борис, родившийся 2 мая 1879 года, был сыном великого князя Владимира, первого мецената Сергея Дягилева. Его мать, Мария Павловна, урожденная герцогиня Мекленбургская, овдовев в 1909 году, оставалась приятельницей Дягилева и продолжала видеться с ним в изгнании. Став после смерти мужа президентом Академии изящных искусств, беспощадно критикуя ослепление императрицы и проволочки Николая II, требуя даже его отречения, Мария Павловна была одной из немногих сильных личностей последних лет царизма. Великий князь Борис заключил в Генуе морганатический брак. Умер в Париже.

25

«Весна священная» представлена публике «Русскими балетами» Дягилева 29 мая 1913 года. Музыка и либретто Игоря Стравинского, хореография Нижинского.

26

Флоран Шмитт — французский композитор. В его шедевре, балете «Трагедия Саломеи», в 1907 году танцевала Лой Фуллер, затем в 1913 году спектакль был поставлен Дягилевым для Иды Рубинштейн.

Elisabeth de Gramont. Clair de lime et taxi-auto, Grasset.

28

Американка Кейт Мур, отличавшаяся крайним снобизмом, вошла в парижские анналы. Ей удалось с помощью слез пробиться в самые закрытые круги общества. Поль Моран, после ее смерти в 1917 году заметил, что она ушла из жизни «в тот самый момент, когда американцы наконец добились положения в Европе!». Замечание Пруста в «Обретенном времени»: «Обеды, светские праздники были для американки своего рода школой Берлитца» — прекрасно к ней подходит.

29

Л. Бельби. Письмо Гийому Аполлинеру от 5 марта 1914 года. Париж, архивы Гийома Аполлинера, частная коллекция.

30

«Бульон Дюваля» — название сети недорогих ресторанов, особенность которых, крайне редкая в ту пору, состояла в том, что обслуживание осуществлялось только женщинами.

31

«Воспоминания» Элизабет де Грамон.

32

Там же.

Francois Boucher. Histoire du costume en Occident… Paris, 1965.

Марсель Пруст. В поисках утерянного времени. Т.1. По направлению к Свану. М., 1992.

35

«Газетт дю бон тон» и «Журналь де дам э де мод» перестали выходить в 1914 году.

36

Очаровательное платье-сорочка Шанель.

37

Граф Шарль де Шамбрен, первый секретарь посольства Франции, затем посол Франции в Анкаре и Риме. В 1934 году женился на овдовевшей Мари Мюрат.

38

Филипп Вертело, заместитель политического директора Министерства иностранных дел. Начиная с 1917 года, Вертело считался одним из самых влиятельных членов министерства. В своем особняке на бульваре Инвалидов, где потолки были расписаны Сертом, они с женой принимали герцогинь, актрис, чиновников, поэтов, политических деятелей.

39

Великий князь Николай, племянник царя Александра II, историк, расстрелян в Петропавловской крепости 30 января 1919 года.

40

Arthur Capel. Reflections on Victory and a Project for the Federation of Governments (T. W. Laurie Ltd., London, 1917). Пятьдесят лет Габриэль Шанель хранила несколько помятых страниц рукописи этой книги, сколотых большой булавкой. Это была реликвия, которую она любовно берегла и показывала только избранным знакомым.

41

Молодой глава кабинета Клемансо Жорж Мандель (1885–1944), министр внутренних дел в мае 1940 года, во время немецкой оккупации был убит полицейскими, находившимися на службе у правительства Виши.

42

Миллисент (1867–1957), дочь четвертого герцога Росслина. Вышла замуж за герцога Сатерлендского в день, когда ей исполнилось 17 лет. Ее муж был другом детства Уинстона Черчилля.

43

Преподобный Рональд Нокс (1888–1957) — университетский преподаватель, пользовавшийся авторитетом среди католиков в Великобритании. На его счету было немало обращений, и он прославился переводом Вульгаты на английский язык.

44

Морис Баринг — поэт и романист (1874–1945).

45

«Некоторые платья сохранились. В частности, вечернее, украшенное павлиньими перьями, которое Флеминги хотели одолжить Кэтрин Хепберн, когда она приезжала в Торонто, чтобы играть в оперетте „Коко“, но перья повылезли». — Письмо мадемуазель Кампана от 9 февраля 1972 года автору. Мадемуазель Кампана, став впоследствии послом Франции, в то время была генеральным консулом в Торонто.

46

«Лорд Росслин сообщает из Сан-Рафаэля, что капитан Артур Кейпел, погибший в понедельник в автокатастрофе, похоронен сегодня в 2.30 дня на кладбище Фреджус со всеми военными почестями».

47

«Смерть капитана Кейпела оказалась тяжелым ударом для его друзей в Париже. Он был одним из самых известных англичан, живущих во Франции, где занимался бизнесом в угольной промышленности. Во время войны он и официально, и неофициально осуществлял функции связи и пользовался покровительством Клемансо. Он был прекрасным спортсменом и одновременно страстным книголюбом».

48

Жозеф Леклер поступил к Габриэль Шанель в 1917 году по рекомендации Миси Эдвардс, у которой он служил с 1912 года. Сменив мужа и став Мисей Серт, она сочла необходимым сменить и персонал. Так несравненный Жозеф, слуга совершенно чеховского типа, перешел от Миси к Габриэль, у которой оставался до 1934 года. Свидетельство его дочери, госпожи Сюзанны Леклер-Годен, жившей у Шанель с двенадцати до двадцати двух лет, одно из наиболее значительных и надежных среди всех, собранных автором.

49

Ролан Барт. Система моды.

50

Г-жа Дени, вдова садовника, работавшего у Шанель во время ее пребывания в Гарше. В 1973 году все еще жила в домике на улице Альфонса Невиля.

Paul Morand. Venises, Paris, Gallimard, 1971.

52

Основанный Таде Натансоном, «Ревю бланш» выходил в свет с 1891 по 1903 год. Журнал был для импрессионистов тем, чем через пятнадцать лет станет для кубистов «Нор-Сюд».

53

Балет, поставленный Дягилевым в 1917 году. Либретто Кокто. Декорации Пикассо. Хореография Мясина. Музыка Эрика Сати. Премьера состоялась 18 мая 1917 года в театре «Шатле».

54

Альфред Эдвардс родился в Константинополе 10 июня 1856 года. Сын Чарльза Эдвардса и Эмилии Капораль. Он женился на Мисе Годебской 24 февраля 1905 года. Развод состоялся в 1909 году.

Стоило бы обратить внимание на пьесу, в создании которой Таде Натансон принял участие в следующем году, подписав ее вместе со своим другом Октавом Мирбо. Каково было его реальное участие в написании этого произведения, «одновременно комедии интриги, комедии нравов и комедии характеров»? — писал Леон Блюм в статье, опубликованной в «Комедиа». Была ли это запоздалая месть Таде? «Очаг» был поставлен в «Комеди Франсез» в декабре 1908 года, через три года после развода. Невозможно отделаться от мысли, что вечный треугольник, жена, муж, любовник, воссоздает драматическую обстановку разрыва с Мисей. Любовник, «человек с деньгами, грубый, циничный» и «крупный финансист», которого Блюм называет также «плутом», напоминает Эдвардса. Что до героини, Терезы, в роли которой выступила госпожа Барте, это была Мися, изображенная в самом черном цвете. «Успех был огромный. Париж трепетал», — рассказывает Пьер Бриссон.

56

Виш — маленький город в Каталонии. Хосе Мария Серт работал там более двадцати лет.

Paul Morand. Venises, Gallimard.

58

Молодой украинский поэт, которого Сергей Дягилев сделал своим секретарем. Ему принадлежат многочисленные либретто балетов. С 1925 года он играл ведущую роль в художественном руководстве труппой. Его исследования о балете пользуются авторитетом.

59

Князь Феликс Юсупов, женившийся на дочери великого князя Александра Михайловича, был одним из инициаторов убийства Распутина, а великий князь Дмитрий — его сообщником.

Charles de Chambrun. Op. cit.

61

Под именем Пола Романова-Ильинского сын великого князя Дмитрия живет в Огайо, США.

Арагон. Страстная неделя. Собр. соч., т. 8, М., 1960.

63

Арагон. Анри Матисс, т. 1. Похвальное слово роскоши. М., Прогресс; 1981.

Ролан Барт. Система моды.

Не волнуйтесь чрезмерно, Дмитрий… *(англ.)*.

«А ну-ка, ведите себя как подобает» *(англ.)*.

Maurice Paleologue. La Russie des tsars pendant la grande guerre. Paris, 1921.

68

Этот особняк, возведенный в 1719 году Лассюрансом для герцогини Роган-Монбазон, в свое время находился между особняком, построенным Габриэлем для Друэна, камердинера Людовика XIV, и особняком маркиза и маркизы де Фекьер. Маркиза стала любовницей Друэна, когда была всего лишь мадемуазель Миньяр, дочкой художника.

69

Чарльз Ренни Макинтош (1868–1928) — шотландский архитектор, декоратор, художник, плакатист.

70

Густав Климт (1862–1918) — венский художник, оказавший большое влияние на развитие европейского декоративного искусства.

71

Анри Ван де Вельде (1862–1957) — бельгийский архитектор и полемист.

72

«Куадро Фламенко» — танцевальная андалузская сюита, исполнявшаяся исключительно народными танцорами и представленная в рамках «Русских балетов» 17 мая 1921 года в театре «Гэте-Лирик» в Париже. Стравинский сопровождал Дягилева в Севилью и выбирал музыкантов, тогда как Дягилев занимался отбором танцоров. Среди них были карлица Габриэлита дель Гарротин, замечательная танцовщица, и безногий калека-побирушка, совершившие путешествие в Париж.

73

Гражданский брак Пабло Пикассо с Ольгой Хохловой был зарегистрирован 12 июля 1918 года в мэрии 7-го округа. Состоялось также венчание, прошедшее со всей пышностью в русской православной церкви на улице Дарю. Свидетелями молодоженов были Макс Жакоб, Жан Кокто, Дягилев и Гийом Аполлинер, державшие традиционные венцы над головами жениха и невесты.

Pierre Reverdy. Le Livre de mon bord. Paris, 1948.

Andre Masson. Rememoration. Mercure de France, № 1181.

Georges Pompidou. Anthologie de la poésie française. Paris, 1968.

77

Кто был этот Агеро, о котором упоминает только прекрасная Фернанда? Без сомнения, какой-нибудь безвестный испанский художник, из тех, что бродили по улицам Монмартра, как и Пикассо.

Pierre Reverdy. Le livre de mon bord.

79

Рукопись Реверди из библиотеки Габриэль Шанель.

Aragon. Sic, № 29, mai 1916.

81

Andre Malraux. Des origines de la poesie cubiste, janvier 1920 (Mercure de France, № 1181).

Pablo Neruda. Je ne dirai jamais… (Mercure de France, № 1181).

83

Интервью Жана Кокто, Gazette des arts, 10 fevrier 1923. Далее все цитаты Кокто из этого интервью.

84

Американский журналист, в то время директор «Вэнити Фэйэр» в Нью-Йорке и французского издания «Вог».

85

Igor Markevitch. Diaghilev et la musique française (Guilde internationale du disque).

Diaghilev. Lettre a sa belle-mere.

Потомственная артистка, как и ее знаменитый брат. Вместе с ним была принята в Императорское балетное училище. Она потребовала аннулировать свой контракт с Мариинским театром в знак солидарности с братом, когда Нижинского за неприличный костюм исключили во время нелепого инцидента в 1911 году. Бронислава сразу же последовала за ним в «Русские балеты» Дягилева.

Boris Kochno. Diaghilev et les ballets russes. Paris, 1973.

Лупус (lupus) — по-латыни означает «волк». — *Прим. перев.*

По-французски — Gros veneur, произносится как Гро венёр. — *Прим. перев.*

91

Неопубликованное письмо Поля Морана автору.

92

Биографию первого герцога Вестминстерского Шанель рекомендовала в качестве чтения писателям, которых она пыталась заставить написать ее мемуары. О появлении этой книги она узнала от Луизы де Вильморен.

93

В «Коннесанс дез Ар», № 266, Элен Дерориан писала: «В еще большей степени, нежели три баржи Поля Пуаре, гвоздем выставки стал павильон Элегантности. Там, в асимметричных архитектурных построениях Рато, за огромным проемом, затянутым Родье белым шелком с серебряной нитью, Ворт, Калло, Ланвен в сверкании люстр показывали сказочные платья».

Jean Cocteau. Portraits-souvenir. Paris, 1935.

Владение было куплено на имя Шанель. Акт о покупке наиболее крупного участка был зарегистрирован в третьем отделе ипотечной службы Ниццы 9 февраля 1929 года (том 19, № 47). Но, по мнению всех, кто жил с Габриэль в эти годы, переговоры о покупке начались тремя годами раньше, и, что бы там ни говорили, поместье было куплено Шанель только по ее инициативе, а вовсе не являлось подарком герцога Вестминстерского.

96

Лорд Бивербрук был создателем и владельцем «Дейли экспресс», «Санди экспресс», «Ивнинг стандард». Лорд Ротермейер владел «Дейли мейл» и «Ивнинг ньюз».

97

Основанная в 1924 году, фирма духов Шанель положила начало сотрудничеству Габриэль с владельцем самой крупной во Франции фабрики по производству духов, Пьером Вертеймером. Стычки, резкие несогласия, всевозможные судебные процессы сталкивали их друг с другом в течение сорока лет. Но фирма устояла перед их раздорами, пережила войну и оккупацию.

Paul Morand. Venises. Paris, Gallimard, 1971.

Boris Kochno. Diaghilev et les Ballets russes. Paris, 1973.

100

Paul Morand. Venises. Paris, 1971.

101

Что означает это слово? Без сомнения, оно выдуманное, и смысл его знали только Габриэль и он.

102

Эрте (Роман Тиртов) — русский художник, родился в Санкт-Петербурге в 1892 году, обосновался в Париже в 1912 году, ученик академии Жюйан, затем работал у Пуаре, где создавал театральные костюмы и одевал Мату Хари в 1913 году. С 1919 года, времени создания костюмов для Мистангетт в спектаклях «Батаклана», до 1970 года, когда он одевал Зизи Жанмэр для «Казино де Пари», Эрте являлся автором костюмов и декораций самых знаменитых и грандиозных ревю Парижа, Нью-Йорка и Лондона. Он также был постоянным художником американского журнала «Харперз базар», с которым его связывали эксклюзивные контракты, возобновлявшиеся каждые десять лет.

103

Лейзен (1898–1972) был художественным директором у Де Милля и в этом качестве властвовал в Голливуде в течение двенадцати лет, создав декорации к почти всем его фильмам до 1933 года.

104

Художник, открытый и запущенный на орбиту Лейзеном, который до 1930 года поручал ему создание костюмов в большинстве своих фильмов.

105

«Сегодня вечером или никогда» с Глорией Свенсон, одетой Шанель. Постановка Мервина Леруа. Это была легкая комедия, где Свенсон в роли великой певицы вызвала единодушное одобрение критики. Премьера фильма состоялась в декабре 1931 года.

106

Элен Журдан-Моранж, скрипачка, исполнительница Равеля. Автор книги «Равель и мы», жена художника Люка-Альбера Моро, самая близкая подруга Колетт.

107

Жорж Кессель — брат писателя Жозефа Кесселя. Журналист. В конце своей жизни Габриэль Шанель пыталась уговорить его написать ее мемуары.

Там продавалась косметика, производимая Колетт.

109

Судьба Жанны (на сцене Джейн) Марнак была именно такой, о какой мечтала Шанель. Воспитанница монахинь, она дебютировала в 1907 году в «Гэте-Рошешуар» в ревю «У тебя есть сверчок». Училась пению у Литвин, блистала в оперетте, потом с успехом перешла от пения к бульварной комедии. Стала миссис Тревор, выйдя в 1927 году замуж за почтенного английского полковника. Она выступала в «Казино де Пари» почти так же часто, как и Мистангетт. Карьера ее вполне естественно привела Жанну к тому, что она «взяла театр» и стала весьма опытной директрисой. Пресса писала о ней: «В ней есть что-то от манекенщицы, что-то от улицы Мира, что-то от шикарной потаскухи. И ко всему этому она умна». Таким образом, в окружении Колетт были женщины, подобные Джейн Марнак и Спинелли… От них Габриэль бежала как от чумы, боясь, как всегда, как бы их общее кафешантанное и легкомысленное прошлое не послужило предлогом для разоблачений.

110

Супруга драматурга Анри Бернстайна, бывшего соседом Шанель во времена «Бель Респиро».

111

Как и Реверди, Кодетт, всегда с точностью указывавшая день недели и час, когда писались письма, никогда не ставила дату. Тем не менее фраза о сотрудничестве в «Журналы» — первая театральная хроника, подписанная ею, появилась там в октябре 1933 года — позволила Морису Гудекету определить время написания письма: лето того же года. А точность Колетт-писательницы позволила пойти еще дальше: письмо было написано между 1 и 13 июля 1933 года, временем цветения лилий и полнолуния.

Цитируемое письмо не издано, как и в целом вся переписка Колетт с Морисом Гудекетом.

Валентина Фоше-Маньян.

113

Знаменитый сатирический еженедельник начала века.

114

Основанная в 1906 году, «Темуен» выходила в течение четырех лет.

В частности, он — автор необыкновенно пленительных тканей. Крупные коллекционеры, такие, как Робер де Ротшильд и Жак Дусе, заказывали ему мебель.

Paul Morand. Venises.

117

Фильм Мориса Лагрене, снятый «Дирис-Фильм». Его показ в Париже в 1921 году стал событием, на котором присутствовали Колетт, Габриэль Дорзиа, Полер, Спинелли, Маргерит Морено, короче, *команда* Колетт в полном составе.

118

Литрис Джой дебютировала на экране совсем ребенком, кино тогда только начиналось. Компания, ее ангажировавшая, разорилась, и она работала в торговле. Заново открыл ее Сэмюел Голдвин, а Де Милль сделал из нее звезду.

119

Декораторская фирма, созданная в 1912 году Полем Пуаре. Она находилась в доме 83 по улице Фобур-Сент-Оноре.

Colette. Prisons et Paradis. Paris, 1949.

121

Там же.

122

«Спинелли-мама», статья в «Паризьен».

123

Сотрудничество с представителями цвета парижского общества при создании украшений было одной из целей Шанель. Таким образом ей удавалось, с помощью посредников, вдохновляться редчайшими драгоценностями, которые их владельцы чаще всего не носили, а держали взаперти в сейфах. «Все эти аристократишки гнушались мной, но они будут у моих ног», — говорила она мастерице, которой было поручено изготовление украшений.

124

В 1930 году фирма «Николя» заказала Ирибу альбом, который стал верхом невольного чудачества. Его суть? Махровый шовинизм, поставленный на службу винам «Николя». Ириб восхвалял их качество только на последней странице, предварительно изничтожив все крепкие напитки других стран. Для этого он использовал такое решение: отождествить конкурирующую продукцию со страной ее производства. Убийца в русском мундире? Он попал на страницы альбома, чтобы излечить французского потребителя от всякого поползновения выпить водки. Подавать рейнские вина? В ответ Ириб показал заводы Рура… Любая покупка у Германии могла только ускорить милитаризацию Рейнской области! Попробовать виски? Это значило играть на руку британскому империализму. Американские напитки? Они будут поощрять манию величия Соединенных Штатов. Будем пить только французское!

125

Плебисцит дал следующие результаты: за присоединение к Германии — 477 109 голосов, за статус-кво — 46 513 голосов, за присоединение к Франции — 2124 голоса.

126

Знаменитый модельер, родилась в Риме в сентябре 1890 года, умерла в Париже в ноябре 1973 года. Она прославилась между 30-м и 40-м годами, привнеся в моду некоторую причудливость и цвета, которые до тех пор были изгнаны Шанель, заботившейся о строгости стиля. Именно с нее начинается весьма ощутимая реакция на прежние тенденции, особенно усилившаяся в послевоенные годы.

127

Леон Блюм. Мы отвергаем идею неизбежной войны. — «Попюлер», 29 августа 1935 года.

128

Немецкий министр иностранных дел, отправленный в отставку в 1937 году, так как он колебался в отношении агрессивных планов Гитлера.

129

Речь Мориса Тореза в гимназии имени Жана Жореса 11 июня 1935 года.

130

Воспользовавшись покровительством княжества, Рене Блюм основал в 1937 году балетную труппу, звезды которой были воспитаны в русской школе и которой было разрешено носить имя «Балет Монте-Карло».

131

Письмо автору профессора Эберхардта Йекеля из Штутгартского университета, чьи работы «Франция в гитлеровской Европе» и «Гитлер-идеолог» пользуются авторитетом.

132

После войны Теодор Момм вернулся к своим прежним занятиям. Он много путешествовал и, несмотря на преклонный возраст, занимал посты в текстильной компании в Чаде, а также в хлопчатобумажной промышленности в Камеруне.

133

Салон госпожи Сольф, вдовы одного из немецких послов, был местом, где говорили свободно. 10 сентября 1943 года к ней проник агент гестапо. 12 февраля 1944 года все присутствовавшие «на чае у фрау Сольф» были арестованы, преданы суду и казнены, за исключением госпожи Сольф и ее дочери, которые были депортированы в Равенсбрюк, где и дождались 1945 года.

134

Предисловие Аллана Баллока к мемуарам Вальтера Шелленберга.

135

«Рамон вполне мог быть Брайаном Уоллесом (сыном писателя), который был почетным секретарем в посольстве и которого сэр Сэмюел Хоуар использовал от случая к случаю, чтобы принимать „странных“ посетителей. Я не могу объяснить, почему он воспользовался псевдонимом, возможно, потому, что любил драматизировать…» — написал сэр Майкл Кресвелл, второй секретарь посольства в Мадриде, в 1943 году отцу Жану Шарль-Ру.

136

«Враг» стоит в женском роде. Кого она имела в виду: Германию или Веру?

Габриэль употребила этот инициал и не упомянула ни имя майора, ни имя Шелленберга.

Ш. — по всей видимости, Шелленберг.

139

Colette. Prisons et Paradis.

140

Мирте была депортирована в Германию тремя месяцами раньше. «Только что арестовали младшую из моих сестер, ангела простоты и нежности», — писал Жакоб Бернару Эсдрасу-Госсу.

141

Пьеру Коллю, который пришел просить его вмешаться, используя свой авторитет, признанный даже немцами, Пикассо ответил: «Не стоит ничего предпринимать. Макс — домовой. Он и без нас сумеет выбраться из тюрьмы».

142

Евгений Евтушенко.

143

О г-же Дени уже шла речь в начале главы «Славянские годы». Она ушла на пенсию и жила в Гарше.

144

«Госпожа Шанель предложила нам финансовую помощь в нашем трудном положении, только благодаря ей нам было дано провести еще несколько месяцев вместе» (из письма Ирен Шелленберг Теодору Момму от 8 марта 1958 года).

145

Австриец, один из самых решительных гангстеров Гитлера. Это он приземлился на вершине Гран-Сассо и освободил Муссолини; он, в обстановке полного смятения, во главе своих вооруженных банд восстановил порядок в Берлине ночью 20 июля 1944 года, через несколько часов после покушения на Гитлера; он похитил регента Венгрии в октябре 1944 года; наконец, в декабре того же года он во главе специальной бригады молодых немцев, говоривших по-английски и одетых в американскую форму, сумел с невероятной дерзостью посеять страшный беспорядок во внутреннем расположении американских войск в районе Бастони. Оправданный теми же американцами, он эмигрировал сначала в Испанию, где был прекрасно принят в 1947 году, а потом, как и большинство крупных нацистов, обосновался в Южной Америке, где жил преуспевая.

146

Не удалось выяснить, что это были за предметы. Не шла ли речь, скорее, о документах?